

Виктор Михайлович Чернов

Перед бурей



ВОСПОМИНАНИЯ

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие Б. Николаевского

Глава первая:

Волга, Волга, мать родная. - Детство. - Семья. - "Двухпалатная система"

Глава вторая:

Саратовская гимназия. - Первые кружки. - Толстовство и антитолстовство. В. А. Бал-
машев. - М. А. Натансон

Глава третья:

В Дерпте. - Последние гимназические впечатления. - Опять Саратов: холерные беспорядки. - в Московском университете. - Союзный Совет. - Споры народников с марксистами. - Н. К. Михайловский. - П. Н. Милоков. - Новое "народовольчество". - Организационные планы М. А. Натансона

Глава четвертая:

Арест. - Зубатов. - Отправка в Петербург. - В Петропавловской крепости. Освобождение. - Родной Камышин

Глава пятая:

В Тамбове. - Земцы. - Старые революционеры. - Работа среди крестьян. Последняя встреча с Н.К.Михайловским. - Отъезд за границу

Глава шестая:

Заграницей. - Цюрих: первое знакомство с П. Б. Аксельродом и Г. В. Плехановым. - Закат народовольчества. - Социал-демократы, либералы и народники. - Х. О. Житловский и его Союз Русских Социалистов-Революционеров. С. А. Ан-ский

Глава седьмая:

В Париже. - И. А. Рубанович и Мария Ошанина. - У постели умирающего Лаврова. - Аграрно-Социалистическая Лига. - Л. Э. Шишко. - Ф. В. Волховской. Е. Е. Лазарев

Глава восьмая:

Катерина Брешковская. - Григорий Гершуни. - Гершуни и Зубатов. - Рабочая Партия Политического Освобождения России. - Образование Партии Социалистов-революционеров

Глава девятая:

М. Р. Гоц. - Беседа молодого Гоца с молодым Зубатовым. - Мое первое знакомство с Гоцем. - Гоц - душа заграничной организации П.С.Р. - Арест Гоца и требование русского правительства о его выдаче. - Кампания в пользу его освобождения. - О. С. Минор. - Деятельность Аграрно-Социалистической Лиги. Н. С. Русанов и "Вестник Русской Революции"

Глава десятая:

Боевая организация. - Убийство министра Сипягина и другие террористические акты. - Казнь Степана Балмашева. - Арест Гершуни. - Суд над ним и заключение его в Шлиссельбургскую крепость

Глава одиннадцатая:

Азеф во главе Боевой Организации. - Убийство Плеве. - Егор Сазонов, Борис Савинков и Иван Каляев

Глава двенадцатая:

Моя поездка в Германию. - "Грызуны науки" в германских университетах. Абрам Гоц, Николай Авксентьев, Илья Фондаминский, Владимир Зензинов и Дмитрий Гавронский

Глава тринадцатая:

ПСР и Социалистический интернационал. - Амстердамский конгресс Интернационала. - Борьба с.-д-ов против допущения с.-эр-ов в Интернационал. Победа ПСР. - Брешковская и Житловский в Америке. - Приезд М. А. Натансона. Переговоры о создании "единого фронта всех революционных и оппозиционных партий в России". - Парижская конференция 1904 года

Глава четырнадцатая:

Возвращение "грызунов" в Россию. - Максимализм "бабушки". - Споры об аграрном терроре. - Письмо Гершуни. - 1905 год в эмиграции. - Тяга на родину

Глава пятнадцатая:

В Петербурге. - "Сын Отечества". - Г. И. Шрейдер и С. П. Юрицын. - Н. Ф. Анненский, А. В. Пешехонов и В. А. Мякотин. - Петербургский Совет Рабочих Депутатов. - Символический жест Г. А. Лопатина

Глава шестнадцатая:

В Петербурге.- Н. Д. Авксентьев и И. И. Фондаминский.-Разногласия в ПСР.Первый съезд партии. - Перводумье. - Наша печать.- А. И. Гуковский.- Смерть Михаила Гоца. - Абрам Гоц в Б. О. - Побег Гершуни. - Азеф и генерал Герасимов. - Партия и Б. О. - Гершуни на съезде в Таммерфорсе. - Гершуни, Азеф и Савинков. - Смерть Гершуни.

Глава семнадцатая:

Конференция ПСР в Лондоне. - Итоги революции 1905-1907 годов. Разоблачение Азефа. - Поездка О. С. Минора в Россию и арест его.- Арест Брешковской и Чайковского.- Шишко и Волховской в годы революции. - Правое течение в ПСР. - Начало "психологического отрыва" Савинкова

Глава восемнадцатая:

Наши взаимоотношения с Польской Социалистической партией (ППС). - Доклад Пилсудского в Париже накануне 1-й мировой войны. - Разрыв ППС с ПСР. - Война. - Раскол в социалистических рядах. - Социал-патриоты, интернационалисты и пораженцы. - Циммер-

вальдская конференция

Глава девятнадцатая:

1917 год. - Через Англию и Швецию в Петроград. - В революционной столице. - Абрам Гоц. - Народ и революция. - "Бабушка", Натансон, Авксентьев, Минор, И. Г. Церетели и Н. С. Чхеидзе

Глава двадцатая:

Третий съезд ПСР. - Резолюция о войне и мире и об отношении к Временному Правительству. - Кн. Г. Е. Львов. - Образование коалиционного правительства с участием социалистов. Политические трудности.

Глава двадцать первая:

Разнобой в ПСР. - "Правые", "левые" и "левый центр". - А. Ф. Керенский. Уход кадетских министров и заговор Корнилова. - Демократическое совещание. Октябрь. - Четвертый съезд ПСР. - Откол "левых с.-р.-ов". - Всероссийский съезд крестьянских депутатов. - Петроградский совет и Собрание уполномоченных от фабрик и заводов

Глава двадцать вторая:

Учредительное Собрание. - Заговор против народной воли. - Страшная ночь

Глава двадцать третья:

После разгона Учредительного Собрания. - Восстание на Волге. Чехословацкий легион. - Фронт Учредительного Собрания. - Уфимское Совещание и образование Директории. Переезд Директории в Омск и переворот адмирала Колчака. - Второй разгон Учредительного Собрания

Глава двадцать четвертая:

Мой отъезд в Москву. - Наша легализация как политическая провокация. Нелегальная жизнь в Москве. - Приезд Гоца в Москву. - Приезд английской рабочей делегации и собрание печатников. - Нелегальный отъезд из России.

В. М. ЧЕРНОВ

(19 ноября 1873 - 15 апреля 1952)

Среди лиц, сыгравших большую роль в освободительном движении народов России, имя Виктора Михайловича Чернова, недавно скончавшегося изгнанником в Нью-Йорке, займет одно из наиболее заметных мест.

Родом из самарского Заволжья, из крестьян теперешнего Пугачевского района (в годы детства Чернов слушал не мало изустных преданий о временах Пугачева, имя которого жило в народной памяти, окруженное ореолом мученичества за народное дело), Чернов еще на школьной скамье, в конце 1880-х гг., примкнул к революционному движению, с самого начала выбрав для себя место на его народническом фланге, опорным пунктом которого, еще со времен Чернышевского, был Саратов, - город, в гимназии которого молодой Чернов "грыз зубами гранит классических наук".

С юных лет на взгляды Чернова, - как это не раз подчеркивал он сам, сильное влияние оказывал Михайловский, "властитель дум" революционной молодежи 1870-х годов. Отсюда вышла привычка определять Чернова, как "ученика Михайловского". В этом определении много верного, - но оно недостаточно. Чернов действительно учился у Михайловского, - и на следы влияния последнего, при чтении Чернова приходится наталкиваться очень часто. И всё же определение Чернова, как "ученика Михайловского", и неполно, и неправильно: Чернов "учился" далеко не у одного только Михайловского, - и он вообще был не только чьим-либо "учеником". Мы еще недостаточно отошли от событий последних десятилетий и мы еще

очень мало занимались их научным изучением, а потому нам трудно ставить объективные диагнозы, но теперь ясно, что Чернов уже занял свое особое, - и весьма значительное, - место и в истории русского быродничества, и в общей истории российской общественно-политической мысли, и в большой истории России XIX-XX веков.

Это место значительно, - и именно поэтому его нелегко определить одной формулой: слишком широк был круг интересов Чернова, - слишком разносторонней была его деятельность. Про Чернова часто говорили, что он "разбрасывается", берется за слишком многое, - и в этом упреке, несомненно, имелась доля правды. Он, действительно, интересовался слишком многим и был, действительно, чисто по-русски расточителен в своих силах, всё стремился изучить, всё соглашался взваливать на свои, действительно, крепкие плечи... Точно и вправду он был убежден, что судьба отпустила ему не одну и даже не две, а целый десяток человеческих жизней, и у него на всё хватит времени! Философ, социолог, экономист, историк, критик, публицист, знаток литературы и поэзии, и сам немного поэт (его переводы из трудного Верхарна находили высокую оценку у специалистов), немного сатирик (революционный "раешник", который старая "Революционная Россия" печатала особыми листками, в значительной части был заполнен именно его стихами), Чернов любил не только набирать знания, но и синтезировать их, переносить на бумагу. Общее количество написанного им измеряется, несомненно, многими сотнями печатных листов.

Когда в 1917 г. Ф. И. Витязев-Седенко (так трагически погибший позднее в советских тюрьмах) в качестве руководителя центрального издательства партии с.-р., задумал выпустить собрание сочинений Чернова, то ему пришлось для начала наметить что-то около 40 томов! А это была лишь часть написанного к тому времени Черновым, - и с тех пор прошло уже целых добрых три с половиной десятилетия, в течение которых Чернов тоже немало работал пером...

Но при всем этом обилии и разносторонности его теоретических, политических и литературных интересов, Чернова меньше всего было оснований причислить к категории "книжников" в узком значении этого слова. Книга для него никогда не заменяла жизни, интерес к теории никогда не вытеснял интереса к практике - к повседневным радостям и горестям борьбы, к взлетам и падениям крестьянского и рабочего движения, активным участником которого Чернов никогда не переставал себя ощущать. До седых волос в нем бился пульс 7 молодого романтика-борца, и его тянуло на личное участие в предприятиях, связанных с огромным личным риском, на который другие "теоретики" обычно не шли.

И в 1905-07 г.г., и при большевиках он много колесил по России, - с чужими бумагами, переодетый, порою даже загримированный. За ним нередко велась настоящая охота. Бывало не раз, что полиция, - сначала царская, затем коммунистическая, - нападала на его след, устраивала засады и облавы, производила повальные осмотры целых кварталов. Особенно напряженной эта "охота за Черновым" стала в 1920г., - после того, как его смелое выступление на митинге, устроенном московскими печатниками в честь делегации английских трудюнионов, вызвало бурю восторгов в лагере свободных людей и привело в бешенство лакеев диктатуры. Десятками хватали людей, на которых падало подозрение в "укрывательстве Чернова". В начале 1921 г. автору этих строк пришлось познакомиться в Бутырках со старым большевиком-политкаторжанином (Воробьев из Кустпрома), который был арестован по делу "о сапогах Чернова": у него нашли бесхозные сапоги, относительно которых был донос, что они служили Чернову и были сданы в Кустпром для починки...

Самому Чернову неизменно удавалось от этих облав ускользнуть, - часто в последний

момент, когда казалось, что западня уже захлопнулась: один раз он выпрыгнул из окна второго этажа на людную улицу и был укрыт толпой; в другом случае ушел в солдатской шинели, как солдат-фронтовик, унеся к тому же с собою мешок с архивными материалами... помогала и огромная изворотливость, соединенная с никогда не изменявшим присутствием духа, умение найтись в критическую минуту, и счастливая, типично "русацкая" внешность, которая позволяла ему сливаться с толпой, выдавая себя то за крестьянина-середняка, то за мелкого прасола, то за солдата-фронтовика... В итоге за всю долгую жизнь, полную весьма рискованных приключений, Чернов был арестован только один раз: юным студентом, в Москве в 1894 г.

Но этот элемент большой подвижности в его личной биографии, наряду с разнообразием его теоретических и литературных интересов, с обилием внимания, которое он должен был уделять злободневным политическим вопросам и мелкой 8 партийной полемике, не создает препятствия для определения подлинного места Чернова в большой истории идейно-политических исканий нашего времени. Надо только, для нахождения основных, определяющих линий его деятельности, оторваться от мелких деталей повседневности и с исторической перспективы бросить взгляд на ту эпоху, когда Чернов выходил на арену больших идеологических и политических битв.

Русское революционное народничество, получившее свое боевое крещение в битвах 1870-х г.г. после разгрома "Народной Воли" вошло в полосу жестокого идейного кризиса. Для этого народничества с самых первых его шагов на общественно-политической арене, со времен Добролюбова и Чернышевского, определяющую роль играло сочетание двух основных элементов: с одной стороны, в отношении положительного идеала всё народничество было западническим, т. е. не выдумывало никаких особенных идеалов для России, а субъективно полностью становилось в ряды общего социалистического движения Запада; с другой стороны, в вопросе о путях движения к этому идеалу равным образом всё народничество было самобытным, и все его фракции, как бы они ни расходились в других вопросах, были объединены общностью веры в возможность для России, опираясь на общинные и артельные начала, развивавшиеся в ее деревне, миновать стадию капиталистического развития и придти к социализму своими особыми путями, более короткими и прямыми, чем пути Запада.

Только сочетание этих двух основных элементов, - принятие социалистического идеала Запада и вера в особенные, самобытные пути к нему для России, - и создало то общественное явление, которое вошло в историю под именем революционного народничества.

Тенденции развития России, как они определились к началу 1890-х г.г., положили конец этой старой "двуединой" вере народничества. Было бесполезным продолжать спор о том, может или нет Россия миновать капиталистическую фазу развития. Капитализм уже пришел в ее действительность, уже стал фактором, определяющим пути развития. Отсюда - "кризис народничества" конца XIX века, когда многим казалось, что его "лебединая песня уж спета".

Эти прогнозы оказались неверными. Хоронить 9 народничество было еще рано. Наоборот, оно шло навстречу периоду блестящего расцвета, связанного с эпохой 1905 г., - и этот расцвет неразрывно связан с именем В. М. Чернова. На первом съезде партии с.-р., в январе 1906 года, его председатель И. А. Рубанович, подводя итог работе съезда по принятию программы, говорил о Чернове, как о "молодом гиганте", который вынес на своих плечах весь труд по разработке этой программы. Пересматривая глазами историка факты прошлого, мы должны признать, что в этих словах не было преувеличения. Скорее можно говорить об обратном: Чернов вынес не только труд разработки программы, - он наложил вообще настоль-

ко сильную печать своей индивидуальности на всю идеологию народничества начала XX века, что весь этот период в истории последнего вообще следует называть "черновским".

Чернов омолодил народничество, - и это омоложенное народничество начала XX века заметно отличалось от народничества 1870-х г.г., причем основные линии изменений шли в направлении снижения роли самобытных настроений, в направлении сближения народнической идеологии с идеологией европейского социализма.

В народничество Чернов вообще с самого начала пришел, как продолжатель западной социалистической традиции великих основоположников этого движения. Попытки оборвать эту традицию, которых было немало со стороны всевозможных "попутчиков" революционного народничества, всегда встречали с его стороны решительный отпор. Он сам всю жизнь работал над углублением и расширением этих традиций, и совсем не случайно его первая попытка обоснования народнической программы, как он сам рассказал в своих воспоминаниях, была подбором цитат из западных социалистов, в том числе из Маркса, Энгельса и Бебеля, мысли которых он противопоставлял мыслям русских марксистов. Для него уже тогда, в середине 1890-х г., было важно установить принадлежность идеологии революционного народничества к социалистическому лагерю.

Закрепление и развитие этой западной традиции Чернову было особенно дорого потому, что лишь на этой позиции становилась внутренне цельной та основная борьба, которую он вел всю жизнь в литературе и в жизни, борьба, 10 которую правильнее всего будет определить как борьбу за признание крестьянина равноправным с рабочим партнером в деле построения социализма.

"Самобытные" мотивы в их чистом виде для Чернова при этом играли совсем второстепенную роль. Речь для него шла не о русском только крестьянине (хотя, конечно, он думал, опираясь, прежде всего на факты российской действительности), и дело было не в том, что русский крестьянин обладает какими-то особыми чудодейственными свойствами (хотя русского крестьянина Чернов и очень хорошо знал, и очень высоко ценил), - а в том, что "трудовой крестьянин" вообще, по своему положению в современном обществе ("крестьянин, как экономическая категория"), самой логикой объективного развития необходимо приводится в лагерь социалистического движения.

Борьбу за социалистические права именно этого "трудового крестьянина" Чернов начал в полном смысле слова с первых же своих шагов на общественно-политической арене. Перед мною сейчас лежит рукопись его старой, не увидевшей света статьи, - его первой большой статьи, написанной им еще в тюрьме, зимой 1894-95 г. в ответ на "Критические заметки" Струве: "Философские изъяны доктрины "экономического материализма". В этой статье многое от настроений еще "доисторического Чернова", - Чернова саратовских и дерптских кружков начала 1890-х г.г., когда он еще не вполне "нашел себя". Настоящее его "самоопределение" пришло несколько позднее, за границей, когда он с головой окунулся в литературу международного социализма. Но и в этой старой статье явно звучит этот основной мотив.

"Мы не отвергаем теорию классово-борьбы, - писал тогда 21-летний Чернов, - мы полагаем только, что в основание деления общества на классы должен быть положен какой-нибудь более широкий социологический принцип, чем экономическая расчётливость".

Для "русских учеников Маркса", против которых были направлены эти строки, речь шла, конечно, не об "экономической расчётливости". Этот термин, выбранный Черновым явно по мотивам цензурного характера, не принадлежал к числу удачных, - и Чернов, кажется,

никогда не употреблял его позднее. Но мысль Чернова ясна: он уже тогда вел борьбу 11 против концепции, относившей крестьян к другому социальному классу, чем рабочих, - уже тогда искал такого определения понятия "класс", которое объединяло бы крестьянина с рабочим, а не противопоставляло их друг другу. Иными словами, он искал теоретического обоснования для практики союза рабочих и крестьян.

Первые шаги в области этой практики Чернов начал делать немедленно же по выходе из тюрьмы. Поселенный в Тамбове в качестве состоящего под гласным надзором полиции, Чернов там стал пионером в деле пропаганды среди крестьян и создал первое "крестьянское братство", тип организации, из которой выросли все "крестьянские союзы" эпохи революции 1905 г. (устав этого "братства" был издан "Аграрно-социалистической Лигой", основанной в 1899 г. за границей по инициативе Чернова).

Необходимо указать, что этот тип организации, который на первый взгляд производит впечатление большой самобытности, в действительности был выработан под большим влиянием того же Запада, а именно под влиянием движения сельскохозяйственных рабочих в Италии (см. тогдашнюю брошюру Чернова: "Горемыки благодатного острова", о движении с.-х. рабочих в Сицилии). Практика у Чернова в этой области шла нога в ногу с теорией, и будущий историк не сможет не признать, что тип организации, намеченный им в порядке умелого сочетания опыта западно-европейского и русского, оказался хорошо приспособленным к потребностям нарождавшегося социалистического движения русского крестьянства. Едва ли будет большим преувеличением, если я скажу, что через эти черновские крестьянские братства в период первых лет XX века прошла значительная часть нарождавшейся крестьянской интеллигенции. Опыт всех выборов, включая выборы в Учредительное Собрание 1917 г., давал убедительные тому подтверждения...

Европеизация народничества, обновление его идеологии и практики элементами, взятыми из идеологии и практики международного социализма, таково было содержание деятельности Чернова. Но отмечая эту сторону его деятельности, выдвигая на первый план ее значение, необходимо с тем большей настойчивостью подчеркнуть, что Чернов не просто переводил на русский язык европейские формулировки, не просто европеизировал теорию и практику российского 12 народничества XX века. Он "русифицировал" европейские идеи, пропуская их сквозь призму того, что он считал основой русского народничества, сквозь призму концепции "борьбы за индивидуальность", которая в 1870-х г.г. была основной идеей молодого Михайловского и которая, как рассказал Чернов в своих "Записках социалиста-революционера", с юных лет пленяла последнего "своей эстетической симметричностью и широтой размаха". Эта концепция взаимоотношений между личностью и коллективом стала в полном смысле слова путеводной звездой для Чернова, который из идейной сокровищницы западного социализма брал только то, что помогало закреплять и расширять эту "душу живую" старого революционного народничества.

Европеизация народничества играла большую роль в идеологических исканиях Чернова, - но она для него была не самоцелью. Перечитывая теперь его работы, становится ясным, что перед ним уже давно маячила много более заманчивая, много более далекая перспектива: он мечтал о построении новой, внутренне целостной концепции социализма, в которой достижения народнической мысли в эпоху ее расцвета были бы синтетически сплавлены с результатами и систематических поисков теоретиков, и неустанной кропотливой работы практиков социалистического движения Запада...

Он превосходно понимал сложную трудность этой темы, - и подходил к ней с большой

осторожкой, с разных сторон, как будто нащупывая почву и сам себя проверяя. В этих попытках будет полезно разобраться будущему историку народнической мысли: тогда станет ясным, что многое, казавшееся случайным наблюдателям почти беспорядочным перескакиванием Чернова с одной частной темы на другую, в действительности было внутренне связано, если не единым планом, то, во всяком случае, поисками такого плана: сложность основной темы, поисков синтеза между потребностями построения социалистического коллектива и создания условий, при которых возможно создание "целостного человека", требовала ее проверки на темах частных, обязывала к экскурсам в области, кажущиеся на первый взгляд совсем далекими от основной темы...

Вплотную за работу над этой темой Чернов смог приняться только после революции, во второй эмиграции, 13 которая началась с конца 1920 г. На этот раз трактовку темы пришлось, конечно, усложнить введением критического разбора не только старых теоретических построений, но и анализа результатов практических экспериментов как в Европе первых лет после Версаля, так и в СССР. Он считал, что мир вступает в новый период истории социализма, который он, в отличие от предыдущих периодов утопического и научного, определял, как конструктивный. Это название, - "конструктивный социализм", - Чернов дал и своей большой работе, написанной им на эту тему. Первый том ее появился четверть века тому назад, - он весь был посвящен вопросам, как писал Чернов, "социализма индустриального". По плану, за первым томом должен был последовать второй, который должен был трактовать аграрную проблему и проблему мировую социальную. Этот том был закончен, - в результате очень большой работы. Но света он не увидел, - и есть все основания опасаться, что и не увидит: его рукопись, вместе со всеми остальными бумагами Чернова, погибла в годы обвала вызванного гитлеровской агрессией...

Это был крайне тяжелый удар для автора. Если не ошибаюсь, этот труд был бы вообще первой цельной работой русского социалиста, охватывающего основную проблематику общей теории социализма: несмотря на почти повальное "принятие" социализма русской интеллигенцией конца прошлого и начала нынешнего столетий, изучением большой теории социализма мы почти не занимались... Задача ликвидации старого строя настолько властно господствовала над нашим сознанием, что большая проблематика социализма нас почти не интересовала. Чернов в России в этом отношении был в полном смысле слова пионером (только в некоторых пунктах к этой проблематике подходил еще едва ли не один только А. А. Богданов-Малиновский), - тем больший интерес представляет эта работа, даже в том незавершенном виде, в каком она до нас дошла.

"Конструктивный социализм" показывает Чернова убежденным сторонником эволюционного социализма, признающим возможность построения социалистического общества только методами демократии. Практика большевистской революции, конечно, не могла не оказать огромного влияния на Чернова, не могла не заострить его отрицательного отношения к 14 диктаториальным методам большевистского "деструктивного социализма" первой эпохи их диктатуры, но в своей основе отрицательное отношение к этим методам у Чернова более давнего происхождения. Оно явно связано с его основной и общей ориентацией на крестьянина, как на решающую силу в деле построения социализма. В свете этой работы новое значение получают старые споры начала 1900-х г.г., в которых Чернов играл столь большую роль.

В 1902-03 г.г., в момент особенного обострения полемических схваток между "Революционной Россией" и "Искрой" кто-то из авторов последней бросил хлесткую фразу о социа-

листах-революционерах, которые это название себе выбрали потому, что их "революционность не социалистична, а социализм не революционен". Эта фраза была брошена с целью оскорбления, - и именно как оскорбление она была тогда воспринята обеими сторонами. Чернов и его друзья с негодованием отвергали обвинение, - но теперь ясно, что дело было далеко не в одном желании уязвить противника. Если вылущить подлинное содержание этой фразы, то окажется, что полемист правильно уловил элемент, который теоретики "Революционной России" в то время, быть может, и сами еще не вполне ясно осознавали. Они, действительно, были последовательно революционны в борьбе за раскрепощение страны от абсолютизма, - за установление в стране подлинной демократии. Но позднейшее развитие страны от политической демократии к социализму они себе представляли не вполне отчетливо, - во всяком случае, не обязательно в революционных формах, не обязательно революционными методами.

В стране, где крестьянство составляло больше 85% всего населения, ориентация на крестьянство, как на силу, потенциально сочувствующую социализму, действительно, не могла не обязывать по меньшей мере к допущению возможности эволюционного развития. По отношению к демократическому государству борьба за социализм социалистов-революционеров "черновского толка" уже тогда, в период революции 1905 г., содержала элементы, из которых можно было делать выводы в духе эволюционного социализма. По существу, в этом и было "черновское" решение той проблемы о путях развития России к социализму, "самобытный" подход к которой составлял основу всего народнического направления в русском 15 революционном движении... Он делал свою большую историческую ставку на неизбежность роста социалистических настроений среди крестьянской интеллигенции, - на тот самый процесс, который в 1922 г., конечно, под совсем другим углом зрения отметил и Ленин, говоривший о "химическом процессе" выделения с.-р.-ов деревенской кооперацией...

...В кружках учащейся молодежи, где 60-65 лет т. н. Чернов начинал свою общественно-политическую карьеру, о социализме имели весьма туманное представление, но два основных элемента его уже знали: прежде всего, было известно, что, говоря словами Короленко, "одна свобода, без социальной справедливости, неполна"; с другой стороны, в отличие от пионеров народничества начала 1870-х г.г., было уже известно, что "свобода является необходимым условием осуществления социальной справедливости". Поискам путей к этой свободе, органически связанной с социальной справедливостью, Чернов отдал всю свою жизнь. Далеко не каждый его шаг был правилен, далеко не каждое его выступление будущий историк поставит ему в кредит. Но большую основную линию его исканий, те, кто идут нам на смену, не забудут.

Вышедший из глубин крестьянской, "мужицкой" России и хорошо знавший деревню, Чернов не только знал умом, но и ощущал всей натурой, что в России узловым вопросом всех вопросов является вопрос о крестьянстве. Он знал, что в России без крестьянства, а тем более против крестьянства, нет возможности строить общественные отношения, которые отвечали бы требованиям гармонически согласованных свободы и социальной справедливости. И в то же время он был убежден, что крестьянство, в лице его передовой интеллигенции, может стать в ряды сил, работающих над построением именно таких общественных отношений. Социализм, пропитанный элементами недоверия и даже вражды к крестьянству, необходимо приводил бы к возникновению в крестьянстве вражды к социализму, недоверия к социалистам. И, наоборот, ориентирующий на крестьянство социализм имеет все шансы за-

воевать на свою сторону огромные крестьянские массы.

Отсюда выростала двуединая задача, которая стала основной и для теоретических исканий Чернова, и для его практической деятельности: создать теоретические основы 16 социализма, дружественно настроенного в отношении крестьянства, и содействовать формированию в крестьянстве сил, считающих своим делом свободу и социальную справедливость.

Проживший очень долгую жизнь и очень много видевший, обладавший превосходной памятью (он писал про себя, что в молодости его память была "абсолютной, - на подобие абсолютного слуха": он легко запоминал наизусть целые абзацы, почти страницы), Чернов считал своим моральным долгом перед погибшими соратниками и друзьями рассказать о прошлой борьбе. Он несколько раз принимался за писание мемуаров, - первый том его "Записок социалиста-революционера" был им написан еще в Москве, во время проживания там на нелегальном положении в 1919-20 г.г.

Различные причины мешали осуществлению этих планов, - но количество отдельных очерков, посвященных воспоминаниям о погибших или рассказам об отдельных наиболее значительных эпизодах, было очень значительно. Часть их появилась в печати, - многие только в иностранной; другие вообще сохранялись только в рукописи (из них, к сожалению, значительная часть вообще погибла). За последние годы своей жизни Чернов, уже тяжело больной, думал привести в исполнение свои планы об издании воспоминаний. Но писать наново он уже не имел силы... Д. Н. Шуб с любовью и интересом взял на себя трудную и в высшей степени ответственную работу собрать и пересмотреть готовившиеся для печати рукописи очерков и воспоминаний В. М. Чернова и свести все эти материалы в целостный труд. Если б не было этой дружеской помощи Д. Н. Шуба, предлагаемая ныне вниманию читателей книга не увидела бы света.

Б. Николаевский.

17

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Волга, Волга, мать родная.- Детство.- Семья,- "Двухпалатная система".

Я родился в Заволжья, в краю необозримых степей - в городе Новоузенске Самарской губернии. Недалеко отсюда же, на широком волжском водоразделе между губерниями Самарской и Саратовской, в городе Камышине, провел я большую часть детства, всё отрочество и пору зеленой юности. Мой родной город лежал на правом берегу Волги, при впадении в нее обмелевшей реки Камышинки. Еще на памяти старожил она представляла собой неглубокое, но широкое водное пространство, покрытое густыми зарослями камышей. Когда-то в них легко укрывались целые гребные флотилийки "удалых добрых молодцев", искавших в приволжском безлюдьи приюта, освобождения от тягот старой власти и закона, возможности дерзко стать самим себе единственным законом и единственной властью. С миром, от которого оторвались, они были в состоянии непрерывной войны. Подстерегая в укрытии камышей отдельные купеческие суда и целые караваны, они стрелой вылетали на быстрый стрежень, оглашая водные просторы туземным не русским кличем: "сарынь на кичу" (выходи на корму), что означало требование безусловной сдачи на милость нападающих.

Иные камышинские старожилы, следуя ли темным, уже в дни их юности ветхим преданиям, или же давая волю фантазии, брались даже указывать излюбленные места притонов витязей речного абордажа, и сыпали именами Васьки Чалого, Еремы Косолапа, Кузьмы Шалопута... По-своему бесспорен был, однако, лишь западнее Камышина лежавший очень большой курган, в форме сильно усеченной пирамиды, с плоскою и довольно широкою ров-

ною вышкой - такой одинокий и необычайный среди окружающей его со всех сторон степной 18 глади. Предание связывало его с именем Стеньки Разина; но, надо думать, он был много древнее. Его давно уже собирались раскопать заезжие археологи, но дальше разговоров дело почему то не двигалось. Из этих речей, звучавших важно и авторитетно, сыпались слова хазары, куманы, уззы. На украдкой прислушивавшихся детей, кажется, речи эти производили больше впечатления, чем на занятых своими делами отцов. Для нашего слуха особенно сказочно звучало свистящее имя "уззы"; мы их представляли себе всадниками, неразлучными со своими конями, почти что людьми-кентаврами, и мы любили "играть в уззов", взбираясь с помощью конюхов на неоседланных лошадей, которых они водили на берег Волги, на купанье и водопой. Мы наслаждались, учась дико гикать и стараясь придать нашим смиренным четвероногим вид полудиких степных летунов.

Прислушиваться к разговорам старших было вообще одним из любимейших моих удовольствий. Я многое бы дал, чтобы присутствовать при уроках старших сестер, но меня, как малыша, заботливо удаляли, ни за что мне не веря, будто я смогу "сидеть, как в рот воды набравши". Тогда я пошел на хитрость: задолго до начала урока потихоньку забирался в заветную комнату, где что-то читали и учили втайне от меня, залезал под широкий и длинный учебный стол и высиживал там часами, ни разу не кашлянув, не чихнув и не шевельнувшись. Память у меня оказалась редкая, что-то вроде "абсолютного слуха" в музыке; скоро я, не умевший читать, "с голоса" запоминал почти всё, что старшим объясняли и задавали, особенно стихи, и мог бы даже сестер поправлять или им подсказывать, где они спотыкались. Но переполненный всем этим багажом, я удержать его не мог, и как-то раз, когда сестер заставили щегольнуть своими знаниями в обществе родных и близких друзей, я пришел в азарт и вступил с ними в соревнование. Успех я имел превеликий, но еще больше было всеобщее недоумение: откуда у неумеющего читать малыша могло "всё это взяться", вплоть до длинных стихов Пушкина? Удовлетворительного ответа я дать не мог. Тут стали обращать внимание на то, что в часы уроков я всегда куда-то исчезаю, начали догадываться и, наконец, меня "открыли" и торжественно с хохотом извлекли из-под стола. Тут уж мне было разрешено присутствовать на уроках, но чинно 19 и молчаливо. После этого, однако, охота моя к их слушанию сильно охладела. Запретный плод слаще.

Волга в моем детстве играла огромную роль, - впоследствии, думая о ней, я не раз мысленно сравнивал ее с той ролью, которую играла она и в младенчестве самого русского народа. Не повторял ли я в своей "маленькой жизни", в миниатюре, его большие судьбы, его поиски, блуждания и скитания?

Я рос в значительной мере беспризорным, предприимчивым, своевольным бродягой.

Пара весел, лодка, несколько удилиц были моей хартией вольностей. Забежав на кухню, я получал старый котелок, краюху хлеба, две-три луковицы, побольше картошки и еще - вот что легко забывалось, и о чем, ни за что не надо было забыть - маленький сверточек соли. Рыбы я налавливал вдоволь, предаваясь этому занятию с редким фанатизмом и даже, кажется, воображая, что в нем не имею себе равных. Уха выходила у меня крепкая, наварная, костер весело трещал под котелком, а в оставшейся после костра горячей золе свежее испеченный картофель был слаще всех яств. Но если клёв был хороший, то случалось, что об еде я вообще забывал, и привозил нетронутыми домой все матерьялы моей незатейливой кухни.

Моим честолюбием было - найти способ излавливать крупную рыбу там, где все довольствовались частым клёвом мелочи. Я в совершенстве изучил способ клёва всех водящихся у нас сортов рыб и обычно по первым же движениям поплавка верно догадывался, с

кем имею дело - с жадным ли окунем, с медленным ли линем, ленивым солидным лещём или сильным и упорным сазаном. Чтобы поспеть к наилучшему клёву, я выезжал с расчетом уго- дить в излюбленное место задолго до восхода солнца; и там, спрятавшись в тальнике или камыше, присутствовал при незабываемом таинстве пробуждения от сна непуганной людьми, доверчивой природы. Легкой балериной, едва касаясь листьев кувшинок, пробегала водяная курочка: ухитрившись однажды поймать ее, я узнал ее тайну: у нее почти нет тела, - как буд- то один пух и перья.

Потом выплывала с заботливо снующей молодой осторожная утка. За ними с берега хищно следил длинный, тонкий, грациозный хорек: а когда он принимался играть на сол- нышке - то грации и легкости его забавных пробега, кувырканий, 20 прыжков, клянусь, я не знаю ничего равного. Но это редкое зрелище надо было подкараулить, и я знал мало людей, которым это удавалось. Вихляясь во все стороны, часто проплывал мимо уж; поднимала лю- бопытно из воды тупую голову черепаха. Близко к берегу, подстерегая змей и мышей, под- ходила степная ежиха, ведя за собой свору своих маленьких, на которых иглы были еще со- всем мягки и не серо-стального, а буро-зеленоватого цвета. Рыбная ловля учит двум вещам: бесконечной терпеливой выдержке и величайшему живому чувству природы.

Мне же город был искони душно-тесен и неприятен, семейный дом - более чем наполю- вину чужой, по причинам, о которых будет сказано после. Я был сознательным "бегуном" от них. И вот, теперь я спрашиваю себя: а разве наш народ не был таким же странником, бегу- ном, "землепроходцем"? Разве не в привольи безлюдного севера, не в горах и лесах Урала, не в степях Понизовья, Закаспия, Сибири, развивалась его вольная душа, разворачивалась его фантазия, цвела песня и легенда, крепла "воля вольная", широкий размах души? И то, что пережил я, не было ли глухим, бессознательным отголоском тайного зова родовой жизни?

Но всё это - вопросы, родившиеся после. В детстве я обходился без них, и всё, что могла мне дать Волга, брал просто, свежо, без размышлений и рефлексии.

Какое это было счастье - улизнуть из стен скучного, неприятного дома, после сумерек забраться на большую лодку, выехать на середину реки и отдаться на волю ее мощного тече- ния, фантазируя о том, что может быть нас несет как раз сейчас над занесенными речным песком дворцами и гробницами хазарских владык, полными тайн и несметных богатств, о скрытии которых отводом реки из ее прежнего русла я слышал поразившую мое воображе- ние легенду? А в полнолунную ночь что могло быть лучшего, как очарованно любоваться феерическим колдовством месяца, наискось, через всю реку бросавшего блистательную, едва вздрагивающую и колеблющуюся по краям серебряную дорогу? А какое чувство невообра- зимой бодрости вливалось в сердце, когда большой четырехугольный парус выпукло наду- вался ветром и нес против течения, заставляя мелькать поспешно и убегать 21 куда-то назад берега, Деревья, поля, дома, колокольни церквей.

Но Волга не всегда баловала, не всегда послушно служила. Спокойная и волшебная ти- хою ночью, она становилась суровой и грозной, когда на нее налетала моряна. Так звался у нас упористый, обычно многодневный ветер с моря, "с Каспия широкого". Он дул с юга, но не по-южному. Он вздымал разгневанную Волгу дыбом, вспенивал срывами "беляков" греб- ни разгуливающих по ней бурунов. Волга принималась буянить не на шутку: расшатывала и разрывала скрепы огромных, шедших с верховий Камы плотов и разметывала во все стороны их длинные увесистые бревна, словно палочки. "Перевозные" пароходы, поддерживающие связь между горной и луговой сторонами реки, частенько предпочитали в такие дни не под- вергаться опасной боковой качке и благополучно отстаиваться там, где застала непогода, в

том расчете, что моряна часто успокаивается к вечеру, чтобы с утра снова засвистать и расшуметься с новой силой. Даже пассажирские пароходы, опасаясь, как бы их не ударило внезапно о пристань при подходе, часто искали какого-нибудь слегка защищенного заворотом реки места и отстаивались там на всех своих якорях.

Однажды я с двумя спутниками едва не погиб, застигнутый моряною "на той стороне", куда мы забрались для очередных рыболовных подвигов. У меня как-то всегда выходило, что товарищами моими по похождениям были младшие, сравнительно со мною, мальчуганы: я был их коноводом, я их вербовал, и они на меня надеялись, как на старшего. В этот раз мне было без малого 10 лет, а им одному 9 лет, другому 8. Моряна иногда налетает внезапно, оповестив о себе опытный глаз появившейся на юге и начинавшей приближаться вдоль речной поверхности темносерой полосой. Ее я во-время заметил, и мы вернулись, рассудив лучше перебраться домой на "перевозе". Но перевоз в этот день не пошел вовсе. Нам не везло. Моряна разыгралась во-всю. Подавив в себе досаду, мы решили быть благоразумными и "ждать у моря погоды". И тут-то, как нарочно, из кустов вышли и направились к своей полувытащенной на песок лодке четверо здоровенных волгарей-рыбаков. Люди, видимо, были не робкого десятка и всякого рода виды выдвали: им было не в 22 диво перемахнуть в шторм на ту сторону парусом, на крепость которого они уповали всецело. Один из них, видя наши завистливые взгляды, вдруг сказал - может быть, наполовину в шутку: а ну, ребята, хотите - айда с нами, возьмем и вас на причал, и конец делу! За такое соблазнительное предложение мы не могли не ухватиться с восторгом. Старший из волгарей, был явно недоволен, что-то ворчливо выговаривал остальным; те как будто замялись, но предложение было уже сделано и принято; отступать им мешала, видно, самоуверенная гордость, да русское "авось и небось".

Сказано - сделано: с носа нашей лодки причал был прикреплен к ним на корму, парус развернут. И тут все пошло молниеносным темпом. Парус упруго выгнулся вперед, набрал ветра и нас стремительно понесло: берег быстро уплывал куда-то назад; нам было восторженно весело, как вдруг над самыми нашими ушами раздался точно громовой пушечный выстрел. То лопнул пополам, не выдержав двойной тяги, хваленый парус. Лица волгарей вдруг потемнели. Они быстро переглянулись между собой и один, кашлянув, крикнул: "Ну, ребята, теперь надо выбираться на веслах. Мы прямо дальше поедem, а вам лучше назад: тут однако ближе". Наш причал полетел обратно на нос нашей лодки, и мы оказались брошенными на произвол бушующих и сердито трепавших нашу лодку волн. Я понимал: нам прямо держать назад нельзя, слабо нагруженную лодку опрокинет первый же хороший бурун: надо грести наискось, надо резать носом волну, но в то же время исподволь гнуть к берегу. Объяснить это своему осьмилетнему рулевому я объяснил, но руль у нас был навесной, удобный лишь в тихую погоду; а теперь, как только корму подымало волной, он только вертелся зря по воздуху. Тогда править приходилось веслами же, а потому грести с перерывами, вполсилы; силы же всё-таки были ребячьи. Лодка плясала на волнах, а двигалась ли вперед, или ветром ее относило всё дальше - мы себе не отдавали отчета. Холодком по телу пробегала оторопь: ничего не выходит, одна дорога - ко дну. Я затаил эту мысль, делая вид, что всё в порядке, но, кажется, для моих ребят убедительной бодрость моя не выходила.

И вот, один из них, тот, что сидел "на вторых веслах", вдруг выпустил их из дрожащих рук, принялся креститься и прерывистым голосом нас убеждать, что всё 23 погибло, и осталось нам только стать всем троим на колени и молиться Богу; а мой "рулевой" просто залился жалким детским плачем, зовя "маму"... Вспомнив опять, что я старший и за них в ответе, я

откликнулся яростными ругательствами и несколько времени отчаянно работал один за всех троих - пока, наконец, они не опомнились и не принялись тоже что-то делать. Сколько прошло времени - не знаю, казалось, что целая вечность. А тут еще через борт всё время переплескивала вода, ее набралось достаточно, ее надо было вычерпывать, а на это не было лишних рук, и я тщетно бросал беглые взгляды кругом - не видно было никого, кто спешил бы на помощь... Казалось, это была агония...

Потом мы узнали, что мой отец, обеспокоенный моим отсутствием в такой шторм, увидел в бинокль всё наше приключение с чужим парусом и спешно послал на "спасательную станцию". Там уже усмотрели нас в подзорную трубу и снарядили на выручку большой бот с надежными гребцами, когда вдруг заметили, что мы (сами того не понимая) счастливо, хотя и по-черепаши, медленно выбивались к длинной, далеко выдающейся песчаной косе, где прибой по виду сильнее, но всё начинает сулить спасение. Так и было: но когда оставалось спрыгнуть в довольно мелкую воду и проташить лодку к берегу, я вдруг убедился, что руки мои повисли, буквально как плети, и, хоть убей, больше ни на что не годны. Это была реакция на пережитое и пережитое. Я, очевидно, последние десятки минут работал уже не на мускулах, а только на одних нервах, делавших возможным физически невозможное.

Потом бывало у нас и еще не мало водных приключений, но мы уже подросли, стали сильнее и опытнее, и когда моряна не слишком свирепствовала, нарочно выезжали, хотя не слишком далеко, чтобы поупражняться в борьбе с нею. Как-то раз мы выбились из беды, хотя шторм налетел на нас ночью, и приходилось держать руль вслепую. Зато один раз только каким-то чудом мы не погибли, зазевавшись и нарвавшись на "беляну". Беляною называлось пускаемое с камских верховий вниз по течению огромное сооружение из хорошо пригнанного друг к другу теса, причем, его с удивительным чутьем равновесия, кверху даже расширяли, чтобы больше его пришло не намочшим. Такие грузные гиганты двигались медленно, 24 течение их нагоняло, ударялось о них, разделялось двумя стремнинами по обоим бокам, а третья стремнина, чтобы пройти под дном беляны, шла вертикально вниз коварно затягивавшими в себя водоворотами. Похолодев от опасности, я как-то не думая, инстинктивно, как автомат, наставил в упор навстречу летевшей на нас стене сплошного теса массивное переднее весло, другой конец его обеими руками уперев в борт лодки. Лодку сильно потрянуло, она черпнула воды, послышался громкий треск, я очутился на дне лодки, а у нас осталось лишь два обломка переломившегося весла. Лодка же, сотрясаясь, жутко шурша и треща, неисповедимыми путями проскользнула-таки вдоль борта беляны: - счастливая случайность, стоявшая на границе чуда.

Что еще сказать о наших похождениях? Их отчаянностью мы щеголяли. В наших местах встречалось немало невзрачных, сереньких, но опасных своим ядовитым укусом гадюк. Мы откуда-то узнали, что обезвредить их очень просто: надо лишь схватить змею за самый кончик хвоста и сильно потрянуть в воздухе. Соответственный хрупкий позвонок у нее ломается, и как бы судорожно ни извивалась она всем своим остальным телом, но головой за схватившую руку она дотянуться никак не может. И вот с видом притворщиков мы торжественно шествовали через весь город, с живой ядовитой пленницей в голой руке, привлекая поодаль сбравшихся любопытных, с жутким страхом следивших за мельканиями длинного змеиного языка, в котором они хотели видеть смертоносное жало.

Многим обязаны были мы величавой в своем тихом течении и страшной в поединках с бурями реке. У воспитанных ею развивалось понемногу верность глаза, точность движений, сила мускулов, хладнокровие, уверенность в себе, и привычка не бояться опасности, но гля-

дочь ей прямо в глаза. В подрастающем поколении своих детей река зарождала, по своему образу и подобию, элементарную стихию упрямой и непокорной воли. Кое-что из этого перепало и на нашу долю - и за это ей вечная наша благодарность. Что вышло бы из нас без нее?

Но не только сама по себе влекла нас Волга. Она развертывала перед нами перспективы всё новых и новых сухопутных походов.

25 Хорошо было, выпрыгнув из лодки, разминаться, устремляться по левой, луговой стороне реки без цели, без намеченного заранее пути - просто куда глаза глядят, куда манит случайно взор и воображение. Выбирай, что хочешь. Здесь - заросли тальника, где выпугивается из гнезд всякая водяная дичь: тут впадины заросших кувшинками озер с внезапными рыбьими всплесками; а там густые, густые сенокосы, по которым надо пробираться осторожно: из них как раз нашего брата, зря мнущего траву, умеют хорошо пугнуть "хохлы" - слобожане, которых мы звали казаками: народ гордый и сердитый. Иной раз вдруг развернется перед тобой новый по-своему фантастический край: то сплошное необозримое царство серебристого ковыля, высокое и ровное травяное море, то слегка колеблющееся и поблескивающее, то вдруг начинающее ходуном ходить под ветром, с перекатывающимся по нему, словно по настоящему морю, широченными и крутыми валами...

И сколько неожиданных встреч таила в себе эта степь! То поднималось стадо свиней, полуодичавших и никем до времени не хранимых, кроме матерых клыкастых кабанов-вожаков, нечаянно наскочив на которых быстро обращались в постыдное бегство самые самоуверенные наши городские собаки. А там - огромные тяжелые степные птицы, дрофы, что-то вроде диких индюков: для взлета им надо было разбежаться по земле, забрав инерцию движения - так, примерно, как это нужно нынешним аэропланам. Но чем всего магичнее действовала степь - это просто своей необозримостью, ширью, дух захватывающим простором, тянущим к себе, как тянет иногда даже против воли разверзшаяся внизу пропасть или речной водоворот. Но вместе с тем простор этот рождал неизъяснимое и незабываемое чувство свободного размаха и жадных порывов к каким-то неиспытанным и безграничным возможностям.

А чего стоит вешний или летний полдень в степи, густо напоенный ароматом диких трав и цветов, как будто разнеженных, разомлевших от жарких прикосновений солнца! От весеннего воздуха, от медовых ароматов мы под конец изнемогали, шатались, как пьяные, и сваливались под тень кустов, чтобы фантастику жизни сменять на такую же фантастику сновидений. Да, степь - это жаркая сказка природы. Вкусите 26 только еепряного дыхания - и в душе вашей вечно останется ее зов, которого не заглушат, не изгладят в душе долгие годы, проведенные вдали от нее.

С незапамятных времен мечтательно пели наши старинные протяжные местные песни о том, как "далеко степь за Волгу ушла" и как "в той степи широкой буйна воля жила". Пела и о том, как влюбленный в эту волю "отчий дом покидал, расставался с женой, и за Волгой искал только льготы одной". Укоряла песня и Волгу за то, что уходя в безбрежную даль, что-то в ней ища и находя, ничего из этого не присылала назад: "в тебе простор, в тебе гулять раздолье, а нам тоска, и темь и подневолье"...

Нераздельно с этими песнями в памяти моей всегда вставала низко склонившаяся над детским изголовьем и тихо покачивающаяся фигурка - маленькая, иссохшая фигурка нашей древней бабушки (она умерла, немного не дожив до полных ста лет) - с пергаментным, изрытым рытвинами морщин лицом. Разматывая бесконечную нить своих воспоминаний, сказки

меня на были, она даже пыталась иногда своим глухим, хриплым и надтреснутым голосом передавать мелодии каких-то мотивов, тут же утопавших в бессильном кашле. И всё-таки в ее дряблом бормотании звучала музыка нашего приманчивого края и красочной эпохи, в которую он слагался и рос.

Я давно знаю: каждая область имеет свою особую печать, свою собственную неуловимую "душу". В ней живет напоенность прошлым - великого и буйного, или приниженного и скорбного. Мое Поволжье ею было бесконечно богато. Нельзя было без особенного волнения петь старую, суровую песню понизовой вольницы:

Мы не воры, не разбойнички,
Стеньки Разина мы работнички...
Мы рукой взмахнем - корабель возьмем,
Мы веслом взмахнем - караван собьем,
Кистенем взмахнем - всех врагов побьем,
А ножом взмахнем - всей Москвой тряхнем!

Я и спутники моих детских лет не были баловнями судьбы, - скорее ее пасынками. У меня лично жизнь в отчем доме 27 сложилась не лучше и разве немногим хуже, чем у многих, мне подобных.

Отец мой родился в крепостной крестьянской семье и мальчиком помогал старшим во всех обычных мужицких работах. Он до глубокой старости любил щегольнуть лихой, размашистой косьбой, и косил, действительно, мастерски. Но дед мой, его отец (мне, младшему из внучат, лично неведомый) как только вышел на волю, так и порешил: во что бы то ни стало избавить сына от муторной мужицкой доли. И мой отец отдан был в уездное четырехклассное училище. Хорошо окончив курс, он получил дедовское благословение на царскую службу, да еще на каком ответственном посту - младшего помощника писаря уездного казначейства! Начав с этого, он медленно, размеренно и терпеливо шагал со ступеньки на ступеньку вверх по лестнице служебной иерархии: подолгу сидел в писарях, канцеляристах, помощниках делопроизводителя, делопроизводителях, бухгалтерях и т. д., и, наконец, к сорокалетнему возрасту достиг в своем казначейском муравейнике вершины-вершин: стал уездным казначеем. Параллельно должностям шли чины. Конечною доступною ему здесь мечтою был орден святого Владимира, связанный с личным дворянством: и он ее достиг, вместе со званием коллежского советника, при отставке превращаемым в "статского", всегда одною ступенькою отстоящего от штатского "превосходительства".

Женился он, по-видимому, очень удачно и счастливо. Сколько-нибудь связные воспоминания о нашей матери сохранил лишь старший из нас, Владимир, которому в год ее смерти пошел десятый год. Я был младшим, последним. От матери еще некоторое время сохранились ее любимые книги, свидетельствовавшие о ее необычайной для нашей глуши культурности. Они принадлежали к передовой литературе ее времени, т. е. шестидесятых и начала семидесятых годов: писаревское "Русское Слово", благосветловское "Дело", курочкинская "Искра" и даже отдельные номера герценовского "Колокола". Как-то раз мачеха нечаянно забыла на столе, а я нашел вещь, которую я по малолетству оценить еще не мог. То был, как я потом понял, старинный наивный альбом того образца, который был в ходу еще в пушкинские времена. Меня в нем поразила необыкновенная каллиграфия, которую могло 28 родить только мягкое гусиное перо былых времен, с его изысканным чередованием тонких линий и тщательных нажимов, и с щегольством витиеватых "росчерков", иной из которых сам по се-

бе представлял целое художественное произведение.

Старший брат и старшая сестра потом рассказывали, что в альбоме нашли свидетельство литературных знакомств матери. Но в наших руках альбом пробыл недолго: мачеха заметила пропажу, очень рассердилась, увидев нас, склонившихся над альбомом, сейчас же у нас его отобрала, и больше мы его не видели - от него не осталось и следов.

Какими судьбами занесло за Волгу, в степь между Малым и Большими Узеньями, в захудалый Новоузенск, эту женщину с высшими запросами духа и, по рассказам, умевшую держать себя с подкупающей простотой, скромностью и редким тактом, выделявшим ее из окружающей среды? Как она, происходя из скромной, но всё же дворянской семьи Булатовых, предка которой семейная легенда хотела видеть в каком-то кавказском выходце, "князе" Бей-Булате, - вышла замуж за человека полуобразованного, едва-едва только успевшего выбиться в свет из сермяжной степной деревни? Об этом у нас были только обрывки сведений; родственники наши извлекали их из скупых рассказов нашей бабушки в последние годы ее жизни, когда речь ее связностью не отличалась. Дело, по-видимому, было в том, что в девичьи годы у нашей матери были какие-то большие сердечные разочарования, заставившие ее разлюбить столичную жизнь и принять решение - схоронить себя в каком-нибудь тихом уголке, где о "прошлом" ничто ей не будет напоминать. С другой стороны выходило, что просто семья ее внезапно обеднела и столичное жительство стало ей не по средствам, а в Новоузенске, где у них были какие-то родственники, прожить можно было на сущие гроши. Были ли это две разные версии причины появления будущей нашей матери в степных Заволжских местах, или просто две разных стороны одной и той же версии - кто знает? Так или иначе, эта образованная, замкнутая и меланхолическая женщина в Новоузенске слыла "живой загадкой", и при том загадкой очень интересной.

Что касается отца, то, конечно, образовательный ценз его был весьма низок. Однако в провинциальной глуши он представлял собою нечто, не совсем заурядное. И в самом деле, в 29 сорок с лишним лет - каким он живет всего сохранился в моих воспоминаниях - он был еще в полном смысле этого слова "душою общества". Он был по натуре очень широк, весело-приветлив и добродушен, любил принимать и угощать, и к нему "на огонек" охотно шли многие, когда хотелось, чтобы на душе стало полегче и посветлее. Он довольно ловко владел и бильярдным кием, и охотничьим ружьем, и удочкой спортсмена-рыболова; в преферансе и винте считался профессором. Жилка общности была в нем очень сильна - он вечно организовывал какие-нибудь клубы, пикники (обязательно с ловлей "бреднем" и варкой ухи под открытым небом), а еще более - любительские спектакли, в которых и сам охотно участвовал, особенно в излюбленных им пьесах Островского. Он был недурной чтец (я мальшом был твердо убежден, что отец читает лучше всех людей в мире!) и обладал кое-какими голосовыми средствами; где был он, тотчас составлялся и хор. От него самого в минуту откровенности мы узнали, что он в юные годы был очень влюбчив и в увлечении склонен ко всяким безумствам.

У отца сказывались кое в чем черты оригинальности. Он был в делах религии большим вольнодумцем, а церковь почти положительно не любил, - и это в среде, где если не внутренняя религиозность, то показное благочестие было неременным признаком "хорошего тона". Как-то, разговорившись с ним на эту тему разумеется, когда мы были уже взрослыми, - мы стали его шутливо допрашивать, да сможет ли он правильно прочесть - ну, хоть одну молитву? Он шумно запротестовал, но на проверку у него, с первого же абзаца вышло Бог знает что такое: "Отче наш, иже еси на... небеси горе, и на земле низу, и на водах под зем-

лею"... и он, увидев, что запутался, сконфуженно умолк.

В вопросах общественных он далеко не ушел, но в одном был так тверд, что с этого пункта сбить его не было никакой возможности. Земля, по его мнению, рано или поздно должна была вся отойти к крестьянам, ибо только они одни и есть настоящие дети земли, только они к ней относятся с подлинною сыновнею любовью. Помещики же на земле только зря и без толку балуются, да сквернят ее, обращая в средство наложения на деревню кабалы. Между землей и мужиком они встречаются, как лишние и ненужные, и отстранить их вовсе 30 прочь самое будет святое дело. Видно было, что эта мысль засела в его голову крепко, явно всосанная с молоком матери: сказывалась печать его деревенского происхождения. Он никогда не хотел маскировать ни пробелов своего образования, ни недостатка хороших манер и всего того, что в его кругу считалось воспитанностью. Он любил повторять - и было трудно разобрать, из самоунижения или же, наоборот, из плебейской гордости: "я ведь мужик, мужиком родился, мужиком и умру".

Кажется, что при коснувшихся матери столичных и общелитературных народнических веяниях ему у матери это повредить не могло. В конце концов, натуры у них были явно несходные: более тонкая и глубокая у матери, более примитивно-здоровая и счастливая у отца. Семейная жизнь пошла у них гладко, но здоровье матери подрывала частая беременность. Кроме нас, выживших, она в разное время родила еще несколько (трех или четырех), унесенных разными детскими болезнями детей.

Она сама была слабого здоровья и умерла, оставив на руках отца пятерых ребят, из которых старшему было лет девять, а мне, младшему, около года. По малолетству я не постиг всей величины обрушившейся на нас утраты; но старшие были буквально раздавлены сиротством и заброшенностью. Отец совершенно растерялся и даже запил было с горя; неисправности по службе уже грозили ему полным ее лишением. Близкий к отчаянию, он под конец едва-едва справился с ним. Ему надо было расстаться с местностью, где всё напоминало о прежнем невозвратно утраченном. Детям нельзя было оставаться без материнского глаза: оставалось лишь жениться. Ему нашли невесту, подходящую для человека в годах и обремененного кучей детей. То была засидевшаяся в девицах, разбитная, хозяйственная и пышная поповна. По рассказам брата и сестер, в начале брачной жизни - до появления первого собственного ребенка - она к нам была достаточно внимательна и добра.

Но по мере того, как у нее появлялись свои дети, - а когда я окончательно покинул дом, у нее их было пятеро или шестеро - все девочки - она вырабатывалась в совершенный, классический тип мачехи сумрачных русских песен и сказок.

У нее прежде всего развивалась больно уязвлявшая нас 31 вражда ко всему, на чем была печать принадлежности нашей матери. Один за другим куда-то пропадали прежде всего ее альбомы - один был с девичьим дневником. Потом на чердак, на пищу мышам, обречены были ее книги, читать которые у отца не было времени, а у нее самой - интереса и привычки. Потом очередь дошла до фотографий покойной, снятых отдельно или вместе с нами. То не было проявлением ревности. Здесь было желание царить в доме самодержавно, а не быть только заместительницей той, которая безраздельно царила до нее. Всё, что напоминало о "той", исполняло ее душу злой досадой. Но ведь и мы, ее дети, были тоже непрерывной, живой памятью о "той". И нам за это пришлось расплачиваться.

Нельзя сказать, чтобы за нас некому было вступить. Какие-то шаги делал мой крестный отец - мы об этом узнали по сердитым выходкам мачехи, пенявшей отцу, что он позволяет чужим, непрошенным вмешиваться в их семейные дела. После этого крестный отец стал

появляться всё реже и реже, а потом и вовсе перестал. Прощаясь с нами, он как-то обронил совершенно загадочную для нас фразу: "Ночная кукушка дневную всегда перекукует..."

Вскоре ей удалось нанести нам первый очень жестокий удар: выдворить из дому нашу любимицу, пестунью и вечную, хотя тихую заступницу - бабушку... Она была робкая и безответная, но когда видела, что кому-нибудь из нас сильно достается, - без слов хватала потерпевшего и спешила увести его в "детскую". Отучить ее от этого было невозможно. Хуже всего было то, что мы не могли не заметить систематических стараний выжить бабушку из дому так, чтобы она ушла сама. Мелкие, отравляющие всякую минуту придирки, злые выходы, унижительные попреки, ябеды, каверзы, издевательства - всё было пущено в ход.

Стала всё чаще проливать безмолвные слезы бабушка, плакали, тесно прижавшись к ней, и мы, понимая друг друга без слов. Плакали не об одних бабушкиных обидах, но и от недетского чувства горести о том, что ложь и зло сильнее правды и доброты. Горько плакали, сетуя и недоумевая, как же это отец ничего не видит и не понимает? В своем отдалении от нас он был нам высшим авторитетом, когда он спускался к нам со своих невидимых, но несомненных высот, он был такой добрый, веселый и сильный, и его улыбка 32 согревала нас, как улыбка солнца, озаряющего сумерки нашего бытия.

А старшие из нас уже умели понять всё проще и будничнее: новая, сравнительно молодая жена сумела обвертеть пожилого мужа вокруг пальца.

Отца убедили, что для самой бабушки лучше уйти из тесного и многодетного дома. И он с обычной благожелательностью и со спокойной совестью принялся за дело. Он вспомнил, что у него были очень симпатичные дальние родственники тихая, бездетная, небогатая семья. За более чем скромное вознаграждение она приветливо встретила заслуженного инвалида жизни. Всё, казалось, устроилось, как нельзя лучше. Одного не подметил отец: после того, как бабушке на каждом шагу давалось понять, до какой степени она больше ни на что не годна, уход из нашего дома ее буквально придавил, как окончательное свидетельство ее бесполезности. "Вот, умирать меня, никому ненужную, отсылают" - вполголоса пролепетала она при прощании с нами, всхлипывая и захлебываясь подкатывающим под горло комком. Не подметил отец и того, чем она была для нас, и какая это была для нас утрата. А мы... мы осиротели второй раз.

Я был самым младшим и, лишившись бабушки, должен бы стать самым беззащитным. Но вышло не так: я был мальчик, и у меня оказались ресурсы, которых были лишены сестры. У отца с годами росло пристрастие к рыбной ловле, занятию мирному и спокойному. Я легко поспевал всюду за ним, с банкой первосортных червей, которых сам же в изобилии нарывал, с сачком на случай подхватывания отцом более крупной рыбины, и с "куканом" для добычи. А потом, радуя родительское сердце, научился удить и сам.

Общий быт нашего дома стал стабилизироваться на кое-каком, хотя и неустойчивом компромиссе. Делу сильно помогло то, что отцу подвернулось наследство: двухэтажный деревянный дом. И у нас создалась - как шутливо говорили мы уже более взрослыми - "двухпалатная система". Верхнюю палату образовали отец, мать и ее дети. Нижнюю - мы и часть прислуги, не входившая в кухню. Сходились мы вместе редко, почти что только для обеда, бывшего для нас натянутым и скучным ритуалом. Ужин для "нижней палаты" был введен отдельный, самый неприветливый и всегда один и тот 33 же - холодная гречневая каша с крынкою молока из погреба (у нас была собственная отличная дойная корова). "Верхняя палата" имела своих гостей: то была так называемая "местная интеллигенция", под которой разумелись - нотариус, адвокат, акцизный, два доктора, исправник, прокурор, а позже еще и

земский начальник, чередовавшие заседания за ломберными столами с закуской и "промокабельным". Мы ко всему этому относились "оппозиционно", особенно я к земскому начальнику - за то еще, что он женился на гимназистке, в которую я только что собирался было вообразить себя влюбленным - хотя самое это слово было для меня бледной книжной абстракцией.

"Нижняя палата" имела свои, особые, чисто плебейские связи. Через кухню они шли к "присяжным" казначейства, - страже из отставных старо-служивых солдат-усачей. У меня были еще свои собственные друзья: служители на "исадах" (живорыбных садках вблизи самого волжского берега), рабочие на рыболовных станочьях, гребцы у лодочников и на спасательной станции, вольные фанатики ужения рыбы и ружейной охоты, парни и мужики незамысловатых дачных мест, где мы жилали и гащивали летом. Взаимное понимание и доверие было меж нами крепкое. Когда назревали по Поволжью т. н. холерные беспорядки, мне задолго до них была вверена большая тайна. Крестьян на воле - таинственно рассказывали мне - расплодилось очень много, и помещики стали опасаться, как бы не пришлось поделиться с ними барскою землею. Чтобы убавить народу, хотели было они завести с кем-нибудь войну, да не из-за чего, нас никто не задевает и нашей силы побаиваются.

Вот помещики теперь и стали нанимать студентов и докторов, чтобы они травили народ: клали отраву в колодцы и называли это холерой. Много вечеров убил я на уверения, что студенты и доктора - не на барской стороне, а на нашей, крестьянской; да еще на выкладывании перед ними всей, вычитанной мною из книг медицинской премудрости. И я был очень горд, когда мужики из знакомого мне "дачного" села прислали к отцу "ходоков", просить его отпустить меня к ним погостить: их "сродственники" из Камышина отписывали им, как я горазд растолковывать всё, касательное холеры, земли, войны и прочего, до мужиков касательного.

34 Когда я раньше бывал в этой деревне, не раз бородачи-семейные "большаки" со мной беседовали и порою даже советовались о своих мирских делах, как со взрослым. Дружбу их я заслужил еще и тем, что частенько слал им "в гостинец" разные, способные принести им пользу, популярные книжки по сельскому хозяйству, законодательству о крестьянах и т. п.

И вот, вспоминая, как ухищрения самодержавной повелительницы нашего дома превратили нас в его отщепенцев и чужаков, я думал: если бы не доля сестер, длительно повергнутых в состояние черной меланхолии, исковеркавшей их жизнь, а этого черного зла я не могу забыть, не могу простить! - то лично за себя я был бы готов отпустить мачехе все, направленные против меня злоухищрения. Кто знает, - быть может, без них я вырос бы подделкой под никчемного "барчонка", каких я много видел среди юной поросли "сливок" нашей провинции. Нашему поколению в России выпала на долю грандиозная миссия, ему суждено было пережить испытаний и потрясений столько, сколько хватило бы на много поколений. К этой доле, к этой миссии готовила нас суровая школа вольного "опрощения" и невольных лишений и мытарств, уводившая от "ликующих, праздноболтающих" к народу, к плебсу, к социальным низам.

35

ГЛАВА ВТОРАЯ

Саратовская гимназия. - Первые кружки. - Толстовство и антитолстовство. В. А. Балашев. - М. А. Натансон.

Смена "домашнего образования" на гимназическое в жизни подрастающего поколения

средней провинциальной семьи составляла целую эпоху. Новым, особым геологическим пластом легла она и на мою жизнь. Из уездного и захолустного Камышина она перебросила меня в губернский город Саратов.

Во времена Грибоедова строгие папаши грозили своим дочкам за легкомысленное поведение ссылкой "в деревню! в глушь! в Саратов!". С тех пор Саратов рос да рос, но память об этих временах еще не стиралась у седых старожил.

"Тоже город! - ворчливо говорил про него наш дед со стороны мачехи. Давно ли выскочил из грязи, да в князи!".

Он не знал, что еще десяток-другой лет, и Саратов начнет претендовать на звание "столицы Поволжья".

В Саратове был в мое время уже вполне прилично выглядевший городской "центр" вокруг отличного бульвара, получившего, в связи с характером главных древесных насаждений, имя Липок; когда липы цвели, он был полон самых нежных благоуханий. К Липкам примыкала сеть главных четырех-пяти улиц, изобиловавших очень приличными магазинами: "таких магазинов не постыдилась бы и Москва!" хвалилась одна из моих квартирных хозяек. Самая бойкая из этих улиц, наподобие Немецкой слободы в Москве допетровской эпохи, называлась, конечно, Немецкой. В эпоху первой мировой войны городская дума, застыдившись этого имени, превратила ее в Скобелевскую, а после 1917 года дух времени сделал ее Улицей Революции. Но дальше в глубь городской периферии блеск центра неудержимо всё тускнел и тускнел. Его сменяли сначала обычная провинциальная заурядность улиц и построек, а дальше заурядность переходила в захудалость; наконец, всё завершали Горки, где друг к другу причудливо лепились совершенно убогие лачуги неведомо чем промышленяющей мещанской бедноты. На этом общем фоне городской центр, происхождения сравнительно недавнего, производил впечатление откуда-то добытого куска парчи, вшитого комично яркою заплатою в рубище полунищего. Конечно, он был предметом специальных забот городской думы, купчески-домовладельческой, державшей окраины города в полном загоне.

Частью этой ярко выделяющейся парчевой заплаты являлась и наша гимназия. Было похоже, что остальной город еще не вполне освоился с ее существованием особенно с блестящими пуговицами гимназических шинелей, в темноте полуосвещенных улиц походивших на офицерские, и с замысловатыми кокардами на фуражках. Когда я достиг старших классов, сколько раз случались со мной анекдотические инциденты на этой почве! Бывало, повстречаешься вечером на какой-нибудь из более глухих улиц с кучкой солдат. Захмелевшие, шумные голоса их вдруг приумолкают, фигуры приосаниваются, начинают вышагивать в ногу, явно готовясь окаменеть, чтобы отдавать честь, - и "есть глазами начальство". И вдруг, разглядев поближе, раздражаются неудержимым хохотом "до животиков" и пеняют друг друга: "вот те и на, нашел офицеров - так, чорт-зна што, дермо гимназическое!". Бывало, вслед нам летели и трехэтажные напутствия, а иные хмурые серые шинели порывались и грозились выместить на нас свой испуг кулаком.

В младших классах уличные приключения были повседневным явлением. Для городских мальчишек один вид нашей форменной одежды и особенно кокард с инициалами С. Г. (Саратовская Гимназия) был явным вызовом и кровным оскорблением. Среди них пользовались широкой популярностью кем-то изобретенная нелепо-издевательская расшифровка этих инициалов: "синяя говядина". Известно, что говядина приобретает особый иссиня-красный цвет, изрядно протухнув. А потому задорный вопрос: "эй, ты, синяя говядина, почем за фунт?" имел приблизительно то же значение, как брошенная в 37 средние века одним рыца-

рем к ногам другого перчатка. Чтобы не терять чести, полагалось перчатку поднять и обнажить шпагу. А у нас это значило засучить рукава и вступить за честь гимназии в бой, кончавшийся тем, что один из бойцов бывал сбит с ног или просто сам бросался на землю: "лежащего не бьют". Младшие гимназисты, которых в часы их возвращения из гимназии домой на некоторых улицах обычно ждала вражеская засада, собирались группами, чтобы проложить себе путь боями "стенка на стенку", в которых с обеих сторон отличались свои Гекторы, Аяксы и Ахиллесы.

Свою долю в этих издавна узаконенных обычаях междуусобицах имел и я. Меня по старой, Камышинской привычке тянуло на Волгу, на берег, куда попасть удавалось только в воскресный или иной праздничный день. Для этого надо было выскользнуть из дому незаметно, пока общее пробуждение только начиналось. Пробраться на берег, наблюдать рыбаков, бродить вокруг нагружаемых и разгружаемых барж, присоседиться к пильщикам дров, прислушиваться к занятым хвастливым рассказням "галахов", по-московски - "хитровцев" или просто босяков, здесь получивших свое местное наименование по большому ночлежному дому купца Галахова. Среди них попадались порой самобытные краснобаи, настоящие мастера слова: такой заговорит, словно разноцветными шелками вышивает! После языка бабушкиных сказок и песен, именно здесь нашел я неисчерпаемый родник настоящего родного, народного слова: свежего, крепкого, сочного, как антоновское яблоко, необычайно образного и пересыпанного пословицами, поговорками, побасенками.

Еще большее любопытство возбуждали во мне два рода лиц: во-первых, странники, сборщики на построение храмов, расстриженные попы и дьячки, богомольцы по святым местам - перевидавшие чуть ли не все знаменитые монастыри, лавры с мощами угодников и "явленные иконы", а меж них и сектанты, "взыскующие града и веры истинной"; а во-вторых - "галахи", поддерживавшие свое существование чем придется, не исключая - в черные дни - и мелкого воровства; поздней же осенью к последнему прибегали, чтобы на зиму обеспечить себе тепло и корм арестного дома. Впоследствии, когда всеобщий фурор производило 38 "На дне" Максима Горького, я оставался к нему равнодушным: все его мужские типы были мне не новы, ими были переполнены мои воспоминания подростка. Много воспоминаний осталось у меня и от "странников", особенно той их породы, которую можно было бы назвать коллекционерами сведений о "новых верах".

Рано потеряв родную мать, при мачехе я рос заброшенным ребенком, и хотя она вышла из духовного звания, я никакого религиозного воспитания в церковно-православном духе не получил. Завалившийся от кого-то из старших детей учебник ветхозаветной истории я воспринял, как сборник волшебных сказок - о змее, говорящем человеческим голосом, вещих фараоновых снах, море, расступающемся перед шествием беглецов, о чудесном спасении отроков во рву львином и о печи огненной, о камне из полудетской пращи, сражающем непобедимого великана Голиафа...

Позднее, при переходе от младших классов гимназии к средним, я имел свой собственный период туманных мистико-религиозных увлечений и тайных, одиноких молитвенных восторгов; но они прошли сами собой, созрев в каких-то затаенных уголках полудетского сознания, преждевременно готовящегося стать юношеским. Но с православной церковностью всё это совсем не связывалось, и скорее имело точки соприкосновения с интеллигентским толстовством и народным сектантством.

Университетом в Саратове и не пахло. За высшим образованием надо было ехать либо

в далекую Казань, либо прямо во "вторую столицу" - Москву. Была единственная мужская гимназия, такая же женская, реальное училище, институт для благородных девиц, учительский институт, фельдшерская школа, да неподалеку за городом, на деревенском просторе, земледельческая школа, вот и всё; для "столицы Поволжья", как будто, маловато. Однако, рядом с этими казенными заведениями, где взращивались провинциальные "плоды просвещения", какими-то судьбами возник, приютившись в уголке "Коммерческого клуба", в залах которого происходили дворянские съезды для "предводительских" выборов и всякие парадные обеды и балы, - совершенно беззаконный, но невинно выглядевший 39 подлинный образовательный центр, притягивавший, как магнит, всю местную учащуюся молодежь. То была довольно богатая библиотека, в заведующие которой попал и долго держался поднадзорный политический ссыльный, Валериан Александрович Балмашев, умевший с очаровательной мягкостью и внимательностью незаметно превращать юных любителей чтения в своего рода студентов неоформленной домашней академии вольного самообразования.

Сознательной жизнью я начал жить в конце восьмидесятых годов. Это было необыкновенно тусклое время. Кругом себя мы не видали никаких ярких фактов политической борьбы. Общество в революционном смысле было совершенно обескровлено. Оно было - словно тот "вырубленный лес", про который говорит поэт

Где были - дубы до небес,

Теперь - лишь пни стоят...

Жила только легенда о "социалистах" и "нигилистах", ходивших бунтовать "народ" и показывавших наглядно пример, как бороться со всеми властями и законами, Божескими и человеческими - кинжалом, бомбами и револьверами. Романтический туман окутывал этих загадочных и дерзких людей. О них кругом вспоминали с обывательским осуждением, но вместе - с каким-то невольным почтением. И это действовало на молодую фантазию.

Лично мне, росшему без матери, под ежедневным и ежечасным гнетом классической "мачехи" и убежавшему от ее нудных преследований на кухню, в "людскую", на берег Волги, в общество уличных ребятишек, - было так естественно впитывать в себя, как губка впитывает воду, любовь к народу, которою дышала поэзия Некрасова. Я знал его почти всего наизусть.

Я сам рос постоянно "унижаемым и оскорбляемым", и меня так естественно тянуло ко всем "униженным и оскорбленным". Это был мой мир, и я вместе с ним противопоставлял себя "царящей неправде". Некрасов расширил для меня этот мир. Благодаря ему он разросся из людской и кружка уличных товарищей по ребяческим скитаньям и бродяжничеству - на весь мир народный, мужицкий, трудовой.

"Народ" был в это время нашей религией. Народ-гигант, 40 сиднем-сидящий десятки лет наподобие Ильи Муромца, чтобы вдруг "разогнуть могучую спину" и стряхнуть с себя всю облепившую его нечисть. К этому культу переход совершился как-то вдруг. Жажда культа жила в душе всегда. Полуробенком, я был одно время страстно-религиозен; убегая от людей, уединяясь в пустую, темную комнату, простирался на земле перед образами и молился жарко, обливаясь тихими слезами умиления или жгучими слезами тоски. Первым умственным моим увлечением было патриотическое. Девятилетним ребенком, под влиянием прочитанной книги о русско-турецкой войне, я сочинил стихи на взятие Плевны. Одиннадцати-двенадцати лет я упивался чтением по истории всевозможных войн, которые вела Россия. Берлинский трактат был для меня неизгладимым личным оскорблением. Я удивлял соквартирантов, гимназистов и реалистов старших классов, страстными доказательствами,

что Россия, во что бы то ни стало, должна была тогда овладеть Дарданеллами, там заградить дорогу английскому флоту и, хотя бы вопреки всей Европе, закончить взятием Царьграда дело возврата Балкан настоящему их владельцу - славянству.

Мои "патриотические" увлечения продолжались недолго. Больше всего "минировал" эти мои "позиции" Некрасов. Уже тогда - и навсегда, на всю жизнь врезались в мою душу его проникновенные стихи:

Новый год... Газетное витийство

И война - проклятая война!

Впечатленья крови и убийства

Вы в конец измучили меня...

Никакая цена не казалась слишком дорогой, чтобы купить пору, "когда народы, распри позабыв, в единую семью соединятся".

Я продолжал жить уединенной умственной жизнью, жадно и беспорядочно поглощая все книги, какие только попадутся под руку, упиваясь, например, "Письмами из деревни" Энгельгарда наравне с "Вечным жидом", статьями Шелгунова, наряду с "Характером" добродушного буржуа Смайльса, газетными телеграммами о сменах министерств во Франции, наравне с разрозненными номерами журнала "Дело", 41 отрывками мною на чердаке, в каких-то заброшенных ящиках. С увлечением делился я почерпнутыми сведениями со сверстниками; с четвертого класса принялся издавать рукописный гимназический журнал, почти целиком наполняя его собственными произведениями в стихах и прозе и рассуждениями по всем областям человеческого ведения и неведения. Затем, как некий Колумб, я "открыл" Добролюбова, за ним Бокля, потом - Михайловского... Голова горела от потока нахлынувших мыслей.

А потом пришла кружковщина. Первый кружок, в который повел меня, кажется, старший брат, произвел на меня сильное впечатление. Это было в квартире какого-то офицера - фамилию его я забыл - который поразил мое воображение тем, что всё время чтения какой-то статьи из "Недели" (кажется, "Мед и деготь" Гл. Успенского) и споров о ней тачал сапоги. Офицер был толстовец и тачанье сапог было с его стороны своего рода демонстративным исповеданием веры. Толстовство вообще тогда сильно шумело. В находившемся неподалеку от Саратова земледельческом училище все "ворочавшие мозгами" старшие ученики были захвачены толстовским "поветрием".

Саратовские "земледельцы" были славные ребята; мы с ними очень сдружились, но спорили до хрипоты целыми ночами. Затем нас повели в другой, тоже очень своеобразный кружок, у некоего Малеева - человека уже сравнительно пожилого, беззаветно преданного естественным наукам и яркого "спенсерианца" разновидность русского человека, довольно запоздалая. Там читали сообща, вслух "Что такое прогресс" Михайловского.

Теперь трудно себе представить, насколько в те времена был силен напор толстовских идей. В толстовстве была своеобразная внутренняя сила. Если хочешь бороться со злом, не пробуй побеждать его злом же; этим-то именно оно и растет, как катящийся снежный ком, заражая самое добро. Не принимай ни прямого, ни косвенного участия ни в какой лжи, ни в каком насилии. Сохрани чистоту своей души и своих рук. Мужественно, мученически выноси все насилия, истязания, издевательства, ни на минуту не отказываясь от исповедания той правды, за которую тебя, конечно, подвергнут гонениям; ни на минуту не поддавайся соблазну избавиться от 42 последствий такого исповедания - ни силой, ни хитростью. О, здесь была своя великая притягательность для юношеского сердца, жаждавшего самоотречения и

жертвы.

Мы "боролись" с толстовцами, а у нас самих почва всё время двигалась под ногами...

Утешением для нас было то, что и положение наших антагонистов было не лучше. И они хотели додумать свою "систему" до конца, не отступая ни перед какими логическими необходимыми выводами из нее. И они заходили в тупик. В самом деле, как жить по "сущей правде", без всяких компромиссов, когда неправдой переполнена вся жизнь? Не значит ли это - выйти из жизни, отскочить от нее куда-то в сторону, замкнувшись в самодовлеющее "моральное отшельничество"? Не значит ли это отрешиться и от всей современной культуры, основной принцип которой с "сущей правдой" ничего общего не имеет? Как, например, продолжать учиться в учебном заведении, когда знаешь, что оно содержит на выколоченные из народа деньги?

Утешать себя тем, что потом употребишь в пользу народа приобретенные знания? Но это значит, что зло может быть источником добра, - и тогда где же остановиться на этом пути? Как пользоваться трудом прислуги? Можно ли жить на отцовские средства, когда они представляют из себя проценты на капитал или дань, взимаемую с мужика за право доступа к земле - всеобщей матери-земле? Как же быть? Бросить всё, "опроститься", заняться физическим трудом? Ну, а эти книжки, в которых с увлечением ищем мы ответы на мучающие нас "проклятые вопросы", - не представляют ли и они воплощенную ложь, ибо написать их могли лишь люди, получившие необходимый для этого досуг за счет тех, "чьи работают грубые руки, предоставив почтительно нам погружаться в искусства, в науки, предаваться мечтам и страстям?" И, беспощадно-педантически выслеживая элемент компромисса и "примирения со злом" во всех деталях нашего бытия, они приходили - или мы, злорадствуя, заставляли их приходиться - к вопросам - можно ли есть мясо? Можно ли ходить в сапогах, для которых нужно убивать животных и сдирать с них шкуры? Можно ли носить меховые шубы? И с болезненной серьезностью они ставили себе даже вопросы: можно ли признавать медицину? Как быть с паразитами, 43 разносящими заразу? Дозволительно ли убивать микробов и бактерий, от которых происходят болезни?

И вот, приведя сами себя *ad absurdum*, некоторые из них, в припадке "героизма отчаяния", собирались решиться на какое-нибудь моральное "сальто-мортале", раз узнавая о существующих где-то "культурных скитах" колониях толстовцев, пытающихся осуществить личную жизнь вне компромиссов с несправедливой современностью. Всё это, конечно, осталось в области безрезультатных "бурь под крышкою черепа", - подобно нашим поискам "готовящегося восставать народа" по городским харчевням и базарным площадям. "Жизнь" в настоящем смысле этого слова была еще далеко впереди. Пока мы только готовились к жизни - тянули лямку в мертвенных учебных заведениях и вознаграждали себя в кружках.

Но перед нашими глазами были из старшего поколения одинокие примеры истинных страстотерпцев и великомучеников. Таков был Валериан Александрович Балмашев, бывший ссыльный, библиотекарь коммерческого клуба. Много, много поколений саратовцев, наверно, вспомнят его добрым словом, как сердечного, внимательного руководителя в выборе умственной пищи. Простую вещь - выдачу книг из общественной библиотеки - он сумел превратить в умелое и вдохновенное руководство умственным развитием всей, пользовавшейся библиотекою молодежи. И эта молодежь доверчиво льнула к нему, подчиняясь как будто магнетической силе притяжения, исходившей из его личности. Молодежь всегда чутка к тому, как к ней относятся. А В. А. Балмашев обладал одним из качеств, драгоценнейших для всякого педагога: это неусыпным, вечно бдительным любовным вниманием к развитию

духовного мира каждого отдельного юноши.

Когда мы познакомились с Балмашевым, он переживал болезненный, надрывный момент своей жизни. На его комнате, с убогой мебелью, лежала печать какой-то брошенности и одиночества. Голые стены, небрежность, повсюду папиросные окурки, ненадежные для сиденья стулья, облака табачного дыма. Фигура самого хозяина, со впалыми щеками, длинными, закинутыми назад, редкими волосами, апостольской бородкой, глубоко посаженными близорукими глазами, нервными порывистыми движениями дополняла впечатление. 44 Когда я в первый раз пришел к нему, он был сильно "заряжен": в это время он, как я понял лишь впоследствии, был в тяжелой полосе запоя. Это была его болезнь, с которой он по временам упорно и сосредоточенно боролся, по временам же, напротив, жил, как с единственной верной подружкой и утешительницей, скрашивающей тоскливое одиночество. Не знаю, почему, но эти запои как-то не портили его облика, не делали его несимпатичным; напротив, они как-то даже шли к нему, делали его фигуру более трогательной...

Как сейчас помню одну вечеринку, с которой В. А. начал одну из своих запойных полос. Сидели, болтали, курили, немножко пили (старшие), пели хором. Затем, одна из девиц, обладавшая хорошим, глубоким грудным сопрано, пела соло. Вот стремительным темпом вырвалось из ее груди

Последняя туча рассеянной бури,
Одна ты несешься по ясной лазури
и расплылось в тягучих, меланхолических тонах:
Одна ты наводишь унылую тень,
Одна ты печалишь...ты печалишь... ликующий день...

Я невольно взглянул на Балмашева. Он сидел в этот момент в заднем углу у двери, сосредоточенно курия; перед ним, на маленьком столике-тумбочке, стояла недоконченная бутылка пива. Его затуманенный взгляд терялся в пространстве: углы рта изредка подергивались легким нервным тиком. И я подумал: да ведь это же поется о нем! Ведь это он - "последняя туча рассеянной бури", осколок бурной эпохи борьбы и гнева, выброшенный из родной стихии на отмель, может быть для того, чтобы заживо сгнить здесь вне жизни... Ведь, может быть, мы последний якорь спасения для его духовной осиротелости. Разбитый... одинокий... израненный... инвалид недавних боев, всю Россию наполнявших громами своих подвигов... отравленный сознанием бесповоротного поражения, вынужденный жить воспоминаниями о прошлом, только растравляющими незажившие раны, только угнетающими и без того угнетенную психику - психику побежденного и раздавленного безжалостной колесницей истории.

А голос певицы звучал беспощадным смертным приговором: Довольно, сокройся!

45

И сгорбленная фигура Балмашева в такт этим жестоким словам как будто под толчком обрушивающейся на него сверху непосильной тяжести каждый раз еще более горбилась и принижалась...

Кончено! всё кончено.
...пора миновала, и буря промчалась,
И ветер, лаская листочки древес,
Тебя с успокоенных гонит небес...

Никем, кроме меня, незамеченный, по окончании пения встал В. А. и вышел в сени. Я тихонько выскользнул вслед за ним и увидел в полусвете идущих на двор дверей его фигуру,

с плечами, подергивающимися от безмолвных рыданий... Я хотел броситься к нему, обнять, говорить ему ласковые слова... Но потому ли, что, не зная никогда ласк рано умершей матери, я привык к замкнутости, не умел, не мог, был неспособен к внешнему выражению таких чувств, - или просто почувствовалось, что всякое постороннее прикосновение будет кощунственным вмешательством в святыню слишком глубокого горя, - но я поспешно убежал обратно, и никогда, никому не проронил о том, чему был невольным свидетелем, ни единого слова. А Балмашев с этого вечера жестоко запил.

Вспоминается еще фигура "сумасшедшего философа" Донецкого. Он жил настоящим затворником, отшельником, анахоретом, где-то на грязной окраине города. Это был тоже трагический осколок прошумевшей эпохи, не вынесший нравственного потрясения и духовно сломившийся под ним. Он начал со странностей и чудачеств, на фоне глубокой, прогрессирующей меланхолии. Забросил все знакомства, оборвал все связи. Жил каким-то грошовым уроком, питался одними акридами, без дикого меда; кажется, Балмашев доставал ему иногда какую-то переписку. Горячая вода - без чаю и сахару - черный хлеб; таково было его обычное питание.

Он, бывший народоволец, превратился в убежденного вегетарианца. Любовь ко всему живому, даже к мертвой природе, обострилась в нем до болезненности. Жизнь оскорбляла на каждом шагу его убеждения - и он ушел от жизни, замкнулся в свою раковину, с утра до глубокой ночи мерил шагами 46 свою крошечную коморку или, согнувшись, исписывал листок за листком. Он приводил в порядок новую систему своих взглядов, новую свою философию. Подолгу сидели мы у него, а он, не глядя на нас, даже, кажется, плохо нас различая, вдохновенно и бессвязно говорил на новые для нас философские темы.

Только потом я понял психологическую трагедию, создавшую эту философию. Человек, участвовавший в героической попытке возрождения и очеловечения нашей бесчеловечной действительности революционной борьбой, не вынес рокового финала. И потрясенная нервная система направила его недюженный ум на фантастическую дорогу.

Но мы любили слушать парадоксальные излияния "сумасшедшего философа". Они ставили перед нами новые вопросы, эти вечные вопросы философии: проблему реальности внешнего мира, свободной воли, оснований морали. Они раскрывали перед нами новые горизонты, толкали к таким книгам, которых не значилось в списках В. А. Балмашева. Донецкий будил наш ум, но не овладевал им, как не овладевал им и старик Балмашев. Мы, начавшие развиваться ощупью, самостоятельно, ценившие эту самостоятельность и детски гордившиеся ею, шли собственным путем...

В конце нашего пребывания в гимназии в Саратове появилось новое лицо - М. А. Натансон. Кое-кто из нашего кружка попал в сферу его влияния, хотя более через посредство жены его, Варвары Ивановны: для него самого мы по молодости лет представляли недостаточно интересный материал.

Марк Андреевич Натансон - одна из своеобразнейших фигур русской революции. Но он не был ни писателем, ни оратором, ни героем сенсационных приключений, чье дело ярко говорит само за себя. Это был организатор, стоящий за спинами того, другого, третьего, и для посторонней публики легко заслоняемый ими. Оценка таких людей обычно приходит с запозданием.

47 Впервые я встретил его незадолго до окончания гимназии; он к этому времени уже закончил свою вторую ссылку. В первую ссылку свою он попал в 1872 г. - меня тогда еще не было на свете. Между нами был возрастной промежуток почти в четверть века.

Русская молодежь того времени рано начинала жить политической жизнью; зато и средний возраст жизни революционера был ужасающе короток. Помню, революционеров, едва переваливших за тридцать лет или даже подошедших к этой грани, мы уже награждали их титулом "наши старики".

На политическом небосклоне Саратова Натансон появился, как яркая комета с длинным световым хвостом прошлой славы.

Русская революция началась для нас с полуполюгендарного "кружка чайковцев". И вот, нам открывали, что имя Н. В. Чайковского прилипло к кружку лишь по недоразумению; Чайковский после ареста более ярких членов кружка выпал из него, ушел в странную секту "Маликовцев" или "богочеловеков".

Подлинною осью кружка была чета Натансонов: Марк и первая жена его Ольга, которую Лев Тихомиров считал "второю Софьею Перовской". Натансоновцы устроили побег из тюрьмы самого блестящего из членов кружка, П. А. Кропоткина. Они же устроили известную демонстрацию на Казанской площади в 1876 году, на которой Натансон был рядом с Г. В. Плехановым.

Натансон, самовольно покинув место первой ссылки, не только объехал северные народнические группы и сплотил их в единый "Союз", впоследствии принявший имя "Земли и Воли" подобно прежней группе того же имени, тяготевшей к Чернышевскому, но и представил лучшую программную схему революционного народничества. Основная мысль его при этом сводилась к следующему: во-первых, лавристы, бакунисты, чайковцы и т. п. должны спуститься "с облаков на землю". Они должны признать "открытыми" вопросы будущего движения и отложить до лучших времен все свои споры о проблемах, являющихся "музыкой будущего", должны принять за основу своей борьбы тот реальный минимум потребностей и запросов, который уже усвоен народным сознанием и может прочно оплодотворить его волю.

Во-вторых, надо отвергнуть поверхностную, летучую агитацию и распыление сил во вспышкопускательстве: социалисты, желающие возглавить народные движения, должны "осесть" в народе и быть в нем приняты, как свои, мирские люди, естественные вожаки во всех делах. Брызжущий остроумием Д. А. Клеменц шутливо определил Натансоновцев, как вгнездившихся "троглодитов" деревни. В связи с этим Натансон уже с первой своей ссылки, блестящим студентом Военно-Медицинской Академии, первый выступил против на шумевшей тогда "нечаевщины", а позднее настоял на четком отмежевании от всяких авантюров с "золотыми грамотами", подложными царскими манифестами и т. п.

По инициативе Натансона из только что начинавшего выходить в употребление расплывчатого, общелитературного понятия о "народничестве", выкристаллизовалось понятие более тесное и строгое: народничество в собственном смысле этого слова как деятельность не только среди народа и для народа, но и обязательно через народ, чем исключалось использование его, как простого орудия; всё должно быть проведено через его сознание и волю, ничего не должно быть навязано извне или предрешено за его спиною. Общий образ Натансона был закончен в нашем воображении еще одной, последней чертою. Всем нам была знакома похожая на сказку повесть о необыкновенном конспиративном гении Александра Михайлова, этого ангела-хранителя всех дерзновенных предприятий грозного террористического "Исполнительного Комитета Партии Народной Воли"; и вот, нам открыли, что этот легендарный организатор и конспиратор сам считал себя до такой степени учеником и преемником Натансона, что в знак этого взял себе тот же самый нелегальный псевдоним - "Петр

Иванович", под которым в землевольтческих рядах знали "Марка Мудрого"...

Оговариваюсь: в Саратове наше общее представление о вернувшемся из Якутии ветеране составилось не сразу: то была мозаика отрывочных данных и впечатлений, доходивших до нас с разных сторон, из источников разной степени осведомленности и достоверности. Впоследствии нам пришлось их проверить по рассказам таких людей, как старый земледелец Осип Аптекман или плехановец Лев Дейч, для которого вся жизнь Натансона была открытой книгой. 49 Первый считал "Марка" "человеком огромной энергии, железной воли и крупнейших организационных способностей". А Дейч, обычно очень скупой на хвалебные отзывы о людях, "не своих" или даже не совсем своих, говорил, что не запомнит "другого деятеля, который пользовался бы таким влиянием, уважением и могуществом, как Марк". На взгляд Дейча он вообще "почти затмил славу всех знаменитостей своего времени. А для этого надо было быть человеком исключительно большого калибра..."

Натансон всем стилем своей природы резко отличался от окружающих. По внешности он выглядел, скорее всего, профессором. Спокойно и уверенно откинута назад голова с высоким лбом, карие, внимательно ощупывающие собеседника глаза из-за золотой оправы очков, мягкая, шелковистая борода, вся осанка и манеры, смягчающие своей вежливостью строгую серьезность, порою с холодным отливом суровости.

В Саратов он приехал с репутацией и рекомендациями, в революционной среде тоже не обычными. Уже к концу своей второй сибирской ссылки он имел то, что называется общественным положением. Как главный счетовод ж. д., он снискал себе репутацию чуть ли не гениального ревизора и контролера. Судьба словно специально послала ему в руки начальника контроля Козловско-Саратовской и Баскунчакской ж. д., ген. Козачева, отчаянно борющегося с оргией злоупотреблений и хищений, разъедавшей всё железнодорожное хозяйство.

В Натансоне, не говоря уже о щепетильной честности, он нашел человека совершенно исключительной трудоспособности, опыта и энергии; он не мог им нахвалиться: "не человек, а клад!" Местные охранники насупились, особенно когда узнали, какие широкие полномочия получил он по набору себе сотрудников. Но бравый, наивный и самонадеянный генерал ничего не желал слушать. Он кричал, что лучше всех знает секрет, как неблагонадежного превратить в благонадежного: надо найти для него служебное поприще, стоящее на уровне его дарований, да двух-трехтысячный годовой оклад! Все кругом посмеивались по поводу того, "до какой степени сумел Натансон крепко оседлать Его Превосходительство!"

Начальник охраны сердито ворчал, что следом за железнодорожным ведомством и многие другие стали 50 превращаться "в караван-сарай для поднадзорных и неблагонадежных". Всё легче и чаще повсюду проходили назначения, в которых, справедливо или нет, чувствовалась "рука Марка". В губернии складывались кадры интеллигентных работников всех видов, видевших в Натансоне высший авторитет. То была фактически организация в зародыше, тем более удобная, что она себя организацией не сознавала. Осторожный и терпеливый, старый "собиратель Земли" не торопился ее оформить. У него был уже "взят на учет" весь уцелевший от прошлых времен или отбывший былые репрессии революционный актив; он создал опорные пункты в таких центрах Поволжья, как Самара и Нижний Новгород; он обновил былые связи со столичными литературными кругами, в которых тон задавал Н. К. Михайловский.

В то время мы познакомились еще с одним политическим ссыльным народовольцем Анатолием Влад. Сазоновым. "Действующих революционеров" мы знали тогда, в сущности,

по "Нови" Тургенева - в виде таинственного, действующего откуда то из-за кулис, всезнающего и всем распоряжающегося "Василия Ивановича", да еще по тенденциозному реакционному роману "Тенета" Тхоржевского.

И В. А. Балмашева и М. А. Натансона мы как то ставили отдельно: один только помогал молодежи готовиться стать революционерами, другой жил легально и посвящал свое время тому, что впоследствии стало называться "использованием легальных возможностей". Не то представлял собою Ан. В. Сазонов. Он был членом действующей революционной организации. Главным инициатором ее был бежавший из Восточной Сибири народоволец Сабунаев, успевший сделать по тому глухому времени очень много: собрать где-то на Волге народовольческий съезд, объявить партию Народной Воли восстановленной, объединить целый ряд кружков: Московский, Ярославский, Костромской, Казанский, Воронежский и др. Только что вернувшийся из ссылки в Березове А. В. Сазонов был саратовским агентом новой организации.

В 1890 году Сазонов был арестован. А вместе с ним не повезло и мне. В момент прихода жандармов я сидел у Сазонова; при виде "гостей" я пытался скрыться через заднее крыльцо, но тщетно. Меня обыскали, допросили, выпустили, 51 но отправили обо мне "по принадлежности" надлежащее сообщение гимназическому начальству.

В гимназии я и без того был на дурном счету. Большинство учителей помнили моего старшего брата, арестованного жандармерией и исключенного из гимназии несколько лет тому назад. Один из учителей, П. Р. Полетика, так хорошо это помнил, что то и дело, к стати и некстати, грозно восклицал: "по стопам братца пошел?"

Известие от Саратовского жандармского управления было каплей, переполнившей чашу. Меня сначала хотели прямо исключить из гимназии, но выручило отсутствие всяких улик. Меня всё же поставили на особое положение, отсадили на отдельную парту, ввели периодические и внезапные "посещения" моей квартиры классным наставником и его помощниками.

Перейдя в последний, 8-ой класс, я подал прошение о принятии меня в тот же класс Юрьевской (Дерптской) гимназии. Там впервые открылась русская гимназия вместо прежней немецкой, и обрусительная политика облегчала привлечение русских учеников. Для неудачников и потерпевших крушение Дерптский университет, Ветеринарный Институт и гимназия были верными прибежищами. Там, в Ветеринарном, уже кончил курс ранее потерпевший крушение в том же Саратове мой старший брат. Меня приняли, и осенью 1891 года я ехал в Дерпт.

52

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

В Дерпте. - Последние гимназические впечатления. - Опять Саратов: холерные беспорядки. - В Московском университете. - Союзный Совет. - Споры народников с марксистами. - Н. К. Михайловский. - П. Н. Милюков. - Новое "народовольчество". - Организационные планы М. А. Натансона.

Город Дерпт только что был переименован в Юрьев. Обрусительная политика торжествовала по всей линии. В особенности гонению подвергалось всё немецкое, начиная от профессоров и учителей и кончая вывесками улиц. Несколько иное отношение было к эстонцам и латышам. Этим разъяснялось, что русское правительство освобождает их от немецкого засилья. Эстонским и латышским было, главным образом, простонародье и мелкая буржуазия. Немцами были бароны и значительная часть средней и крупной буржуазии. Эстонская и

латышская интеллигенция только нарождалась.

Одним из ближайших моих товарищей был Карл Парте, впоследствии адвокат и выдающийся деятель эстонской конституционно-демократической партии. Другой, классом старше, Теннисон, высокий, худощавый с аристократическими манерами, ныне (ноябрь 1919 г.) премьер-министр независимой республики Эстонии.

Выпускной год проходил быстро. Беззубая старушка-гимназия лениво пережевывала свою казенную жвачку. Кажется, единственным живым оазисом были уроки немецкого языка, как необязательного предмета (надо было выбирать между немецким и французским). Это был обломок старой, нерусифицированной школы. На уроках немецкого языка читалось о развитии германской литературы, о немецком Белинском - о Лессинге... Тут еще веяло духом старой, большой, 53 европейской культуры, тут еще звучало ее отдаленное, тихо замолкавшее эхо. А на развалинах ее копошились казенные обрусители...

Так прошел я и мои сверстники через пустыню казенного среднего образования. Мы сами создали себе среди нее оазисы знания. Я ехал домой, вооруженный аттестатом зрелости. А рядом с ним у меня была в кармане другая бумажка: свежотпечатанная прокламация, под заглавием "Письмо к голодающим крестьянам", за подписью "Мужицкие доброты".

Она вышла из типографии "Группы народовольцев" и принадлежала - как я узнал год спустя - перу писателя Астырева, чью книжку "В волостных писарях" я читал с жадным интересом. В это время в деревнях свирепствовали частью голодный тиф, частью надвигающаяся с юга холера. В связи с непонятными для темного простонародья санитарными мерами ходили слухи о том, что баре, чтобы избежать неизбежной прирезки земли крестьянам, решили поубавить их число и подкупили докторов "травить народ". Везде шел смутный говор, что "черному народу большое утеснение идет". Начались - в Астрахани - первые холерные беспорядки. А тут еще старшая сестра моя, курсистка-медичка, работая в медицинском отряде по борьбе с тифом, заразилась и, хотя ее жизнь удалось спасти, но от болезни осталось тяжелое, непоправимое наследство - неизлечимое душевное расстройство. Встревоженный отец категорически воспротивился моей поездке в деревню.

Саратов вслед за Астраханью и Царицыным стал ареной холерных беспорядков. Городская чернь, долго и глухо волновавшаяся, пришла в крайнее возбуждение. Взрыв был, как и следовало ожидать, совершенно стихийный и бессмысленный. Началось со случайного убийства какого-то подростка, принятого за фельдшера. Затем убили одного врача. Били и полицию. Застигнутое врасплох высшее начальство растерялось. Но возбуждение, и возбуждение небывалое, царило и среди интеллигенции. Когда в воздухе запахло бунтом, горячие головы неудержимо потянулись на улицу, к низам, в народные массы.

Эта "тяга" была так сильна, что не только старик Балмашев, но и такой "муж совета", как Марк Натансон, вначале заняли неопределенную, колеблющуюся позицию. Когда начались погромные действия толпы, все "старшие" 54 растерялись, а молодежь бросилась на улицу. Она считала, что ее священный долг - попытаться отвратить движение от докторов и больниц и направить его на полицейские участки. Бездействие - преступно; остающийся в стороне - моральный соучастник и попуститель вырождения "народного" движения в дикие погромные эксцессы. Так рассуждала молодежь. Бросить лозунг "бей полицию" можно было и не без успеха.

И действительно, толпа разгромила полицейский участок на Митрофановской площади, разгромила квартиру полицмейстера. Но это нападение на полицию было случайным, эпизодическим; полицию били, ибо она заступалась за врачей и преграждала дорогу к по-

громам - и только. Влияние интеллигенции было не при чем. В одном месте, где Е. Д. Кускова с подругой начала было уговаривать бить не докторов, а полицию, они тотчас навлекли на себя подозрение недоверчивой толпы. Им в ответ кто-то закричал: - "Ага! Знаем, кто вы! сами вы фельдшерицы проклятые! Держи их, бей их, ребята!" За ними уже гнались, и дело могло кончиться для них очень и очень плохо. К концу дня едва ли не всем пытавшимся "присоединиться к народному движению с целью его направления" стали на опыте ясны вся фальшивость и бессмысленность их положения. Они нигде не могли "овладеть" движением, везде у него были свои "герои" и вожаки, с преобладанием мускульных и стихийно-волевых ресурсов над интеллектуальными; злосчастные кандидаты в руководители либо оказывались пассивными зрителями, либо щепками, подхваченными стихией, и бессильно барахтавшимися в общем потоке. Усталые, запыленные, грязные, мокрые - при разгоне толпы их поливали из пожарной кишки - порою помятые, ошеломленные и разбитые, они были вполне подготовлены, чтобы получить жестокий нагоняй от "старших".

Среди этих последних первый забил тревогу М. А. Натансон: быть может, внутренне чувствуя потребность загладить свои предыдущие колебания и нерешительность, он резко осуждал всех, осмелившихся броситься, очертя голову в это дикое движение. Никакой оппозиции он не встретил. И неудивительно. Самоотверженная и наивная молодежь получила впервые от жизни предметный - и весьма жестокий - урок - не смешивать "народа", к которому она рвалась душой, с распяленной беспорядочной толпой, в которой 55 на первое место выдвигались подонки и отребье городского населения. Но прежде, чем окончательно утвердиться на этом, молодежи предстояло пройти, как увидит читатель ниже, через краткий период идеализации "босячества".

Я - на юридическом факультете Московского университета. Как странно, как необычно прозвучало в ушах это новое обращение - "Милостивые Государи!" - на вступительной лекции А. И. Чупрова! Какое море голов в аудитории первого курса! Но вот улеглись первые впечатления. Мы присматриваемся к профессорам. Сухая фигура Боголепова. От нее веет полярным холодом. Лектор по государственному праву, либерально-консервативный, приспособляющийся Зверев. Мирно выживающий из ума старичок Мрочек-Дроздовский, читающий историю русского права. И только один милейший, но и мягчайший Александр Иванович Чупров - в качестве оазиса...

Мы ходим в университет, вешаем пальто на гвоздик со своим именем, чтобы его отметил стоящий на страже нашей аккуратности и усердия в занятиях педель, а сами устремляемся на поиски более интересных лекций по всевозможным факультетам. Бежим к В. И. Ключевскому, к К. Тимирязеву. Спешим на рефераты в Юридическое Общество. Посещаем разные публичные лекции. Наконец, остается собственная кружковая жизнь.

Мы, не марксисты, прилежнее всего занимались тогда именно Марксом. Мы считали тогда "вопросом чести" знать Маркса лучше, чем его сторонники. Это порою превращалось у нас в какой-то спорт. Мы должны были наизусть знать все самые "существенные" боевые цитаты, на которые приходилось опираться в спорах. Те, кто, как я, обладал хорошей памятью, порою "откатывали" Маркса по памяти целыми страницами. Иное отношение проявляли к нашим авторитетам молодые марксисты. Они воспитывались в открытом пренебрежении к Михайловскому, Лаврову и т. п. Они утверждались прочно и без колебаний на своем. От остального отмахивались, как от не стоящего серьезного внимания. Поэтому представления их о сущности взглядов Чернышевского, Герцена, Михайловского, Лаврова у них были до крайности поверхностными. Мы были по преимуществу искателями; они утвердившими-

ся в правой вере. Среди "нас" 56 было больше индивидуального разнообразия, но и шаткости во взглядах; среди "них" взгляды были - первое время - словно остриженными под гребенку и обмундированными по одному казенному фабричному образцу.

Круг наших интересов был в это время гораздо шире: мы, например, с увлечением занимались философией и теорией познания, нас продолжали захватывать "проклятые вопросы" этики, с такой силой выдвинутые двумя друго-врагами, Ф. Достоевским и Л. Толстым; а "они" с какой-то аскетической узостью сектантов сосредоточивались на вопросах экономики, - но за это нередко выигрывали большим, сравнительно с нами, углублением в пределах этой суженной сферы.

Они были сплоченнее нас: новизна их учения на русской почве заставляла их выработать почти масонское тяготение друг к другу и противопоставление себя всему остальному миру. Марксисты складывались на наших глазах в какое-то воинствующее духовное братство, которое объявляло непримиримую войну всему остальному миру, и всех немарксистов сваливало в одну кучу. Мы все для молодых марксистов были утопистами и мелкобуржуазными "обомшелыми троглодитами", как обзывал нас в середине 90-х годов один из видных марксистских публицистов. Но воинствующий марксизм выдвинулся и вошел в силу далеко не сразу. Он в то время едва лишь выходил из ряда маленьких лабораторий, приготовлявших свежеиспеченных, но уже совершенно законченных, фанатически убежденных сторонников нового мирозерцания.

Наряду с чисто кружковой жизнью, и даже доминируя над нею, развивалась жизнь студенческих организаций, - землячеств. Они объединялись "Союзным Советом" из выборных представителей, по одному из каждого землячества. Я попал в Союзный Совет выборным от Саратовского землячества и нашел там то, что мне было нужно: группу наиболее активных и умственно-живых студентов из всех губерний.

Среди них особенно выделялся своей деловитостью и энергией типичный "общественник", Вас. Петр. Кащенко, студент-медик, старше и опытнее нас, настоящий хранитель всех лучших студенческих традиций, мягкий, внимательный и деликатный, более "ходатай за мирское дело", чем революционер; все мы его очень любили и ценили. Тут были Широкий, Стрижнев, Н. В. Тесленко - тогда называвший себя 57 народовольцем - Камаринец, Латухин, Павлович и многие другие. Все они были одержимы жадной деятельности. Эта жажда сначала, естественно, обратилась на расширение и укрепление выдвинувшей их организации. Вначале это был "Союзный совет 16-ти объединенных землячеств"; к концу года вместо "16" пришлось писать "27", к концу следующего года "42". Совет сделался силою: он мог смело выступать, как представитель всего организованного студенчества.

В среде Совета царил общий согласие по основному вопросу: столько раз обескровливавшие студенчество, лишавшие его деятельнейших элементов чисто-академические "беспорядки" считались вещью, не стоящей затраты наших сил. Воздерживаться от тех традиционных "студенческих волнений", которые по духу своему не выходят из четырех стен университета и зарождаются во имя требований, никого, кроме студентов, не интересующих; копить силы, поддерживать в студенчестве дух общего протеста; постоянно связывать положение дел в университете с общим положением России; твердить и твердить студенческой массе, что без общеполитического кризиса в России немыслимо изменение к лучшему и академических порядков; выжидать благоприятного момента, когда можно будет выступить разом всем университетам, с шансами прекратить это общеуниверситетское движение в общегражданское, широкообщественное и даже народное - таков был наш лозунг. Во имя его прихо-

дилось вести борьбу "на два фронта".

С другой стороны, в московском студенчестве проявилась и диаметрально противоположная тенденция. Вокруг студента-юриста четвертого курса, В. А. Маклакова, только что вернувшегося из-за границы, сплотился кружок, лелеявший идею о легализации студенческих землячеств. Идея принадлежала лично Маклакову. Он написал в "Русские Ведомости" два-три фельетона о разных типах студенческих организаций-корпораций, научно-литературных кружков и т. п. за границей. Говорили о каком-то "докладе" совету профессоров, о шансах аналогичного доклада в более высоких сферах. Покуда что, явилось "легализаторское" течение в студенческой среде. Его сторонники говорили о необходимости - в особенности на время "кампании" за узаконение студенческих организаций - воздержаться от всякого рода "выступлений". Наш 58 Союзный Совет слишком демонстративно держался в общеполитических вопросах, то и дело обращаясь к студенчеству с прокламациями: то по поводу 19-го февраля, то - Татьянина дня, то по поводу недостаточно достойного поведения профессорской корпорации. Особенный шум возбудила листовка Совета по поводу обращения французского студенчества к русскому перед днями франко-русских торжеств. Мы напомнили французскому студенчеству о том времени, когда Франция и Париж светили всему миру, бросая вызов тиранам и угнетателям всех стран, и сопоставляли с этим жалкую нынешнюю эпоху заискивания и кокетничанья с русским самодержцем. Наши "легализаторы", разумеется, видели в этой нашей деятельности помеху своим планам. Кое в каких землячествах уже начиналась исподволь агитация за выход из Союза. Была пущена в обращение даже мысль об упразднении Союзного Совета.

Пришлось "брать быка за рога". Союзный Совет назначил большое собрание, по несколько представителей от каждой студенческой организации, для обсуждения вопроса о "легализаторстве". Приглашен был высказаться и Маклаков. Он говорил хорошо - плавно, выразительно, красиво, но без того, что увлекает. Он скорее объяснялся и оправдывался, чем пропагандировал свои идеи. Всё выходило скромно и просто. Почему бы не выделить в легальные организации некоторые элементарнейшие функции современных землячеств, вроде простой взаимопомощи? Он не противник иных форм организаций - пусть они существуют сами по себе, он только за дифференциацию функций: и если некоторые из них могут выполняться беспрепятственно, шире и лучше при узаконении - следует попытаться добиться такого узаконения. Правда, практически надежд на это сейчас мало, но надо работать хотя бы для будущего. Рано или поздно, реакционный курс должен же измениться политикой послаблений и уступок. Пример Западной Европы показывает...

Гладкое красноречие лидера "легализаторов" нас не успокоило. Материальная основа взаимопомощи, заложенная в основу нашей организации и подкрепленная принципом землячества-товарищества, обеспечивала широту охвата студенческой массы. Присоединение к этому отстаиванья общими 59 силами достоинства и прав студенчества естественно выдвигало самую деятельную и передовую ее часть, его авангард, на руководящее место. Раздергать эту организацию по косточкам, выделить "желудочную" сторону в самодовлеющую, отдать ее под покровительство самодержавных законов - не значило ли это подкапываться под непримиримость студенчества, действовать в духе "примиренчества" и приспособления к существующему? Нет, мы горой стояли за status quo, при котором инициативное меньшинство стало во главе организации, и притом не путем захвата, а по избранию, когда организация студенчества охватывает все интересы студенчества, материальные и идейно-политические. Такая организация должна быть нелегальной, пока существует самодержав-

ный режим, при котором "вне закона" всё живое...

Победа легко осталась за нами, тем более, что легализаторы могли только вздыхать о законности; общий курс правительственной политики направлялся неуклонно в сторону "ежовых рукавиц" и "бараньего рога". Тактика легализаторов была лишь "голосом, вопиющего в пустыне" по адресу глухорожденной власти. Дело было явно безнадежное.

Наступил юбилей Н. К. Михайловского - нашего любимейшего учителя. Мы лучшие чувства и думы свои вложили в адрес резко революционного содержания; я лично должен был отвезти и вручить его Н. К. Михайловскому. Сначала в Питере всё шло у меня как нельзя более благополучно. С великим трепетом и смущением звонил я у дверей квартиры Михайловского. Он принял меня тотчас же.

Как сейчас помню - меня особенно поразили в Н. К. Михайловском глаза серые, большие, слегка выпуклые, обладавшие каким-то странным магнетическим свойством. Я знал наружность Михайловского главным образом по большому кабинетному портрету, где он читает вслух больному, прикованному к постели Шелгунову. И подлинный Михайловский в некоторых отношениях явился для меня неожиданным. Прежде всего - меня поразило какое-то своеобразное изящество его фигуры и всех его движений. Неуклюжему плебею (а меня с младших классов всегда звали "медведем" и "Мишкой") эта черта бросалась сразу в глаза. Собственно лица Михайловского я как будто даже не успел рассмотреть: до такой 60 степени приковали мой взгляд его большие, серые, насквозь пронизывающие глаза. Производило это такое впечатление, будто он через тебя глядит еще на что-то, скрытое за тобой.

Михайловский говорил со свойственной ему холодноватой манерой. Раза два прорвались в его речи какие-то особенные, согретые нотки. Он внимательно выслушал все мои, вероятно, достаточно сбивчивые объяснения, от какой организации явился я к нему, что она, собственно, собою представляет и как смотрит на литературно-общественную деятельность Михайловского. Я был тогда вообще мучительно скрытно конфузлив; всякое "выступление" с речью мне стоило большой внутренней борьбы и напряжения, но я уже катился, словно по рельсам, как будто уже "сам не свой", а движимый безотчетной, завладевшей мною силой. Кончая, я сам не знал в первый момент, "провалился ли" я окончательно, или же, наоборот, - был "на высоте положения". Так произошло и тут.

- Быть может и в самом деле верно, - медленно заговорил Михайловский, что межумочная, глухая полоса нашей жизни подходит к концу. То было своего рода "смутное время на Руси" - я разумею исключительно умственную область "великая разруха" былой идейной целостности мыслящей части нашего общества. Чувствуется, что по законам могучего естества растет новое, более здоровое поколение, не разбитое гнетущими впечатлениями поражения его предшественников... Не знаю лишь, насколько наш голос найдет отклик в настроениях этого "нового племени - младого, незнакомого"... Мои друзья, взявшие в свои руки "Русское Богатство", зовут меня туда, и я получу опять, как когда-то, возможность постоянной беседы с читателем-другом. В "Русской мысли" я был - гостем, случайно говорящим перед чужой аудиторией. Великое это дело - протянуть живые нити между собою и действительно своей аудиторией. Я не знаю, каковы шансы теперешней попытки, как и вообще не знаю, каковы шансы в жизни "молодых порослей" - нового действенного поколения. Боюсь, что его жизненный путь будет небывало труден. Я тревожно настроен и думаю, что эта тревога - не прислушивание к шуму в собственных ушах, а отголосок тяжкого положения, унаследованного современностью от прошлого...

61 И, в ответ на мой вопрос, что именно внушает ему такую тревогу, он сказал:

- Мне ближайший период мировой истории рисуется чреватый опасностями и грозами. Вряд ли он будет представлять собою линию общественного подъема, во что так соблазнительно верит молодость. В свое время и я отдал дань оптимизму - процесс вырождения господствующих классов казался таким быстрым, что думалось, быстро придет и великая историческая ампутация, за которой возникнет новый порядок вещей. Но пришлось убедиться в громадной косной силе исторического атавизма, налагающего свою печать на целые эпохи. Над нами тяготеет та же опасность. Посмотрите на демона национальной ненависти, который оцетинил штыками всю Европу. Прошлое каждого народа накапливает в нем особенный отпечаток, чуждый и непонятный, а потому в известной степени и отчуждающий и отталкивающий, непонятный другому народу. Эту тлеющую искру отроженности при желании не трудно раздуть в настоящий пожар национальной вражды. И ее раздувают.

И "старые боги" Европы, династии, опирающиеся на военную касту, и "новые боги" - буржуазно-финансовые круги, борющиеся из-за мировых рынков, соперничают друг с другом в этом деле. Можно сказать, что вся Европа, с одной стороны, ежеминутно готовится к еще небывалой в истории всеобщей схватке, - а с другой, сама в ужасе отступает перед размерами того кровопролития, к которому она идет. И кто знает, не суждено ли надолго затеряться и погибнуть всем молодым порослям грядущего в том кровавом хаосе, который будет поднят такой мировой катастрофой? В нем всплывет всё, что только унаследовано старой Европой от веков гнета и насилия. Мы отмечаем каждый раз в истории крупинки добра и ведем через них непрерывную генеалогическую линию вплоть до лучших наших идеалов - так соблазнительно рассматривать историю, как собственную эмбриологию. Но мы не ставим себе вопроса: а куда же денутся все жестокости и ужасы, сквозь которые пробивалось в истории новое, куда денется наследственно-испорченная кровь поколений, проделывавших эти ужасы и жестокости? Всё это, увы, всплывет, а если всплывет, то навалится лавиной на ростки нового. В конце то концов, верится, "перемелется, - всё мука будет". Но ведь пока 62 солнце взойдет - злая роса многим глаза повыест. И новому поколению потребуется не малый закал, чтобы пережить всё это...

Для меня, признаюсь, был полной неожиданностью тот тон сдержанной, но скорбной меланхолии, который пронизывал всю речь

Н. К. Михайловского. Я был ошеломлен: такие мрачные предвидения мне как-то не приходили в голову. Субъективно в них не верилось. И, слушая подернутые сумрачностью речи любимого писателя, я был разочарован: мне чувствовался в них надлом, душевная усталость. "Неужели это годы берут своё?" - червяком шевелилась, мелкая, плоская мысль...

Я, впрочем, попытался еще завести разговор на тему - неужели Михайловский не верит в народную революцию?

- Улита едет, когда-то будет, - ответил он.

- Я не сомневаюсь не только в том, что в России будет революция, но и в том, что в ней будут революции. Но в ближайшем будущем - пожалуй, даже во всём том будущем, которое лично мне осталось до конца моих дней - я в революцию в смысле всенародного восстания не верю. Бунты будут - но бунтует не народ, а толпа. "Толпа" имеет своих собственных "героев", которых порождает и свергает по собственному капризу. Интеллигенция менее всего имеет шансы попасть в "герои" к "толпе". Предводительницей народа она когда-нибудь станет; но толпа еще не народ, и плохо, если народ не вышел из состояния толпы; это значит, что духовно он еще не народился. Пока всё это сбудется, много воды утечет. И не только воды, а еще и слез... и крови. Толпа способна только к судорожным взрывам. И хорошо, если

нынешние судороги - предсмертные судороги "толпы", родовые корчи, за которыми последует рождение народа. Но, я очень боюсь, что всё это еще только ложные роды.

- Но тогда откуда же придут перемены? Ведь так, как сейчас, продолжаться не может!

- Очень долго - не может; но недолгое с точки зрения истории слишком долго с точки зрения личной жизни. Я не пророк. Никто не может предсказать, с чего начнется поворотный момент. Может, просто логика культурного сближения с Европой - его, как суженого на коню не объедешь, а безнаказанно оно ни для кого не проходит... даже для 63 Турции, Персии и Японии. Может тут и финансовое банкротство помочь, и военная катастрофа... мало ли что! Когда недостаточно живых сознательных сил, действуют исторические стихии: воды медленно подмывают берег, а там, смотришь - пошли оползни. Будут оползни и у нашего режима...

- Без нашего вмешательства?

- Конечно, не без вмешательства; только вряд ли это вмешательство будет решающим.

- А... террор?

Михайловский несколько мгновений помолчал.

- Террор? Да, вряд ли минует и эта чаша новое революционное поколение. В терроре есть что-то роковое, неизбежное... Как проклятие...

- Значит - вы против террора? Или я не так понял? Конечно, кровь - есть ужас; но ведь и революция - кровь. Если террор роковым образом неизбежен, то значит - он целесообразен, он соответствует жизненным условиям. А тогда...

Михайловский с какой-то особенной, горькой интонацией перебил меня:

- Не будем об этом говорить. Я не революционер. Всякому свое. Есть такие пути - кто сам ими не идет, тот не может на них указывать. Неизбежность того, чему не можешь быть сопричастником, - это... это трагедия... Я слишком много видел таких трагедий и не желал бы никому - того же...

- Но вся наша жизнь среди ужасов действительности - трагедия!

- Да, но... Вы еще не отведали из этой отравленной чаши, и вам трудно оценить. Когда-нибудь вы поймете, что тут двойная трагедия: с одной стороны, трагедия обреченности, с другой... зрительства и связанных рук. А впрочем, не дай Бог вам никогда этого изведать.

Я неловко замолчал. И Михайловский, как бы желая переменить тему, быстро заговорил:

- Обычно думают: народная революция, всеобщее восстание должно свергнуть современный режим. Но представьте себе, что вернее может быть обратный случай: по настоящему раскачается народ тогда, когда этот режим уже станет достоянием истории. Вместо окутанного загадочным туманом 64 земного бога будет власть, сошедшая на землю, окруженная полномочными представителями имущих сословий, наглядно показывающими народу, в чем дело, что таится за покрывалом Изида. Сторонники народного восстания часто боялись конституции... напрасно: ею не зачурать революции, когда для нее есть почва; наоборот, конституция, даже самая плохонькая, распахивает ей настежь двери...

- Но конституция? Кто же ее добудет? Не либералы же?

- Кто добудет? А, может быть, все и никто. И либералы могли бы сделать многое, если бы хотели... и умели. Попутчиков бояться нечего... особенно, если ветер попутный. Надо только, чтобы не вы примкнули к либералам, а их заставили к себе примкнуть. И еще более важно помнить: никакая конституция не будет прочна до тех пор, пока не придет такая власть, которая вместе с волей обеспечит народу условия приложения труда... и прежде всего

землю. Конституции нечего бояться из-за того, что она будто бы успокоит... будет чем-то таким немножко лучшим, что обычно становится опаснейшим врагом "хорошего". Эпохи бытия конституций суть эпохи борьбы за изменение конституции. Борются разные фракции, пока шум их борьбы не разбудит и не вызовет на арену - народ. В этом смысле я и говорил, что народного восстания, народной революции скорее придется ждать после конца чистого абсолютизма, чем до и для этого конца...

Я сказал, что, насколько мне известно, среди современной молодежи нет боязни конституции, - напротив: нам кажется лишь, что конституция может быть только побочным результатом первых успехов революции. А мысль: не через революцию к конституции, а через конституцию к революции - слишком как-то для меня нова и неожиданна...

Михайловский улыбнулся.

- Да, так обостренная формула звучит как парадокс. Но я не совсем это имел в виду. И по-своему вы правы. Одно другому не противоречит.

Приблизительно таков был смысл его заключительных слов.

Мне хотелось говорить с Михайловским еще о стольких вещах - об Астыревских "письмах к голодающим 65 крестьянам", о нашем студенческом журнале, о поднимающем голову марксизме... А разговор принял совершенно другое, непредвиденное мною направление, и я чувствовал потребность на досуге обдумать, умственно переварить то, что я услышал. И я стал прощаться, извиняясь, что оторвал Михайловского от работы и прося его назначить более свободное время для более продолжительного разговора. Он назначил - но этим временем мне уже не пришлось воспользоваться...

Я отправился сначала по делам Союзного Совета к Максиму Келлеру, а затем к братьям Никитинским. Один из последних отвел меня на квартиру, где проживали два члена рабочего кружка. Было условлено, что на следующий день мне устроят свидание с членом центральной группы Михаилом Александровым. Как вдруг к нам входит один из знакомых моих хозяев и с места в карьер заявляет:

- А знаете: за вашей квартирой слежка. И очень серьезная. Два субъекта: одного из них я хорошо знаю, известный шпик. Кстати: не дальше, как сегодня, в два часа дня, я видел его на "стойке" у угла такой-то и такой-то улиц. Из присутствующих никого в это время там не было?

Я отозвался, что был. Он верно назвал время и место моего свидания с М. Келлером.

- Ну, так дело ясно. За вами всё время по пятам и ходят.

Я вспомнил подозрительные фигуры в сквере, соседей в кофейной Филиппова. Сомнений не было. Надо было принимать меры и заметать следы. О новом свидании с Михайловским и о встрече с Александровым не могло быть и речи. Надо было предупредить их обо всём, а самому поспешно ускользнуть восвояси.

Мы не мало колесили по улицам, пешком и снова на извозчике. Убедившись, что удалось провести преследователей, мы забрались отдохнуть в поздний ресторан и просидели до закрытия - до 2-х или 3-х часов ночи. Затем опять оказались на улице. Утром часов в 10 был обратный поезд в Москву; я решил двинуться с ним; на вокзал можно было забраться часа за полтора до отхода, не особенно рискуя обратить на себя внимание. На вокзале мне показалось было, что какой-то "тип" всё время внимательно в меня всматривается и не теряет из виду. Но с билетом и посадкой всё обошлось благополучно. Я возвращался в Москву в наивном восторге от того, как ловко улизнул от погони. Я был убежден, что меня просто "взяли на замечание" при выходе из какой-нибудь подозрительной квартиры, и что все следы

мною замечены. В Москве меня оставили в покое: никакой слежки, как будто, за мною не было. Я думал, что всё проходит "шито-крыто". Будущее несло мне горькое разочарование...

Я уже упоминал, что с первого же года пребывания моего в Москве я вошел в местные "радикальные" круги. Особенно понравился мне помощник присяжного поверенного Егор Ив. Куприянов - мягкая, вдумчивая натура, соединявшая с большой скромностью не меньшую серьезность в "искании" революционных путей. Куприянов был чужд всякой узости и нетерпимости, этих "естественных детских болезней" всякого движения. Он был большим сторонником объединения всех течений в одно русло. Ему казалось возможной единая социалистическая партия, при каком угодно богатстве "теоретических разночтений" русской политической действительности.

Затем обращали на себя внимание муж и жена Кусковы: он - спокойный, внимательный, уравновешенный; она - живая, как на пружинах, нервная, беспокойная. Их взгляды казались мне неопределенными, колеблющимися. По-видимому, они в самом деле переживали период ломки. Их всё время пробовали склонить на свою сторону социал-демократы. Под их влиянием они главное внимание свое обращали на "анализ наличных социальных сил". Видимо, сужение базиса движения одним пролетариатом их пугало, и они добросовестно перебирали все общественные элементы, на которые можно опереться в революционной борьбе.

Затем меня очень заинтересовали два приятеля, жившие вместе на одной квартире: наши Орест и Пилад - С. Н. Прокопович и А. Н. Максимов. Они называли себя "народниками", но это их "народничество" было довольно неопределенным. Объединяла их общая вера в будущее "народное восстание". Вера эта питалась разными слухами, порою полуфантастическими: так, помню, передавалось тогда из уст в уста, что где-то в Вятской губернии крестьяне нескольких сел снарядили ходоков к английской королеве, чтобы она приняла их в свое подданство. Эти и подобные слухи были достаточной пищей тогдашней революционной нетребовательности. Мы и малым бывали довольны.⁶⁷ С. Н. Прокопович был уже тогда отрицателем политического террора. Я помню несколько своих с ним споров. Он верил во всё "массовое" и отвергал "индивидуальное".

Среди либералов "голодный год" также вызвал изрядное брожение: в год, предшествовавший моему поступлению в университет, в Москве, по инициативе И. И. Петрункевича, у либералов происходили какие-то конспиративные "совещания"; в связи с деятельностью Астыревского кружка, среди либералов проявился интерес к "радикалам". Тот же интерес заставил и старика Александра Александровича Бакунина изъявить желание познакомиться с современной революционной молодежью. В либеральной гостиной одной из родственниц Бакунина начались журфиксы, которые мы первое время посещали довольно исправно. Нас не мог не интересовать вопрос: что же, собственно, представляют собою русские либералы?

Вообще говоря, русский либерализм того времени имел очень определенную культурную и земско-конституционную программу; она отличалась "практичностью", узостью и... тусклостью. Но он совершенно не имел своей общей идеологии. Это было, в одном крыле, просто выцветшее до последней степени народничество: Кавелин - разжижал Герцена, Кареев - Михайловского и Лаврова. В другом крыле постоянные оглядки то на "буржуазную Европу", то на доктринерское англоманство русского лендлордизма, то на славянофильство земских "бояр", то на какое-то неопределенное воздыхательное "западничество". В области философской, этической, социологической, русский либерализм не имел своей собственной физиономии. Против материализма и позитивизма левого крыла тогдашнее правое крыло смело поднимало знамя религиозной ортодоксии и церковности. Более свободомыслящие

религиозно-новаторские устремления к идеалистической метафизике находилось в зародыше и еще не были аннексированы никакой политической партией. Серьезных покушений на это со стороны либералов тоже не было. Для этого они были слишком узко практичны, и для нас идейно не интересны. Итак, либерализм находился совсем в иной плоскости, чем мы.

Теоретическим главой московского марксизма был тогда Иосиф Давыдов позднее отступивший от него и ушедший 68 к философским "идеалистам". Его правой рукой был очень способный адвокат Рязанов (это была его настоящая фамилия - не следует смешивать его с Д. Б. Гольдендахом, известным по его литературному псевдониму "Рязанов").

Быть может, еще более важную роль для укрепления в Москве марксизма сыграл Мицкевич, с которым, однако, мы почти не сталкивались: он был занят в других сферах, он проникал в рабочие кварталы. Более эпизодически выступал Винокуров. Наезжал из Орла статистик П. П. Румянцев, впоследствии - убежденный карьерист, а тогда - такой же марксист. Затем стали появляться и другие фигуры; среди них мне запомнился Финн-Енотаевский. Среди студенческой молодежи ощутительнее всего было влияние Рязанова. Вокруг него всегда группировался кружок людей, усиленно переводивших на русский язык всевозможные мелкие немецкие марксистские брошюры и статьи, особенно из журнала Каутского "Die Neue Zeit", Рязанов был резкий, упорный, демагогический и весьма уверенный в себе человек, усердный спорщик и пропагандист, довольно искусный диалектик и неутомимый полемист. Он охотно и часто выступал публично: в речах любил озадачивать парадоксами и заострять свои положения, чтобы глубже внедрить их в сознание слушающих.

Напор марксизма давал себя чувствовать. Притом мы в спорах импровизировали, тогда как наши соперники выступали с чем то готовым. Они были заранее вооружены и подготовлены, мы же могли производить невыгодное впечатление благодаря своей неподготовленности. И мы решили подтянуться.

Мы собрались en petit comite человек 8-10, приблизительно единомыслящих, сблизившихся на почве сотрудничества в Союзном Совете.

- Нет, господа, здесь другое: марксисты сильны тем, что они хорошо спелись, а у нас у каждого много отсебятины и разноголосицы! Надо спеться получше и нам!

- Конечно, надо спеться, да, кроме того, подготавливаться к выступлениям. Разделим между собою труд, подберем против их цифр - контр-цифры, мобилизуем свои силы и сами перейдем в наступление. Откроем целую кампанию, и не в задних комнатах во время вечеринок, - эту чепуху пора 69 бросить, - а в целом ряде специальных "вечеров прений". Это должны быть те же "межземляческие собрания", только в больших размерах и с участием не студентов.

Сказано - сделано. Первое же подобное собрание имело огромный успех. На него нам удалось залучить даже кое-кого из профессоров. Так, был Эрисман, швейцарец родом и типичный русский земский врач по своему складу. Он не скрывал своих социалистических симпатий. Был П. Н. Милуков, тогда молодой приват-доцент, читавший русскую историю на женских курсах.

Его лекции, известные тогда лишь в литографированном виде и позже легшие в основу "Очерков по истории русской культуры", обратили на себя внимание первых марксистов того времени. Они воспринимали их как воду на свою мельницу и апеллировали к Милукову, как к своему возможному союзнику. Особенно горячо тогда дебатировался вопрос об историческом происхождении русской общины. Марксисты обеими руками ухватились за теорию Б. Чичерина о бюрократическом происхождении общины из круговой поруки: это дис-

кредитировало ее с колыбели. У Милюкова они нашли полупризнание чичеринского взгляда или, по крайней мере, более снисходительное отношение к нему, чем у громадного большинства историков. Марксисты постарались втянуть Милюкова в наш спор с ними и ребром поставили перед ним вопрос об его отношении к общинному землевладению. Но, к их величайшему разочарованию, он заявил:

- Я считал бы огромной ошибкой всякий акт законодательства, неосторожно затрагивающий эту форму крестьянского экономического быта. Что будет с ней, насколько она способна к развитию в высшие формы - должно считаться вопросом открытым. Но дать ей полную возможность развиваться свободно и беспрепятственно, обезопасить ее от всяких бюрократических экспериментов, от всякой административной опеки, обеспечить общинное имущество от растаскивания по рукам единоличных держателей земли - это, по моему мнению, элементарная обязанность всякого искреннего демократа, как бы сам он лично ни относился к общине и как бы ни расценивал ее роль в будущем...

Этим ответом Милюков расхолодил марксистов и, наоборот, завоевал наши симпатии. Следующее собрание было 70 посвящено прениям, так сказать, о политических задачах завтрашнего дня.

Опять залучили на собрание популярнейших представителей профессуры - между ними Милюкова и Гамбарова. Милюков вел себя очень смело и даже согласился принять на себя председательствование и руководство прениями. Один из нас докладывал политическую часть программы, другой говорил о социальной стороне будущей революции. Потом выступали марксисты, радуясь случаю использовать более легкую позицию - критиков. Мы отвечали. Собрание проходило для нас опять с большим успехом и подъемом.

Когда прения кончились, кто-то крикнул: "Резюме председателя!" - В сущности, для резюме председателя вряд ли может быть место, - сказал Милюков; - свести к основным кратким формулам высказанные здесь разноречивые мнения излишне: ораторы сторон сами это сделали, а повторяться не хотелось бы. Мое резюме возможно лишь как чисто личное. Я охотно пользуюсь этим случаем, чтобы выразить свое глубокое удовлетворение по поводу того обстоятельства, что среди современной молодежи я вижу должную оценку стоящей на очереди задачи политической борьбы. Это - трезвый и правильный взгляд, принимающий во внимание законы исторической перспективы. Сравнительно с еще недавно ходячим аполитизмом, я вижу здесь большой шаг вперед в смысле политической зрелости.

- Воспользуюсь случаем и я, - заявил после речи Милюкова проф. Гамбаров, чтобы откликнуться на высказанные здесь идеи и поставленные вопросы. Не буду повторять того, что говорил только что мой предшественник: я к его словам всецело присоединяюсь. Но я хотел бы дополнить сказанное им в одном существенном пункте. Я глубоко убежден, что политический переворот в России не оставит незатронутыми наболевших и обостренных социально-экономических проблем, в особенности тех, с которыми связано оскудение фундамента русской народно-хозяйственной жизни - земледелия. И я считаю не только вполне возможным, но даже вероятным, что одновременно с политическим преобразованием в России произойдет и коренная экономическая реформа в духе национализации земли.

71 Благосклонно сочувственное отношение Милюкова настроило нас так, что мы решили попробовать втянуть его в наши революционные планы. Для первого раза меня отправили к нему с одним конкретным предложением. В нашем распоряжении находилась тогда весьма популярная среди нас, но очень редкая, нелегальная народовольческая брошюра 80-х годов "Борьба общественных сил в России" Натана Богоразы ("Тана"). По содержанию это

было то, что нам было нужно: анализ социальных группировок - классовых, сословных и др., - дававший возможность произвести, так сказать, подсчет сил враждебных, нейтральных, союзных и своих, предreshавший вопрос о "плане кампании" и средствах борьбы.

Брошюра эта казалась нам в некоторых чертах устарелой и нуждающейся в исправлениях. В лекциях Милюкова история сословий и классов Российского государства местами изображалась с такой образцовой ясностью и рельефностью, что он показался нам чрезвычайно подходящим человеком для переработки брошюры.

Я изложил Милюкову сущность нашего предложения. Он отнесся к нему очень внимательно и попросил оставить у него "Борьбу общественных сил" для ознакомления; ответ он обещал дать после просмотра. Я уже считал, что Милюков будет "нашим" и внутренне ликовал от такого первого крупного "приобретения". Но последовавший за этим разговор рассеял все мои надежды.

Мы коснулись происходившего под председательством Милюкова собрания, и я заметил, как приятно поразили нас заключительные замечания Гамбарова.

- Я не могу к ним присоединиться, - неожиданно для меня заметил Милюков. И вообще я думаю, что здесь надо выбрать одно из двух. Либо, подобно социал-демократам, сосредоточиться на особых экономических интересах пролетариата и почти не интересоваться общенациональной освободительной задачей, - во имя частного и классового отодвигать на второй план общее. То же самое можно сделать - да и делали раньше - во имя не пролетариата, а крестьянства. Либо, наоборот, отложить всё частное до разрешения общеклассового. Тогда все силы должны быть сосредоточены на разрешении задачи политического раскрепощения страны, без различия групп и классов. Их отдельные задания должны быть подчинены общему и, когда требуется, должны ступшеываться перед ним, уступать ему место. Вы же - эклектики. Борьба с самодержавием для вас очередная задача, но рядом с ней - а это непременно будет в ущерб ей - вы хотите поставить такие широкие отдельные задачи, которые не могут не внести разложения в лагерь сторонников политической свободы.

- Но неужели вы думаете, что в России возможен чисто политический переворот, что наша революция будет без всякого социального содержания?

- Этого я не говорю. Социальные реформы, как последствие переворота, конечно, будут. Но только реформы, как проявление устроительной деятельности новой государственности. Одно дело - реформы, другое - революционный переворот в имущественных отношениях. Национализация земли, например, - это сама по себе целая революция в отношении собственности. Не успевши сделать одной, одновременно выдвигать другую - это значит гоняться за двумя зайцами, чтобы не поймать ни одного.

Я, конечно, возражал. Что именно говорил студент первого курса в защиту своей позиции - здесь, думается, мало интересного. Весь этот эпизод любопытен скорее для характеристики зародышевого состояния политических партий той эпохи. Мы полагали, что наши разногласия с Милюковым - чисто тактические или "стратегические". Цель у нас - одна; только для успеха и борьбы за свободу и борьбы за землю он считает необходимым вести их раздельно, в порядке известной исторической очереди. У нас было резкое противопоставление себя "либералам", но Милюкова к этим последним мы отнюдь не относили. Он нам казался не "чужаком", а "своим". Разногласия в революционно-социалистическом лагере тогда вообще была большая. Направления, оттенки направлений, постоянно сталкивались.

Милюков - думали мы - был тоже носителем "оттенка".

Мне кажется, впрочем, что и сам П. Н. Милюков в те времена еще не успел оконча-

тельно "познать самого себя". Он, вероятно, сам был во власти иллюзии, сближавшей его с нами.

На одном из диспутов с марксистами мы натолкнулись было на довольно сильного союзника в лице окончившего 73 медицинский факультет А. И. Шингарева. Он производил впечатление чрезвычайно искреннего, горячо и красиво говорившего человека вполне сложившихся взглядов. Но первое впечатление, что "нашего полку прибыло", вскоре ослабело.

"Народничество" Андрея Шингарева оказалось вообще слишком неопределенным и элементарным. Все указания марксистов на расслоение деревни, дифференциацию крестьянства, распад общины, рост кулачества - он сводил упорно и настойчиво к одной причине: "Земли мало!" Задача задач народничества формулировалась им слишком элементарно и просто: "Прирезать земли". Его аргументы против экономического материализма также были совершенно особенные, не совпадающие с нашими. "Попробуйте объяснить с точки зрения влияния форм производства и смены хозяйственных систем - происхождение и развитие учения Христа!" - победоносно восклицал он, и чувствовалось, что его сознание вряд ли примет объяснение христианства не только "экономико-материалистическими", но и вообще причинами земного порядка.

Тем временем в идейную жизнь московских кружков вторглась новая струя. Происходил всероссийский съезд естествоиспытателей и врачей. Со всех концов России собралось множество представителей интеллигенции и земского третьего элемента. Этим съездом решила воспользоваться для своего "рекрутского набора" исподволь организовавшаяся вокруг Натансона "Партия Народного Права". Она уже завербовала одного моего приятеля - Е. Яковлева, бывшего учеником Натансона еще в Саратове. Через Яковлева был завербован и мой старший брат Владимир. Всецело примкнул к новой партии А. Н. Максимов: здесь разошлись его пути с таким близким ему человеком, как Прокопович. Последний склонялся к социал-демократам. Меня знали, как человека более крайних революционных воззрений. Однако, имелось ввиду повести переговоры и со мною, а через меня со всем нашим молодым народовольческим кружком.

Впервые знакомство состоялось на одном из "разговорных собраний", гвоздем которого были иногородние гости. Один из них, несколько пасмурный и рыжебородый, был мне заочно хорошо известен по литературе: то был Вас. Павл. Воронцов (В. В.). На другого мне таинственно указал кто-то:

74 "Обратите внимание вот на того, молодого, с лысинкой: это очень интересный человек, большая шишка среди питерских марксистов; его брат был повешен по народовольческому делу". Это был Владимир Ульянов (Ленин). Он показался мне очень невзрачным; его картавящий голос, однако, звучал уверенностью и чувством превосходства. На него с большим азартом налетел В. П. Воронцов: "Ваши положения бездоказательны, ваши утверждения голословны. Покажите нам, что дает вам право утверждать подобные вещи: предъявите нам ваш анализ цифр и фактов действительности. Я имею право на свои утверждения, я его заработал: за меня говорят мои книги. Вот, с другой стороны, свой анализ дал Николай-он? (так в книге, ldn-knigi) (в то время только что появились его "Очерки"). А где ваш анализ? Где ваши труды? Их нет!" - Этот способ аргументации на нас не производил впечатления; что всякое молодое направление не может сразу предъявить фундаментальных трудов, было нам понятно, и в наших глазах не могло его дискредитировать.

Ульянов "отгрызался" очень успешно, деловито, хладнокровно и слегка насмешливо. Их стычка, впрочем, выродилась быстро в беспорядочный диалог; его пришлось прервать,

так как он всё более принимал личный характер и терял интерес для собравшихся. Затем выступил "заика" - так мы звали будущего земского агронома Н. М. Катаева. Несмотря на огромный природный недостаток речи, он выступал часто и охотно - слишком часто и слишком охотно. Его было крайне тяжело слушать. Но когда, в конце речи, он заявил себя сторонником идеи заговора с целью захвата власти, мы почувствовали, что "так это оставить нельзя", и что народовольческая идея скомпрометирована. Вытолкнули "поправлять дело" меня, и я категорически отверг сужение народовольчества до поверхностного заговорщичества и тоном умудренного жизненным опытом мужа принялся доказывать утопизм "захватовластничества".[LDN1]

Н. М. Катаев говорил о терроре и заговоре, как основном пути, ведущем к победе. Мы не отказывались воспользоваться деятельностью заговорщиков, если они будут, но отказывались свою собственную деятельность втискивать в прокрустово ложе такого архаического способа борьбы. Мы признавали террор, но лишь как одно из возможных средств борьбы. 75 Вообще же мы отказывались заранее определить, как по расписанию, в какой мере и какими средствами мы будем бороться, как их комбинировать. Вопрос о средствах борьбы - заявил я есть не принципиальный вопрос, а вопрос удобства, вопрос обстоятельств и целесообразности. Когда пробьет час непосредственной борьбы - а когда это будет, мы не знаем, "придет день оный яко тать в нощи", тогда мы и будем решать: соответственно количеству и качеству сил, которые окажутся в нашем распоряжении, определятся и наиболее соответственные формы борьбы, и самая экономная и продуктивная комбинация этих форм...

На этом собрании я познакомился с пожилым, худощавым господином, который оказался Н. С. Тютчевым. Он очень одобрил мое выступление и выразил надежду, что нам "удастся столкнуться". Мы условились о свидании, но оно оставило меня неудовлетворенным. Тютчев уговаривал меня ограничиваться "той очень удачной постановкой вопроса о средствах борьбы", которой я закончил свою речь, и отбросить, как противоречащее этому "предрешение вопроса", мое признание террора.

Тютчев "доверительно" сообщил мне, что ставится попытка сосредоточить в одной всероссийской организации все наличные революционные силы, причем рассчитывают и на петербургскую группу народовольцев, и даже на более покладистую часть социал-демократов, и закончил нашу беседу, назначив мне свидание с другим лицом, которое обо всем со мной переговорит более основательно.

В назначенный для свидания день я неожиданно увидел знакомую мне фигуру М. А. Натансона. Я потерял, было, его из виду, покинув Саратов, чтобы получить аттестат зрелости в Юрьеве (Дерпте). Под ним тоже в Саратове почва уже горела, и он благоразумно переехал в тихий Орел, куда перетянул и главный личный состав своего "политического штаба". За это время его план подготовительных работ подходил к концу. От него, конечно, опять ждали нового слова, и он посвятил меня и моих товарищей в его сущность. Натансон снова выступал "собирателем земли, Иваном Калитою", только в более широком масштабе. Он лелеял план предупредить назревавший распад всего освободительного движения на три лагеря: марксистский, народнический и либеральный.

76 Взяв на учет всё уцелевшее от прошлого, вернувшиеся на свободу и новонарастающие силы, он без усталости ездил и доказывал: время разойтись еще будет впереди, теперь же общий интерес - отложить борьбу между собою до победы над общим врагом - самодержавием.

У народников и марксистов в конце концов цель одна; в социальной политике (впро-

чем, не столько в области рабочего, сколько аграрного законодательства) они, вероятно, довольно серьёзно разойдутся; но забегать вперед нечего. Придется ли марксистам и народникам в свободной демократической России разойтись по спорным вопросам и оспаривать друг у друга власть, или же удастся найти какую-то компромиссную линию - покажет время; в европейских партиях умеют мирно уживаться и не такие еще разногласия. Либералы, конечно, дальше от тех и других, чем сами они друг от друга. Но рознь между русскими либералами и социалистами тоже не надо преувеличивать; это, скорее всего разница между "отцами" и "детьми"; лучшие либералы - полусоциалисты. Это наши попутчики на значительную и самую решающую часть пути. Итак, впредь до свержения самодержавия и утверждения демократических свобод и самоуправления - нужна одна единая партия освобождения: и с нее достаточно программы (или, точнее, платформы) совершенно конкретных требований, в которых не должны быть забыты интересы ни одной ныне недовольной группы: ни рабочих, ни крестьян, ни кустарей и ремесленников, ни людей либеральных профессий, ни иноверцев, ни иноязычных, ни иноплеменных меньшинств, - словом, никого.

Свидание было кратким. Натансон спешил в Петербург и ограничился краткой характеристикой новой революционной программы. Она выглядела импозантно. В основе было объединение решительно всего, способного на борьбу, от либералов до народовольцев и социал-демократов. - Дальнейшую беседу М. А. отложил до своего возвращения из Петербурга, а пока советовал мне хорошенько подумать о том, что он говорил.

Однако, из Петербурга Натансон поехал прямо в Орел и потому вызвал меня туда. Ничего нового выяснить он мне не мог.

После посещения Орла я ознакомил товарищей по 77 народовольческому кружку с планами создания новой всероссийской революционной организации. Все мы сошлись на том, что оказывать ей всяческое содействие следует, но с вступлением в нее надо повременить, выждав появление печатной программы и обосновывающих ее брошюр. Натансон предложил мне в Москве связаться с П. Ф. Николаевым. Я отправился к нему, и он пытался завершить мое "обращение". Но все его уговоры оказались напрасными.

Натансон не мог быть "первым человеком" своего направления, дающим ему его *credo*. Он был по природе "вторым человеком", который по идейному заказу первого, под данным и освященным им знаменем, проводит мобилизацию сил. П. Ф. Николаев также не имел данных для роли "первого человека". Он мог быть только популяризатором. "Головы" у Партии Народного Права не было. Его место занимал начальник главного штаба или даже всего лишь генерал-квартирмейстер. Наш кружок был одним из многих, готовых отдать себя в распоряжение идейно-политического вождя. Отправляясь на паломничество к Михайловскому, являясь к Натансону в Орел, мы ошупью искали этого вождя. Но в Михайловском мы нашли, прежде всего, литератора, необыкновенно, - даже чересчур для нас пронизательного зрителя политической борьбы. Плоды его "ума холодных наблюдений и сердца горестных замет" не превращались в "повелительное наклонение". А в Натансоне мы нашли деловитого и умелого "антрепренера" революции.

Удайся Натансону его план, - имя его осталось бы вырезанным на скрижалях русской истории неизгладимыми чертами. Но в плане этом было слишком много головного, абстрактно-рассудочного. Творец его, если угодно, был чересчур калькулятор, чересчур счетовод и слишком мало социальный психолог, он не видел в программе выражения социальных страстей, умонастроений и общего мироощущения.

В остальном как будто всё было подготовлено. Никогда еще, казалось, новая партия не

обладала такими широкими общероссийскими связями, такими прочными друзьями в разных течениях, такими союзниками в легальной литературе. Общая психологическая атмосфера была прекрасно подготовлена к выходу Партии Народного Права 78 (как, в pendant к Партии Народной Воли, она была названа) на политическую авансцену.

И вдруг - никакого выхода просто не состоялось. Как раз накануне его, в один и тот же день и даже час, полицейским неводом было захвачено всё: и главная квартира в Орле, и тайная типография в Смоленске, и ее хозяйева и наборщики, и свежееотпечатанный Манифест партии, и написанная видным марксистским публицистом Ангелом Ивановичем Богдановичем объяснительная брошюра к программе, и люди, люди, люди. За рубеж, к главному руководителю заграничного сыска, знаменитому Рачковскому, полетела победная реплика за подписью ставшего вскоре еще более знаменитым Зубатова и его тогдашнего начальника Ник. Бердяева: "Вчера взята типография, несколько тысяч изданий и 52 члена Партии Народного Права. Немного оставлено на разводку".

Вопреки догадкам, провокации или центральной измены под этим не крылось. Тайная полиция просто сумела переиграть тайное общество. Позже лично мне при вызове на допрос Зубатов хвастался: "Да, попался-таки в своей орловской берлоге ваш "главный". Мы же его знали. Старый матерой волк. И прятать концы в воду умеет. Но только и у нас с ним уж был опыт. Мы решили, что раньше времени его тревожить не надо. Пусть шире пораскинется, пусть воображает, будто мы о нем позабыли. А мы тут-то и цап-царап!"

79

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Арест. - Зубатов. - Отправка в Петербург. - В Петропавловской крепости. Освобождение. - Родной Камышин.

Наш кружок просуществовал до весны 1894 года. Мы продолжали считать себя "народовольцами", за отсутствием другого, более соответствующего наименования. Мы чувствовали потребность окончательно разобраться в идейном наследии народовольчества и предшествовавшего ему народничества. Мы составили сборник программ прежних революционных организаций и после экзаменов, на досуге, должны были напечатать его на mimeографе. Вместе с тем мы должны были выпустить первый номер общестуденческого журнала, для которого я написал статью "Революционеры и либералы".

Я уехал в деревню, чтобы в одиночестве предаться зубрению для экзаменов, как вдруг, в один прекрасный вечер, ко мне экстренно приезжает сестра одной курсистки из нашего кружка и сообщает, что у меня был обыск, во время которого открыт мой "тайничок" с нелегальной литературой, рукописями, принадлежностями для печатания. Старший брат, сестра, Е. Яковлев и целый ряд других арестованы. Ходят слухи, что аресты были произведены в один и тот же день по всей России: "провал" небывалый, колоссальный...

Ночью я трясся на крестьянской подводе. В Москве с разными предосторожностями увиделся с уцелевшим от ареста П. С. Ширским, которому передал все свои связи и указал место хранения некоторых принадлежностей для печатания. Покончив все дела, я решил перестать скрываться и вернуться на свою квартиру. Когда я заворачивал, задумавшись, с Садовой в Большой Козихинский переулок, я вдруг услышал сзади себя вкрадчивый голос: "Господин! а, господин!" Оглянувшись, я увидел какого-то субъекта в довольно потертом 80 пальто, невзрачного вида, с беспокойно бегающими глазами. Он показался мне "благородным просителем" из разряда бывших "людей", и я опустил руку в карман за подаванием. Как вдруг мой проситель, с изменившимся от страха лицом, отскочил в сторону, заикаясь и бор-

моча: "Что вы! что вы! не надо! я тут не при чем... мы люди подневольные..." От неожиданности я сначала ничего не понял и только в изумлении спросил: "Да в чем же дело, чего вам, собственно, нужно?"

"Я скажу... я сейчас... только уж вы, пожалуйста, извольте вынуть руку из кармана!" Я машинально вынул. - "Так вот, видите ли, ...мне приказано... я вас должен попросить в соседний полицейский участок... г. пристав вас ожидают". Только тут я понял и невольно рассмехался. - "Что же, неужели вы думали, что я в вас стрелять буду?". - "А как знать... Нам сказали, что вы скрываетесь... Когда с обыском к вам пришли, так вы, значит, дома были, только из окошка выскочили... Бывают некоторые отчаянные. А ведь у меня одна голова на плечах. На моих руках семья, дети... пить, есть хотят. Мы тут не при чем - исполняем, что нам прикажут..."

Между тем, навстречу по Козихинскому уже спешила другая такая же фигура в сопровождении городского. За ним ехал извозчик. Меня усадили и повезли.

Я - в Пречистенском полицейском доме. Хотя всю предыдущую ночь я не спал, а трясясь в мужицкой подводе, напрасно я пробую заснуть. Просыпаюсь от нестерпимого зуда во всем теле. Клопы! Но, Боже мой, в каком невероятном количестве! Несколько первых дней в тюрьме проходят в отчаянной борьбе за существование. Погибших клопов выметаю ежедневно кучами. Едва-едва удается установить некоторое "состояние равновесия", при котором жить становится уже возможно.

Путем перестукивания узнаю, что рядом со мною сидит орловец Сотников, дальше - студент Денисов, еще дальше - земский статистик А. В. Пешехонов. Узнаю от них, что в Орле взята штаб-квартира народоправцев, а в Питере серьезно пострадали народолюбцы; что в Смоленске взята только что поставленная типография со свеженапечатанным "Манифестом" народоправцев и первую их брошюрой "Насущный вопрос"...

Вызывают на допрос. Везут в помещение Охранного 81 Отделения. Вводят в большой, комфортабельный кабинет. Просят подождать. Затем входит худощавый мужчина с несимпатичным, но интеллигентным лицом.

- А, здравствуйте, Виктор Михайлович! Очень рад... Давно знал, что придется познакомиться! Вы где остановились? Кажется, в Пречистенских меблированных комнатах? Знаю, знаю... довольно уютные - сравнительно, конечно: всё на свете сравнительно. И управляющий комнатами обходительный. Что вам там не очень неудобно? Ну, да здесь вам придется погостить недолго: пригласят в Петербург. А пока вот я хотел с вами побеседовать...

Я почему-то ждал, что меня будет допрашивать начальник охраны, полковник Бердяев, и не понимал - неужели этот непомерно шуточный штатский и есть пресловутый Бердяев, участник легендарных кутежей вел. кн. Сергея Александровича?

А между тем мой собеседник, потирая руки, прежним шуточно-добродушным тоном продолжал:

- Да, давно мы к вам присматриваемся... Ну, да и вы же! Шумите на всю Москву, прямо на английский манер митинги закатываете. И неужели вы думали, что мы так-таки ничего не видим и не слышим? А мы ведь не только весь этот шум, но и то, что за кулисами творилось, спокойно наблюдали до поры, до времени, как у себя на ладони. Ну, коротко говоря, взяли мы главную квартиру в Орле, взяли типографию в Смоленске, взяли транспорт литературы, по свежим следам, в Москве, взяли разветвления по мелким городам; ну, и ваших приятелей в Петербурге слегка потревожили. Вы ведь туда ездили, не правда ли? Знаю, что там какие-то дураки вас потревожили - эти филеры, знаете ли, обычно ужасные дуботолки. А как это

вы в окно-то при обыске выпрыгнули? Мы уже думали, что вы куда-нибудь после этого нырнете поглубже - ан, нет, слышим, - разгуливает, как барин, по Москве... Ну, пришлось вас пригласить теперь, и знаете ли - это для вас же лучше.

Я попытался остановить этот поток слов замечанием, что его сведения ошибочны: во время обыска у меня я был далеко, в подмосковной деревне, готовясь к экзаменам, а по приезде и не думал скрываться. Если он хочет, может проверить на месте.

82 - Разве? Будто бы? А нам доставили перед визитом сведения, что вы дома. Ну, да это неважно. Я ведь вам не допрос учиняю - видите, и протокола никакого не будет, и разговариваем мы без свидетелей. Допрашивать вас будут в Петербурге, и мое дело - сторона. Я только хотел побеседовать с вами не в порядке следствия, а в порядке некоторого объяснения по существу. Вы ведь, конечно, "Манифест" и "Насущный вопрос" читали?

Я сказал, что не читал. Это была чистая правда.

- Не читали? - удивился он. - Так, пожалуйста, взгляните. Это ведь интересно - за что люди могут подвергать себя и других опасности сесть в тюрьму. Я очень рад, что дам вам заранее возможность ознакомиться с тем, о чем там, в Питере, конечно, вас будут допрашивать, - хотя к этому делу вы ведь, в сущности, причастны только с боку, не так ли? Вы ведь несколько иного толку?

Не дожидаясь ответа, он вышел и вернулся с "Манифестом" и брошюрой. Я, несмотря на всю необычность обстановки, не устоял перед любопытством: что же дают эти обещанные публикации новой партии.

А мой собеседник, давши мне время прочесть "Манифест" и перелистать брошюру и позвонив тем временем, чтобы потребовать чаю, продолжал:

- Ну, скажите: стоило ли ради этого ставить тайную типографию? Да помилуйте, ведь всё это - разве заменив два-три словечка другими, прикровенными - можно напечатать, да постоянно и печатается в "Вестнике Европы" - в этом, как изволили остроумно выразиться Николай Константинович Михайловский, "ежемесячном покойнике в желто-красном гробу с виньеткой Шарлеманя". А вот ваш старший брат, Владимир Михайлович, Евгений Яковлев, Куманин, Лебедев - с этой типографией и с транспортом сели. Вы ведь, конечно, знаете об их приключении?

Я сказал, что знаю только о факте их ареста.

- Вы всё боитесь, что я чего то от вас допытываюсь и ловушки вам ставлю. Поверьте, что нет. Да мне и не для чего. Если вы ничего не знаете, так я сам могу вам сообщить вещи, которые вам знать не мешает. Братец ваш ездил в Смоленск, в типографию, получил вот то самое, что у вас в руках. Ну, его на вокзал товарищи из типографии незаметно провожали, и он даже платочком им из окна махнул: сигнализировал, что, 83 дескать всё благополучно. Земледелам Лебедеву и Куманину - они, кажется, приятели ваши еще с Саратова? - он эти вещи отдал, у них их и забрали. Ну, а Евгений Яковлев еще когда он возился с шрифтом да возил его в Смоленск - всё время был под наблюдением. Видите, сколько я вам могу сообщить интересного. Только как же вы могли этого не знать? Люди всё вам близкие...

Я ответил, что всё это, очевидно, случилось в мое отсутствие, ибо я давно в отъезде и, готовясь к экзаменам, решительно никого в последнее время не видел. Это всё тоже была правда. Только о поездке Яковлева за типографией я догадывался, ибо об этом предположительно говорил со мною Тютчев.

- Да, так вот видите ли: вас-то, собственно, мы и не считаем особенно близким к этому делу. Да и пустое оно: право же, игра не стоит свеч. Печатать нелегально то, что каждый

день, и даже не между строк, можно прочесть в любой либеральной газетке! В сущности, правительство только принципиально не может допустить, чтобы на его глазах работали тайные типографии. А то можно было бы предоставить им спокойно заниматься этой невинной игрой. Несколько иное дело другая литературка... та, которая, как нам хорошо известно, именно через вас шла и распространялась в Москве. Словом, вы догадываетесь... ну да, я говорю о работе ваших питерских друзей. "Летучий Листок Группы Народовольцев" и тому подобное...

"Ну, теперь только держись!" - подумал я.

- Вы, конечно, будете отрицать. Я понимаю это. Повторяю, мне это безразлично: я вас не допрашиваю. Я даже, если хотите, помогаю вам: заранее открываю наши карты, карты обвинения. Вы спросите: зачем? А представьте себе, что просто из симпатии. Не к вам лично - я вас не знаю - а к вашей молодости. Вы человек способный, очень способный; вы пользуетесь любовью окружающих. Мне вы зла не сделали. Почему же мне вам не помочь, если мне это ничего не стоит? Я сам был молод; скажу больше: я сам был в вашем положении.

Тут он остановился и многозначительно помолчал. Меня сразу точно осенило: так вот он кто, мой говорливый собеседник! Это - знаменитый Зубатов!

84 - Да, - раздумчиво произнес он. - Вы спросите: почему же я теперь сижу здесь на этом кресле? Да потому, что я кое-что пережил... Кое-что увидел, перечувствовал, передумал... и кое-чему научился. Когда в мои руки попадает такое вот дело, как подобное печатание в тайной типографии почти дозволенных или, по крайней мере, терпимых правительством вещей, - словом конспирация ради конспирации, - я имею возможность часто ликвидировать его почти без последствий. Сильное правительство может быть снисходительным. А наше правительство - сильное правительство, оно может прекратить всякое направленное против него предприятие в самом зародыше - впрочем, нет надобности об этом говорить, вы в этом на собственном опыте могли убедиться. Но бывают другие попытки играть с огнем... не столь невинные. Против них-то я и хотел, в частности, предостеречь вас.

Он опять помолчал, как бы следя, какое впечатление произвели на меня его слова. Я ждал, еще не вполне понимая, к чему он клонит.

- Вы, я знаю, не доверяете правительству, - продолжал, между тем, Зубатов. - Может быть, в ваших упреках ему вы часто бываете правы: всё земное несовершенно. И я не хочу быть адвокатом правительственной политики во что бы то ни стало. Но вот вам вещь, которой вы не знаете и которая вас поразит: в министерстве народного просвещения разрабатывается законопроект о всеобщем обучении. Только подумайте: вся Россия - грамотна! Какой могучий скачок вперед! Не правда ли, тот, кто этого добьется, кто протащит этот законопроект через правящие сферы, сделает для русского народа гораздо больше, чем все революционеры, вместе взятые! Что вы на это скажете?

Я сказал, что не верю в утопию всеобщего обучения при режиме, который даже кормить голодающих не разрешает. Зубатов только плечами пожал.

- Ну, помилуйте, вы же не хуже меня знаете, что одни шли кормить голодающих, а другие бунтовать голодающих. Гораздо человечнее не допустить их до деревни, чем дать возможность разразиться бунту, а потом встать перед необходимостью бунтовщиков расстреливать. Вы скажете, что бурбоны-жандармы не умели различить одних от других. Не стану спорить. Допускаю - даже наверно думаю, что так и 85 было. С этим надо бороться, надо гнать бурбонов, надо сажать вместо них интеллигентных людей. Но ведь для этого необходимо, чтобы интеллигентные люди не отворачивались от правительства, а шли работать у

него. Надо, чтобы их за это не клеймили именем изменников и предателей...

Зубатов опять остановился и помолчал несколько мгновений. Затем опять начал:

- Согласитесь, что шедшие бунтовать голодающих отчасти тоже повинны в том, что пришлось просеивать через полицейское сито тех, кто шел голодающих кормить. Либеральные меры проводить через правительство можно, но только при условии, что общество пойдет им навстречу. Например, профессиональные организации рабочих - их разрешить можно, если они откажутся от ненужной для них роли - быть простой ширмой для партийной пропаганды.

Поверьте мне, многое уже было бы осуществлено в русской жизни, если бы сами революционеры, исходя хотя бы из самых лучших побуждений, не портили дела, не накликали реакции. Что выиграли революционеры, убив Александра II?

Они провалили конституцию Лорис-Меликова. Вы это сами прекрасно знаете. И теперь революционеры опять готовятся повторить ту же самую ошибку. Да, ту же самую, вы этого отрицать не станете?

- Я не понимаю, о чем вы говорите.

- Ах, Боже мой, вы же не хуже меня знаете, что опять поднимаются разговоры о воскрешении народовольческой тактики, о пресловутом терроре, который никого наверху не терроризирует, но всех озлобляет. Проповедь террора - вот что является худшим врагом всех прогрессивных начинаний. Право, я иногда думаю, что террор изобретен крайними реакционерами и подстрекательски подсказан ими своим врагам. Именно друзья народа, друзья народа в революционной среде должны всеми силами бороться против террора. Террорист накликает ужасы репрессий не на себя одного, а на всех. Это - злоупотребление чужими правами. Революционеры, которые из-за террористических выходов теряют все возможности работы в массах, имеют право противодействовать террору всеми - понимаете ли, всеми! - средствами. Это, в сущности, с их стороны - необходимая самооборона!

86 И, вдруг оборвав, Зубатов посмотрел на часы и воскликнул:

- Как я, однако, с вами заболтался! Но я прошу вас подумать на досуге о том, что я вам говорил. Вы видели, я не преследую никакого специального интереса в беседе с вами. Надеюсь, я вам не очень надоел? Впрочем, ведь в Пречистенских меблированных комнатах вовсе не так весело, чтобы вы многое потеряли, проведя время здесь. Вы узнали здесь и кое-какие новости, которые иначе остались бы вам неизвестны. Пока до свиданья; быть может, я еще раз буду иметь случай побеседовать с вами. Надеюсь, что вы будете более доверчивы, и убедитесь, что я съест вас не хочу.

Зубатов позвонил, и я, в сопровождении стражи, отправился восвояси. Было ясно, что весь разговор был только "предисловием" к чему-то. К чему именно?

Рассуждения Зубатова о правительстве, способном водворить в России всеобщую грамотность и даровать конституцию, о революционерах, и особенно террористах, вызывающих реакцию и мешающих прогрессу и т. п. - меня не трогали. Всё это слишком явно было шито белыми нитками.

В одном только пункте Зубатов, что называется, попал не в бровь, а в глаз, и произвел на меня сильное впечатление. Сосущей, щемящей болью отдавались во мне иронически-снисходительные слова Зубатова: "и неужели вы воображали, что мы слепы. Да мы все ваши поездки, всё, всё видели, как на ладони".

Да, они всё знают... Какими маленькими, какими обидно бессильными выгладим мы перед лицом всеведущего и всевидящего полицейского аппарата правительства. Сомнения

нет, всё обнаружено, всё взято. С нами играли, как кошка с мышкой. Как же быть? Как бороться? Неужели всё, что делается, толчение воды в ступе?

Возили меня к Зубатову еще раз - уже перед самой отправкой в Петербург.

Счел ли Зубатов излишней по безнадежности дальнейшую трату времени со мной, или просто меня неожиданно вытребовали "свыше", но через несколько дней, простившись с симпатичным добряком, начальником тюрьмы, и подарив ему по его просьбе на память вылепленные мною из хлеба 87 шахматные фигурки (я играл посредством перестукивания с соседом Сотниковым), я ехал в сопровождении четырех бравых жандармов в Петроград.

После коротенького и скучного перехода через "чистилище" Питерской охранки меня в карете с двумя рыжебородыми жандармами повезли куда-то - куда, выяснить я не мог, так как окна были плотно задернуты занавесками. Везли довольно долго.

Потом по звуку колес я догадался, что мы переезжаем через какой-то мостик. Карета остановилась. "Пожалуйста". Передо мной было низенькое строение, оказавшееся кордегардией. При нашем входе выстроилась во фронт команда солдат; явился кто-то из тюремного начальства "принимать" нового "клиента". "Прием" состоялся в том, что меня догола раздели и долго обыскивали: шарили в волосах, заставляли раскрывать рот, в поисках нет ли в зубах где-нибудь дупла и не спрятано ли чего-нибудь в нем; уши, ноздри, подмышками - всё было предметом тщательного осмотра и ощупывания; не осталось ни одной складочки тела, куда бы не пробовали забраться как можно глубже корявые пальцы усердного "изыскателя". Затем, отобрав мое платье и выдав вместо него грубого холста белье, арестантский халат и туфли, меня отвели в камеру... Я глянул в окно - ничего, кроме куска стены, покрытой грязной известкой. Глянул вокруг - кровать, перед кроватью - вделанный в стену железный столик; в углу - знакомая мне по литературе классическая "параша".

След, явственно выдавленный на плохом асфальтовом полу ломаной диагональю из одного угла к другому, особенно поразил, помню, мое молодое воображение. Сколько людей до меня ходили здесь из угла в угол, словно звери в клетке. Кто они были? И где же, собственно, я? Ответ на последний из этих вопросов не заставил себя ждать. На следующий день, около полудня, вдруг раздался близко-близко, можно сказать, совсем рядом, внезапный удар пушечного выстрела. А вслед за тем колокол начал вызванивать мелодичные звуки "Коль славен"...

Так вот оно что! Я сразу вырос в собственных глазах. Я - в Петропавловской крепости, где испокон веку сменяли друг друга поколения бойцов, чьи имена произносились нами 88 с почти религиозным благоговением. Промелькнуло чувство гордости и тотчас сменилось другим, тревожным чувством. Как! Быть может, по этому извилистому следу когда-то шагал, хороня под тюремными думами свои скорбные думы, Чернышевский: быть может, сквозь этот бледный просвет окна вперял в тихие сумерки свой смелый и гордый взор Желябов...

В долгие тюремные сумерки, пока не приносили лампы, мое воображение неутомимо работало. Я так живо представлял себе своих предшественников, вызывал их образы, как будто их тени приходили ко мне и нашептывали, как посмертное завещание, какие-то смутные, вдохновляющие речи.

Одиночество мое было только относительным. Я уже не раз слышал постукивание в мою стену, свидетельствовавшее, что у меня есть соседи; я пытался отвечать им, но не сразу сообразил, что в стуке есть какая-то правильность, и стало быть, условная система. Перепробав несколько возможных комбинаций разбивки азбуки на ряды, я скоро напал на ту, которая соответствовала общепринятой, и с тех пор всегда имел собеседников. На очень про-

должительное время соседом моим был Н. С. Тютчев. Мы беседовали часто и подолгу. Перестукивание строго преследовалось в Петропавловской крепости; курящих за это преступление лишали табаку, а не курящих - права на получение книг из тюремной библиотеки. Приходилось быть начеку. Мы изловчались, как только могли. Так, например, стук в стену мы пробовали не без успеха заменить вышагиванием.

Поездка моя в Орел так и осталась неизвестной, как и обставленные достаточно конспиративно свидания с Натансоном и Тютчевым в Москве. Впрочем, моя репутация сочувствующего народовольчеству гарантировала меня от припутывания к делу "народоправцев". Скоро меня перестали вызывать на допросы: доля моего участия, видимо, считалась выясненной.

Таково было положение, когда меня однажды вызвали и повели куда-то вниз. Меня ввели в большую комнату, разгороженную пополам двумя параллельными решётками, с промежутками в аршина полтора-два; в одном месте обе решётки прорезывались небольшими оконцами; между оконцами стоял столик, за которым восседал жандармский офицер.

За одной 89 решёткой, у окна, поставили меня; за другой, у противоположного конца, показалось встревоженное, побледневшее, похудевшее лицо - моего отца. Видно было, что вся эта необычайная обстановка, "этот двойной ряд решёток" ("как для диких зверей в зверинце" - с содроганием говорил мне отец впоследствии), вместе с таким же необычайным видом сына в арестантском халате и туфлях, полгода не стриженного и не бритого, произвели на него потрясающее впечатление. Говорить "по душам" в такой обстановке было невозможно. Отец едва выдавил из себя несколько притворных назидательных фраз; я старался успокоить его, уверив, что я совершенно здоров и не тревожусь за будущее. Это свидание было единственным; я унес с него тяжелое чувство: образ потрясенного отца, обычно такого жизнерадостного, а теперь казавшегося разбитым стариком, врезался в душу и воскресал снова и снова, сжимая грудь тупой, щемящей болью...

И вдруг пришла "нечаянная радость". Мне принесли все мои вещи, велели одеться и собраться: "во внимание к ходатайству отца и дяди, действительного статского советника Даниила Лукича Мордовцева", меня решено перевести из Петропавловской крепости в Дом предварительного заключения. Я мысленно благословлял Д. Л. Мордовцева, - дальнего родственника, для этого случая назвавшегося моим дядей, давно интересовавшегося мной и одобрявшего меня в первых моих полудетских писательских опытах. В Петропавловке не давали никому письменных принадлежностей; разрешение иметь грифельную доску было уже редкой милостью; но и в случае разрешения на бумагу и чернила, ничто исписанное, по незыблемой конституции крепости, не могло быть вынесено заключенным из нее, а должно было стать "казенной" собственностью и остаться навсегда в крепостных стенах. Дом предварительного заключения означал возможность писать, что для меня было истинным счастьем...

С пером в руках я почувствовал себя сразу же как-то умственно сильнее ощущение, которое должно быть знакомо многим писателям. Библиотека Дома предварительного заключения была гораздо богаче.

Мое здоровье было великолепно, хотя, за неимением теплой одежды (я был арестован весной) приходилось слишком часто отказываться от прогулок, а отсутствие денег вынуждало довольствоваться казенной пищей, которая тогда в Доме предварительного заключения была такова, что немногие выдерживали ее безнаказанно. Но мой плебейский желудок был способен, кажется, переварить даже камни и победоносно справлялся и с баландой, и

еще с каким-то неизвестным в гастрономическом лексиконе блюдом, которым эта баланда через день сменялась. Наконец, в январе меня вызвали снова и объявили, что, по ходатайству дяди и отца, меня решено отдать им на поруки под залог. Мне выдали проходное свидетельство "до места жительства", то есть моего родного города Камышина, Саратовской губернии, и отпустили.

Кончился мой первый тюремный стаж... Как ребенок в материнском лоне, пробыл я во чреве тюрьмы ровно девять месяцев. Срок был довольно недолгий и перенести его было легко: он скрашивался духовной работой. Впоследствии я называл его своим сокращенным девятимесячным университетским курсом.

Родной Камышин - плохонький уездный городишко, еще не оживленный только что проложенной линией железной дороги. Никакой промышленности. Весь город состоит из чиновничества, купечества, мелких ремесленников, приказчиков, подмастерьев, скупщиков, торговых агентов, всякого рода "услуживающих" да жалкого мещанства, которое из крестьянской кожи едва-едва только вчера вылезло, а в городскую еще не влезло. Местная, так называемая, "интеллигенция" состоит из прокурора, казначея, податного инспектора, нескольких судей, врачей и одного-двух адвокатов. Вся "духовная культура" - в любительских спектаклях. В клубе дамы с упоением предаются игре в лото, мужчины - в винт. Новых веяний... на них только появлялись маленькие намеки.

Новый председатель земской управы Татаринов, из залетных гостей в Камышине, вращался некоторое время среди российских либералов тверского типа; деловитый администратор и человек "просвещенных воззрений", он принес с собою элементы умеренного конституционализма: вокруг него сгруппировались такие же "умеренные и аккуратные" деловито-культурные земские работники, преимущественно из немцев-колонистов, зажиточных хозяйчиков, полукрестьян-полупомещиков. На 91 новом уездном предводителе дворянства, родственнике Татаринова по жене, графе Олсуфьеве, снимавшем верхний этаж в доме моего отца, также лежал налет новых веяний - только более поверхностный и сдобренный аристократическим дилетантизмом и скучающей хлыщеватостью. В общем - пустыня. Девушки, грызущие семечки, кокетливо ударяющие кавалеров перчатками по рукам, складывающие губки бантиком и убежденные, что все мужчины - ужасные насмешники; кавалеры, из кожи вон лезущие, чтобы оправдать эту репутацию; чиновники, одуревающие в своих присутствиях и канцеляриях, наживающие пенсии, чины и геморрой; с вечера субботы до вечера воскресенья, а то и до утра понедельника, они "встряхиваются" в сплошном попойно-картежном трансе, чтобы прямо с него повлечить затуманенную алкогольными парами и бессонницей голову в то же трудовое дышло повседневной канцелярщины. Среда эта немножко встрепенулась и с любопытством уставилась на свежее испеченного выпускного "социалиста из Петропавловки", о которой среди них ходили самые дикие легенды, - например, о казематах, размещенных ниже дна Невы, с открывающимися люками для затопления водою и т. п. Были в этой среде и доморощенные незатейливые "вольтерьянцы", вроде моего отца.

"Красный", побывавший в легендарной Петропавловке, вызывал некоторое тайное и смутное уважение. Живо сказывалось это и на моем отце. Как-то раз мы разговорились о моих планах на будущее. И когда я начисто сказал, что считаю свой жизненный путь предрежденным, он задумчиво заключил всю нашу беседу словами:

- Трудно это человеку... Что и говорить, хорошо так, не жалея себя, послужить народу. Слова против не скажу - высокое это дело... "блаженны вы, егда поносят вас и ижденут", это даже Иисус Христос говорил. Только уж, по-моему, если обречать себя на это - тогда не надо

жениться и семьей обзаводиться не следует. Собой самим всякий рисковать имеет право, да одна голова не бедна, а и бедна, так одна. Ну, а вот семью подвести под такие испытания - это уже нельзя. Дай тебе Бог сил на это, а только тяжело это будет.

В такой провинциальной трущобе жить было душно. К тому же, в городе меня, что называется, всякая собака знала, 92 а потому завязать связи с "низами", с деревней - было страшно трудно, почти невозможно. Я попытался, поэтому добиться разрешения перебраться куда-нибудь в более крупный город, под предлогом лечения зрения.

Мне разрешили три соседних пункта - Царицын, Саратов, Тамбов. Я, разумеется, выбрал Саратов и на несколько дней окунулся в знакомую по гимназическим временам "радикальную" среду. Начались ожесточенные споры о капитализме и крестьянстве, об экономике и политике, об отношениях с либералами и о терроре, особенно в кружке Аргунова, бывшем на каком-то идейном "перепутья". Но, по-видимому, я, изголодавшись во время тюремного заключения и Камышинского прозябания, проявил слишком беспокойное усердие в этой области. По крайней мере, не прошло и полторы недели после приезда, как я уже получил повестку - меня вызывали в Жандармское Управление. Там я предстал перед строгие очи полковника Иванова, который коротко, холодно и сухо сообщил мне, что я в двадцать четыре часа должен оставить Саратов, что разрешение мне поселиться в нем есть плод недоразумения и что всякие дальнейшие объяснения по этому поводу излишни. Мне оставалось собрать свои немудреные пожитки и отправиться в следующий по величине из трех разрешенных мне городов - Тамбов.

93

ГЛАВА ПЯТАЯ

В Тамбове. - Земцы. - Старые революционеры. - Работа среди крестьян. Последняя встреча с Н. К. Михайловским. - Отъезд за границу.

Тамбов сохранял еще черты глухого провинциального города, каким его описал Лермонтов. Но среди общественных зданий уже выделялось одно, импонировавшее и своей внешностью и назначением. Это был Народный Дворец, воздвигнутый на средства крупнейшего тамбовского земельного магната, большого вельможи Эмануила Дмитриевича Нарышкина. В нем помещалась библиотека, читальня, зал для публичных чтений, книжный склад для пополнения сельских библиотек и даже археологический музей.

Народный Дворец состоял в ведении особого просветительного общества, составленного почти исключительно из местных педагогов и духовенства. В городе была воскресная школа. В местном земстве пробивались какие-то просветительные веяния; была учреждена агрономическая станция, склад земледельческих машин и орудий; подумывали о выработке нормальной сети школ для будущего "всеобщего обучения". Были в Тамбове и люди близкие мне по своим общественным и политическим настроениям. Таковы были бр. Мягковы, причастные к Астыревскому кружку, знакомые мне по Москве В. А. Щерба и агроном Н. М. Катаев, а из более старого поколения - ссыльные из деятелей заката народовольчества А. Н. Лебедев и Н. Мануйлов; позднее появились статистик Н. Мамадышский, Макарьев и сосланный по делу о снабжении оружием армянских революционных организаций М. Лаврусевич. К этой ссыльной колонии тяготел ряд местных людей, типа культурных деятелей, как присяжный поверенный А. Я. Тимофеев, заведывающая воскресной школой (впоследствии моя жена) А. Н. Слетова, еще несколько учительниц воскресной школы и т. п.

В. А. Щерба был центром "третьего элемента", взявшегося за земскую культурно-экономическую работу.

94 В "полевлении" ряда земцев надо видеть особенную заслугу Вл. А. Щербы, представлявшего собою лучший тип интеллигентного земского работника. Болезненный, слабого сложения, с впалой грудью, слегка прихрамывающий, всегда с очками на близоруких глазах, он обладал необычайной работоспособностью. Он был человек очень мягкий, с прирожденным изяществом манер, одаренный необычайным тактом, но в то же время очень твердый и настойчивый по существу. Всё, за что он брался, он делал необыкновенно тщательно, толково и добросовестно, и он пользовался уважением даже тех, кто с неудовольствием смотрел на влиятельное положение, занятое этим "чужаком" и к тому же "красным".

К сожалению, этот симпатичный, всеми любимый человек, умер слишком рано и не вырос в такого крупного деятеля, каким он, несомненно, стал бы в более свободных политических условиях жизни страны.

Нам удалось залучить в Тамбов на несколько лекций В. В. Лесевича. В первый раз тамбовская публика слышала с публичной кафедры настоящего оратора - по истине "оратора Божьей милостью". Мы сами дивились, как увидели его на трибуне. Человек, который только накануне возбудил в нас опасения за судьбу его лекций, говоря слабым, глухим, носового тембра голосом, вдруг точно преобразился. Он как будто стал и сам выше ростом, и голос его окреп, поражая богатством вибраций, выразительностью и какой-то особенной силой, с какой он завладевал вниманием аудитории. Первую лекцию он читал о Робинзоне Крузо и позднейших робинзонадах. Но уже вступление его - мастерская картина Англии эпохи пробуждения вольнолюбивых принципов - содержала столько сопоставлений и намеков на наше собственное политическое положение, что была целой революцией. Овации оратору были, можно сказать, первой в Тамбове замаскированной политической демонстрацией.

Заглядывали к нам и другие посетители. Пронесся слух, что из Сибири едут в Россию носители двух крупных имен из прошлой революционной истории: Войнаральский и Брешковская. Ждали мы их с понятным нетерпением. Увидеть тогда пришлось нам лишь первого. Как сейчас помню вечер у старого народовольца А. Н. Лебедева, который нас познакомил с 95 приезжим. Порфирий Павлович Войнаральский очаровал нас неутолимимым внутренним горением, которым было полно всё его существо... В нем жила неукротимость вечного бунтаря, бунтаря по всему духовному складу. "Вечным движением", вечным брожением дышали и его речи. Трагическим метеором пронесся мимо нас его образ, оставив глубокое впечатление. Это не был революционный кормчий, но живая, воплощенная "труба", зовущая на бой. Вскоре после посещения Тамбова он заболел и умер. Тяжело было бы ему жить и пролагать себе путь-дорогу в дебрях тогдашнего безвременья...

Между тем, кое-кто из кончивших семинаристов, из питомцев учительского института, из старших учеников воскресной школы, державших экзамен на сельского учителя, распределились по разным селам. Число наших связей росло. Мы решили серьезно взяться за постановку особой библиотеки для деревни. Нелегальных книжек в ней почти не было. Да и что можно было предложить мужику из тогдашней нелегальной литературы? Две-три старых брошюры, лучшая из которых - "Хитрая механика" - была переполнена архаизмами, вроде обличения давно канувшего в вечность соляного налога.

Кое-что всё же наскребли. Затем взялись вплотную за обследование легальной литературы. В первой очереди у нас шли романы Эркмана-Шатриана из истории французской революции: "История одного крестьянина", "История школьного учителя", "История одного консерватора" и т. п. Затем шли Джиованиоли "Спартак", Француз "Борьба за право", Золя "Углекопы", Феликс Гра "Марсельцы", Швейцер "Эмма", Беллами "Через сто лет", Вазов

"Под игом", Рубакин "Под гнетом времени", Войнич "Овод", повести и рассказы Засодимского, Наумова, Златовратского, Станюковича, "Мелочи архиерейской жизни" Лескова, "Алчущие и жаждущие правды" Пругавина, "Бунт Стеньки Разина" Костомарова, романы из времен ирландских аграрных движений, статьи и очерки, выбранные из разных старых журналов, о крестьянских войнах в Германии, о жакерии во Франции и т. д. и т. п. Опять засадили мы молодежь за перечитывание старых журналов со специальной точки зрения - извлечения из них всего, подходящего для крестьянского чтения. Гимназисты, семинаристы, молодые студенты и т. д. читали, собирались для заслушивания рецензий, собирали книжки.

96 Удачный и богатый подбор делал свое дело. Книжки возвращались разбухшими от перелистывания корявыми мужицкими пальцами, но с необыкновенной аккуратностью и бережностью; пропаж я не запомню; бывало, что теряли след какой-нибудь книги, колесившей из уезда в уезд, - но пройдет несколько времени, и она вдруг вынырнет с такого конца, с какого ее и не ожидаешь. "Это святые книжки" - приходилось иногда слышать. Аудитория у нас была крайне благодарная и восприимчивая.

Среди окончивших в том году средние учебные заведения было несколько человек, прошедших через наши кружки и решившихся обосноваться для постоянной революционной работы в деревне. Среди них особенно выделялся П. А. Добронравов. Его имя неразрывно связано с образованием первой в России самостоятельной, революционной крестьянской организации.

Добронравов уехал, увозя с собой одну из "летучих библиотек". Прошло несколько времени, в течение которого о нем ничего не было слышно. Наконец он появился: похудел, глаза ввалились, горят лихорадочным блеском. На лице написана тревожная решимость.

- Ну, Виктор Михайлович, у нас готово. Поднимаемся. Поклялись не шадить себя. Все поклялись друг перед другом. Не на шутку. Все головы положим. Кончено: так подошло.

Рассказ не оставлял сомнения в том, что в Павлодаре образовалось очень ценное, сплоченное активное ядро, сумевшее вести за собой целую округу. Я был в восторге от того, что крестьяне сами пришли к мысли о правильной тайной организации. Но именно поэтому меня обуял страх, как бы вся она не погибла прежде, чем сумеет заразить своим примером другие местности. И я принялся успокаивать Добронравова и советовать ему найти какой-нибудь выход, чтобы не ставить на карту разом всё существование первого революционного крестьянского союза...

В конце того же года я попытался собрать первый в нашей губернии маленький крестьянский революционный съезд. Крестьян, впрочем, съехалось очень немного, избранные из избранных, человек восемь от пяти уездов: Борисоглебского, Тамбовского, Моршанского, Козловского, Кирсановского. 97 Кроме того, я пригласил одного от нашего рабоче-ремесленного кружка, руководясь той же мыслью - сближения крестьян и рабочих.

Труднее был для меня вопрос, кого пригласить еще из нашей революционной интеллигенции. Старшее поколение туго сходилось с крестьянами. Одни, как Лебедев и Макарьев, были чересчур "заговорщики", привыкшие шептаться с глазу на глаз и при том исключительно между своими. Другие, как Щерба, ближе принимали к сердцу деревенскую работу, но были слишком поглощены земско-культурными вопросами и, пожалуй, чересчур приспособили весь свой склад к политическому обслуживанию земского либерализма. Третьи, как И. Мягков и А. Я. Тимофеев, были довольно близки с крестьянами: один был присяжным поверенным, другой - помощником: вместе с еще одним молодым адвокатом они составляли земское бюро бесплатной юридической помощи; к ним я постоянно направлял то молокан,

когда им угрожали преследования по делам о соращениях, кощунствах и т. п., то крестьян тех местностей, где шла борьба и споры из-за земли с соседними помещиками. Крестьяне их любили и ценили, как своих надежных друзей и защитников; но на революционной почве сношений с ними у крестьян как-то не вытанцовывалось. Вероятно, потому, что эти двое товарищей уже тогда, незаметно для себя самих, эволюционировали в другом направлении; естественным концом их эволюции было их присоединение впоследствии к "освобожденцам", а затем и вступление в конституционно-демократическую партию.

Я остановился, в конце концов, на одном: на исключенном за участие в беспорядках студенте С. Н. Слетове.

С. Н. Слетов был тогда худощавым, невысоким, вечно горбившимся, как старик, юношей, с некрасивым, но умным лицом; в очках, близорукий и угловатый, он очень стеснялся своей угловатости и, быть может, потому и был несколько резким в своих движениях. Остроумие его - меткое и порою злое - было не светлое, а темное и горькое. Но в нем чувствовался недюжинный самобытный критический ум, - быть может, более сильный в скепсисе и отрицании, чем в творчестве, - и настоящий большой характер, дополняемый богатым темпераментом.

Мы со Щербой давно поговаривали между собой, что всего ценнее было бы приобрести для нашего дела именно 98 С. Н. Слетова, вырвав его из-под марксистских влияний. И вот, долго думая о том, кому в случае ареста или отъезда передать все деревенские связи, я окончательно остановился на нем. Он был на съезде, перезнакомился со всеми крестьянами и оказалось, что я не ошибся: он сразу сошелся с ними и всем существом отдался крестьянскому движению.

На съезде наметились самые заманчивые перспективы расширения и пропаганды и организации. При таком расширении дела приходилось, однако, подумать о том, чтобы создать необходимую для него специальную революционную литературу, а для этого нужно было нечто большее, чем силы одного провинциального кружка. Надо было завязать более широкие революционные связи, надо было ознакомить другие кружки с опытом нашей работы и толкнуть их на такую же работу в их местности.

Прежде всего, я попытался связаться с ближайшим крупным революционным центром - Саратовым, где явился к Ник. Ив. Ракитникову и жене его Инне Ивановне, которую знал еще, как кончившую петербургские курсы студентку Альтовскую. Долго и воодушевленно рассказывал им про нашу деревенскую работу и открываемые ею широкие горизонты. Но вера в значение крестьянства, как активной силы в предстоявшей революции, до такой степени была тогда, отчасти под давлением марксизма, утрачена, что всё мое красноречие не могло сломить льда.

Супруги Ракитниковы, впоследствии такие столпы с.-р-ской партийной работы в деревне, отнеслись к моим рассказам весьма скептически. Они тогда идейно переживали момент перелома. Марксизм повлиял и на них, - но не марксизм западно-европейских социалистических партий, приглашенный применительно к спокойному темпу мирной парламентской работы, а марксизм "коммунистического манифеста", максималистский и социально-революционный. От Ракитниковых я толкнулся к кружку Аргунова. Этот кружок только что закончил свое "самоопределение", изложив свое политическое credo в рукописном проекте программы. Проект произвел на меня очень невыгодное впечатление. Когда меня попросили дать свой отзыв, я мог только сказать: "Рукопись принадлежит перу народовольца эпохи упадка, по обеим сторонам которого сидели, постоянно одергивая его то справа, то слева,

народоправец и социал-демократ", впечатление 99 чего-то неуверенного, колеблющегося, какой-то "ни павы, ни вороны".

По отношению к крестьянству - полный скептицизм для настоящего, теоретическая защита для будущего, когда доступ в деревню будет облегчен завоеванной без нее и помимо нее политической свободой. Я уехал из Саратова глубоко разочарованный. Несколько позднее приехал в Тамбов из Воронежа мой старый саратовский знакомый - Анат. Влад. Сазонов. Он совершил объезд разных городов по поручению южного объединения групп новонародившихся "социалистов-революционеров". Он рассказал нам о первом их съезде, на котором, если не ошибаюсь, Тамбов был представлен бывшим воронежцем Макарьевым, очень милым, но чудаковатым человеком, имевшим всегда чрезвычайно конспиративный вид и абсолютно не связанным ни с какою низовой массовой работой; это был типичный радикал из "пушающих революцию промеж себя".

Сазонов говорил, что новое объединение ставит себе весьма скромные задачи чисто практического свойства и, прежде всего - издание "Бюллетеня", революционного органа чисто информационного характера. Никакой революционной программы развить он перед нами не сумел. Он говорил лишь, что марксизм не может удовлетворять революционных запросов мыслящего человека нашего времени; что нужен был бы какой-то новый революционный синтез, но переживаемая нами глухая пора не выдвинула для этого "настоящего человека" - крупного, с творческим умом мыслителя. "Делать нечего, заключил он, пока что будем как-нибудь сообща, совокупными силами многих, кустарным способом готовить новую программу и ее обоснование".

Была, несомненно, почва у социал-демократов, только что организовавшихся в "партию" общероссийского масштаба и выпустивших свой "Манифест" (принадлежавший, как известно, перу П. Б. Струве). Но мы считали, что есть почва и у "нас". Но кто же были "мы"? И в чем заключалась наша программа? Практическую часть ее мы считали совершенно определившейся. Мы в основу клали массовое народное движение, основанное на тесном органическом союзе пролетариата городской промышленности с трудовым крестьянством деревень. В будущем мы предполагали, между прочим, и действие народолюбческим методам террора, но с тем различием, что у Народной Воли, намеренно или нет, террор был 100 самодовлеющим, а мы представляли его себе, как революционную "запевку" солистов, чтобы припев был тотчас же подхвачен "хором", т. е. массовым движением, которое, во взаимодействии с террором, перерождается в прямое восстание. Круги революционной интеллигенции были как бы передовыми застрельщиками. Пролетариату отводилась авангардная роль; крестьянству - роль основной, главной армии. С либералами, как с чужаками, предполагалось "врозь идти, но вместе бить" самодержавие; допускалось временное торжество их вначале, после которого фронт должен был быть повернут против либералов.

Два товарища из нашего кружка - А. Н. Слетова и О. К. Лысогорская - успели в это время съездить за границу: первая - для изучения там постановки дела внешкольного образования, вторая - для поступления в университет. По моему поручению они привезли оттуда последние новинки социалистической литературы: знаменитую книжку Эд. Бернштейна и протоколы Бреславского соц.-дем. партийтага, с ожесточенными спорами о тактике в деревне между Бебелем, Либкхнефом, Давидом с одной стороны, Каутским и Шиппелем - с другой.

Эти живые свидетельства огромного брожения внутри западно-европейского социализма решили дело. Меня потянуло неудержимо за границу, погрузиться целиком в происходящую там борьбу идей и теорий, впитать в себя и переработать все "последние слова"

мировой социалистической - да и общеполитической - мысли. Кроме того, думалось мне, за границей я найду всех ветеранов революционного движения, с Петром Лавровичем Лавровым во главе. Не может быть, чтобы они не откликнулись на запросы жизни, властно вставшие перед нами в процессе работы. Будет создана литература, необходимая для широкой постановки революционной пропаганды в деревне и широкой струей хлынет в Россию, оплодотворяя работу кружков, подобно нашему, и пропагандистов-одиночек. И "тогда пойдет уж музыка не та".

С этими мыслями, едва только кончился срок моего "гласного надзора" в гор. Тамбове (я забыл упомянуть, что подошел под "коронационный манифест", вследствие чего мне вменили в наказание отбытие мною девяти месяцев предварительного заключения и после трех лет надзора запретили жительство почти во всех сколько-нибудь крупных городах 101 Российской империи), - я исхлопотал себе заграничный паспорт и двинулся за рубеж, увозя с собой тщательно заделанный в обуви "устав" первого революционного крестьянского братства. Я постарался проехать через Петербург, чтобы повидаться перед отъездом с Н. К. Михайловским и вообще редакцией "Русского Богатства", в котором я начал тогда сотрудничать. Попал я не совсем удачно. Хотя я и познакомился со всеми столпами журнала - Н. Ф. Анненским, В. Г. Короленко, В. А. Мякотиним, А. В. Пешехоновым, - но в то время на журнал обрушилась первая крупная кара: закрытие на три месяца. При таких условиях им было не до меня. Только с Михайловским я успел переговорить обо всем, что было на сердце. Познакомил я его и со своим "уставом". Он выслушал меня с характерным для него сосредоточенным и сдержанным вниманием и предложил, по мере того, как будут продвигаться мои работы по изучению аграрного вопроса за границей, делиться результатом их с читателями "Русского Богатства". По содержанию моих речей он сказал лишь несколько слов, врезавшихся у меня в память:

"Мне думается, что в русской жизни зреет частичный возврат к принципам прошлого движения, отход от шатаний и уклонений последующего межумочного безвременья. Возврат не для простой реставрации старого, а для движения вперед от него, как исходной точки. Что дадут ваши опыты работы в деревне - мне трудно судить. Боюсь, что я скептически вас отнесся бы к ее ближайшим практическим результатам. Может быть потому, что скептицизм - печальная привилегия старости. Но одно они дадут - соприкосновение не с поверхностью, а с настоящей гущей жизни, из которой когда-нибудь выбродит то, что нужно... Но только... "жить в эту пору прекрасную" мне-то уж, наверное, не придется"...

Наш разговор оборвался; другого, вопреки тому, что было условлено, по случайным причинам не состоялось. В Михайловском меня поразила какая-то усталость и как бы надтреснутость. Свидание не дало мне того, чего я ожидал. И долго меня точило сознание чего-то мною в Петербурге недоделанного. Но с тем же непоколебленным оптимизмом - счастливой привилегией молодости - я перебрался через рубеж. Это для меня было скачком в загадочное неизвестное. Сколько было в нем притягательного и многообещающего!

102

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Заграницей. - Цюрих: первое знакомство с П. Б. Аксельродом и

Г. В. Плехановым. - Закат народовольчества. - Социал-демократы, либералы и народники. - Х. О. Житловский и его Союз Русских Социалистов-Революционеров. С. Д. Ан-ский.

Первым этапом в моей поездке за границу был Цюрих, где я и днем с огнем не мог найти себе политических единомышленников. Шел 1899 год. В Цюрихской русской колонии

преобладали молодые социал-демократы, совершенно замороженные своим, на мой вкус очень упрощенным, марксизмом; они были к тому же целиком поглощены разгоравшейся распреею между "стариками" Группы Освобождения Труда и почти всею поголовно молодежью.

У первых была теоретическая зрелость, способность охватить мыслью все ожидаемые ими будущие этапы движения. Вторые сохраняли в душе первые уроки пережитой ими самой начальной фазы движения, не выходявшей из рамок чисто экономической борьбы рабочих отдельных предприятий, против их непосредственных хозяев. То же, что привез с собою я - видение назревшей аграрной революции воспринималось борющимися сторонами, как нечто равно чуждое и тем, и другим. Если некоторые из "молодых" и заинтересовались вначале моими деревенскими перспективами, то скоро от меня осторожно отошли, опасаясь, как бы на них не обрушились авторитетные старики за воскрешение каких-то отживших "народнических иллюзий".

Что касается "стариков", то представителем их тенденций был проживавший тогда в Цюрихе П. Б. Аксельрод. Человек очень живого ума, он первоначально отнесся было к моим рассказам с серьезным интересом и, по-видимому, абсолютно без всякого 103 предубеждения. Он даже свел меня непосредственно с главным теоретиком "стариков" Г. В. Плехановым, в расчете, что, может быть, нам удастся найти общий язык и до чего-нибудь "договориться". Надежда его оказалась иллюзорной: мы "договорились" лишь до жестокой словесной схватки.

Она, конечно, могла только сыграть роль ушата ледяной воды и для возникшего, как мне казалось, между мною и Павлом Борисовичем взаимного расположения. Дальше дело пошло еще хуже: из России к "старикам" подоспело подкрепление в виде замечательной тройки Ленина, Мартова и Потресова, в которой до поры до времени задавала тон воинственная непримиримость первого. Этим и был окончательно предreshен исход моих цюрихских встреч. Первая близость моя с Аксельродом быстро отцвела, не успевши расцвести. Для ее частичного возобновления время пришло лишь позднее, в 1917 г., благодаря посредничеству человека, которого я очень ценил и к которому влекла меня, поверх нередких, преходящих разногласий, почти инстинктивная симпатия: Ираклия Георгиевича Церетели.

Когда в Цюрих приехал из Берна с очередной лекцией Х. О. Житловский, это, при моем тогдашнем политическом одиночестве в Цюрихе, было для меня настоящим подарком судьбы. Я буквально изголодался по авторитетному человеку старшего поколения, способному с сочувственным интересом отнестись к перспективам, открывшимся передо мною после первых попыток деревенской работы в Тамбовской и соседних - Саратовской и Воронежской - губерниях. Я развернул перед Житловским все мои планы и прежде всего план создания за границей в крупном масштабе обслуживающей назревающее аграрное движение литературы.

Попутно я посвятил его в "секрет" обретенной нами в России "ячеичной формы" деревенской организации: крестьянского "братства", которая так легко и быстро прививалась в местах, затронутых нашей пропагандой, что, казалось нам, явно может стать основой будущего всеобщего крестьянского Союза. Житловский своей отзывчивостью сразу вывел меня из тупика. Он обещал, что "устав" нашего мужицкого братства отпечатает в ближайшем же номере издаваемого им маленького журнальчика "Русский Рабочий", и что следом за этим его Союз откроет кампанию за привлечение внимания всех русских социалистов к "очередному вопросу" момента: перенесению массовой 104 организации с передового пролетариата городов на отстающее от него трудовое земледельческое население деревень.

Но это было еще не всё, чем новый знакомый произвел на меня необычайное впечатление. Кроме моих обязанностей по отношению к начатой деревенской работе, я при поездке за границу имел еще и другие планы. Еще в России я увлекался обще-миросозерцательными проблемами, составляющими предмет "науки наук", философии.

Пути моего мышления в этой области пролегали в равном отдалении и от немецкого философского идеализма, превращавшего философию в метафизику, и от упрощенного материализма, впервые насажденного в России "писаревщиной". Я был лишь в основном знаком с зарубежной критикой того и другого; мои знания иностранных языков были зачаточны да и доставать книги на иностранных языках тогда, кроме столиц, было почти негде; въезд же в столицы мне был со времени выхода из крепости запрещен. А между тем на умы русской молодежи шел на моих глазах поход: с одной стороны адептов материализма, перевооруженного уже по-новому "диалектическим методом" в духе Маркса и Энгельса; с другой стороны, разочарованных материалистов, вернувшихся на пути Гоголя, Достоевского и славянофилов: от модного неокантианства и его теории познания они взяли лишь его познавательный скепсис, и тем безудержнее преобразились в искателей безусловной истины и сверхопытного трансцендентного знания, даваемого свободной и "крылатой" мистической интуицией.

Молодость дерзка, и я, очертя голову, ринулся в бой статьями в "Вопросах Философии" и в "Русском Богатстве". Но чем более бой разгорался, тем напряженнее ощущал я потребность в философском довооружении. В общем плане заграничной поездки я уделял поэтому достаточное место для того, чтобы припасть непосредственно к живым родникам новейшей философской мысли Европы.

Житловский предстал передо мною, как живой выходец из того мира философской мысли, в двери которого я давно уже в мечтах моих стучался. Он был на десяток лет старше меня: он родился в 1863 г. в г. Витебске, я - в 1873 г. в заволжском, степном Новоузенске. Житловский закончил свое 105 образование в Бернском университете со степенью доктора философии, внушавшей мне по новизне дела, сугубое почтение; я же был извлечен зубатовскими ищейками из стен Московского университета всего лишь при переходе с первого курса юридических наук на второй, и продолжал свое общее образование в традиционном пристанище мятежных искателей истины - в тюрьме.

Житловский владел, как родным, самым философским языком того времени немецким. Я обладал лишь теми элементами этого языка, которые давались нашими классическими гимназиями. В его беседах со мною он с большой легкостью оперировал знанием всех разветвлений неокантианства; для меня многие из них были еще "землей неведомой". Естественно, что я во многих вопросах мог ждать от него "откровений" и глядеть на него, как на "учителя", снизу вверх. У него были, в общем, простые и приятные манеры, лишённые тогда всякой претенциозности и "генеральства".

Те несколько дней, которые Житловский провел в Цюрихе, мы с ним были почти неразлучны. В нем располагали меня к себе беззаботно-доброжелательная общительность характера, находчивость и остроумие. Перед отъездом он усиленно соблазнял меня покинуть "скучный" Цюрих и перебраться в Берн. Он, прежде всего, предоставлял в мое распоряжение хорошо подобранную философско-социологическую библиотеку, главным образом немецкую, и предлагал самого себя в гиды по лабиринту школ, систем и обобщений. Одновременно с этим он советовал мне сразу же записаться в студенты Бернского Университета: как для того, чтобы систематически провести то свое собственно научно-философское довооруже-

ние, о котором я мечтал еще в России, так и для того, чтобы вооружиться докторским дипломом, чему он придавал очень важное значение.

Я колебался недолго: в Цюрихе меня ничто не удерживало.

Весь первый год, проведенный мною в Берне в ближайшем общении с Житловским (редкий день мы с ним не виделись), был, так сказать, медовым месяцем нашей дружбы. Не осталось, кажется, ни единого вопроса, о котором у нас не было бы на все лады говорено и переговорено.

106 Личность его меня очень заинтересовала; но впервые пришлось мне почувствовать, что наряду с созвучными мне идейными мотивами я найду у него и элементы серьезного расхождения. Это начало меня тревожить.

Юность Житловского в России была осенена закатом грозного Исполнительного Комитета Народной Воли и, лишь когда там уже "облетели цветы, догорели огни", он перебрался в эмиграцию. В эмиграции он нашел дотлевавшие головни недавнего революционного костра.

Особенное волнение вызывал среди них Лев Тихомиров, когда-то друг и сотрудник Андрея Желябова и Александра Михайлова. Вместе с ними член Исполнительного Комитета и даже еще более тесной "Распорядительной Комиссии" внутри последнего, он пережил общий кризис революционного сознания. Временный выход из положения он нашел в фактическом уходе с боевых постов, а затем в эмиграции, где написал свою прогремевшую статью "Чего нам ждать от революции?".

Эта его статья отвергала привычную "желябовскую" демократическую концепцию: завоевание, вместе с либералами, конституции; с ними или без них, полная ликвидация старого порядка через Учредительное собрание; передача всей земли народу; построение на народном трудовом правосознании, и на общинном и артельном укладе, под руководящим реформаторским влиянием народнической интеллигенции, основ эволюционного, трудового народного социализма. У Тихомирова массовый, народный характер революции улетучивался; вся она становилась насквозь якобинско-бланкистской; силы ее в тесных рамках тайного общества должны были заранее сложиться в подпольно предгосударство, своего рода "мафию" или "каморру"; для нее "заговор" будет путем не к "революции", а к "государственному перевороту"; это будет превращение куколки - нелегальной заговорщической партии - в бабочку - новое "государство заговорщиков". Вдруг вынырнувший из подполья революционный абсолютизм - так расшифровали мы позже секрет "революции сверху" в "тихомировской" версии, когда она дошла до нас в России. И всю "тихомировщину" мы тогда начисто отвергли.

Мы мечтали о возврате к "желябовской" версии общего хода революции, но на гораздо более широкой массовой опоре 107 движения, опоре, фактически отсутствовавшей в дни Народной Воли. Какой именно массовой? Мужичкой? Пролетарской? Той и другой, предзначаемых ходом истории слиться неразрывно в единую, плебейско-трудовую организующую силу новой России. Прибавлю, что мысленно к ней мы, следуя Желябову, присоединяли еще третий, в общем союзный элемент: культурную, либерально-демократическую общественность, "земщину". И мы очень рано почувствовали, что имеем за границей поддержку в этих наших взглядах у Житловского. У нас уже при обысках были найдены первые номера издававшегося Житловским журнальчика "Русский Рабочий". Мы причисляли его, в общем, к "своим", хотя еще мало его знали: на основную "нашу тему", об органической связи между социализмом и политической борьбой, он сумел написать и опубликовать в общем ценную для нас книжку лишь в 1898 году.

Нельзя не отметить, что в наших рядах в России незадолго перед тем шли слухи об издательской деятельности "Лондонского Фонда Вольной Русской Прессы", затевавшего выпуск большой политической газеты с Сергеем Степняком-Кравчинским во главе. По новейшим высказываниям Степняка мы знали, что он давно отрешился от пережитков навеянного Бакуниным аполитизма и является надежным адептом Михайловско-Желябовской концепции.

Но группа Житловского, ревниво блюдя свою самостоятельность, не спешила к нему присоединиться, а жизнь самого Степняка вскоре была внезапно унесена несчастным железнодорожным случаем под Лондоном. Помню, каким эта смерть была ударом для нас в России. В своих последних писаниях, и особенно в чрезвычайно содержательном послесловии к "Подпольной России" он с необычайной политической зоркостью предсказывал, что о простой повторной постановке на исторической сцене былого народовольческого плана - и речи быть не может. Самая отправка точка его - строгое самозамыкание в подпольи для подготовки заговора, приводящего к захвату власти, - была бы анахронизмом. Не в искусстве до поры до времени затаиться, а, наоборот, в искусстве постепенной непрерывной мобилизации и развертывания всё новых и новых сил для вывода их на открытую общественную арену - будет заключаться секрет успеха. У Степняка нами была воспринята общая идея - последовательного развертывания и нарастания всех видов 108 общественного оказательства против самодержавной государственности, начиная с самого невинного, скромного и хотя бы полупонамеком участия в наглядном подсчете сил, жизнью разделяемых на "мы" и "они".

Здесь утилизировано может быть всё - вплоть до "всеподданнейших адресов земских собраний" - лишь бы, кроме внешней легализированной формы, из этого эпитета ничего не проскользнуло в их содержание; вообще кампания петиций, резолюций всевозможных существующих обществ и учреждений; заявления всякого рода съездов, особенно во всероссийском масштабе; введение в российскую практику не раз игравших крупную роль в истории западноевропейского либерализма так назыв. "политических банкетов" и митингов, в атмосфере крупного общественного резонанса выносимых из четырех стен зал и аудиторий под открытое небо, на улицы и площади, вплоть до перехода их в публичные массовые уличные демонстрации вообще.

Зародыш этой тактической идеи мы уже имели в Манифесте Партии Народного Права (тютчевско-натансоновской): он был формулирован, как приглашение противопоставить директивам власти "организованную силу общественного мнения". Но не абстрактными формулами заражается народно-общественная энергия, а живым приступом к совершенно конкретным "планам кампаний", в проведении которых находят себе место все возможные силовые элементы. Тщетно ждали мы широкой поддержки этой идеи на пороге девятисотых годов в большинстве политических группировок русской эмиграции, не исключая и Союза Житловского. Лишь когда все они влились в "объединенную партию социалистов-революционеров" и в ней растворились, наступил момент для испробования этого тактического плана на практике.

Житловский в русской эмиграции выступил, как заметная величина, в эпоху, когда после разочарования, а затем и ренегатства Тихомирова окончательно стал на очередь вопрос о дележе "наследства" Народной Воли. Тому способствовали смерть последнего члена Исполнительного Комитета, замечательной русской женщины Оловенниковой-Ошаниной и надвигавшийся конец патриарха народнической эмиграции П. Л. Лаврова.

Но значительно раньше Житловского выдвинулся готовившийся вступить в "последний

и решительный бой" с 109 Тихомировым, превосходивший его и своей теоретической подготовкой, и силою аналитического ума, и энергией, и, наконец, блеском полемического дарования Г. В. Плеханов.

Борьба его с народовольчеством была давнего происхождения: с конца Земли и Воли. Не раз фигурально говорилось, что она была расколота надвое: одни осью своей работы взяли "землю" (это был Плеханов, создавший "Черный Передел"), другие - "волю" (это была "Народная Воля" с главной осью работы - борьбой за политическую свободу). Раскол был делом рук Плеханова, надеявшегося на Воронежском съезде добиться исключения политиков-террористов. Потерпев поражение, он "хлопнул дверью" и попробовал под новым именем восстановить землевольчество в его первоначальной чистоте. Его ждала новая неудача: история Черного Передела свелась к ряду последовательных отколов русских работников и присоединения их к большинству землевольцев, оставшихся под флагом завоевавшей себе героическую славу Народной Воли.

Идеологическая карта Черного Передела была заранее бита уже тем, что против "критического народничества" Глеба Успенского, поддержанного Михайловским, Плеханов не только должен был ратовать за "романтическое народничество" Златовратского, но и держаться единого фронта с полуанархистом, полумонархистом Юзовым-Каблицем, завершившим свою эволюцию окончательным переходом в реакцию и антисемитизм. Путь этот был безнадежен.

Перед Плехановым, по-видимому, иногда вставал вопрос о соглашении с народовольцами, к чему его и его друзей склонял Тихомиров, всё более терявший веру в народовольчество, но еще некоторое время сохранявший формальную верность знамени таких старых друзей, как бесконечно импониравший ему Александр Михайлов. Плехановцам он предлагал порознь войти в ряды Народной Воли, и, не полемизируя с ее прошлым, постепенно перерабатывать ее идеологию в марксистском духе. Плехановцы, кажется, наполовину уже склонялись к этому, но переговоры их с народовольцами кончились, когда в руки народовольцев попало письмо Стефановича к Дейчу, понятное ими, как план взрыва Народной Воли изнутри.

110 Нетрудно было себе представить, какие происходили за это время бесчисленные бури на собраниях русских колоний в эмиграции. Житловский был частым оратором на этих колониальных собраниях; имя его уже начало произноситься наряду с именами Тихомирова и Плеханова. К тому времени, когда я приехал за границу, Житловский был уже признанным лидером нового, социально-революционного направления.

Он был одним из основателей заграничного Союза русских социалистов-революционеров, которому удалось связаться с другим, существовавшим в России (с центром в Москве) Союзом социалистов-революционеров, и принять на себя роль заграничного представителя последнего.

Надо не забывать, - иначе впадешь во множество ошибок, - что в то время единой П.С.Р. в России еще не было. Самое имя "эс-эры", как специфическое обозначение нашего течения в русском социализме, явилось почти случайно. Исторически одинаково социалистами-революционерами называли себя и землевольцы, и народовольцы, и чернопеределъцы; даже стоявшие на грани между либерализмом и социализмом "народоправцы" не покидали освященной всей прошлой историей имя Социально-революционной партии Народного Права.

И Плеханов еще в середине 90-х годов говорил о социал-демократическом секторе в

общей семье русских социалистов-революционеров. Житловский, и главный друг его по заграничному "Союзу", Хонон (Шарль) Раппопорт, наивно думали, будто наименование "социалисты-революционеры" есть их личное изобретение, на которое они как бы взяли от истории патент. И каждый раз, когда до них доходили вести о существовании в разных местах России, "социалистов-революционеров", они преисполнялись гордым сознанием, будто всё, не ушедшее в марксизм русское движение, идет указанными ими путями и духовно формируется их социально-политическим "кредо".

И они действительно уверовали, будто их заграничные успешные выступления, вместе с двумя-тремя печатными брошюрами их Союза, стали для будущего водоразделом: одна половина движения создана их проповедью, как другая проповедью Плеханова, Аксельрода и Веры Засулич. В политической жизни Житловского и Раппопорта, как мы дальше увидим, aberrация эта сыграла поистине роковую 111 роль. Она заставила их выступить с притязаниями, далеко несоответствующими ни их личным ресурсам, ни тому, что удалось им дать русскому движению. Для их самочувствия почти ударом был приезд в 1901 году из России

Г. Гершуни, принесшего с собою весть о сплочении там эсэровских сил в объединенную П.С.Р., для которой зарубежный Союз Житловского и Раппопорта не значил почти ровно ничего.

Из Парижа пришло письмо: "Семен Акимович едет лично с Вами познакомиться и обо всем переговорить. Заверяет: ни одно дело не было ему до такой степени по сердцу, как ваше. У него зреет план, на кого в эмиграции можно и нужно Вам опереться; а эмиграцию знает он, как никто. Но настойчиво советует: до свиданья с ним от всяких решений, которые могли бы вас связать, воздержитесь!".

Так спешили меня обрадовать друзья, посвященные мною в представившиеся мне трудности.

Пока за границую мне не везло. Где найти элементы, способные засесть прежде всего за работу самого создания народной литературы, потом - выпуска ее в свет в количестве, хоть сколько-нибудь соответствующем потребности в ней огромной крестьянской массы?

Где найти умеющих говорить с мужиками на понятном для них языке - однако, без грубой подделки под их говор и без разжевывания пищи духовной, словно для беззубых детей, от которого на версту несет фальшью и скукой? Где найти сочувствующих для сбора достаточных средств на оплату расходов по печатанию, по транспорту, по сношениям с Россией, по организации всего дела? В Швейцарии на авансцене политической жизни эмиграции я видел лишь социал-демократов. В ее рядах моим делом сначала заинтересовались было некоторые молодые "рабочедельцы", но их сковывала боязнь, как бы ветераны Группы Освобождения Труда, с Г. В. Плехановым во главе, не обрушились на них за возврат к "ереси народничества". Из самих же этих ветеранов мне оказал многообещающий прием П. Б. Аксельрод; но и он после моей встречи с Плехановым 112 отдалился от меня. Сочувственный отклик я нашел только у Х. О. Житловского в его Союзе русских социал-революционеров за границей. Но дела в Союзе шли через пень колоду: очередной номер издаваемого им журнальчика "Русский Рабочий" (там должен был появиться мой "устав", а кстати и общая оценка грядущего выхода крестьянства на авансцену политической жизни) никак не мог выйти в свет; по поводу же отданной Союзу рукописи моей об основных проблемах нашей тактики в городе и деревне - в редакционной коллегии Союза возникли бесконечные прения. Мое разочарование росло: казалось, я попал не туда, куда надо.

В этот момент пришли мне на помощь друзья; на выручку и был ими выписан неведо-

мый мне дотолле "Семен Акимович".

Приезжий был хорошего роста, широкий в кости, с мускулистыми руками чернорабочего. Крупные черты лица, большой типично-еврейский, с горбинкою нос, глубоко посаженные горячие глаза. Но щеки впалые и от сильной сутуловатости впалой казалась и грудь. Этому лицу чего-то недоставало - и вдруг меня озарило: если бы к нему придать окладистую седую бороду - какой бы вышел из него величественный раввин?!

Оригинальна была вся фигура, оригинальна и личная судьба Семена Акимовича. Еще подростком, на пороге семидесятих годов, попал он в водоворот еврейского "просветительства", властно захвативший целое поколение. Оно характеризовалось прежде всего внутренним отталкиванием от всех традиций, от всего старого бытового уклада еврейской жизни. Это было нечто вроде запоздавшего на еврейской улице вольтерианства, с примесью местнорусского нигилизма.

Семен Акимович пробовал учительствовать. Среда, в которой он искал учеников, была типичною мещанскою средой местечкового еврейства. Но первым препятствием, на которое он натолкнулся, было инстинктивное отталкивание этой среды от еврея, одетого в кургузый пиджак, бритого и не слишком строго придерживающегося обрядового благочестия. Неудивительно, что долго он не выдержал. Но тут его выручило новое поветрие: движение "в народ". Его ожидания и надежды перенеслись с еврейской улицы на широкие просторы 113 общерусской жизни. Серые будни местечкового мещанского быта он сменил на таинственную полутьму угольной шахты. Этим последним штрихом его юношеской биографии, признаюсь, он меня изумил.

Как? Он превратился в шахтера? Ведь "народ" - это, по понятиям тех лет, прежде всего - деревня. "Народ" сидит на земле. Откуда же у него взялась такая неожиданная мысль - непременно зарыться под землю? Ответ был простой и по-своему убедительный.

Политическому сыску в конце 70-х и в начале 80-х годов все обычные походы пропагандистов в деревню уже успели намозолить глаза; искать революционеров под личиною и учителей, и фельдшеров, волостных писарей и офеней стало привычным делом. Надо было придумать какие-нибудь новые пути! Так он открыл Америку: уйти под землю.

За всё время шахтерства ничей глаз за ним не следил. В сумрачной массе шахтеров он совершенно затерялся. Самый характер труда устранял мысль о какой-то фальши, маске, искусственном переодевании.

Среди шахтеров он был принят, как свой; даже имя свое потерял. Шахтеры привыкли, что в их среду спускается всякий, у кого не оказалось "хода в жизни". В сущности, тут происходила всеобщая нивеллировка на наинизшем уровне, - ибо ниже шахтера стояли в обывательском сознании лишь крючник, босяк и бродяга. Среда нивеллировала всё, вплоть до имен. Остапы и Османы превращались одинаково в Осипов, Ибрагимы в Абрамов. Тут-то Соломон Раппопорт превратился в Семена Акимовича. Это новое имя он хранил, как трогательное воспоминание о своем шахтерском периоде. Ибо шахтеров он успел полюбить: от них веяло чем-то цельным и надежным. "Для нас, революционеров, - говорил он, - этот подземный мир - суровая, но полезная школа. Разве знает, разве может знать революционер, что его ждет впереди? А может быть, каторга в сибирских рудниках? Революционер должен сам себя испытать, испробовать - что способен он выдержать и вытерпеть. И я дорожу шахтерской полосой своей жизни: то был своего рода экзамен на аттестат революционной зрелости".

114 За двумя этими периодами - учительским и шахтерским - у Семена Акимовича по-

следовал третий: писательский.

Писателем его сделал случай, и открыл в нем писателя другой народник и эсер, вышедший, как и он, из еврейской среды: Григорий Ильич Шрейдер, после революции 1917 года выдвинутый нашей партией на почетный пост Петербургского городского головы. В те времена он был главным редактором большой провинциальной газеты "Юг" (в Екатеринославе).

Одаренный редким редакторским чутьем, он обратил внимание на корреспонденции из быта шахтеров, явно написанные шахтером: он почуял бившуюся в нем художественную жилку, решил лично познакомиться с автором, вызвал его к себе и объявил ему приблизительно следующее: либо он, старый литератор и редактор, ничего не понимает в литературе, либо Соломон Раппопорт - природный беллетрист, сам не сознающий своего дарования. Ему нужен хороший учитель из настоящих, сложившихся авторитетных беллетристов. Таким бы мог для него стать лучше всего Глеб Успенский. И вообще ему нужна атмосфера большой столичной русской литературы. Он, Шрейдер, может дать ему специальное рекомендательное письмо к Успенскому, да и вообще в редакцию народнического ежемесячного журнала, группирующегося вокруг Н. К. Михайловского.

У Семена Акимовича дух захватило от раскрывшихся перед ним головокружительных перспектив. Он волновался, принимал и отменял решения, копил деньги на поездку, переходил от веры в себя, как будущего писателя, к разочарованию в собственных силах. И, наконец, жребий был брошен. Семен Акимович - в Петербурге. Прямо с вокзала попадает он - "как Чацкий - с корабля на бал" - на вечернее товарищеское, чаепитие литературного штаба столичного народничества. Тут и Глеб Успенский.

Прочитав рекомендательное письмо, он обращается к нему с чарующей ласковостью, но скоро уходит - у него какое-то торжество в семье близких людей, засидится там до поздней ночи и зашел, чтобы не пропустить совсем собрания. Семен Акимович ловит каждое слово собравшихся, не замечает, как прошел вечер. Домой? Но куда же деваться Семену Акимовичу? Он, в увлечении новизной положения, как-то даже не имел времени об этом подумать.

В столице - ни 115 родных, ни знакомых. Для гостиницы - нет "правожительства". И посоветоваться не с кем: Глеб Успенский, которому он рекомендован письмом Шрейдера, ушел; остальные для него - коллективный аноним: редакция. Сказать о своей беде кому-нибудь из нее? Одна мысль об этом бросает его в жар. И он машинально поступает, как все: одевается, прощается и выходит - выходит на пустеющие улицы чужого, незнакомого, неприветливого большого города. Он ходит, ходит, ходит - из улицы в улицу, с бульвара на бульвар. Так проходит час за часом. Как убийственно долга ночь! И вдруг - навстречу какая-то знакомая фигура. Да, сомнений быть не может: это покинувший собрание ради чьего-то семейного торжества Глеб Успенский!

Он в изумлении узнает приезжего "пишущего собрата из шахтеров". Чего он ищет в такой поздний час, близкий к рассвету час на улицах? Таиться далее невозможно, и Успенский впервые воочию познает скорбную и унижительную трагедию "правожительства", о которой сам только слышал. Подхватив рассказчика под руку, Успенский увлекает его к себе, поит чаем, почти силком укладывает в собственную постель и садится сам в ноги: он хочет знать во всех подробностях нагую правду о жизни еврейства. Семен Акимович рассказывал-рассказывал и сам не заметил, как рассказ его на чем-то оборвался. Рассказчик на полуслове забылся и заснул - вероятно, коротким, но крепким сном. И вдруг что-то внутри точно его

подтолкнуло. Он открыл глаза и спросонок не сразу даже сообразил, куда он попал. И вдруг, обведя глазами комнату, вернулся к действительности. В его ногах, словно немая фигура безысходной скорби, выделялся облик Глеба Успенского в той самой удрученно-задумчивой позе, в которой он начал свои расспросы. Но вот из его глаз медленно выкатилась крупная слеза... другая... третья. Нервное движение смахивающей слезу руки - и потом опять сбегающие вниз слезы.

Для Семена Акимовича это было незабываемое переживание. Он сам не мог рассказывать о нем без дрожи в голосе и без увлажненных глаз. Подобно многим, на долю которых выпало счастье сближения с Глебом Успенским, Семен Акимович сразу подпал под неотрашимое обаяние этого единственного в своем роде человека. Кто-то метко сказал, что в Глебе Успенском был каждый вершок оригинален, как в короле Лире каждый вершок - король.

Богат был неожиданными озарениями 116 его талант! Великолепны были брызжущие остроумием его беседы и неистощимый тонкий юмор повествований ресурсы, которыми он как будто бессознательно боролся с маревом бездонной тоски, навеваемой подступами душевной болезни, исподволь его осиливавшей; трогательна была его почти ребяческая беспомощность в материальных делах; прекрасны были его скорбные глаза, в которых отражалась его богатая, но искони неуравновешенная и взволнованная натура. Семен Акимович не раз пытался показать мне во весь рост эту необыкновенную личность - и каждый раз у него опускались руки: его не покидало ощущение, что всё же, снова и снова, он чего-то недосказал и что ему не удалось вскрыть передо мною тайну того очарования, которое окружало Глеба Успенского толпами молодежи, слывшей под кличкою "глеб-гвардии", - хотя сам Успенский всячески бежал от публичных оваций, весь сжимался от них, как мимоза. Семен Акимович был одним из преданнейших "глеб-гвардейцев".

- А знаете, - сказал мне Семен Акимович, - что мне очень трудно далось в начале моей писательской работы? Ни за что не угадаете, это как мне подписываться под своими вещами! Пользоваться собственным именем мне было как-то стыдно. Ну, Тургенев там, что ли, или Писемский, или Островский - это сразу дает понятие, какого рода пишу духовную тебе дают. А что же я влезу каким-то ничего никому не говорящим Соломоном Раппопортом? Выручил тот же Глеб Иванович. Взял он мои инициалы из клички шахтерского быта: С. А.. А потом наудачу написал Ан..., задумался, поставил тире и дал концовку - "ский". Хотите, спрашивает - ну, вот, хотя бы так? Я обрадовался - страшно мне это понравилось, должно быть, просто потому, что это было написано его рукой и его почерком. Так вот с тех пор и стал я С. А. Анский. Дал Глеб Иванович мне первую выучку беллетриста, дал и литературное имя и, наконец, внушил мне идею - поехать за границу, чтобы отрешиться до конца - как выразился - и от еврейского провинциализма, и от провинциализма русского. И он же устроил меня в Париже личным секретарем Петра Лавровича Лаврова. Точно чувствовал, что долго моим учителем ему самому уже не быть.

Я вообще редко сближался с первого знакомства и очень трудно переходил "на ты". Но с Семеном Акимовичем это 117 вышло как-то "самотеком", и я сам не заметил, как и когда это вышло. Такая уж была у него бесхитростная и детски-непосредственная манера подходить к другим людям. Это был истый "богема", художественная натура, бесконечно подвижная, покорявшая своей бесхитростной прямоотой; а главное, способностью раскрываться без остатка тем, кто приходился ему по сердцу. Не раз бывало, что он придет, сыплет остротами и анекдотами, сам смеется и вас заставляет смеяться. И следом - совершенно преобразится: станет тихим, задумчивым, задушевым. А из глубоких провалов глаз выглянет вековая ев-

рейская тоска. Может быть ответ той первородной еврейской тоски, под знаком которой его предки "сидели и плакали на реках вавилонских"?

При обсуждении привезенного мною чисто мужицкого дела Семен Акимович сам как будто перевоплощался. Он уже тревожился, - во всей ли полноте я к этому делу привязан? Достаточно ли я берегу его виды на будущее? Это дело он готов был защищать от всех, - если надо, так и от меня самого. Он нервно расхаживал по комнате, разговаривал более сам с собою, чем со мной.

- Да отдаете ли вы сами себе отчет, волгарь вы эдакий, что для нас, для старой эмиграции, значит ваш приезд? Ах, если бы только знать, что ваши наблюдения вас не обманывают! То, что вы привезли за границу - для нас, эмиграции народнической и народовольческой, есть оправдание прошлого и обетование будущего...

Но такое огромное дело надо вести вперед не узкими, едва протоптанными тропинками отдельных кружков. Ему нужна широкая, столбовая дорога. По ней маршрут - целая эпопея! Ведь это же - возрождение, на новых началах, и непременно рука об руку с мировым социализмом, всего того, что было бессмертным, начиная с самых исходных фаз нашего движения, всего, ныне оболганного и высмеянного народничества. Оно должно восстановить в новом блеске имена Герцена, Чернышевского, Добролюбова, Лаврова, Михайловского, в лице их продолжателей, исполнителей их предначертаний - тех, чьи имена еще скрыты в тумане грядущего... Нет, те друзья, которые вас предостерегали от поспешных, случайных решений, тысячу раз правы. Первые торопливые промахи могут скомпрометировать всё дело.

118 Житловский и его сотрудники - почти сплошь милейшие люди, но разве это - дееспособная организация, способная вынести на своих плечах ответственность за такое дело? У нас в Париже есть, правда, такая заслуженная организация, как Группа Старых Народовольцев с Петром Лавровичем Лавровым во главе; он один - настоящая Мекка эмиграции. В Лондоне есть "фонд вольной русской прессы" с Волховским, Шишко, Чайковским, Лазаревым - тоже не последними ветеранами нашего дела; там же есть военно-революционная газета "Накануне" Эспера Серебрякова - наше наследие от военного отдела Исполнительного Комитета Народной Воли. Есть в их орбитах и отдельные эмигранты из партии В.С.П.С. - "всякий сам по себе". Беда только в том, что между всеми этими группами связи нет, если не считать - увы! кое-каких старых эмигрантских счетов, трений и недоразумений. Вот почему в старые меха новое вино вливать не следует. Крестьянское дело надо ставить отдельно, как нейтральное по отношению к их счетам и объединительное по существу... Разве я не прав?

119

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

В Париже. - И. А. Рубанович и Мария Ошанина. - У постели умирающего Лаврова. - Аграрно-Социалистическая Лига.

Л. Э. Шишко. - Ф. В. Волховской. - Е. Е. Лазарев.

Когда я впервые в 1900 году приехал в Париж, многочисленные новые знакомые обычно принимались меня расспрашивать: ну, что, успел ли я побывать во всех "святых местах" и поглядеть на все живые "иконы"? А один раз меня поставили втупик вопросом: а наше новое светило - "француза из Одессы" тоже уже видели?

Я не сразу сообразил, о ком идет речь. Оказалось, что этою шутовскою кличкой местные эмигранты наградили одного из влиятельнейших местных народовольцев, Илью Адольфовича Рубановича. Прошлая его революционная биография не была особенно сложна. Он был причастен к работе одесской народовольческой организации 80-х годов; арестовал его гре-

мевший на юге России и прославившийся своею беспощадностью военный прокурор Стрельников (в конце того же десятилетия за эту беспощадность и его не пощадила рука террориста).

Стрельников был вдобавок ко всему отъявленным антисемитом. Как прокурор, он открыто избрал себе девизом: "лучше схватить и покарать десяток невинных, чем упустить одного виновного". Он уже давно собирался, согласно его собственному выражению, "смастерить большой политический процесс с чесночным запахом", и думал, что в Рубановиче нашел искомую центральную фигуру такого процесса. Арестованный оказался, однако, "крепким орешком", на котором он поломал не мало зубов. В довершение всего Рубанович, родившийся во Франции, по бумагам был французским гражданином. А в то время как раз шла секретная подготовительная работа по налаживанию франко-русского союза, 120 популярностью в передовых кругах французской общественности не пользовавшегося. Чересчур ретивому военному прокурору было дано понять, что в такой момент "дразнить гусей", т. е. шокировать общественное мнение Франции судебным скандалом, задевающим француза, - дело несвоевременное. И он, скрепя сердце, оставил свои широкие планы и выслал Рубановича из пределов Российской империи - просто, как "нежелательного иностранца"...

- Вы его не знаете просто потому, что он не теоретик, не литератор, говорили мои местные друзья. - Зато - какой оратор! Мы, парижане, не раз имели случай его оценить. А открыла его Марина Никаноровна Полонская.

Тут я, приезжий провинциал, вторично провалился: и это имя было для меня лишь "звук пустой"...

- Ну, вот, и начинай после этого дела с этими обомшелыми провинциальными руссопетами, - сказал мне Семен Акимович, когда я спросил его о Рубановиче и Полонской. - Как? И ты приехал в Париж, даже по именам не зная тех лиц, которые прославились в до сих пор еще не вполне отшумевшем "деле об отступничестве Льва Тихомирова"?

Уезжая в 1899 году за границу, я влачил на себе тяжкий моральный груз: неразрешенную для нас "загадку Льва Тихомирова". А неведомо для нас тою же загадкою мучились - по ссылкам и тюрьмам - бывшие идейные друзья и боевые товарищи знаменитого отщепенца. Читатель легко себе представит, с каким напряженным интересом шел я знакомиться с человеком, упорно разбивавшим и, наконец, разбившим за границей авторитет Льва Тихомирова.

Про внешнее впечатление, которое сразу произвел на меня новый знакомый, прежде всего приходилось сказать: импозантное. Крупная, коренастая фигура, свидетельствующая о физической силе; энергичная осанка; в тоне, в жестах, во всех движениях - уверенная и спокойная твердость, свидетельствующая в то же время о большом темпераменте. Хорошо посаженная голова, окаймленная черною шевелюрою, волевой подбородок и хорошо очерченный лоб. В целом - очень красивый еврейский тип, так и просящийся в модель для Саула или Бар-Кохбы, может быть, для Самсона. По манерам - подлинный иностранец, и таков же он по всем приемам речи, тогда для меня еще новым: спрашивать о происхождении 121 шутильной клички "француза из Одессы" не приходилось. У него был красивый и звучный голос, твердого металлического тембра, более всего пригодного для драматической приподнятости рыцарственного, оттенка.

В Париже при изучении обстоятельств распада Народной Воли, для меня выяснилась исключительно крупная роль, выпавшая при борьбе с этим распадом на долю "Марины Полонской", имя, под которым проживала Мария Ошанина, урожденная Оловенникова. Выяснял ли я подробности об измене Льва Тихомирова, или о попытках русских придворных кру-

гов через созданную ими тайную организацию Священная Дружина повести с Народной Волей переговоры о перемирии между нею и властью, или о поездке Германа Лопатина в Россию с целью восстановить Исполнительный Комитет; интересовался ли выдвижением в самой народовольческой организации заграницей новых людей, вроде И. А. Рубановича, - везде наталкивался я на решающее влияние, которое каждый раз имела эта замечательная женщина.

А так как она скончалась за год с небольшим до моего приезда за границу, то все направляли меня за нужными мне сведениями к ее ближайшей подруге и по России, и по загранице, Галине Федоровне Черняковской, более известной по имени мужа, очень известного революционера, Бохановского. Я решил последовать этим указаниям.

Суровое лицо Черняковской оживилось и всё оно просветлело, когда я произнес имя Полонской.

- Знала ли я Полонскую? Еще бы! Мы ведь обе - родом из Орла, и у нас был общий учитель и вдохновитель Петр Григорович Зайчневский: чистый тип шестидесятника, причастного еще к нелегальным предприятиям Чернышевского; обаятельная личность и рожденный оратор - пламенный и волнующий. Могучего роста и телосложения, с громовым голосом, с победительной осанкой, с редкой силою и красотою речи. Никогда в своей жизни не видела я человека, способного так ярко развернуть перед слушателями трагедию Великой Французской Революции, освещенную с точки зрения крайних якобинцев.

Она вставала перед нами, как живая, она снилась нам ночью, и самих себя мы видели во сне ее участницами. Весь тот выводок юношей и девушек, которых Зайчневский пропагандировал и благословил на работу и борьбу в России, слыл под именем "русских якобинцев"; а кое-кто из нас 122 и сами так себя именовали. Все мы сразу влились в Народную Волну и почти все миновали предыдущую фазу чистого народничества, для которой характерна идеализация мужика. С ней Маша никогда помириться не могла, и я знала народников и народниц, бледневших от ужаса, когда она произносила звучавшие для их ушей святотатством слова: "я люблю и в то же время ненавижу крестьян за их покорность и терпение". И так же порою бледнели, слушая ее, люди другого типа: не сразу выведшиеся среди нас анархо-бакунисты, верившие в чудодейственное преобразование народа под влиянием вспышко-пускательства и бунта.

"Бунт - говорила она - предполагает стихию-толпу. Но толпа - не народ; перерождает толпу в народ только народоправство, только самоуправление. Народная воля рождается лишь в нем, - вот почему только, когда мы, "Народная Воля", в кавычках, дезорганизуем самодержавие и сокрушим его, явится народоправство, народ и народная воля - без кавычек". Никакие авторитеты на нее не действовали. Вот, например, хотя бы наш революционный ангел-хранитель, наш опекун по конспиративной части - Александр Михайлов. Он долго не мог отрешиться от одной из иллюзий старого народничества: увлекался раскольниками, мечтал о превращении готовой их тайной организации в подсобную для народовольческой. Все мы его бесконечно уважали и ценили; но в этом пункте скептицизм Маши не уставал посягать на его иллюзии и доставил ему не мало огорчений. К нам, немногим в партии "якобинцам", недоверчиво присматривался вначале и Желябов: не внесем ли мы в партию разнобоя, не захотим ли сузить движение до искусства организации заговора для захвата - за спиною народа власти? Но примирился с нами, убедившись, что наш "якобинский душок" это прежде всего требование строгой организационной централизации и дисциплины. А на исходе борьбы, на закате Народной Воли, я уже в наших спорах имела случай говорить, что на деле все мы,

члены Исполнительного Комитета, мыслим и действуем, как якобинцы.

Галина Федоровна много рассказывала мне о полной драматизма жизни Ошаниной и подвинула ко мне стоявший на ее столике в рамке небольшой портрет. "Конечно, - прибавила она, - эта поздняя фотография - лишь отдаленный намек на ее красоту в молодости. Здесь она - только тень 123 самой себя. Но взгляните в эти тонкие, изящные черты лица. Мысленно оживите эти глаза - они у нее были темные, с поволокой. Представьте себе затаившуюся в углах ее красиво очерченных губ лукавую улыбку. Вера Фигнер, Мария Ошанина и, позднее - Анна Корба: это были три красавицы в Исполнительном Комитете"...

Заграницей Мария Николаевна принялась зорко присматриваться к окружающим и молодежи: не выдвинется ли из нее какая-нибудь новая, свежая сила - богато одаренная и волевая? Зажгла свой фонарь, - "искала человека". Ее внимание, в конце концов, приковал к себе И. А. Рубанович. Тогда недавно еще юноша, политически не отшлифованный, неровный, импульсивный, он требовал большой работы над ним, но в нем уже угадывались данные, обещающие многое. Она не могла не загореться желанием - все силы свои посвятить на то, чтобы сделать из него достойную смену старым, постепенно выходящим из строя лидерам эмиграции. А работать над людьми она умела. По мере того, как он рос, она привыкла смотреть на него, как на свое духовное детище: тут был элемент - или, если угодно, суррогат - чисто материнского чувства.

Она пыталась быть его старшей сестрой-другом: Эгерией его политического восхождения. А потом явилась новая наслойка чувств, более нежных, роднящих больше сестры и матери. Право уж, не могу вам сказать, какой из этих видов привязанности был первичнее и определял тон других. И какая в этом важность, если, в конце концов, все они слились в единое и нераздельное чувство, захватившее ее целиком и без остатка?

А Рубанович? Конечно, она была десятью годами старше его, но эта разница покрывалась ее блестящей личностью и ее пощаженным рукою времени женским очарованием. Рубанович не мог не глядеть на нее снизу вверх: недавний новобранец Народной Воли лицом к лицу с одной из ее героинь, овеванный ореолом живой легенды: и было более, чем естественно, что он стал ее обожать и боготворить. Как-то раз, вспоминая вместе со мной страшное время разгрома Исполнительного Комитета и отчаянных попыток московского центра заместить его, Мария Николаевна вдруг выговорила: "будь с нами тогда Рубанович, каких бы дел наделали мы вместе с ним! А теперь... не тяготее ли уж и над ним и над нами проклятие эмигрантского бытия? А вдруг для заграницы 124 он остался чересчур русским, а для России стал чересчур иностранец?". Мы не могли для себя разрешить этого вопроса. Он будет разрешен в рядах вашего, только что начавшего выходить на историческую арену поколения. Полонская-Ошанина умерла, так его и не увидев. А Рубанович еще войдет в его ряды, навсегда сохранив в себе благородную память о том, как много внесла в его жизнь эта редкостная по своему умственному и нравственному облику женщина.

С детства отличавшаяся хрупким здоровьем, уже в Москве совсем больная, обреченная долго биться в безнадежных попытках заграничного возрождения Народной Воли, эта замечательная женщина умерла на рубеже 1897 и 1898 годов. Легко себе представить, какую зияющую пустоту оставила она в жизни Рубановича. Прошло еще несколько лет - и на него обрушился новый удар: кончина П. Л. Лаврова. От потери таких друзей было от чего духовно осиротеть. И лишь через несколько лет он оправился, "выпрямился" и воскрес к новой жизни.

Вскоре после приезда моего в Париж и первого знакомства со старыми народолюбцами, в конце января 1900 г., я получил от Семена Акимовича записку с извещением о том, что Петр Лаврович внезапно опасно занемог, и спешным вызовом меня к больному. Я был там физически необходим. При своей крупной фигуре Лавров был очень тяжел, и Семен, кроме себя самого и меня, не видел, кто из близких был бы достаточно силен, чтобы поднимать его, держать на руках переносить и т. п. Потянулись дни и ночи забот и тревог, всё более безрадостные. Недолго нам пришлось принимать участие в уходе за ним. На руках Семена Акимовича и моих через несколько дней, 6-го февраля 1900 года, этот замечательный ученый и мыслитель скончался и в предсмертном бреду не переставал пытаться что-то диктовать и чертить рукою в воздухе.

Смерть его для всех нас была огромным несчастьем, но, как это порою бывает, самая величина этого несчастья всех нас сильно прищипорила. На похороны его 14-го февраля съехался весь цвет тогдашней эмиграции. Траур по Лаврову стал 125 крестинами нашей Аграрно-Социалистической Лиги: незримым крестным отцом ее был дорогой покойник, а как бы душеприказчиком его по отношению к Лиге - стал Семен Акимович.

В числе основателей Лиги были, кроме нас, Леонид Эммануилович Шишко, Феликс Вадимович Волховской и Егор Егорович Лазарев.

Л. Э. Шишко был для нас живым олицетворением начала революционно-социалистического движения в России. Выходец из дворянской среды, офицер, порвавший со своей средой и карьерой, чтобы нести новое евангелие социализма в рабочие кварталы Петербурга, чтобы принять участие в крестовом походе в святую землю народной жизни, он через процесс 193-х, тюрьму, каторгу, ссылку на поселение, побег пришел к новому революционному поколению и встал в его ряды.

Леонид Шишко принадлежал по своему внутреннему складу и по истории своей жизни к тем социалистам-идеалистам, которые выступили на защиту интересов трудящегося люда задолго до того, как сами трудовые массы сознали свои права и начали борьбу за них. Он родился 19-го мая 1852 года в помещичьей семье, и данное ему воспитание обеспечивало ему хорошее привилегированное положение. Он был отдан в кадетский корпус (в то время называвшийся военной гимназией) и, по окончании курса, поступил в 1868 году в Михайловское Артиллерийское Училище в Петербурге. Он был выпущен из училища в мае или июне 1871 года подпоручиком артиллерии, но, к величайшему негодованию начальства и, несмотря на уговоры последнего, немедленно подал в отставку и покинул военную службу. Осенью 1871 года он поступил в технологический институт.

Однако и технологический институт не удовлетворял юного искателя правдивых и полезных народу путей жизни и он решил сделаться народным учителем. Зимой 1871-2 года Шишко еще провел в Петербурге, но затем бросил институт и отправился в Москву, где у него был близкий товарищ, питавший одинаковые с ним стремления к сближению с трудовой массой. Оба предложили свои услуги земству в качестве народных учителей. Однако, Леониду не суждено было пойти по этому пути. За время своего студенчества он встречался с некоторыми членами кружка "чайковцев" (так названного по 126 имени одного из наиболее видных и старейших его членов - хотя и не основателя - Николая Васильевича Чайковского), не зная еще, но догадываясь, что они составляют тайную организацию. Кружок оценил нравственный облик юного народника и как раз в то время, как последний ждал ответа в Москве от земских управ, которым он послал письма, он получил письмо от Кравчинского, сообщавшего о том, что кружок чайковцев приглашает Леонида вступить в число его членов.

Шишко немедленно выехал в Петербург.

Это составило эпоху в жизни Шишко. Кружок чайковцев развил и укрепил в нем те черты - нравственную цельность, чистоту и искренность, которые с начала до конца его революционной карьеры составляли его силу, и наложил на него ту печать беззаветного идеализма, которая не стерлась за всю его жизнь.

Жизнь Феликса Волховского - это краткая история русского революционного движения, верным и непоколебимым слугой которого он оставался до конца дней своих. Его молодость прошла в эпоху "хождения в народ" с ее чистой верой, энтузиазмом и самоотверженностью. Вместе с Брешковской, Войнаральским и Коваликом Волховской был одной из самых ярких фигур в знаменитом "процессе 193-х" в 1877 г., завершившим первую попытку широкой социалистической пропаганды в народе.

После трех лет тюремного заключения, навсегда подорвавшего его здоровье, и одиннадцати лет Сибири Волховской в 1889 году бежал за границу сначала в Америку, потом в Англию, где он обосновался окончательно и где, сблизившись с английскими социалистическими кругами, проявил себя как неутомимый пропагандист и талантливый писатель. Здесь, вместе с другими русскими эмигрантами, он издавал "Летучие Листки" Фонда Вольной Русской Прессы. С образованием Аграрно-Социалистической Лиги он становится ее членом.

В нем удивительным образом сочетались ярко выраженная индивидуальность, накладывавшая свою печать на всё, с чем он прикасался, с глубокой терпимостью к чужим взглядам, с умением понять чужое мнение и подчинить ему свой личный взгляд, если он не принимается большинством. Европейец по своим привычкам, он вошел в английскую жизнь и пользовался большой популярностью в демократических кругах Англии.

127 Перед ним здесь была открыта широкая арена общественной деятельности, но он был безраздельно предан делу русской революции, делу русского народа.

Егор Лазарев родился в 1855 г. Отец и мать его были крепостными. В 1864 году отец отвез молодого Егора в Самару и поместил в услужение к тетке, имевшей мелочную лавку. В 1865 г. Е. Е. Лазарев поступил в приходское училище, по окончании которого с "похвальной книгой", в 1866 г. поступил в трехклассное Уездное училище, где тоже был одним из первых учеников, а затем - в Самарскую гимназию. Обладая блестящими способностями, бывший крепостной кончил гимназию первым учеником.

Маячит впереди университет заманчивыми огнями знания. Но широкий поток революционного движения захватывает молодого Лазарева. Лазарев идет в народ для пропаганды социалистических идей. Вскоре его арестовывают и отправляют в Самарскую тюрьму. После трехлетнего предварительного заключения Лазарев предстал перед Верховным Судом Правительствующего Сената по знаменитому процессу 193-х. Вместе со Львом Тихомировым, Андреем Желябовым, Софьей Перовской, Лазарев был по суду оправдан. Неутомимый Лазарев немедленно возвращается к революционной работе.

Аресты, тюрьма и ссылка почти целиком заполняют ближайшие двенадцать лет его жизни, пока в июле 1890 года Лазарев не бежит из ссылки в Восточной Сибири через Японию в Америку. С осени 1890 г. по март 1894 г. Лазарев прожил в Америке, исколесив ее вдоль и поперек.

Весной 1894 г. Лазарев переезжает в Лондон. Отсюда едет в Париж представителем Фонда Вольной Русской Прессы, но вскоре убийство президента Карно вызывает волну реакции во Франции. Начинаются преследования иностранцев. Палата вотирует знаменитый закон об анархистах. Как "анархист", арестовывается и Лазарев и высылается из пределов

Франции. Лазарев возвращается в Лондон, где становится секретарем Фонда. Летом 1895 г. Лазарев переезжает в Швейцарию и поселяется в местечке Божи над Клараном.

Когда была основана Аграрно-Социалистическая Лига, Е. Е. Лазарев был избран членом редакционной коллегии Лиги.

В конце 1901 года Лига выпустила первое свое публичное заявление. К началу 1902 г. она уже выпустила 25.000 экземпляров разных брошюр. Летом того же года ее издательство слилось с заграничным издательством Партии Социалистов-Революционеров. Отчет объединенного издательства за 1902 год дал уже 317 тысяч экземпляров брошюр, в количестве свыше миллиона печатных листов. Этот наш "первый миллион" был отпразднован Семеном Акимовичем, как самый большой личный праздник.

Шесть лет секретарства у П. Л. Лаврова были для Семена Акимовича как бы шестилетним университетским курсом. Под диктовку Лаврова он записал монументальный "Опыт истории мысли", "Переживания доисторического периода" и "Введение в историю мысли", изданное в России при содействии проф. М. М. Ковалевского под псевдонимом С. Арнольди. Изложенную в этих трудах Лаврова энциклопедическую научно-философскую систему Ковалевский сравнил с ближайшими к нему по времени такими же двумя системами - Огюста Конта и Герберта Спенсера, подчеркнув, что она им не только не уступает по замыслу и выполнению, но превосходит их.

Если Глеб Успенский надолго покорило сердце Семена Акимовича, то Лавров дисциплинировал его ум и поднял его на вершины человеческого знания. Когда Лавров умер на моих и его руках, у меня явилось ощущение, что духовно осиротевший Семен Акимович едва ли не всю полноту своей к нему привязанности перенес - на меня.

129

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Катерина Брешковская. - Григорий Гершуни. - Гершуни и Зубатов. - Рабочая Партия Политического Освобождения России. - Образование Партии Социалистов-Революционеров.

Григорий Андреевич Гершуни ворвался в мою заграничную жизнь внезапно, наподобие того, как падают с неба на нашу землю блуждающие метеориты.

Ничто, казалось, не предвещало его появления. Не слыхал я дотолы и его имени. Впрочем, у нас тогда было священной традицией: встречаясь с человеком по революционным делам, об имени его не спрашивать, а, случайно узнав, постараться как можно скорее выкинуть его из памяти. И в самой России имя его было, в сущности, известно лишь очень небольшому кругу будущих руководителей П. С. Р.

Прежде всего на него натолкнулась Е. К. Брешковская. Она без усталости разъезжала тогда по России, "людей поглядеть и себя показать", как со смешком любила выражаться она. Она "искала человека". А найдя, немедленно присоединяла к незримому воинству будущей Партии Социалистов-Революционеров.

Екатерина Брешковская родилась 26-го января 1844 года в Черниговской губернии, в семье помещика Константина Вериги. Отец ее был дворянин-вольнодумец старого типа: мать же, урожденная Горемыкина, отличалась чрезвычайной религиозностью. Излюбленным языком лучших дворянских семей того времени был французский, на нем говорили между собой, а на русском - с прислугой. Когда Катерина Вериги, ставшая Екатериной Константиновной Брешко-Брешковской, на склоне лет попала в Париж, она пленяла тогдашних лидеров французского социализма своим прекрасным французским языком, но языком старомодным, языком их дедов и прадедов. Не в 130 одной французской среде "бабушка" выглядела

гостем прошлого столетия.

В старости "бабушка" не раз добродушно рассказывала, каким божеским наказанием была она для своей старой няни, то, обрабатывая ее во вспышках детского гнева руками и ногами, то душа ее в своих объятиях в порывах раскаяния. И более полвека спустя нетрудно было узнать в перевалившей на седьмой десяток лет "бабушке" ту же самую бурную Катю - только на этот раз она так же своевольно, чуть не руками и ногами обрабатывала захотевший, видите ли, стать ей политической нянькой-указчицей Центральный Комитет Партии Социалистов-Революционеров.

Катя-подросток жадно слушала из материнских уст Евангелие и "Жития святых". Особенно глубоко врезалось в ее память жизнь великомученицы Варвары, пошедшей за веру на казнь. А в 1910 году корреспондент английской газеты, увидев К. Брешковскую на процессе, написал: "Эта престарелая, седая женщина, одетая в черное поношенное платье, - бабушка, как любовно зовет ее партия освобождения, - шла с достоинством и сияющим лицом, как мученица, вдохновляемая величием дела, которому она предана и которое превращает страдание в высшую радость".

Отдавши в юности щедрую дань антирелигиозным дерзновениям молодой мысли, она опять вернется к религиозным истокам, будет организовывать в Подкарпатьи школы и пансионы, в которых можно увидеть ревностных церковниц, и не будет забывать на прощанье перекрестить тех, кого любит.

Катерине Брешковской выпала на долю бурная молодость. Охваченная общим поветрием, она бросается в Петербург на курсы. Отец дрожит за будущее своей безудержной Кати и пробует приковать ее к дому: чтобы она могла осуществить мечты о служении народу, он создает для нее сельскую школу. Тут же, наготове, найдется и подходящий жених: семья будет для нее тихой пристанью.

Всё сначала идет, как по-писанному. Культурная работа в полном разгаре: вырастает школа, за ней библиотека, а там - сберегательная касса. В них работает рядом с Катериной молодой студент из соседей-помещиков, она 24 лет от роду выходит за него замуж и становится Брешковской.

Но на черниговских либералов обрушивается гнев 131 подозрительной администрации. Старика Веригу увольняют со службы за неблагонадежность, чету Брешковских отдают под надзор полиции. Все их учреждения разгромлены, закрыты. Муж покоряется судьбе, в их браке женственно-мягкой натурой является он, а мужественное начало воплощено в ней. Катерина Брешковская отвечает на разгром культурной работы уходом в революционную работу. Мужу она предъявляет ультиматум: или идти вместе по предстоящему ей тернистому пути, или разойтись. Идти ей приходится одной. Муж остается где-то позади. Но у Катерины, кроме мужа, есть еще и ребенок. После многих бессонных ночей принесена и эта, еще более тяжкая жертва. Младенца берет на свое попечение жена брата Катерины, и он вырастает, считая свою тетку матерью, а настоящую мать - теткой...

"Хождение в народ", арест, суд и пять лет каторжных работ; выход на поселение, побег, новый арест, новый суд и опять четыре года каторжных работ. Таков был крестный путь Катерины Брешковской. Отбыв второй каторжный срок, Брешковская вышла на поселение в Селенгине, где посещение ее Кеннаном вызвало в последнем духовный переворот. Он приехал в Россию для обследования политической ссылки, склонный оправдывать царскую администрацию, вынужденную применять репрессии против террористов. После встречи с Брешковской, а затем и со многими другими ссылными он написал книгу, которая всему

миру показала ужасы политической ссылки в России и благородные образы борцов за свободу. Благодаря этой книге широко прогремело и имя Катерины Брешковской.

Только в 1896 году попадает она, кончив все сроки каторги и ссылки, в Россию. Там всё новое. Новое время - новые люди - новые речи. Молодежь почти сплошь говорит на новом языке - на языке поспешно и не очень ладно переведенного на русский немецкого марксизма. Бабушка среди них - как выходец из другого, потонувшего мира. Но ей ведомо что-то большее, чем тезисы очередной доктрины, претендующей на безошибочность своих диагнозов и прогнозов. И, не смущаясь первыми встречами с молодежью, не дающими взаимного понимания, она спешит наверстать годы подневольного бездействия. "Шесть лет вагоны были мне квартирой, - рассказывает потом она. - Я собирала людей всюду, где 132 могла: в крестьянских избах, в мансардах студенток, в либеральных гостиных, в речных барках, в лесах, на деревенских мельницах"...

Заграницу шли вести: бабушка витает по всей России, как святой дух революции, зовет молодежь к служению народу, крестьян и рабочих - к борьбе за свои трудовые интересы, ветеранов прошлых движений - к возврату на тернистый путь революции. "Стыдись, старик, - говорит она одному из успокоившихся, ведь эдак ты умрешь со срамом, - не как борец, а на мягкой постели подохнешь, как изнеженный трус, подлой собачьей смертью".

Брешковская впоследствии рассказывала нам, как, поездив по Западному краю, она наткнулась на мирного культурного деятеля - умного и осторожного провизора и бактериолога Гершуни. "Светлая голова!" - отметила она для себя. Скоро узнала, что "светлую голову", как полагается, арестовали и увезли в Москву. Ею заинтересовался Зубатов, любивший лично "поработать" над выходцами из "подпольной России" выше обычного уровня.

Брешковской не раз приходилось наталкиваться на следы какого-то, недавно появившегося и, подобно ей, мелькавшего то там, то тут, революционера, под кличкой "Дмитрий". Его уже знали пока еще редкие по тем временам массовые митинги. Случалось, что он внезапно "как из-под земли вырос" там, где атмосфера переполнялась электричеством стачечного брожения; о нем говорили, как об ораторе, оставляющем незабываемое по силе впечатление. Случайно "бабушка" с ним однажды встретилась. Вездесущий и неуловимый нелегальный организатор Дмитрий: бурный оратор массовых митингов; и, наконец, мирный культуртрегер, провизор в Минске Григорий Гершуни слились в одно лицо.

К нам заграницу "бабушка" еще не заглядывала. С ней уже завязал связь транспортер заграничного Союза, Мендель Розенбаум, и она однажды направила его в г. Минск к бактериологу Григорию Гершуни. - "Вот кого попробуй привлечь к эсеровству, - сказала она, - дело будет".

Розенбаум съездил в Минск, но первая попытка не дала результатов; осторожный Гершуни держался выжидательно и даже имени его мы от Розенбаума еще не слышали.

Гершуни производил неотразимое впечатление с первого раза и притом на людей совершенно различных и друг на друга непохожих. В одну из своих заграничных поездок Гершуни возвращался домой через Румынию.

Там в Бухаресте, вместе с тем же Розенбаумом, поздно засиделся у местного статистика и экономиста Арборе, когда-то одного из друзей и сподвижников Бакунина. Старик - в русском социалистическом движении более известный под именем Ралли - был очень оживлен и много рассказывал. Гершуни - как казалось Розенбауму - был молчалив. Но когда Гершуни распростился и ушел, знавший толк в людях Арборе-Ралли наклонился к Розенбауму и с необыкновенной живостью спросил: "Кто это?" - "А что?" - "Орёл!"

Поздней осенью 1901 года я вернулся в Берн и на другой день зашел на квартиру Житловского узнать, нет ли от него вестей с предпринятой им поездки по Европе. Жену Житловского я нашел в тревоге. К ней явился из Берлина с рекомендательной запиской от мужа совершенно неизвестный ей господин, требующий адрес Менделя Розенбаума. Адрес этот у австро-русской границы был отправной точкой единственной тонкой нити, связывавшей заграничный Союз с.-р. с Россией по транспорту литературы. И она решила адреса не давать, а лучше вызвать самого Розенбаума в Берн. Воспользовавшись моим приездом, она просила меня пойти познакомиться и лично присмотреться к приезжему, который остановился у члена одной из русских эсеровских организаций.

Приезжий произвел на меня очень своеобразное впечатление. Как-то особенно откинутый назад, покатым купол выпуклого лба, волевые очертания рта, гладко выбритого подбородка, быстрота движений, скупость на слова, при замечательном умении слушать и заставить разговаривать своего собеседника. Немногие его реплики в разговоре обличали такт и редкое умение направлять ход беседы.

Рекомендательной карточки, привезенной им от Житловского, для меня было вполне достаточно; да и помимо нее - уж не знаю, что именно, - но преисполняло меня неизъяснимым доверием к новому знакомцу. Что-то мне шептало: "Да, поистине, вот это человек!" Он тем временем круто переменял разговор: "Ну, теперь моя очередь рассказывать, ваша - спрашивать..."

А рассказать ему было что. Когда я уезжал за границу 134 (в начале 1899 года), с революцией в России было еще тихо. Социал-демократия, правда, уже набиралась сил; то там, то здесь возникали, по петербургскому образцу, местные Союзы борьбы за освобождение рабочего класса; в 1897 году уже был организован еврейский Бунд; в следующем 1898 году произошла первая попытка создания центральной всероссийской с.-д. организации на 1-ом съезде в Минске; но от этой попытки остался лишь "манифест", принадлежавший перу П. Б. Струве; большинство членов съезда было арестовано тотчас по его окончании. Что касается социалистов-революционеров, то мне была известна лишь киевская группа, к которой примыкали кружки по узкой цепочке южных городов, кончая Воронежем, да саратовская группа (А. Аргунова), вскоре почти целиком перебравшаяся в Москву (так. наз. Северный Союз с.-р.).

Приезжий рассказал мне, что южная с.-р. группировка, успешно разрастаясь, имела уже свой первый съезд и даже приняла название "Партии С.-Р.", а московская, ставшая "Северным Союзом", основала печатный журнал "Революционная Россия", с участием видных столичных литераторов В. Мякотина и А. Пешехонова; правда, третий номер журнала, вместе с нелегальной типографией в г. Томске,

провалился: но дубликат предназначенных для него рукописей - здесь, в его распоряжении; номер должен, быстроты ради, быть выпущен за границей, но уже в качестве формально признанного центрального органа объединенной П. С. Р.; ибо наш гость привез с собой договор о полном слиянии северного "Союза" и южной "Партии" воедино. "Мы в России свое дело сделали; очередь теперь за вами, заграничниками. Все здешние организации - и группа старых народовольцев, и Союз с.-р., и Аграрно-Соц. Лига, и лондонский Фонд Вольной Русской Прессы, и группа "Накануне" и группа "Вестника Русской Революции" - должны слиться в единую заграничную организацию партии, собрать свой съезд, выбрать свой общий комитет и стать органом или зарубежным представительством общерусского центрального комитета". И он мне ребром поставил вопрос: сочувствую ли я такому направле-

нию дела и можно ли в нем на меня всецело и без оговорок рассчитывать?

Я без всяких колебаний ответил: не я один, а все, кого 135 я знаю из серьёзных людей в эмиграции, могут только с величайшим энтузиазмом принять привезенные им вести. Во всех давно уже теплилась вера в близость нового всероссийского общественного подъема и нового революционного прилива: его слишком долго и нетерпеливо ждали и, может быть, иные уже устают ждать, а потому подлинное его пришествие, быть может, кой кого даже застанет врасплох. Им будет мало ваших уверений, им будут нужны факты и доказательства. Есть ли они у вас? Приезжий странно усмехнулся. - "Откуда мне их взять? Это уж придет из России. Пока буду просить о краткосрочном кредите..."

И, немного помолчав, возобновил разговор. - "Но я привез кое-какие новости, которые будут радостны лично для вас. На долю двух серий ваших в "Русском Богатстве" - о философских корнях русского социологического субъективизма и о различиях индустриально-капиталистической и аграрно-трудовой эволюции - выпал необычайный успех. Ничто молодежью не читается с таким увлечением, как они, ничто не возбуждает столько страстных споров со скептиками. Наша молодежь вдохновляется ими в защите своих позиций против ортодоксально-марксистского - а я еще охотнее сказал бы: вульгарно-марксистского - натиска. Вот, вернусь, все наши будут меня расспрашивать: каковы ваши дальнейшие литературные замыслы?.. Да и жизненные тоже".

Приезжий слушал очень внимательно, спрашивал о подробностях... И вдруг оказалось, что и без меня обо мне всё знает... Но мои планы о возвращении в близком будущем в Россию он раскритиковал жесточайшим образом. "От вас ждут сказал он - работ по выяснению партийных перспектив, партийной программы, стратегии и тактики. Для этого отмеренного вами себе заграницей еще только годичного срока уж никак не хватит. Я должен побывать еще в других заграничных центрах эмиграции, выяснить состав наличных работников, а при следующих свиданиях представить всем проект использования наличных сил, как было бы важнее всего для партии. Подумайте об этом как следует, и припасите ваш окончательный ответ. А Россия от вас не уйдет, только надо, чтобы в ней произошли серьёзные сдвиги, после которых партия сама вызовет вас..."

136 Оспаривать его доводы было не легко. С тем большим нетерпением я ждал приезда Житловского и Розенбаума, которые могли дать мне всю нужную информацию о приезде. Но я чувствовал: в моей жизни пришел поворотный момент.

Через день приехал Житловский, а еще через два дня Розенбаум. Встретился он с "Дмитрием" - так звали нашего приезжего - обнялись и расцеловались, как старые друзья. Пошли разговоры о "бабушке", о киевлянах, саратовцах, воронежцах, о какой-то "рабочей партии политического освобождения России"... И, когда гость удалился, Розенбаум рассеял все тревожные сомнения Веры Житловской.

Тут в первый раз прозвучали для нас слова: Григорий Гершуни. И тотчас состоялось единогласное решение - из нашего словаря их навсегда вычеркнуть. Житловский дивился: вот уж не думал, что он еврей! Мендель рассказал, как "Дмитрия" впервые открыла в Минске "бабушка". А, может быть, правильнее будет сказать, что он ее открыл. Она нередко бывала в том же доме, этажом выше, у его брата, врача. Ее все знали.

И однажды "Дмитрий" зазвал ее к себе. У него только что был жаркий спор в небольшом кругу близких людей о больном вопросе: какой же способ борьбы выведет народное движение на путь победы? Вспомнили и "Народную Волю". Один из споривших заявил: он не может даже себе представить, чтобы хоть кто-нибудь, живший в те бурные, страшные

времена, мог допустить возможность их скорого повторения. Вот хотя бы гостящая сейчас в Минске такая знаменитая революционерка, как Брешковская. Не может быть, чтобы теперь она не отшатнулась с трепетом, если бы ее спросили: не пойти ли опять, по примеру Желябовых и Гриневецких, с револьвером или бомбой убивать и умирать? Спор еще не замолк, когда Гершуни услышал знакомые шаги на лестнице. Он приотворил дверь и выглянул: как раз она! Через минуту он уже привел ее в свою квартиру и, бесконечно извиняясь, рассказал о предмете спора. Можно ли ее спросить: что она чувствует, когда перед ней задаются вопросом, быть или не быть повторению народовольческой трагедии. "Бабушка" не уклонилась от ответа. Печальным, но ровным и твердым голосом отвечала: "И мы в свое время мучились тем же вопросом и говорили евангельскими словами: "Да минует нас чаша сия"... Вот и ныне приходится выстрадать ответ.

137 Опять идем мы к срыву в бездну, опять мы вглядываемся в нее, и бездна вглядывается в нас. Это значит, что опять террор становится неизбежным"... После этого Гершуни встретился с "бабушкой" еще раз. То была, опять же в его квартире, встреча нового года - и вместе нового XX-го века. У всех было приподнятое настроение... А прощаясь и покидая Минск, "бабушка" отозвала его в сторону и сказала: "С такими да еще рвущимися наружу мыслями в голове чего ты ждешь? Чтобы тебя изъяли из жизни и замучили в Петропавловске? Надо менять место, надо менять паспорт, надо нырнуть в подполье. И не очень медлить!.."

"...Вот почему, - рассказывал Розенбаум, - бабушка к нему меня и отправила. Он уже успел познакомиться с литературой нашего Союза. - "Должно быть, - заметил он с улыбкой, - там у вас полно кабинетными людьми: недаром особенно любят подчеркивать роль идеологического фактора. Слов нет, это большая сила, но только сила, действие которой ограничивается узкой средой, а нам надо стать силой в массах. И самые активные действия, - я имею в виду террор, - не дают всего эффекта, если они не поддержаны массовым движением. Отстаивая агитацию в крестьянстве, вы правы. Это тоже масса, но масса, распыленная на огромном пространстве, а нам в первую очередь нужны до зарезу компактные массы, которые налицо в городах, в рабочих кварталах". Кроме того, сказал, что мы сами ослабляем свое дело, называясь союзом. Пора выступить открыто в качестве партии.

Когда же я поднял вопрос о его вступлении в наш союз, он вынул из тайника, приложенного к печке, небольшую красненькую книжечку, издание "Рабочей Партии Политического Освобождения России". - "Вот посмотрите, совершенно уверен, что раньше или позже мы объединимся, но персонально, не посоветовавшись с товарищами, вступить к вам не могу".

Помню: при своем первом приезде за границу Гершуни привез нам большой материал о первых проявлениях в Западном крае так называемого "зубатовского" движения. Он составил в "Рев. России" (№ 4 и 5) ряд очерков, "Рабочее движение и жандармская политика", им впоследствии дополнявшихся всё новыми иллюстрациями из разных мест России (№№ 6, 16, 20 и т. д.). Зубатовскую политику он считал крупной, но азартной картой пошатнувшегося самодержавия, и не 138 мало поработал словом и пером над тем, чтобы эта карта была бита.

Менделю Розенбауму была вверена ответственная задача: он должен был вывезти за границу "бабушку" Е. К. Брешковскую, у которой уже почва горела под ногами, и справился с этой задачей очень удачно. От нее мы получили новые вести о том, как она ввела в эсеровский "центр", чьей резиденцией был Саратов, нового члена - "Дмитрия". Именно по указани-

ям из Саратова, он, перейдя на нелегальное положение, разыскал ее на учительском съезде в Перми.

- Вот видите, бабушка, - сказал он ей там при первой встрече, - вы когда-то еще в Минске советовали мне скорей перейти на нелегальное положение и замести за собою все минские следы. Предостережения ваши оказались вещими. Хоть с опозданием, я - таки "перешел" или, вернее, меня перевел на нелегальные рельсы - Зубатов. Дал знак по телеграфу: забрать и препроводить. И препроводили...

Гершуни много раз рассказывал нам, как Зубатов - как бы запросто пытался вести общеполитические беседы. В этих беседах он самого себя рисовал, как, в сущности, тоже социалиста, но не верящего ни в парламентаризм, ни в буржуазную конституцию, а лишь в своего рода "социальную монархию" или народолюбивый царизм.

Брался быть посредником между "трудящимися и обремененными" и властью. Брался найти влиятельных людей, которые дадут возможность даже при стачках оказывать покровительство рабочим против несправедливых хозяев. Обещал разные возможности для всякого рода обществ и организаций, улучшающих быт рабочих, под условием, что они будут дорожить этими легальными возможностями, беречь их и держаться вдали от использования их для революционной борьбы. Находил наивных и легковверных простаков, веривших ему. Вносил в революционные круги разложение, взаимное недоверие и подозрительность.

Бывший охранник Леонид Меньшиков в изданной большевиками книге "Охрана и революция" рассказал о том, как "доставленный в Москву на обработку Зубатова" Гершуни "обошел Зубатова, притворно согласившись на его увещевания, чтобы, получив свободу, организовать террор", и как Зубатов "после длительных бесед со своим пленником, поверил ему, что он решил отказаться от революционной 139 деятельности"; так что для охраны было сюрпризом, когда Гершуни, "выпущенный летом 1901 г. бежал и стал нелегальным".

А между тем Маня Вильбушевич едва не расстроила всех планов Гершуни. Считая ее человеком честным и ценным, но временно "свихнувшимся", Гершуни пытался говорить с нею совершенно откровенно, надеясь переубедить ее, раскрыть ей глаза на истинный характер и подлинные цели Зубатова. Он никак не ожидал, что Маня Вильбушевич раскроет Зубатову самые доверенные разговоры, которые она вела с Гершуни и лидерами Бунда с глазу на глаз. Про Гершуни она прямо сообщила Зубатову: "Он, как и следовало ожидать, от начала до конца обманывал вас".

"С Гершуни у меня был большой, длинный разговор, - докладывала она Зубатову, - он пустил в дело всё свое красноречие и ум, чтобы доказать всю несостоятельность моего взгляда на вас и рабочее движение. На мой вопрос, что же он намерен делать, он сказал, что воспользуется всем, что вы только в состоянии дать для легальной работы, и в то же время, параллельно с ней будет продолжать нелегальную, но не в черте еврейской оседлости, а в центральной России".

Сведя счеты с зубатовщиной, Гершуни не покинул сразу Западного края: он возвращался в него не раз, пока не доделал одного начатого дела. Говорю о Рабочей Партии Политического Освобождения России, чью "маленькую красную книжечку" он когда-то вынул из тайничка и показал Менделю Розенбауму, прибавив: "Раньше или позже мы с вами объединимся...".

Недолгая история этого политического объединения, к сожалению, почти не освещена в нашей исторической литературе.

За кулисами ее чувствовались вдохновляющие влияния старого народника Сергея Ко-

валика (чтобы повидаться с ним, заглянула в Минск и "бабушка") и местного помещика-революционера А. О. Бонч-Осмоловского, участвовавшего потом в с.р. издательской деятельности под псевдонимом Дедова (намекавшим на идейный параллелизм с той же "бабушкой").

Основную фигуру и подлинным основателем Рабочей Партии Политического Освобождения был старый народоволец Ефим Гальперин, носивший кличку "Слепого" вследствие своего угасавшего зрения. Главным литератором группы 140 считалась Любовь Клячко, после ареста в Петербурге с транспортом изданий не выдержавшая испытания и давшая "откровенные показания".

Ее перу приписывалась и программная брошюра Р.П.П.О., носившая название "О Свободе": ее то и показывал Гершуни в Минске Менделю Розенбауму, ссылаясь на то, что без товарищей по этой организации он войти в "Союз" не может. Эту брошюру "О Свободе" я имел с самого начала своего приезда за границу еще в Цюрихе.

Я и сейчас убежден, что без Григория Гершуни составление этой брошюры не обошлось. Я хорошо знал юношески-романтическую манеру его писания; классическим образцом ее было стихотворение в прозе "Разрушенный мол", написанное в манере Максима Горького ("Песня о соколе", "Буревестник" и др.) и приписывавшееся многими Горькому (даже издано под его именем какими-то добровольцами в Берлине).

В брошюре "О Свободе" мне бросился в глаза стиль ряда мест, написанных именно в этой несколько приподнятой манере: такова, напр., часто повторявшаяся тогда характерная цитата: "Социал-демократам мы протягиваем свою левую руку, потому что правая держит меч". Р.П.П.О. имела ряд местных отделов - в Белостоке, Житомире, Екатеринославе и пр. и даже в Петербурге вокруг моего ученика, бывшего тамбовского семинариста Сладкопевцева (Кудрявцева), автора недурной маленькой легальной книжки о Бланки. Она поставила две тайных типографии, просуществовавших, впрочем, недолго: в Минске и Нежине. По составу своему Р.П.П.О. была в основном организацией рабочей еврейской молодежи.

Когда-то обещав Менделю Розенбауму: "рано или поздно мы с вами объединимся", Гершуни слово свое сдержал: несмотря на оппозицию первооснователя, Ефима Гальперина, шумно протестовавшего против отказа от организационной самостоятельности и первоначального имени Р.П.П.О., Гершуни провел на съезде последней в 1902 г. ее полное объединение с Партией Соц.-Революционеров. Одновременно в "эсеровскую" партию влилось несколько комитетов (в том числе главный, киевский) т. наз. Русской С.-Д. Партии, имевшей своим органом газету "Рабочее Знамя" (в отличие от официальной Российской С.-Д. Раб. Партии). Так партия наша получила свое организационное завершение. Ее начальные базы в Поволжье (Саратовский центр, Урал) и центре 141 (Москва-Петербург с тайными типографиями сначала в Финляндии, а потом в Томске) сомкнулась со слившимися воедино, сначала довольно разношерстными организациями юго-западного края. Первенствующая роль Гершуни в деле этого завершения несомненна.

Но всецело на плечи Гершуни легла и другая задача, для него, пожалуй, еще более насущная; тут он выступал смелым новатором. В первый же свой приезд за границу он доверил двум-трем товарищам из будущего заграничного представительства свои самые сокровенные планы в области террористической борьбы.

Для первого же, вышедшего за границую номера "Революционная Россия" Гершуни передал следующее лаконичное официальное заявление: "Признавая в принципе неизбежность и целесообразность террористической борьбы, партия оставляет за собою право при-

ступить к ней тогда, когда при наличии окружающих условий она признает это возможным".

142

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

М. Р. Гоц. - Беседа молодого Гоца с молодым Зубатовым. - Мое первое знакомство с Гоцем. - Гоц - душа заграничной организации П. С. Р. - Арест Гоца и требование русского правительства о его выдаче. - Кампания в пользу его освобождения. - О. С. Минор. - Деятельность Аграрно-Социалистической Лиги. Н. С. Русанов и "Вестник Русской Революции".

Осенью 1886 г. в Москве по Страстному бульвару проходил молодой человек с интеллигентным и энергичным лицом. Он был недурен собой; на умный открытый лоб красиво спускались каштановые волосы. Его несколько портило только угреватое лицо, производившее впечатление какой-то преждевременной зрелости.

Он издали заметил шедшего навстречу ему другого юношу, невысокого и худощавого, в котором внимательный взгляд мог бы рассмотреть признаки семитического, хотя и не резко выраженного типа. Его темные волосы были гладко зачесаны, несколько скрадывая размеры объемистого, более широкого, чем высокого лба. Черные усики и пробивающаяся бородка слегка окаймляли всё его лицо. Его выражение было серьезно и задумчиво; оно могло бы показаться даже строгим, если бы не мягкие складки плотно сжатых губ, обещающие доверчивую и ласковую улыбку. Очень живы и выразительны были темно-карие глаза, - в них просвечивал подвижной и деятельный темперамент. У первого юноши при виде другого скользнуло выражение легкой озабоченности, быстро сменившееся открытой и дружелюбной улыбкой.

- Какая встреча! - Вот, что кстати, то кстати, - сказал он мягким голосом, протягивая встречному свою руку. - 143 Я давно уже подумывал: хорошо бы где-нибудь с вами повстречаться и начать с вами разговор напрямик: будет нам помнить наши старые, детские ссоры! У меня есть к вам дело; хочу выложить его вам без дальних околичностей, если вы готовы отнестись к нему просто и серьезно, как оно того заслуживает, не перенося на него происшедших между нами год-полтора тому назад шероховатостей...

Юноша семитического типа спокойно взял протянутую ему руку.

- Здравствуйте. Но имейте в виду, что я себя состоящим с вами в ссоре не считаю. Лично против вас я ничего не имею. Между нами был только острый спор по вопросу, способному или очень сблизить людей, или развести их в разные стороны. Допускаю, что я вспылил, - но это было только делом умственного темперамента. Не стану, однако, скрывать и того, что отношения своего к воззрениям, которыми вы тогда увлекались, я не переменял - говорю это во избежание каких бы то ни было недоразумений в будущем.

- Да, вижу, и прежняя пылкость умственного темперамента у вас не охладела. Вы, Михаил Рафаилович, человек мягкий, но ум у вас колючий: и ошетиливается аргументами, как иглами. А я, по совести говоря, даже и не понимаю толком, чем это именно я вас тогда до такой степени поднял на дыбы...

- Неужели вы придавали так мало значения тому, что мне так настойчиво излагали? Ведь вы же прочли мне не меньше, как полтетрадки с изложением обретенной вами системы "новой морали". В центре ее, как ее основаноначало, вы ставили сверхсильную или бесконечно волевою личность. Вы требовали культа воли, перед которым померкли бы все прочие культы; вы требовали, чтобы над волей не тяготела никакая узда - в том числе и нравственная; вы объявляли жалким малодушием боязнь попраiania любых, наиболее почитаемых обществом

жизненных заповедей. Плохо, - допускали вы, - когда такие заповеди нарушаются из природного влечения к пороку: тогда это - гадость. Но хорошо, если при полном сознании того, что гадость есть гадость, ее совершают в сущности бескорыстно: из чистой решимости стать выше обычных понятий о добре и зле. Я тогда сказал, что это не путь революционера, а тем более - не путь социалиста, это 144 путь нравственных калек и одержимых: Раскольниковых и Иванов Карамазовых, Нечаевых и Дегаевых. На этом мы с вами разошлись.

- Какая же у вас, однако, хорошая память! - встряхнув своей пышной каштановой шевелюрой, перебил его собеседник. - Но почему же вы не подумали, что может быть я вовсе еще не проповедывал всего этого всерьез и окончательно, а... просто испытывал?

- Кого же?

- Да вас, хотя бы. А может быть, и себя самого. Делал как бы пионерскую разведку в неведомые дебри нравственности без божественных приказов, вообще без короткой привязи, остающейся в руках у какого-то верховного авторитета небесного или земного, церковного или светского. И искушал свой собственный ум?

- Подобно искушению Христа дьяволом в пустыне или беседе Ивана Карамазова с чертом? Ну, знаете ли, когда у человека является соблазн самому распасться на Христа и дьявола и себя же превратить в премию, которой кончится умственная дуэль между ними - между добрым началом и злым - тогда, на мой взгляд, дело плохо: это начинается распад личности и обесчеловечение человека!

- Ну, допустим, пусть будет по-вашему, - с широкой улыбкой согласился первый. - Предположим, что я тогда ходил по острию ножа. Но ведь не свалился же?

- Можно не свалиться просто потому, что не было случая.

- Нет, это вы уж извините, случай был, да еще какой! Разве вы не слышали о том, как меня в прошлом году вызывал к себе Бердяев? Как он мне напомнил, что, будучи исключен из гимназии, я могу в любой момент быть выслан его распоряжением из столицы, и как он предложил мне на выбор - или стать его секретным осведомителем о движении среди учащейся молодежи, или в двадцать четыре часа вылететь из Москвы. С негодованием отвергнув это предложение, как гнусность, я, кажется, доказал, что на подобную удочку меня не поймаешь!

- В первый раз слышу. Однако же, вы никуда не высланы?

- Ну да, всё это оказалось дешевым запугиванием. Но я 145 ведь этого заранее знать не мог, - слова начальника охранного отделения не шутка, и я шел на опасность высылки - а куда бы я девался? Ведь здесь, в Москве, у меня невеста - вы ее знаете, это Михина, заведующая библиотекой, вокруг которой группируется вся молодежь наших с вами воззрений. Да как же вы говорите, что в первый раз об этом слышите? А разве вам ничего не рассказывал об этом - ну, хотя бы Мориц Саксонский? Он всё знал из первоисточника - от нее и от меня.

- Кто это такой?

- Да ведь вы же его должны знать - Мориц Лазаревич!

- Нет, не знаю.

- Да как не знаете, Соломонова не знаете?

- Нет, не знаю.

- А он мне сам говорил, что вас знает. Это ваша привилегия, детей московских Крезов, хотя бы и еврейских. Ведь вы не то, что мы, плебеи. Вы для нас, как попы в уездном городке: попа все знают, а поп - никого...

Более десяти лет спустя обо всем этом мне рассказывал один из участников состоявшегося тогда объяснения - прежний "юноша семитического типа", успевший с тех пор возмужать в самой суровой из школ - политической каторжной тюрьме.

Из двух юношей, встретившихся в тот раз в Москве на Страстном бульваре, один стал виднейшим заграничным организатором Партии Социалистов-Революционеров, соредактором ее центрального органа "Революционная Россия" и заграничным особоуполномоченным ее Боевой Организации. Другой - стал главой политического сыска - и не только создал целую школу хорошо вымуштрованных полицейских ищек, но и пытался обновить всю рабочую политику самодержавия, срастив ее с задачами царской охранки, и замаскировав под модные цвета бисмарковского опекуноско-чиновничьего, так называемого "государственного социализма".

Один был Михаил Рафаилович Гоц; другой Сергей Васильевич Зубатов.

О первом, когда он умер, самый яркий из героев 146 возобновленной террористической борьбы, Григорий Гершуни, написал: "он был живою совестью партии". Другой заслужил себе кличку "Макиавелли охранного отделения" и репутацию великого мастера по части растления душ.

В лице одного судьба подарила мне лучшего и ближайшего товарища по работе. Я был с ним неразлучен в течение ряда лет, вплоть до первой русской революции 1905 года. Он был мне другом и старшим братом - иного имени я не подберу, хотя отдаю себе полный отчет в том, что и "брат" еще слишком бледное и слабое слово для определения сложившихся между нами отношений.

Другой сумел тем временем превратиться из исключенного гимназиста в помощника начальника Московского Охранного отделения, Бердяева - своего первого искусителя. Он имел случай испробовать таланты, необходимые для этой профессии, в числе прочих, и надо мною, - тогда студентом юридического факультета Московского Университета, арестованным его агентом весной 1893 года. Затем, оперившись, он с особой тщательностью упражнял их, почти одновременно, и над попавшими в его когти крупными деятелями еврейского Бунда, и над человеком совсем особого склада: то был человек, осмелившийся поднять выпавшее из рук смертельно раненого народовольческого Исполнительного Комитета оружие политического террора, - Григорий Гершуни.

Михаил Гоц стал не первой и не последнею жертвою зубатовской провокации. Он, вместе с О. Рубинком и Матвеем Исидоровичем Фондаминским, стоял во главе народовольческой молодежи, поставлявшей тщательно проверенных "новобранцев" в настоящую партийную организацию Москвы. Зубатов, чтобы всецело контролировать весь ход "набора", сам хотел стать во главе этой молодежи, теснее сплотив ее вокруг библиотеки, управляемой его невестой Михиной. Для этого ему надо было сдружиться с ее руководителями. Он до поры, до времени, их щадил. Выдавал полиции в это время лишь одиночек вне кружка. Позже он сам выдал и Гоца с Фондаминским и тем преопределил их дальнейшую судьбу: Гоц попал в Якутскую бойню и каким-то чудом отделался лишь простреленной грудью, а Фондаминский, отбыв каторгу, скончался от кишечного туберкулеза в Иркутской больнице.

Шутя над тем, что Гоц - сын одного из еврейских 147 Крезов, Зубатов показал свою хорошую осведомленность о тех, среди кого он вращался. Тесно сплетенные матримониальными и деловыми связями, семьи Высоцкого и Гоца в еврейских кругах Москвы пользовались широкой популярностью.

Главы фамилий были набожными, ортодоксальными евреями старого закала. Но млад-

шее поколение пошло по совершенно иной дороге: внук старика Высоцкого, Александр Давыдович Высоцкий, стал социалистом-революционером и - уже при большевиках - бесследно погиб в Сибири; а два сына Рафаила Гоца, Михаил и Абрам, как увидим, сыграли крупную роль в истории партии социалистов-революционеров.

Мое знакомство с Михаилом Гоцем началось в Берне. У нас тогда побывал Г. А. Гершуни, уехавший потом в Париж, где ему предстояло вести переговоры о вступлении тамошней литературной группы "Вестника Русской Революции" в общую, налаживающуюся тогда объединенную Партию Социалистов-Революционеров. Главным редактором "Вестника" был Н. С. Русанов, выработавший программу журнала вместе с И. А. Рубановичем. В числе основных сотрудников входили все, продолжавшие по традиции носить старое, почетное имя "народовольцев", а также и люди младшего поколения. К этим двум категориям прибавилась третья: только что основанная Аграрно-Социалистическая Лига. Михаил Гоц, чье имя, как участника "Якутской трагедии" было широко известно в эмиграции, приехав в Париж, примкнул там к группе того же "Вестника"...

Многих из нас, давших согласие войти в число постоянных сотрудников журнала - в том числе меня и ближайшего друга моего Ан-ского, - от центральной редакции "Вестника" отделяло отношение к крестьянскому вопросу: мы ожидали, что ближайшие годы будут ознаменованы выступлением на политическую авансцену страны массового аграрного движения. Напротив того, Русанов оставался - в соответствии с настроением большинства народовольцев эпохи заката и ликвидации Исполнительного Комитета - полным скептиком по отношению к нашим аграрно-революционным перспективам: "смотрел букой на мужика", как выражался С. Слетов. Гоц, с нами увидевшись еще не успевший, был вполне в курсе этих разногласий.

Гершуни дал нам знать, что поездка его в Париж 148 увенчалась полным успехом и что оттуда в ближайшем времени явится человек для свидания и сговора со мною по вопросу о перспективах и планах, о которых ранее он беседовал с нами в Берне. И действительно, в середине или конце ноября 1901 г. ко мне явился человек с необыкновенно живыми и умными глазами и подкупающе милой улыбкой. Это и был Гоц. Мы с ним очень скоро договорились во всем.

- Дмитрий, - говорил мне М. Р. Гоц, - привез сюда комплект статей, набравшихся в Томской нелегальной типографии для № 3 "Революционной России". Там считают делом чести ответить на арест типографии и рукописей быстрым выходом и распространением того же номера. Его, значит, надо напечатать здесь немедленно. Кроме того, Дмитрий не надеется, чтобы ему сразу же после возврата в Россию удалось поставить новую подпольную типографию. А тогда будет лучше, если он еще на два-три номера соберет весь материал и перешлет сюда. Вот он и просит, чтобы я и вы вдвоем на это время взяли на себя обязанность окончательного оформления и редактирования этих двух-трех номеров. Дело это, конечно, небольшое и нетрудное, и он не сомневается, что мы оба сделать это согласимся и удачно выполним. Но... - Гоц задумался и вдруг, совершенно переменяв весь тон, в упор задал мне вопрос:

- Скажите мне откровенно: верите ли вы, что всё это так будет? Я сомневаюсь. Составление первого номера в России началось с конца 1899 года; первый номер помечен 1900 г., второй - 1901 г., третий вышел бы теперь или немного спустя, словом, на рубеже 1901 и 1902 года. По одному лишь номеру в год - разве это орудие пропаганды? Это просто крик "ау", сигнал, что мы еще живы... Так это или нет?

Я мог только кивнуть головой в знак полного согласия.

- Надо же мыслить последовательно. Если уж однажды пришлось бежать с материалом за границу, так нечего самих себя обманывать. Надо начать с переноса всей работы по составлению, редактированию, выпуску печатного органа сюда. Надо рассчитывать, что этим создается не случайный и чрезвычайный, а обычный порядок. Нам тут спорить нечего и не с кем. Найдется возможность иметь регулярно работающую там типографию, - чего же лучше? Делайте! Но даже в этом случае ни заграничной типографии, ни заграничной редакции 149 закрывать нельзя. Пусть они будут запасными, всегда готовыми заменить провалившуюся в России. Так говорит логика. А опыт говорит еще больше: планы поставить регулярно выходящей подпольный орган в самой России всегда останутся писанием тростью по воде, реальным же останется лишь выход его за границу.

У меня и на это не было ни тени возражений. - Я Дмитрию всё это изложил, и мне кажется, что внутренне он целиком со мной согласен, вернее, сам думает, а, может быть, и раньше меня думал то же самое. "Не будем предрешать, не будем заглядывать слишком далеко", - говорит он. Я его понимаю: сразу провести в России отказ от мысли иметь свой тут же, на месте создаваемый орган и положиться в этом деле целиком на за границу - дело трудное, а, может быть, и невозможное.

Да и за границей сразу начать формирование постоянной - на годы - редакции, вероятно, возбудило бы такие проблемы эмигрантского местничества, что, пожалуй, вместо дела возникла бы новая склока. Вот, если я не ошибаюсь, почему Дмитрий предпочитает постепенность, скромно очерченные временные решения радикальным. Вот почему я говорю: не будем обманывать себя! Как говорится: едешь на день, а хлеба бери на неделю; так и тут: соглашаешься взять на себя просмотр, обработку и, может быть, дополнение двух-трех номеров, составляемых в России и оттуда пересылаемых нам, а готовься вплотную впрячься в редакционный хомут и везти - всё равно, будут ли приходить из России статьи и великолепные корреспонденции или лишь отрывочные вести да сырые материалы.

Гоц пробыл в Берне дня два или три. Взаимное понимание между нами, а, главное, взаимное влечение друг к другу сделали большие успехи. Все вопросы были решены, и Гоц двинулся прямо в Женеву налаживать наше туда переселение и всё необходимое для перенесения туда работы и нашей личной, и будущего маленького "центра".

По завершении эс-эровского партийного объединения естественно стал вопрос об оформлении связей партии с интернациональным социализмом и вообще об ее заграничном 150 представительстве. Логика вещей выдвигала на пост такого представителя - или, как мы говорили полусуто между собой, "министра иностранных дел партии" - Илью Рубановича. Он был близок к партии уже со вступления в ряды Аграрно-Социалистической Лиги, в партию же формально вошел в составе редакционного коллектива самостоятельно возникшего теоретического журнала русского социализма "Вестника Русской Революции", начатого им вместе с Н. С. Русановым.

Рубанович взялся за дело со свойственной ему энергией. Он воспользовался первым же подходящим случаем - открытием на кладбище Монпарнасс памятника П. Л. Лаврову и привлек к участию в этом торжестве все три основные группировки французского социализма. Говорили речи: зять Маркса и член парижской коммуны Лонге от французской соц. партии (пытавшейся тогда объединить разрозненные социалистические силы), маститый лидер и вдохновитель т. н. "бланкистов" Эдуард Вайан и один из крупнейших "гэдистов" (чистых марксистов) Брак.

За этим скоро последовал: "Манифест к свободной Франции", - смелое и открытое слово, врезавшееся в шумливую вакханалию "франко-русских торжеств" по случаю визита президента Эмиля Лубэ к русскому царю, ради закрепления союза великой европейской республики и последней цитадели европейского абсолютизма.

В это время сначала почти незамеченными прошли в газетах две-три строчки об аресте в Италии какого-то русского, не то "нигилиста", не то анархиста, с неизвестным для мира коротким именем "Гоц". Но для нас, русских соц.-рев. и для нашего главного штаба в Женеве эти две-три строчки телеграфного агентства прогремели, как разразившийся под нашими ногами взрыв бомбы. В Гоце, как в своем естественном центре, сосредоточивались все нити политической работы партии...

Вскоре пришло новое, еще более тревожное известие - о требовании, предъявленном русским правительством, о выдаче ему Гоца.

Мы почувствовали себя отброшенными к временам, когда именно такое требование было русским правительством предъявлено к правительству французской республики - по 151 отношению к бежавшему из России представителю Исполнительного Комитета Народной Воли, Л. Гартману. Это покушение на "право убежища" тогда удалось отбить.

В книжке И. Рубановича "Иностранная пресса и русское движение" он писал о тех годах: "Французская радикальная пресса шумно выражала одобрение русским революционерам, в которых видела достойных преемников героев Великой французской Революции". Рошфор писал тогда, что имел счастье пожимать руку Вере Засулич и не иначе называл царя, как Всероссийским Вешателем.

Лавров имел аудиенцию у президента палаты депутатов, Гамбетты, которому напоминал о "чести Франции". И еще у всех было в памяти, с какой энергией и повелительной силой стоял Гартман "великий старец" Виктор Гюго.

Но царское правительство рассчитывало, что с тех пор времена переменились, да и к тому же королевская Италия, может быть, окажется податливее, чем республиканская Франция. Царская дипломатия явно ошиблась в своих расчетах. Требование выдачи Гартмана всё же опиралось на то, что этот последний лично и непосредственно участвовал в покушении на жизнь русского царя. А Гоц? Он покинул Россию за полтора года перед выстрелом Балмашева и ничего, кроме весьма отдаленной и косвенной связи с организаторами его акта, русская полиция даже и не пыталась доказать. Такая попытка ею была сделана, но ее юридическая убедительность впоследствии была совершенно распатана на итальянском суде.

Мы немедленно подняли тревогу и снеслись с Рубановичем. Он тотчас же выехал в Италию с рядом рекомендательных писем от Клемансо, Жореса и др. видных французских парламентариев. Судебную защиту М. Р. Гоца принял на себя блестящий адвокат и ученый криминалист, лидер социалистической партии Италии, Энрико Ферри.

Социалистическая фракция итальянского парламента с Турати во главе немедленно перенесла дело в парламент, бурное заседание которого приняло для правительства характер громкого политического скандала.

В стране откликнулись многочисленные ассоциации, общества, муниципалитеты и университеты; редактировались и покрывались тысячами подписей петиции; принимались резолюции протеста. На большом конгрессе учителей в Риме, с 152 более чем 2500 делегатов, Рубановичу и Ферри была устроена грандиозная овация; а созванный в Милане митинг протеста завершился уличной демонстрацией перед зданием русского консульства, причем в консульстве были разбиты окна и сорван русский флаг. В Неаполе во избежание повторения

чего-либо подобного власти мобилизовали множество полицейских, карабинеров и штатских агентов, в подкрепление которым было дано даже два батальона пехоты. В Риме префектура должна была прибегнуть к исключительной мере: временному запрету митингов вообще...

Выдача Гоца была судом отвергнута, и он был выпущен на свободу без всяких условий.

Уже в разгар борьбы за Гоца социалистическое "Аванти" предупреждало, что неминуемое поражение правительства будет ударом не только для министров, "но также и еще кой для кого, чье антиконституционное вмешательство очевидно в этом деле".

Это был прозрачный намек на ту роль, какую сыграли в этом деле личные связи между итальянским королем и русским царем, и на давление из Петербурга через итальянского посла, настаивавшего в секретной телеграмме, что "выдача Гоца будет и в интересах правосудия, и в интересах Италии". И когда, невзирая на данный им судом урок, начались закулисные переговоры о визите русского царя к итальянскому королю, во время которого торжественностью встречи удалось бы сгладить тягостное впечатление, оставленное делом Гоца, - итальянские социалисты забили в набат. В парламенте был поставлен вопрос, справедливы ли слухи о визите. И когда представитель министерства иностранных дел дал утвердительный ответ, депутат Моргари от имени социалистической фракции саркастически заявил, что "обращается к любезности министра иностранных дел, чтобы он дал знать в Петербург, что царь сделает хорошо, если откажется от своего намерения, так как, если он придет, он будет встречен свистками".

Чтобы избежать рукопашной между правой и левой, пришлось прекратить заседание. В стране началось чрезвычайное возбуждение. Основан был "Национальный Комитет для приема царя" и опубликован был "Манифест" левой, популяризовавшей мысль, что "законы гостеприимства существуют лишь для тех, кто не забывает святых законов человечности", и что "не для того итальянские патриоты умирали 153 на эшафотах и на поле битвы, чтобы ныне оставить без протеста политику проституирования и цинического лакейства"...

Итальянское правительство, наконец, вняло голосу разума. Газеты обошло официальное известие, что поездка российского императора не состоится. И, поздравляя Итальянскую Соц. Партию, журнал ее "Аванти" и лично Энрико Ферри с одержанной ими блестящей победой, наша партия подвела итоги событиям: русский царь, пытавшийся добиться от Италии выдачи или, по крайней мере, высылки М. Р. Гоца, пожал то, что посеял: сам оказался без права въезда в Италию.

После двух месяцев Неаполитанской тюрьмы и переживаний, связанных с борьбой за освобождение, Гоц вернулся к нам, на первый взгляд, как будто весь наэлектризованный. Но впалость щек, худоба да лихорадочный блеск глаз выдавали тяжелое напряжение, пережитое им. Мы пробовали говорить ему о том, что ему не мешало бы съездить куда-нибудь отдохнуть, - он не хотел и слушать: - "разве не был он целые два месяца в отпуску в Неаполе?"

Все, кому выпала удача видеть Гоца в подъемные годы заграничной работы, говорят о нем, как о человеке баснословной работоспособности и энергии. То его встречают спешащим в типографию, то застают корпящим над корректурами то расшифровывающим или зашифровывающим письма из России и в Россию, то бухгалтером, пытающимся сбалансировать наш приходно-расходный бюджет, то "исповедующим" наедине людей, готовых поехать в Россию в качестве "смены" для заполнения брешей в партийных рядах, то ведущим переговоры с разными "друго-врагами", которых надо превратить в союзников... "Миша-торопыга" прозвал его ветеран народничества А. И. Иванчин-Писарев. Прозвание "Торопыги" мне не очень нравилось - хотя бы уже тем, что оно отзывалось какой-то суетливостью и беспокой-

ной лихорадочностью. А в Гоце говорило нечто совсем иное: напряженность, жажда достичь в работе максимума.

Сверстники его единогласно свидетельствуют о том, как он еще в молодые годы убежденно и настойчиво твердил всем им свои заветные заповеди-предостережения: "Не надо топиться... Ждать, пока призовут... Готовиться... Взять всё, что только возможно, от саморазвития, от выработки моральных качеств, которые необходимы для борьбы за идеалы свободы 154 и социальной справедливости... Враг, с которым нам предстоит схватиться не на жизнь, а на смерть, - силен и хитер. Нам должно, нам необходимо быть во всеоружии: всеоружии знания, науки, тщательного исследования тех проблем сегодняшнего и завтрашнего дня, которые история будет ставить перед нами".

И Гоц ударял рукой по столу, заваленному конспектами проштудированных и штудируемых им книг...

Простота Михаила Гоца сквозила во всём, начиная с внешних мелочей. По-студенчески проста была его квартира, Просто он одевался: в теплые летние женевские дни мы заставляли его в неизменной синей кубовой рубашке-косоворотке, с узкой полосой вышивки на вороту и по краям рукавов; в холодные дни он менял ее на серенькую, наглухо, вплоть до самой шеи застегнутую рабочую тужурку.

Просто принимал он гостей, охотно оставлял их у себя запросто позавтракать или пообедать; и тогда становился бесконечно похож за столом на тюремного артельного старосту: стоило посмотреть, как он, вооружась большим ножом и обведя глазами всех присутствующих, артистически делил жаркое по числу участников на почти аптекарски ровные доли. Бывавшие изредка у нас в Женеве гости из "другого" мира, выражали иногда между собой изумление по поводу того, что этот отпрыск богатых финансово-индустриальных кругов жил так, как будто у него в жизни всего и всегда было в обрез.

Гоц был очень наблюдателен и проявлял большую проницательность в оценке людей. Но "и на старуху бывает проруха". Однажды Гоц встретил меня юмористическим восклицанием: "Сегодня, Виктор, можешь меня поздравить. Ну, и пробрала же меня одна дама - вчера получил письмо".

- В чем дело?

- Я направил к ней недавно Евгения Филипповича (Азефа). Тот у нее побывал, а через несколько дней получаю от нее письмо: зачем это я направил к ней какого-то отвратительного субъекта, от которого за версту пахнет шпионом? Я ей тогда ответил, что, наткнувшись в юности на такого ловкого шпионского пройдоху, как Зубатов, я знаю, почему фунт лиха, и когда рекомендую человека, то за моей рекомендацией стоит жизненный опыт... И что же ты думаешь, - с веселым смехом продолжал он, - только что получил от нее 155 - это некая Ариадна Тыркова, близкая к центру "Освобождения" - новую отповедь да какую. "Ну, - иронизирует она, - если у вас такая обширная практика общения со шпионами, у вас это могло войти в привычку; но мне перспектива пройти такой же курс отнюдь не улыбается".

В конце 1902 г. приехал за границу Осип Соломонович Минор, старый товарищ Михаила Гоца. В Берлине он познакомился с Гершуни и Азефом. Летом 1903 г. переехал в Женеву, где сразу попал на съезд Аграрно-Социалистической Лиги и на учредительное совещание заграничной организации Партии Социалистов-Революционеров. Он вошел в обе организации и с головой ушел в работу.

Молодым студентом Минор вошел в народовольческие кружки, не раз подвергался

арестам и в 1888 году, после двух с половиной лет тюремного заключения, был сослан в Сибирь. Его портрет из Бутырской тюрьмы, от мая 1888 г., перед отправкой в ссылку, рисует нам высокого, худощавого, несколько узкоплечего брюнета, выглядевшего старше своих лет, с высоким лбом, гладкой, откинутой назад прической, в очках, притемняющих задумчивые, грустные глаза, с пышными черными бородой и усами, с общим видом скорее приват-доцента, чем революционера и человека действия. И какие же, в сущности, действия могли быть поставлены ему в счет? Прокурор Муравьев, в ответ на вопросы отца Минора о сыне, ответил коротко: "Десять лет ссылки в Средне-Колымск - за вредное влияние на молодежь".

Еще в Томске, где, после побега с пути одной из заключенных, их всех заперли на замок в камеру, где оставили без еды, без питья и даже без традиционной "параши", - они вызвали страшный переполох среди начальства высадив двери камеры самодельным тараном. Сошло: неслыханность такого поведения вызвала растерянность власти и заставила ее пойти на уступки. Но это было в последний раз. Чем дальше углублялась эта партия в Сибирь, тем угрюмее, тем злее становился конвой, тем чаще щелкали затворы ружей и курки револьверов, - а пройти пешком до Иркутска надо было две с половиною тысячи верст.

156 Измученные люди сумели еще после этого выдержать три тысячи верст путешествия на телегах по ужасающим подобиям дорог во время осенней распутицы вплоть до Якутска. Тут надеялись перезимовать, чтобы весной осилить новый трехтысячный путь - от Якутска до Средне-Колымска, по местам бездорожным и почти безлюдным.

И вдруг - известие, что всех будут гнать туда зимой, несмотря на отсутствие теплой одежды! Да ведь это верная смерть для ослабленных, часто уже серьезно больных людей! Но если смерть, то пусть уж будет не безмолвная, но смерть на открытом, героическом протесте! И коллективный протест начался. Люди поклялись сопротивляться, чего бы это ни стоило - поклялись, уже зная, что губернатор Осташкин и полицмейстер Олесов рассвирепели от одной вести о дерзкой попытке противоречить их распоряжениям, что местной команде розданы боевые патроны и что солдат усиленно потчуют двойными порциями водки. Так произошел знаменитый Якутский расстрел. А затем жертв расстрела, избитых, раненых, судили. Кроме тех, кто успел умереть от ран...

И всех приговорили к смертной казни через повешение. Но в отношении всех осужденных, кроме трех, которым вменялся в вину непосредственный вооруженный отпор действиям военной силы, суд ходатайствовал о смягчении их участи - для одних до четырехлетней, для других до двадцатилетней, для третьих до пожизненной каторги.

О. С. Минор попал в "пожизненные"...

Приговор и его выполнение - повешение трех, причем тяжело раненого Коган-Бернштейна принесли вешать на носилках - давил тяжелым грузом на психику уже измученных всем пережитым людей. Одну из женщин наутро вынули из петли.

А там - отправка в Вилуйск. В очерке своих воспоминаний О. С. Минор характеризует ее условия одним ужасающим в своем неом красноречии фактом. У одной из заключенных, А. Н. Шехтер, - рассказывает Осип Соломонович, - в Якутской тюрьме родился ребенок. Тщетно мать просила об отсрочке до более теплого времени своей отправки в Вилуйск. Ее отправили с грудным двухмесячным ребенком на руках в таких условиях, что до приезда на первую же станцию ребенок у нее на руках замерз. И - такова сдержанность повествователя - только близкие Минору люди, знающие, 157 что Шехтер - девичья фамилия его жены, могли догадаться, что в рассказе о замерзшей девочке речь шла о первой дочери самого О. С. Минора...

Казалось, все эти люди были обречены. Их ждала сначала знаменитая Виллойская тюрьма, которая когда-то, в 1863 г., была построена для Н. Г. Чернышевского, а после освобождения его и заброшенных туда же двух польских повстанцев пустовала. Потом их перевели в "образцовую" Акатуйскую тюрьму в Забайкалье, где задавались целью совершенно смешать политических с уголовными и заставить первых равняться по последним. Каторжный труд в шахте под режимом знаменитого в тюремных летописях "Шестиглазого", описанного в "Мире отверженных" Мельшиным-Якубовичем, с которым вместе пришлось отбывать каторгу Минору.

Тут и должен был кончить Минор свои дни. Но приговоры царских судов нередко касировались высшею инстанцией - Историей. Так случилось и на сей раз. Заграницей история "Якутской бойни" не переставала волновать общественное мнение, в английском парламенте правительству был даже сделан запрос о зверствах в русских тюрьмах. И вот, начались жертвам якутской бойни послабления. Даже бессрочным при восшествии на престол Николая 11-го был дан срок в 20 лет, с переходом через первые 8 лет в вольную команду, а еще через 6 лет - на поселение. Особое положение "политических" также было признано. Еще через несколько лет весь процесс "Якутян" был пересмотрен и 20 лет каторги заменен 10-ю годами ссылки.

Так в августе 1898 года Минор, как и другие "вечные каторжане", смог опять пересечь Уральский хребет, отделяющий Сибирь от России. Всем им предстояло прожить четыре года под надзором полиции, без права въезда в столицы.

Пунктом, где О. С. Минору пришлось отбывать гласный надзор, было Вильно. Приезд туда О. С. Минора была для города событием. Как остановившиеся часы, пружина которых опять заведена, начинают двигать своими стрелками как раз с того места, на котором остановились, так и О. С. Минор с почти юношескою горячностью искал общения с местными "живыми силами": с интеллигенцией, с учащимися, с рабочими. Все, наблюдавшие его в то время, согласно отмечают, как тянуло его к молодежи и до какой степени молодежь тянуло к нему.

158 Полиция, между тем, глядела в оба. Беспокойный и неугомонный темперамент О. С. Минора не давал ей спать. Первое появление О. С. Минора в Вильно надолго не затянулось. Всего какой-нибудь год начальство терпело его здесь.

Доканчивать срок своего гласного надзора ему пришлось в глухом провинциальном Слуцке.

Но вот, срок надзора кончился. Минор попадает в Кишинев. Опять начинается "живая жизнь", по образцу Вильно, и опять настораживаются полицейские ищейки. Но Минор уже не ждет нового вмешательства их в свою судьбу. Заметив, что почва под ногами становится горячей, он переправляется через границу.

Я выше уже упоминал, что заграничное издательство Аграрно-Социалистической Лиги в 1902 или 1903 г. слилось с издательством появившейся около этого времени объединенной Партии Социалистов-Революционеров. Это слияние было регулировано особым федеративным договором между обеими организациями. Но и без этого договора слияние, в сущности, уже было существующим фактом: и в той, и в другой писательским и издательским делом за границей занимались одни и те же люди.

Правда, нашлись в Лиге и два-три человека, которые сначала были несколько встревожены предложением Лиге со стороны Партии формального договора. Привычный организационный консерватизм заговорил особенно в старом народнике Ф. В. Волховском. Его уси-

лиям мы были обязаны тем, что персональный состав Лиги обогатился единственным социал-демократом: Д. Соскисом. Волховской предвидел со стороны этого последнего уход, в знак протеста против утраты Лигой ее первоначальной беспартийности: таким образом, этот первый результат работы Волховского, а он ждал дальнейших, был бы уничтожен. Он это предвидел правильно. Но не предвидел он одного: что не пройдет и года, как Соскис войдет и сам непосредственно в состав Партии Социалистов-Революционеров. Самого же Ф. В. Волховского мы скоро увидим в числе постоянных сотрудников центрального органа партии "Революционная Россия": с начала царско-японской войны он берет на себя и самым энергичным образом 159 осуществляет заведывание отделом войны и ее отражения на внутренней жизни России.

Л. Э. Шишко в Партию Социалистов-Революционеров также вступил не сразу. Он долго присматривался к ней. Шишко всецело развернулся, как умственная и литературная сила, тогда, когда более молодые революционеры принесли ему из глубин России отрадную весть, что мечта его юности готова сбыться, что пропасть между интеллигенцией и народом исчезает, что пробуждается не только рабочий класс городов, но и еще более многочисленный рабочий народ деревень. Несмотря на слабость здоровья, он поражал нас всех своей работоспособностью. Неустанно, систематично и методично он работал пером. Наша популярная литература обязана ему своими лучшими работами.

С. А. Ан-ский, хотя он то заодно со мною и проводил оформление Лиги, как организации внепартийной, был - опять таки заодно со мною - горячим сторонником ее объединения, а потом и полного слияния с партией. Дело в том, что хотя для вхождения в Лигу русских социал-демократов. дверь и оставалась всё время открытой, но, кроме Соскиса, никто ею так и не воспользовался. Важно было еще и то, что собственных агентов и отделов в России Аграрно-Социалистической Лиге образовать так и не пришлось. С ее организационным оформлением за границей совпало сплочение в самой России единой Партии С.-Р., и товарищи, привозившие в Россию литературу Лиги, встречались местными с.-р. группами и комитетами, уже начавшими социалистическую работу в деревне.

Нельзя сказать, чтобы со своей стороны русские социал-демократы литературу Лиги бойкотировали. Нет, и они учли ее растущую популярность. Но брошюры Лиги они освобождали от обложки, на которой стояло имя организации, их издающей: а своего рода "визой", открывающей им дорогу в доступную с.-д-там деревню и контролируемые соц.-демократами фабричные кварталы, бывал печатный штамп местного с.-д. комитета, пускавшего их в обращение.

Ничего подобного с.-р. организациям делать не приходилось; в силу федеративного договора, на каждой брошюре и без этого было обозначено имя партии с.-р., как соиздательницы, на равных основаниях с Лигой. Семен Акимович одно время очень сильно 160 горячился из-за некорректной, на его взгляд, издательской "контрафракции" нашей литературы. Я его нервности не разделял. И настроение Семена Акимовича постепенно изменилось: он уже торжествовал. Торжество его еще более усилилось, когда успех нашей литературы в массах притянул к нам - не без его содействия - и некоторых литераторов, на чье сотрудничество или уже опирались, или не без основания рассчитывали с.-д. организации.

Таков, прежде всего, был скрывавшийся под псевдонимом Некрасова автор необыкновенно популярный в рабочих кругах беллетристически-пропагандной книжки "Ничего с нами не поделаешь". Под псевдонимом "С. Некрасов" скрывался один из известнейших и способнейших научных популяризаторов, известный педагог Н. А. Рубакин. Под другим

псевдонимом Иван Вольный (Этого псевдонима не следует смешивать с подлинным именем Иван Вольнов, он же Вольный, молодого писателя-беллетриста школы Горького, одно время работавшего в эс-эровских рядах.) у нас работала известная беллетристка-народница В. И. Дмитриева. Семен Акимович был вообще усерднейшим вербовщиком для нашего дела со- трудников, умеющих писать для народа.

Семена Акимовича характеризовал тогда дух ревностного прозелитизма. Помню, как он горячился из-за создания в Париже нового журнала "Вестник Русской Революции" под редакцией К. Тарасова (псевдоним одного из будущих моих близких друзей Н. С. Русанова). Принесенная русскими инициаторами Лиги за границу вера в близость массового аграрного движения заразительно действовала не на всех. Тарасов-Русанов (подобно А. А. Аргунову и его кружку в Москве) занял тогда между нами и соц.-демократами среднюю позицию.

Крестьянина он в принципе считал равноправным с индустриальным пролетарием, участником и двигателем массового социалистического развития; но практическое воплоще- ние их социалистического содружества он откладывал целиком до демократизации русского политического строя, как предварительного условия самого приступа к серьезной социали- стической работе в деревне. Что же касается первоочередной и предварительной задачи - низвержения самодержавия, - то единственную серьезную опору в деле ее разрешения он ви- дел лишь в революционной интеллигенции да в городском 161 населении рабочих кварталов.

Эту ограничительную по отношению к крестьянству формулу он - во избежание впаде- ния в старые "революционные иллюзии" - считал совершенно необходимым четко выразить во вводной статье о программе нового издания. И надо было видеть, с каким жаром взвился тогда на дыбы Семен Акимович! Он писал нам, "иногородним", негодующие письма: пред- лагал всем нам демонстративно отказаться от участия в новом издании и опубликовать что- нибудь, отгораживающее нас от него. Признаюсь, мне было не легко умерить волнение мое- го друга.

"Ты жалуешься на то, что они малoverы для ближайшего времени? - писал я ему. - Но пойми, они на много раньше нас оторвались от русской жизни, они не были свидетелями то- го внутреннего брожения в деревне, счастье встретиться с которым выпало на нашу долю. Если мы правы - а мы несомненно правы - то это брожение скоро превратится в очевидное для всех движение: и тогда твои "малoverы" будут счастливее нас, получив, наконец, то "право уверовать", которое нам не в диковину уже давно. Зачем же нам с ними ссориться и этой ссорой их от себя отталкивать?"

Семен, наконец, согласился, хотя и скрепя сердце, идти с "Вестником" единым фрон- том.

162

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Боевая Организация. - Убийство министра Сипягина и другие террористические акты. - Казнь Степана Балмашева, - Арест Гершуни. - Суд над ним и заключение его в Шлиссель- бургскую крепость.

Министр внутренних дел Д. С. Сипягин был всеильным временщиком тех бурных лет. Один из виднейших публицистов тысяча девятисотых годов, А. В. Пешехонов, всегдашний принципиальный противник т. н. террористической тактики, писал нам из Петербурга, кон- статируя "угрюмое молчание большинства органов легальной прессы" по поводу постигшей его гибели:

"Как назовут акт, которым временщик был исторгнут из рядов живущих? Это несущее-

ственно. Несомненно одно - что смерть постигла его по заслугам. Была ли это казнь? Он заслужил ее, осудив на медленную смерть десятки тысяч голодающих крестьян. Была ли это месть? Он вызвал ее, хладнокровно распорядившись избивением сотен людей на улицах и в тюрьмах. Была ли это мера самообороны? Он вынудил к ней, отрезав у общества все пути мирного протеста, переполнив тюрьмы тысячами людей, виновных лишь в том, что они не умели и не хотели молчать перед гнусным насилием..."

Гершуни и его товарищи в намечавшихся ими террористических актах придавали большое значение срокам. Не "самодовлеющего" террора хотели они, не уединенной дуэли кучки террористов с носителями центральной власти и сплотившейся вокруг них "охраной". Их заветной целью было слияние террористических "прорывов фронта" самодержавия с прямым давлением масс, чье дело расширить эти прорывы и взорвать весь вражеский фронт.

В первый же свой приезд Гершуни счел нужным объяснить нам факт осеннего, 1901 года, бездействия уже готовой идти в атаку "боевой организации с.,-р.". Студенчество явно переживало колебания. Жесткая политика Боголепова, "смещенного" выстрелом Карповича, сменилась политикой "сердечного попечения", объявленной новым министром ген. Ванновским. Брожение во многих университетах всё же началось, но его прервали рождественские каникулы. Для городских рабочих осень была плохим временем; по окончании летних работ полунищие крестьяне наводняли города, и стачечникам грозила легкая замена их на фабриках нетребовательными "зимовалами", как звали они крестьян, на зиму являвшихся подработать в городе.

Гершуни писал, что атака боевиков намечена на первую половину февраля 1902 г., по возможности ближе к годовщине освобождения крестьян, 19-го февраля, когда предполагаются смешанные студенческо-рабочие демонстрации на улицах.

Мы с понятным волнением отсчитывали дни, отделяющие нас от этой даты. Но до нее было еще далеко, когда в письмах замелькали смутные указания на то, что с первоначальным планом что-то не ладится.

О перспективах вооруженных нападений на столпов режима, разумеется, хранилось гробовое молчание. Вне тесных кадров Боевой Организации о них во всей России было известно лишь пяти человекам, и еще двоим за границей. Мысль о волне демонстраций в юбилейный день 19-го февраля была в традициях студенчества, и о накоплении сил к этой дате и без того говорилось повсюду. Но рядом действовали и стихийные процессы, ни в какие планы не укладывавшиеся. Неожиданно начались волнения в Харьковском Ветеринарном Институте, который в студенческом движении доселе авангардной роли не играл; из стен института движение вылилось на улицу, и полиция реагировала на него избиваниями; по всем другим университетским центрам прокатилось движение "по сочувствию". Так прошел январь; в начале февраля уже стало ясно: стихия упразднила все планы.

Гершуни пишет, что на этот раз тесное сочетание вооруженных нападений с массовым давлением, вероятно, придется оставить. Положение на редкость неопределенное. 3-го марта разыгрывается грандиозное избивание демонстрантов в 164 Петербурге. Сипягин требует неограниченных полномочий для одоления революции: ждут всероссийского разгрома в неслыханных размерах. Зарождается колебание: если разгром этот будет окончательно вырешен, следует ли нападением на Сипягина и Победоносцева давать повод думать, будто эти нападения и расковали неистовства реакции? Наконец, принимается решение: пустить в ход свои нападения двумя-тремя днями позже, объявив их ответом революции на новый разгул реакции...

Мы ждем развития событий. Нервы натянуты донельзя... Так идут дни за днями - вплоть до исторической даты 2-го апреля: выстрелом Степана Балмашева Сипягин смещен. Но мы в прежнем напряжении. Нам было сообщено, что такому же "смещению" подвергнется Победоносцев. Наконец, становится ясно: по случайным причинам, вторая часть плана сорвалась.

Дата 2-го апреля была выбрана потому, что в этот день назначено было собрание комитета министров. В час Сипягин приехал в Мариинский дворец, а Победоносцев вышел из Синода. К первому, в виде блестящего молодого адъютанта, направился член Б. О. С. Балмашев. Ко второму должен был подойти другой террорист. Он вызван был в Петербург специальной телеграммой... Но телеграф перепутал две буквы фамилии адресата, телеграмма не была получена, в Петербург никто не приехал, и Победоносцев ушел от верной смерти.

Августовский номер "Революционной России" отметил в "партийной хронике", что после первого успешного выступления Боевой Организации "через несколько дней П. С. Р. формально передала заведывание всей непосредственно-боевой деятельностью в руки столь успешно начавшей дело боевой группы, таким образом превратившейся в постоянный орган партии и получивший от нее вполне определенные и широкие полномочия на будущее время".

Значительно обогнав почтовые вести, к нам примчался Гершуни. От него веяло волевою бодростью, верою в себя и свое дело; он заражал своим настроением всех. На "смещение" Сипягина власть ответила назначением фон Плеве. Это последний козырь самодержавия. Судьбу победителя и палача Народной Воли история отдаст в наши руки. Только для грядущей борьбы с ним пора теперь же начать думать 165 о высшей, динамитной технике. Что касается дальнейшей деятельности Боевой Организации, то в согласии с Ц. К. партии от террористических ударов пока изымается глава верховной власти - сам царь.

В текущей боевой работе нужно искать приближения террора к массам. Наиболее яркие фигуры местной власти, в особенности проявившие себя варварством своих расправ над рабочими, крестьянами и учащейся молодежью, должны занять должное место в ходе дальнейших боевых действий.

О "приближении террора к массам" боевая организация думала и до постановления Ц. К. партии. Ее деятельность направлялась по трем линиям. Первым должен был пасть виленский губернатор фон Валь, приказавший наказать еврейских рабочих-демонстрантов розгами. На фон Валя должен был пойти взятый из прежних кадров Рабочей Партии Политического Освобождения боевик Стрига. Но его выступление неожиданно предупредил выстрел рядового еврейского рабочего Гирша Лекерта. Фон Валь был лишь легко ранен. Гершуни был чрезвычайно огорчен, что фон Валь отделался так дешево и что Боевая Организация случайно потеряла такую заслуживающую кары мишень.

Лекерт был казнен через два дня после С. Балмашева.

Степан Балмашев был принят в Б. О. позже многих. Но на Гершуни произведенное им впечатление было до такой степени неотразимо, что он не колеблясь согласился - и убедил других - уступить ему первую очередь. Меня лично это не удивило. Я знал и любил отца его, руководившего в Саратове, в должности библиотекаря, самообразованием нескольких поколений учащейся молодежи, к которой принадлежал и я сам; я познакомился и с женой и сыном - он не был еще тогда Степаном Валериановичем, а просто славным мальчиком Степой, частенько сживавшим на моих коленях. Он резко выделялся серьезностью не по летам: был задумчив и мечтателен; правдивость его была абсолютной, наподобие "абсолютного слуха"

больших музыкантов.

Суд над Балмашевым состоялся 26-го апреля 1902 года. На вопрос председателя суда об имени и виновности он ответил: "Степан Валерианович Балмашев, 21 года, православный, потомственный дворянин, факт убийства признаю, но не признаю себя виновным". Балмашев был приговорен к 166 смертной казни через повешение. Мать Балмашева подала на высочайше имя прошение о его помиловании. Государь сказал, что помилует его в том случае, если прошение будет от имени самого С. В. Балмашева, а не его матери. Дурново сейчас же поехал к С. В. Балмашеву и просил его, но совершенно безуспешно, подать прошение о помиловании. Уговаривал С. В. Балмашева и священник Петров. С. В. Балмашев сказал уговаривавшим его: "Я вижу, что вам труднее меня повесить, чем мне умереть. Мне никакой милости от вас не надо". Матери С. В. Балмашева Дурново сказал: "У вас не сын, а кремень".

В письме к родителям, написанном им на другой день после ареста, С. В. Балмашев писал:

"Дорогие мои! Пользуясь счастливым случаем, пишу вам несколько строк, в надежде, что они дойдут до вас. Событие 2-го апреля и мое участие в нем, наверное, поразило вас громом неожиданности и острой болью. Но не обрушивайтесь на меня всей тяжестью упрека! Неумолимо беспощадные условия русской жизни довели меня до такого поступка, заставили пролить человеческую кровь, а главное - причинить вам на старости лет незаслуженные страдания от утраты единственного сына. Как неизмеримо счастлив был бы я теперь, исполнив свой долг гражданина, если бы не угнетала меня мысль о вашей скорби, о той душевной муке, которую вы должны испытывать. И, несмотря на это, несмотря на то, что светлое состояние моего духа и блаженное самочувствие от сознания выполненных требований моей совести омрачается горечью при мысли о вашей печали, - я, разумеется, нисколько не раскаиваюсь в том, что сделал..."

Проклятые условия современной русской действительности требуют жертвовать не только материальными благами, но отнимают у родителей их единственных детей. Я приношу свою жизнь в жертву великому делу облегчения участи трудящихся и угнетаемых и это, я верю, дает мне оправдание в той жестокости, которую я совершил по отношению к вам, своим горячо любимым родителям".

Умер Степан Балмашев так же мужественно, как жил. Он был повешен 3-го мая в стенах Шлиссельбургской крепости.

Второй мишенью Боевая Организация поставила палача 167 полтавских крестьян, князя Оболенского. Исполнителем вынесенного ему приговора был Фома Качура. Третьей вехой жизни Боевой Организации был "расстрел" на одном из бульваров г. Уфы местного губернатора Богдановича, по распоряжению которого незадолго до того был произведен расстрел златоустовских рабочих. Главным героем этого дела, с успехом ушедшим от преследователей после жестокой перестрелки, был рабочий Дулебов, а прямым организатором, покинувшим Уфу на глазах жандармерии в составе провожаемой мнимой новобрачной пары, с букетом цветов, был Григорий Гершуни.

Гершуни был у нас с рассказом о первом боевом успехе в первой половине мая 1902 года. Сипягинское дело явно было для властей полной неожиданностью. Кроме Степана Балмашева, в их руках не было никого, и они не знали, где искать виновников. То же повторилось сначала и с делом Оболенского. Наконец, гибель Богдановича прошла для властей еще хуже. Даже непосредственные исполнители бесследно ускользнули из их рук.

После Уфимского дела Гершуни продолжал свободно разъезжать по России. Его вне-

запный провал был случайностью.

Я должен рассказать здесь, что в 1919 году, проживая в Москве, разумеется, в неузнаваемом виде, - я ежедневно ходил в главный историко-революционный архив. Изучая там разные секретные документы, я наткнулся на письмо знаменитого обер-шпиона Медникова, которого Зубатов любовно звал "Котиком". В письме этом, основываясь на ряде косвенных признаков, Медников в 1903 г. предсказывал, что скоро надо ждать появления Гершуни в Крыму и Киеве, почему туда и надо отправить достаточное количество знающих его в лицо филеров.

А в это время Гершуни, по его собственным словам, "направлялся из Саратова и до Воронежа всё колебался: проехать ли прямо в Смоленск или заехать в Киев, где необходимо было сговориться относительно тайной типографии. Киев я в последнее время избегал: у жандармерии были указания о частых моих посещениях, и шпионы были 168 настроже. Не знаю уж, как это случилось - пути Господни неисповедимы - я отправился в Киев".

А что ждало Гершуни в Киеве? Накануне его приезда мелкий охранник студент Розенберг зашел к видной работнице Киевского комитета ПСР, Розалии Рабинович. Ему показалось, что общая атмосфера дома была насыщена каким-то напряжением и что когда он вошел, была спрятана какая-то телеграмма. Недолго думая, охранник бросился к начальству и доложил: "Эсеры кого-то ждут". На телеграф был снаряжен охранный чин с ордером на выемку: среди телеграмм легко была обнаружена как раз искомая.

Мастера полицейских дел в подписи "Дарнищенко" удачно предположили место, где высадится осторожный путешественник: станция Дарницы. Для Гершуни была приготовлена западня.

Скованный по рукам и ногам, под наблюдением шести жандармских унтер-офицеров и двух жандармских ротмистров, предшествуемый телеграммами по всей линии о встрече и проводах вагона номер такой-то, Гершуни был препровожден в Петербург.

Уже при первом допросе, который был произведен товарищем прокурора по секретным делам Трусевичем, Гершуни узнал, что он обвиняется, между прочим, и в покушении на жизнь обер-прокурора К. П. Победоносцева. Покушение это не состоялось. Откуда же следственные власти могли узнать, что такое покушение имелось в виду? Без чьего-нибудь предательского оговора о нем не могло бы зайти и речи.

И далее. Обвинение, по которому Гершуни был привлечен к жандармскому дознанию, ввиду дальнейшего формального предварительного следствия и суда, не упоминало ни словом о покушении на губернатора Оболенского, исполнитель которого Фома Качура был схвачен на месте. Из этого Гершуни правильно умозаключил, что этот единственный оставшийся в живых пленник жандармерии не обмолвился ни словом разоблачения. Сопоставляя всё это с фактом, что ни при непосредственном аресте Гершуни, ни позже жандармерия так и не узнала, откуда приехал Гершуни в Киев, Гершуни правильно умозаключил, что слежки за ним не было и, значит, взяли его как-то случайно. Но вот, скоро ему было предъявлено дополнительное обвинение: об участии в покушении на жизнь Оболенского. На основании оговора "чистосердечно 169 раскаявшегося Фомы Качуры". Эти короткие четыре слова леденящим холодом охватили Гершуни.

Что же происходило за кулисами жандармского дознания? Каким образом после первоначальной растерянности обвинительная власть смогла найти твердую почву для выяснения деятельности Гершуни и Боевой Организации?

Гершуни впоследствии и об этом нам рассказывал.

Два человека, силившиеся во время судебного следствия во что бы то ни стало потопить Гершуни, послушно разыгрывавшие заранее разученные роли под общей антрепризой Трусевича, были офицер Григорьев и его невеста Юрковская.

Григорьев когда-то был рекомендован киевским партийным работникам в качестве "сочувствующего". Он был связан с небольшим кружком таких же, как он, молодых офицеров. Позже он переехал в Петербург и поступил в Михайловскую Артиллерийскую Академию. Для организации он явился как бы "окном" в новую среду офицеров-академистов.

Невеста Григорьева, Юрковская, подчеркивала свои ярко-революционные воззрения - может быть, совершенно искренно, но с оттенком истерии. Охотно оказывала кое-какие мелкие услуги: революция становилась модой. И Григорьев и Юрковская встречались с Гершуни. Он произвел на них импонирующее впечатление. Через Григорьева у каких-то знакомых хранились дорожные вещи Гершуни.

Григорьев мечтал о военной революционной организации, Юрковская - об участии в блестящих террористических подвигах: Гершуни слушал обоих и втихомолку делал свое дело.

И вот произошло убийство Сипягина. На следующий день, 3-го апреля, Гершуни появился, чтобы взять свои вещи, хранившиеся у Григорьева, и двинуться в объезд по России. Григорьев бросился к нему, поздравляя в его лице партию с блестящей победой. Юрковская же с самым удрученным видом жаловалась, что ей ничего не доверили и ей самой не поручили этого дела. Объяснение кончилось категорическим заявлением Юрковской, что она окончательно решила пойти на террористический акт, и заявлением Григорьева, что он решил соединить с ее судьбой свою собственную.

В день похорон Сипягина он, как офицер, сумеет приблизиться к Победоносцеву и застрелить его, она же, переодевшись гимназистом, попробует сделать то же самое с градоначальником, когда тот спешно явится на место происшествия. Оба они решили пойти на дело на свой риск и страх, и просили только о помощи им советом и средствами. Гершуни рискнул: сам присмотрел за тем, чтобы ими были сожжены все адреса, письма и записки, способные запутать в дело посторонних, и помог им приобрести револьверы и гимназическую форму. Наконец, остался еще на день, чтобы узнать о результатах этой попытки.

Он еще раз - перед отъездом - зашел к Григорьевым, уже зная, что похороны прошли благополучно. Григорьев неловко объяснил, что до Победоносцева добраться ему так и не удалось.

Сам Григорьев во время суда над Гершуни дал - видимо, придумав экспромтом - иную версию. Он добрался до кареты с инициалами Победоносцева "К" и "П". Он увидел в карете седого старика. Но на его седины у Григорьева рука не поднялась, и он вернулся домой, внутренне решив, что никогда более на такие дела не пойдет. Но Григорьев забыл - или просто не знал - что в деле есть документ о том, что Департаментом Полиции был установлен факт: Победоносцев на похороны Сипягина совсем не явился.

Жажда подвига у Григорьева и Юрковской не шла далее красивой позы и рисовки. Прощаясь с Гершуни, эта злосчастная пара всё еще просила - не покидать их совсем и всё еще уверяла: Победоносцева не всегда спасет слепой случай, он рано или поздно падет от их рук.

Гершуни никаких роковых последствий от этого эпизода не ожидал. В организацию он ни Григорьева, ни Юрковскую не вводил, и кроме него самого, никто об их пародии на по-

кушение не знал. Не станут же они доносить на самих себя!

Так говорила логика. Но психология неуравновешенных, стоящих на грани истерии людей - а таковыми были Григорьев и его невеста - толкает их на действия, противные и логике, и собственным интересам...

Следствие затягивалось. Внезапно сам Плеве появился в Петропавловской крепости в дверях камеры Гершуни с вопросом: не имеет ли он ему что-либо сказать... Но ответное:

"Вам?!" прозвучало так уничтожающе-красноречиво, что всемогущий министр резко повернулся и вышел. Тогда за дело принялся по его поручению вице-директор Макаров. Он пробовал договориться с Гершуни: смертный приговор будет 171 заранее исключен, если Гершуни подпишет признание, что он был руководителем Боевой Организации, совершившей такие-то и такие-то деяния. Гершуни ответил категорическим отказом.

Когда террористическая деятельность была начата, Боевая Организация была вся укомплектована. Но ни один из ее членов пока не был ни арестован, ни потревожен. А ядро ее состояло из людей, редкий из которых не проявил себя потом участием в каком-нибудь крупном боевом акте. Здесь были: Покотилов и Швейцер, погибшие в разное время при зарядке бомб; братья Егор и Изот Сазоновы, первый из которых позже взорвал карету фон Плеве и уничтожил временщика.

Дора Бриллиант, участвовавшая в покушении на вел. князя Сергея, и Каляев, совершивший это покушение; Николай Блинов, еще под Женевои фабриковавший динамит и пробовавший бомбы, а после погибший в Житомире при защите евреев от погрома; Дулебов, "расстрелявший" Богдановича, и другие, кого не называю, ибо не вполне уверен, что они были действительными членами организации, а не "кандидатами" в нее только, подобно Савинкову тех дней.

(Idn-knigi.narod.ru - О Н. Блинове, см. Ицхак Маор "Сионистское движение в России" стр. 207,208,225, там же о В.М. Чернове, см. по имен. указ. - на нашей странице)

Когда мы за границу узнали об аресте Гершуни, мы трепетали душой почти за каждого из них. Но весь этот контингент боевиков оставался пока недостижимым для политической полиции.

Мало того. Вопрос о формировании Б. О., как центрального боевого органа партии, Гершуни обсуждал с рядом членов временного Ц.К. партии, главное ядро которого находилось в Саратове. Кроме "бабушки" Брешковской, туда входил старый народоволец Буланов, П. Крафт, чета Ракитниковых, Серафима Клитчоглу и некоторые другие, но и до них воротилы сыска пока так и не добрались. Их роль была вскрыта потом лишь агентурными сведениями, поступавшими от Азефа.

Здесь стоит прибавить, что, по архивным документам, Азеф вел незадолго до ареста Гершуни с Департаментом Полиции целый торг о его выдаче, выставляя в виде награды сумму в 50 тысяч рублей. Случайный удачник, студент Розенберг перехватил у него эту возможность и, не зная, кого предает, не получил за это ничего, кроме обычных скудных иудинских сребренников.

Усилиями Трусевица всё же создана была целая 172 Вавилонская башня догадок и вымыслов, выдаваемых за факты. Перед самым судом Гершуни получил для обозрения целых семь томов материалов дознания. Можно себе представить, сколько в них было путаной и хаотической отсебятины!

Обвинительный акт по делу Гершуни опубликован не был. На самое заседание были допущены только двое "посторонних": мать Арона Вейценфельда и жена Мельникова (дво-

их, хотя и сидевших на скамье подсудимых, но связанных с Б.О. лишь отдаленно); даже перед родным братом главного обвиняемого, самого Гершуни, двери залы суда остались закрыты...

Гершуни был приговорен к смертной казни. После смертного приговора - чего еще ждать? Для осужденного - ничего. Приготовиться к смерти? Гершуни давно был к ней готов, задолго до суда, задолго и до ареста: он видел в ней лишь завершение выбранного им пути, моральную победу над теми, кто физически его победили.

И вот, в ближайшее же утро после произнесения приговора в камеру Гершуни входит вице-директор департамента полиции - Макаров. И суд, и приговор - уже позади. Что же дальше? Неужели Гершуни и теперь во что бы то ни стало хочет дело довести до виселицы? Во имя чего? Долг революционера им выполнен. Сановник это понимает и даже уважает: это как у них - долг службы. Вот и самый процесс им проведен, так, как он считал нужным. Но какой смысл умирать, если от этого можно избавиться простой, ничего не значащей формальностью: несколькими строками обращения к верховной власти об изменении наказания?

Гершуни пожимает плечами: Макаров у него однажды уже был с предложением подобного рода и получил ясный и недвусмысленный отказ. С тех пор ничего не изменилось.[LDN2]

- Нет, изменилось, - настаивает сановник, - тогда дело шло о дознании, о даче показаний, а теперь это - всё в прошлом. Теперь речь идет о заявлении назовите, как хотите. Он сам найдет слова, не унижающие достоинства. Сановник выбрасывает свой последний козырь: если он до такой степени упорно хочет оставаться сам себе врагом, то они, стоящие на страже великого начала государственности и его правосудия, по человечеству дела в таком положении оставить не могут. Будет сделана попытка вызвать его родных, его 173 родителей, имеющих право и даже обязанных сделать это ради него - без него! Гершуни решительно запротестовал:

"Зачем же причинять лишние страдания безвинным даже с вашей точки зрения людям, чья жизнь и без того близка к последнему порогу? Если в вас не всё человеческое угасло - я готов это допустить - ваш долг один: оставить их в покое!".

И Гершуни потом говорил: "Не знаю, ошибаюсь я или нет, но мне тогда показалось, что в Макарове что-то шевельнулось. Во всяком случае, он глухим голосом произнес: "Хорошо, пусть будет по вашему желанию". И действительно, родных моих не трогали... Не тревожили более и меня".

Снова идут день за днем; проходит вторая неделя, третья... Вот однажды прошла проверка, настала мертвая крепостная тишина. Гул шагов. Шаги уверенные. Ближе, ближе. - "Сюда, Ваше Превосходительство".

Дверь камеры распахивается. За дверью толпятся жандармы. В камеру входит начальник крепости, а следом за ним - знакомая фигура: барон Остен-Сакен, который председательствовал на суде. Он-то тут зачем? И такое праздничное лицо, глуповато-умиленное...

- Господин Гершуни, я привез вам высочайшую милость. Вам дарована жизнь.

Гершуни сухо отвечает:

- Я об этом не просил: вы это знаете.

- Да, я знаю... - произнес величественный барон и вышел. Дверь гулко хлопает.

174

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Азеф во главе Боевой Организации. - Убийство Плеве. - Егор Сазонов, Борис Савинков

и Иван Каляев.

Незадолго до ареста Гершуни из России был заявлен новый нам запрос. Предстояло оборудование Боевой Организации новой военной техникой. Михаилу Гоцу надо было найти для этого новые средства; мысль о том, чтобы справиться с этой задачей путем простой переброски бюджетных сумм на террор, в ущерб остальным партийным нуждам (иными словами в ущерб обслуживанию массового движения), мы отвергали. Приходилось также считаться с тем, что опыты с динамитом - вещь опасная. Пользуясь правом убежища в Швейцарии, мы должны были во что бы то ни стало избежать опасности для мирных швейцарских граждан. Было принято решение - никаких опытов над взрывчатыми веществами в городских помещениях не производить, пользоваться лишь совершенно обособленными дачными домиками, лучше всего где-нибудь на побережье или в лесу.

Вскоре уехали в Россию практиковавшиеся в Швейцарии "боевики". А Михаил Гоц? Сближаясь с Гершуни и принимая на себя заведывание боевыми делами за границы, он всегда повторял, что у него нет охоты вертеться около боевых дел. При серьезной постановке иметь лишь одного человека, ведающего боевой организацией, невысказано. Рядом с ним должен быть "запасной" боевой организатор и ближайший помощник. В течение всего 1903 года, когда общий рост партии давал себя чувствовать с особенной силой, Гоц с особенной настойчивостью ставил вопрос о своем переезде в Россию.

- Я не выдержу этой жизни, - говорил он, умоляя, чтобы его пустили в Россию, - вы лишаете меня счастья 175 умереть на эшафоте и заставляете умереть здесь, на мирной койке; это будет незаслуженным мною несчастьем...

Для связи с русскими товарищами у нас были шифры и код, а кроме того были условные краткие сообщения почтовыми открытками. Свой особый условный смысл имели трафаретные приветствия, лучше всего печатные ко дню рождения, именин, вступления в брак, "со светлым праздником" и т. д.: тут в разгадке оставался бессилён и сам "черный кабинет". Из России, в ожидании заранее намеченного акта, мы имели постоянные уведомления о его ходе, причем текст открыток совсем не имел никакого значения; иллюстрация, изображавшая, например, мужские фигуры, означала успешный ход работы: женские фигуры - трудности и неудачи.

Картинки, изображавшие мировых красавиц, вроде Клео-де-Мерод, Лины Кавальери и т. п., служили уведомлением о провалах. И обратно, когда мы получали открытки с портретами одного из трех тогдашних любимцев читающей публики: Максима Горького, Леонида Андреева или Антона Чехова - это означало, что для очередного акта Б.О. все подготовительные работы закончены; остается ждать "развязки"...

Читатель может себе представить, с каким трепетным нетерпением после получения такой карточки мы жили от выхода одного номера газеты до другого - а в Женеве тогда совершенно пустынная местная "Женевская Трибуна" выпускала по три последовательных издания в день. Но случались и трагические разочарования: на второй день после очередного "Максима Горького" мы в ближайшем же утреннем газетном выпуске прочли телеграмму о страшном взрыве, происшедшем в С.-Петербургской "Северной Гостинице" и о гибели в ней "какого-то подростка", судя по единственной, оставшейся от него целой части тела - маленькой руке. Этого признака для нас было достаточно.

Член Боевой Организации, давно уже ждавший своей очереди (организация несколько раз откладывала ее по тем или иным мотивам в пользу другого претендента), истомившийся и переволновавшийся до нервной экземы Алексей Дмитриевич Покотиллов, обладал как раз

таким "аристократическим сложением" такими маленькими ногами и руками, что они могли быть сочтены за полудетские...

Гоц начал сильно хворать. Недавние дни его пребывания 176 в тюрьме навели врачей на ложный след. Они предположили обострение суставного ревматизма. Все известные средства борьбы с ним были применены без всякого результата.

Скоро уже не симптомы суставного ревматизма, а тяжелого заболевания нервной системы дали с беспощадной ясностью о себе знать. У Гоца стали отниматься ноги. От боли он уже не мог спать без морфия. Но он духом не сдавался. Вокруг кресла, к которому он был прикован, собирались друзья и товарищи, трактовались "проклятые вопросы" начавшейся революции.

Самым ужасным для Гоца было сознание, что лично он обречен на беспомощность инвалида, что броситься собственной грудью заполнить брешь, оставленную арестом его друга, он уже не в силах...

Далеко заглядывавший Гершуни как-то раз, как бы мимоходом, "на всякий пожарный случай", сообщил ему, что первою мерой в случае его провала, он избрал - передачу организации в заведывание обоим им известного и явно проявившего немалые практические способности - Евгения Азефа.

"Конечно, на время - пока не явишься ты сам..."

Теперь, когда этот "пожарный" случай произошел, Гоц, конечно, трепетал за судьбу организации. Не потому, чтобы сомневался в новом "временном" руководителе. А потому просто, что переход организации во всякие новые руки был прыжком в неизвестное.

Евгений Азеф в свое время представлялся одной из самых крупных практических сил Центрального Комитета. Как таковым, им всегда очень дорожили, и неудивительно: среди русских революционеров встречалось немало самоотверженных натур, талантливых пропагандистов и агитаторов, но крайне редки были практически-организационные таланты. Поставить и вести деловито крупное техническое предприятие, со всею необходимою конспиративною выдержкою и финансовою осмотрительностью - вот что всего труднее давалось русской "широкой натуре".

Со своим ясным, четким, математическим умом Азеф казался незаменимым. Брался ли он организовать транспорт или склады литературы с планомерной развозкой на места, изучить динамитное дело, поставить лабораторию, произвести ряд сложных опытов - везде дело у него кипело. "Золотые руки" - часто говорили про 177 него.

Он, несомненно, обладал крупными практическими способностями; но, разумеется, известною долею своей репутации он был обязан тому, что полиция давала Азефу время поставить дело, передать в другие руки и совершенно отдалиться от него. Только тогда, выждав удобный повод, который в глазах революционеров легко объяснил бы провал, полиция производила обыски и аресты.

Соответственно этому своему амплу, Азеф держался, как человек дела. Говорил он мало - особенно при большой публике. То немногое, что он говорил всегда как будто нехотя, как будто делая усилие над собою, чтобы преодолеть врожденную нелюбовь к "пустой словесности" - было взвешено и продумано до конца. Широкого политического кругозора у него не было; но в пределах стоявших перед ним непосредственных задач его ум был силен и деятелен. По взглядам своим он занимал в Центральном Комитете крайнюю правую позицию; его, шутя, нередко называли "кадетом с террором".

Социальные проблемы он отодвигал в далекое будущее; в массы и массовое движение,

как в непосредственную революционную силу, совершенно не верил; единственно реальной признавал в данный момент борьбу за политическую свободу, а единственным действенным средством, которым располагает революция, террор. Казалось иногда, что к пропаганде, агитации, организации масс он относится пренебрежительно, как к культурничеству, и "революцией" признает лишь борьбу с оружием в руках, ведомую немногочисленными кадрами конспиративной организации.

Эти особенности его взглядов, по которым он в партии стоял очень одиноко, лишали его возможности иметь идейно-политическое влияние в партии. Теорией же он никогда не занимался. Зато в вопросах практических, благодаря трезвости своего взгляда, твердости и настойчивости, он не раз умел отстоять и провести свое мнение, хотя бы сначала большинство было настроено против него. В нем imponировало то, что на слово его, казалось, можно твердо положиться; если он возьмется за что-нибудь, значит действительно сделает; если заявит, что не берется, никакими уговорами и убеждениями нельзя было поколебать его решения. Вообще он, казалось, был абсолютно чужд стремлениям подлаживаться к людям; напротив, был неуступчив, упорен, порою даже упрям, не избегал конфликтов и выходил из них с большою твердостью.

Оставаясь в пределах 178 Центрального Комитета со своими умеренными взглядами то и дело в меньшинстве - часто даже совершенно одиноким - он, однако, не пытался хотя сколько-нибудь приблизить свои взгляды к партийной "равнодействующей"; напротив, всякое новое событие было для него поводом упрямо утверждать, что он один против всех был прав.

При первой встрече Азеф, обыкновенно, производил неблагоприятное, даже отталкивающее впечатление своей чрезвычайно некрасивой наружностью, деловой сухостью обращения, манерой говорить отрывисто, как будто нехотя роняя слова. И, тем не менее, яркие качества его практического ума при более долгом знакомстве постоянно приводили к тому же самому: к выводу, что за невзрачной, грубой оболочкой кроется крупная революционная сила. Мало того: среди работавших с ним террористов многие были убеждены, что и натура у него скрытная, сдержанная, но по существу отзывчивая и нежная... Только эта нежность представлялась такой же неуклюжей, как физически неуклюжей была вся его фигура.

И Азеф вел себя соответственно этой репутации. Бывали, например, и такие сцены: после какого-нибудь общего разговора или дебатов в небольшой компании, подойдет к товарищу, особенно горячо и прочувствованно защищавшему свое мнение, молча поцелует его и быстро отойдет... Или - человеку, невредимо вернувшемуся с удачного террористического акта, наедине бросается целовать руки...

М. Р. Гоц был свидетелем, как во время рассказа одного бежавшего с Сахалина политического о наказании его розгами, Азеф истерически разрыдался...

Другой аналогичный случай произошел, когда Азефу дали письмо, из которого он ошибочно заключил, что должна провалиться организация, налаженная им для покушения на Плеве. Эти случаи, казалось, свидетельствовали, насколько ложно первое впечатление о видимой "толстокожести" Азефа, под которою на деле, как под маской, скрывается чувствительная душа. Такому выводу соответствовали, казалось, даже мелочи: хотя бы, например то, что Азеф, всегда такой спокойный, сдержанный, холодно-насмешливый, часто веселый, - во сне производил чрезвычайно тягостное, незабываемое впечатление.

Ночами он так тяжело и протяжно стонал, что мороз подирал по коже; не раз он этим возбуждал тревогу товарищей, думавших, что ему 179 дурно, что он болен...

Но - характерная черта: даже и здесь он не выдавал себя; никогда не говорил во сне; иногда вырывалось у него начало какого-нибудь слова, но тотчас же он подавлял его, стиснув зубы, и оканчивал только продолжительным стоном и жутким скрежетом зубов. Товарищи думали, что в этом сказывается тяжесть пережитого им страдания об ушедших туда, откуда нет возврата, близких людях, может быть, психологический надлом человека, вечно ходящего под виселицею, вечно рискующего своей и чужой жизнью, вечно вынужденного думать о необходимости и всё-таки тяжком пролитии крови... И бережнее, любовнее, внимательнее настраивались к человеку, с которым вначале связывало их только дело.

Азеф, как верховный руководитель Боевой Организации после Гершуни в глазах рядовых членов этой организации был естественным носителем ее традиций и принципов. Среди них создалась такая вера в него, что когда он однажды заявил, что снимет с себя ответственное руководство организацией, - все наличные члены, тогда около двадцати пяти человек, объявили, что не могут продолжать работы без "Ивана Николаевича" и также уходят... Более того, когда позже члены Ц.К. представили ряду ближайших работников свои данные, обличающие сношения Азефа с полицией, многие отказывались верить очевидности, говоря: "Если Иван Николаевич провокатор, то кому же после этого верить? И как после этого жить?".

И вот, этот человек, казавшийся столь многим образцом энергии, настойчивости и спокойного, не рисующегося мужества, образцом невзрачного на вид, но несравненного по внутренней ценности практического работника, человека "не слов, а дела", - оказался несравненным, еще небывалым в истории провокатором...

И в течение долгих лет он жил двойной жизнью. Он делил с революционерами их жизнь, полную тревог, опасностей и глубоких, трагических переживаний. Он принимал последнее прощание людей, идущих на смерть. Он принимал излияния нежнейших, чутких и чувствительных, словно эолова арфа, душ, - как душа Каляева.

Он вращался, вместе с тем, и в обществе старейших, опытнейших партийных работников - в одном Центральном Комитете вместе с ним пребывало в разное время свыше тридцати человек. И в 180 то же время он жил жизнью матерого "секретного сотрудника" департамента полиции: вел сношения с "в приказе поседельми" мастерами сыска, торговался с ними за сдельную плату, хлопотал о повышении месячного оклада, расценивая различные жизни, торговал ими оптом и в розницу... В полиции он был ценнейшим, наиболее бережно охраняемым от всяких случайностей сотрудником.

В революции он завоевал себе положение, напомилавшее положение Желябова и Гершуни. Долгие годы он черпал в одном месте деньги, источник земных материальных благ, в другом - славу, уважение, любовь - невесомые блага, удовлетворяющие самолюбие и властолюбие. Долгие годы с необыкновенной выдержкой он балансировал на туго натянутом канате над зияющей внизу пропастью. Что за психологическая загадка этот человек? Оказывается, он продал свою душу издавна, еще зеленым юнцом. Сын бедного еврея-ремесленника, портного в Ростове, выросший в нищете, привязанный к семье, к родным, он выбивается в люди сам и становится опорой своих близких, пользуясь всеми доступными ему средствами.

Грошевое на первых порах полицейское вознаграждение в его положении целое богатство. Проходят годы, и полицейские деньги - а, может быть, и рекомендации - делают знавшего голод и лишения Азефа инженером-электротехником с хорошим заработком, с постепенно растущим "дополнительным доходом" в полиции, с которой он отныне связан такими узами, освободиться от которых - и при желании - трудно. Здесь коготок увяз - всей птичке пропасть.

В 1902 году Азеф начинает свою деятельность в гораздо более широком масштабе, в объединенной партии социалистов-революционеров. В это время за ним числилось уже около десяти лет неразоблаченного двойного существования - в революционных кружках и в полиции. Нетрудно представить себе, какой неизгладимый отпечаток должно было это наложить на всю психологию человека, как должно было притворство и лицемерие всосаться в плоть и кровь, как искусство играть роль должно было превратиться в привычку, во вторую натуру.

В объединенной партии с.-р. Азеф выступает уже фигурой целостной и законченной. Всё время он остается одним и тем же, ровным, неизменным, верным себе - в предательской роли по отношению к другим. Десять лет пребывания в заграничных студенческих 181 кружках выдвигают Азефа. Правда, его больше уважают, чем ему симпатизируют. Но он познает сладость общественного признания. Всё это резко контрастирует с тем несколько презрительным отношением к пока еще мелкому сотруднику да еще еврею, которое он должен замечать среди полицейских сфер. Там - царство антисемитизма.

В опубликованном Ц.К.-том секретном "руководстве по охранной службе" значится, что лицо еврейского происхождения допускается к провокаторской роли (где нужна продажность) и не допускается к роли филера (от которого требуется правдивость, усердие, верность присяге и целый реестр разных похвальных качеств). Его самолюбию приходится претерпеть здесь не мало щелчков.

И не тот ли факт, что Плеве - оплот антисемитизма, отец еврейских погромов, хотя отчасти движет им впоследствии, при настойчивой работе против последнего? Или просто обман настолько въелся в его натуру, что он физически не может не обманывать всякого, с кем имеет дело, даже своих собственных патронов, вытаскивших его из нищеты, - деятелей департамента полиции?

Азеф приехал за границу со всеми связями и полномочиями, принятыми им от ожидавших ареста деятелей Северного союза с.-р., так же, как Гершуни - со всеми данными от южных, поволжских и примыкавших к ним групп; они, от имени уже объединенной партии, включая в состав ее Гоца, меня и др., и образовали заграничную редакцию "Революционной России". Они были тем русским "революционным центром", к которому примкнули жившие в это время за границей идеологи; они поставили этих идеологов в связь с практическими работниками в России...

Азеф за границей, в обстановке строжайшей конспирации включает в свою организацию Егора Сазонова; видится с ним сначала в Женеве, где занимается вопросом о динамитной технике, затем в Париже, где выдает Сазонову паспорт. После этого он выезжает в Россию, где начинается дело против Плеве, в котором Сазонову уже определена роль. Что сообщает он полиции? "Он ездил в это время в Уфу, имел там свидание с братом Сазонова, Изотом, сообщил о том, что тот имеет сведения о своем брате Егоре, бежавшем из тюрьмы и готовящем нечто важное". Хорошо придумано.

Удастся или не удастся дело Сазонова, Азеф одинаково обеспечен. Даже если 182 откроется, что он виделся с Сазоновым за границей, - неважно, он не знал его имени: он "еще близко к боевому делу не стоял, а мог знать только то, что сообщали ему законспирированные центровки". Дальше: в предприятии против Плеве неудача; Покотиллов, превосходно Азефу известный, отдавший свое состояние на террор и работавший раньше под руководством Азефа в динамитном деле, погибает от взрыва в тот самый момент, когда заряжает бомбы для уже подготовленного слежкой выхода на Плеве.

Азеф, который использовал бы удачу для революционной карьеры, использует неудачу для карьеры полицейской: "4 июля Азеф появляется в СПб и открывает д-ту полиции, что лицо, погибшее во время взрыва в Северной гостинице, во время приготовления бомб, очевидно (!) для покушения на Плеве, был некто Покотиллов, что соучастники его находятся в Одессе и Полтаве".

Комедия продолжается и дальше: Азеф "едет в Одессу, оттуда сообщает, что готовится покушение на Плеве, что оно отложено потому только, что нет бомб". А между тем вскоре, именно 8-го июля, должно было произойти покушение на Плеве; случайные препятствия, встреченные на улице, мешают делу. Каляев и Сазонов едут на свидание с Азефом в Вильно; здесь решают совершить покушение на Плеве в тот же день на следующей неделе. После покушения все должны встретиться за границей; "старшему офицеру" Азеф назначает свидание в Варшаве, через которую он должен проехать за границу; "старший офицер", однако, Азефа уже не застаёт: Азеф, узнав о смерти Плеве, немедленно выехал за границу. Первый донос Азефа - что Егор Сазонов "готовит нечто важное" - блистательно оправдывается: "Плеве погибает именно от руки Сазонова... 16 июля Азефа в России уже нет: имеется уже его телеграмма из Вены". Да, не только для революционеров, но и для полиции разработал Азеф свою знаменитую систему алиби.

Когда, после взрыва Плеве, полиция подобрала тяжело раненого Сазонова, его поместили в тюремную больницу, где он лежал в бреду, без сознания. Как коршуны, окружили его служители полицейского сыска, жадно ловя и записывая каждое отрывочное слово, вылетающее из уст больного.

183 Старый провокатор, бывший издатель марксистского "Начала", М. Гурович, берет в свои опытные руки дело выпытывания тайн у лежащего в бреду человека. Добрый "доктор" не прочь рассказать Егору кое-что об обстоятельствах того события, виновником которого был последний. И на первый раз он рассказывает, - между прочим, - будто бы от бомбы Сазонова погибли несколько человек случайных прохожих - в том числе одна старуха и маленькая двухлетняя девочка...

Ложь казалась правдоподобной и была в слабое место. Больной пришел в состояние крайнего волнения, почти отчаяния. Бредовые явления усилились. Перья тщательно записывающих агентов заработали. Желанное средство найдено. Чтобы добить больного, ловят момент просветления его сознания. Ему сообщают опять-таки мимоходом - будто, когда он, оглушенный и раненый взрывом, лежал без сознания, произошел второй взрыв. Один из метальщиков, товарищей Егора, выронил бомбу в толпе...

Сазонову сообщают и точную цифру убитых обоими взрывами - тридцать девять человек...

Сыскных дел мастера хорошо поняли, где наиболее чувствительное место души Сазонова. Даже в терроре, победы которого, как он думал сначала, будут возбуждать в нем только "гордость и радость", ему в действительности скоро дала себя глубоко почувствовать другая сторона. Даже убивая зверя в образе человеческого, Сазонов не мог забыть о его человеческом образе, и "право на кровь" такого зверя не легко вмещалось в его сознании. А когда вместились, то вместились, как обязанность насилия над самим собой, преодоления - ради высшего принципа - того естественного, могучего чувства, которое не позволяет человеку поднимать руку на человека; как тяжелая моральная жертва...

В это больное место души Сазонова метили, его искусно бередили слуги самодержавия,

когда он, раненый пленник, боролся между жизнью и смертью.

Я встретил Сазонова впервые тотчас же после его бегства из ссылки. Он спешил встать в первые ряды борцов с оружием в руках. Он осуществлял свою заветную мечту - вступить в Боевую Организацию. Но, по внешности своей, это был совсем не тот Егор Сазонов, который глядит на нас со всех его последних портретов. И не только потому, что он, заботливо изменяя свою наружность, предстал перед нами 184 безбородый, безусый, с коротко остриженными волосами, выкрашенными в рыжеватый цвет, придававший какой-то особый оттенок цвету его лица. Была и другая, более глубокая разница. Жизнь еще не провела на его лбу скорбных борозд, не подчеркнула еще глубину его глаз резкими впадинами под ними и впалостью бледных щек не усилила трагизма изможденного лица. Из-под открытого лба глядели карие, живые, веселые глаза, еще не успевшие подернуться дымкой грусти; на свежем, румянном лице сияла молодая веселость, от которой впоследствии осталась лишь задумчиво-мягкая полуулыбка.

Мне вспоминается Сазонов в маленьком швейцарском отеле на набережной города Н., уже хлопочущий с привезенным откуда-то динамитом. Два товарища, навестившие его, замечают слежку. Проверка подтверждает их наблюдение. Что делать? Сазонову предлагают, между прочим, избавиться от динамита, утопив его в озере. Но Сазонов против таких поспешных решений. Он хочет спасти это оружие во что бы то ни стало, и он верит в успех. Он оказался прав - ему удалось вывернуться из трудного положения самому и спасти динамит.

В этой мелочи ярко сказалась та черта Сазонова, которая проявлялась и в более крупных делах. Это - спокойная, уверенная отвага, это - соединенная с крайней простотой смелость. Не смелость-молодчество, не бесшабашная смелость, которой море по колена. Нет, это была совсем особая смелость - сама себя не замечающая, полная уравновешенной простоты и спокойной твердости; смелость, основанная на трезвом решении сделать всё, что в силах человеческих, для успеха дела. И когда я видел Сазонова еще несколько раз, - всегда мельком, каждый раз еще более укреплялось мое впечатление, впечатление необыкновенной твердости - молодой, веселой и спокойной. Он всегда внимательно, вдумчиво выслушивал других, обдумывал, высказывался не сразу, говорил, взвешивая слова, и в словах его звучало что-то уверенное, почти непоколебимое.

Сазонов родился в крестьянской семье, которая энергией отца Егора Сазонова выбилась из бедности, перебралась в город и достигла относительного благосостояния благодаря торговле. Семья была строго монархической и религиозной; царские портреты украшали стены комнат, в которых рос 185 будущий революционер и террорист. Далекий от всяких мятежных порывов, Егор Сазонов в гимназии вынес из знакомства с русской литературой лишь неопределенные обще-гуманистические стремления, соответствующие его мягкой любящей натуре. Он мечтал посвятить себя медицине и сделаться врачом для бедных...

Только в университете впервые он начинает отходить от консервативных взглядов, воспринятых с детства. Только здесь он начинает всё больше убеждаться в том, что мракобесие и человеконенавистничество составляют неизбежные атрибуты русского консерватизма. Только здесь - и далеко не сразу он настраивается всё более и более оппозиционно, и наконец - революционно.

Вначале он стоял в стороне даже от студенческого движения и только из чувства товарищества впервые не держал экзаменов, согласно решению сходки. Начались репрессии. Логика борьбы увлекала студенчество всё дальше... "Мои товарищи хорошо знают, - писал впоследствии Е. Сазонов про свои сомнения и колебания 1901 года, - с каким трудом я решился

принять участие в протесте против нарушения основных законов о военной службе. Я же знал, что если решусь на протест, то пойду до конца".

В этих словах - весь Сазонов. Он именно был всегда и во всём человеком, идущим до конца... Он не знал середины. Никогда.

Два факта, быть может, всего рельефнее рисуют чуткость его души, его совести.

В 1901 году был отлучен от церкви Лев Толстой. Отлучение от церкви апостола непротivления послужило гранью в ходе духовного развития Егора Сазонова: оно произвело огромное впечатление на того, кому впоследствии пришлось сделаться крайним "противленцем", революционером-террористом.

Революционизируясь постепенно, Егор Сазонов в этот период своей жизни был еще далек от терроризма. Когда прозвучал выстрел Карповича, Сазонов с ужасом отшатнулся. На него напало мучительное раздумье. Впоследствии он писал:

"Меня страшила мысль, что, может быть, в смерти Боголепова нравственно повинен и я"...

186 В этих словах сквозит всё та же черта - повышенная чуткость строгой, неумолимой совести...

Исключенный из университета, Егор Сазонов попадает на Урал. Он приезжает туда уже революционером, но еще не социалистом. Только здесь, в живом общении с рабочими массами, мысль Егора Сазонова ставит себе ряд новых проблем. Подобно тому, как к революции он пришел не книжным путем, не воспринимая с чужого голоса абстрактные идеи, а отправляясь от живых впечатлений жизни, так же точно не книги, а жизнь привела его и к социализму. Горнозаводский пролетариат Урала, с его нетронутостью и цельностью, с его полукрестьянским характером и живой связью с землей, так был понятен непосредственной и цельной натуре Сазонова. Это психологическое родство сообщало социализму Сазонова характер глубокой, внутри созревшей, органической силы.

Сазонова вскоре постигла обычная участь пропагандистов того времени: после короткого периода работы среди уральского горнозаводского пролетариата, он был арестован. Здесь впервые ознакомился он с порядками в тюрьме и семидневной голодовкой впервые протестовал против них. Здесь дошли до него леденящие кровь известия с воли... То были известия о сечении розгами демонстрантов в Вильне и о расстреле близких сердцу Егора златоустовских рабочих...

"О, в какой бессильной ярости, - писал впоследствии он сам, - я метался тогда в своей тюремной клетке, как бился головой о тюремную стену, как бессильно ломал руки, которые не могли сокрушить тюремных решёток, и как горько какими унижительно горькими слезами я плакал... Я молил судьбу: о, если бы мне теперь воля!.. Зато, когда я узнал, что палач златоустовцев погиб, как свободно, полной грудью я вздохнул. Боже мой, да будут вечно благоденственны те люди, которые сделали то, что должны были сделать..."

Это - новая грань в жизни Егора Сазонова. Он становится по взглядам террористом.

Позже, после убийства Плеве, Сазонов написал в тюрьме записку, в которой он подробно охарактеризовал жестокую и преступную политику Плеве, заставившую Партию Социалистов-Революционеров вынести Плеве смертный приговор. "И я, Егор Сазонов, член Б. О. П. С.-Р., с чувством глубокой 187 благодарности за оказанную мне организацией честь и доверие, взялся выполнить свой долг революционера и гражданина. Личных мотивов к убийству министра Плеве у меня не было. Хотя я не совсем новичок в революционном деле, хотя мне по личному опыту пришлось оценить тяжесть гнетущего Россию полицейского произво-

ла, однако, я никогда бы не поднял руку на жизнь человека по личным побуждениям"...

Выходя с бомбой против Плеве, Сазонов, ради успеха дела, старался подбежать как можно ближе к карете, - подвергая, тем самым, действию разрыва и себя самого. Взрывом был убит Плеве и тяжело ранен Сазонов. Но, пробыв несколько дней между жизнью и смертью, он всё-таки выжил. Выходя против Плеве, он был уверен, что если уцелеет от собственной бомбы, то кончит жизнь на виселице. Но каприз судьбы снова спас ему жизнь. Падение Плеве вызвало поворот в политике. На Святополка-Мирского была возложена миссия "умиротворения", и он не захотел осложнить ее новыми виселицами. Сазонову заменили смертную казнь каторгой.

В убийстве Плеве активное участие принимали члены Боевой Организации Борис Савинков и Иван Каляев.

Я первый раз увидел Савинкова, если не ошибаюсь, в 1900, а, может быть, и в 1901 году. Он был тогда юношей, социал-демократом левого крыла, неудовлетворенным политическими буднями "экономизма", жаждавшим "политики" и полным столь необычайного среди тогдашних марксистов пиетета к борцам Народной Воли. Это был редкий случай: социал-демократ, ищущий встречи не только со своими заграничными учителями, но и с социалистами-революционерами (как тогда, еще до образования нашей партии, за границей называли себя члены небольшой группы Х. Житловского, у которого я Савинкова и встретил).

Он произвел на меня впечатление симпатичного, скромного, быть может, слишком сдержанного и замкнутого юноши. От этой "скромности" впоследствии не осталось и следа. Впрочем, сам Савинков не раз впоследствии со смехом вспоминал об этой нашей первой встрече, сознавая, что он тогда ужасно робел, чувствуя себя, как на экзамене, перед лицом "таких революционных 188 генералов". Очень самолюбивые люди - понял я потом - бывают или резки или преувеличенно застенчивы и настороженны. Я бы, вероятно, совсем забыл об этой мимолетной встрече, если бы еще до позднейшего моего близкого знакомства с Савинковым мне не напомнил о ней И. П. Каляев, бежавший из ссылки, которую он отбывал вместе с Савинковым в Вологодской губернии.

Каляев очень много говорил мне о Савинкове и считал, что он будет очень ценным приобретением для партии с.-р.; Савинков хочет борьбы, яркой и подымающей, хочет гореть и сжигать, он тянется к партии с.-р. после блестящих актов против Сипягина, Оболенского, Богдановича и после акта - предтечи боевой организации, одиночки Карповича. "Но это и всё: идеология партии ему еще чужда, а надо, чтобы она им овладела, потому что это такой человек... впрочем, вы сами увидите, какой это человек..."

Иван Каляев на меня с самого начала произвел впечатление, прямо противоположное Савинкову. Насколько тот был застегнут на все пуговицы, настолько же Каляев был готов, почувствовав взаимное понимание, раскрыться до самых интимных глубин своей души, беззаветно и наивно. То была восторженная и непосредственная натура, натура энтузиаста вдумчивого, с большим сердцем и незаурядной глубиной. Печать чего-то не от мира сего была на всех его словах и жестах. В своих глубочайших переживаниях он давно обрек себя на жертвенную гибель и больше думал о том, как он умрет, чем о том, как он убьет.

А в то же время он с интересом отдавался ознакомлению со всей идеологией партии; он, террорист, более кого бы то ни было имевший право и говорить и писать о терроре (ведь для нас это было тяжелой и неловкой обязанностью, ведь мы привыкли твердить, что террор делают, но о терроре не говорят), целомудренно молчал об этом, а писал статью об аграрных исканиях у теоретиков польской социалистической партии, логически выводив из них необхо-

димось перехода к нашей партийной программе социализации земли.

Каляев только что покончил тогда все расчеты со своим догматически-марксистским социал-демократическим прошлым. Совсем не оратор, он чувствовал потребность в публичной исповеди перед лицом прежних своих партийных товарищей. И в один из вечеров "политических дискуссий" по поводу моего публичного доклада он взял слово... и был 189 осмеян зло и беспощадно более чем половиной аудитории при неловком чувстве у остальной ее части. "Я ведь понимаю, В. М., что я в партийном смысле сыграл в поддавки, что я провалился и испортил вам всю музыку, - сказал он мне после собрания. - Уж вы меня простите, но я иначе не мог: я должен был сказать всё, что накипело на душе; меня что-то подхватило и понесло; это было сильнее меня".

И его всегда несло то, что было сильнее его, несло к ясному для него роковому исходу, врезавшемуся неизгладимыми огненными буквами в его совести: "смертью смерть попрасть". Ради жизни, ради живой жизни. И сознание обреченности делало для него радостное принятие жизни особенно напряженным и мучительно сладким. В "молодые, зеленые клейкие листочки", в чистую детскую радость, в игру солнечных зайчиков на стене, в утренние зори он был влюблен, как в его годы влюбляются в женщин. Уж ему то нельзя было сказать: "аще не будете, как дети...".

Я с большим нетерпением ждал каляевского друга, о котором он говорил с такой любовью и глубоким внутренним уважением. И, по его приезде, без труда увидел, что это - своеобразная, сильная, страстная и замкнутая натура, с "выдумкой", с фантазией, с жадной яркой жизни. Но, вопреки тому, что я ожидал, со слов Каляева, с моей стороны совершенно не потребовалось никаких усилий, чтобы сделать ему близкой и родной партийную идеологию.

С Савинковым у меня не было тех бесконечных, далеко в ночь уходящих разговоров обо всем, что определяло духовный облик партии. Это меня удивило. Савинков без возражений "принял" всё, во что веровала и что исповедывала партия. Не скоро, не сразу стало мне выясняться, что это было приятие чисто-формальное, как-то "в кредит". - "Ну, в делах аграрных уж я, извините меня, не специалист, - со смешком сказал он кому-то при мне.

Сколько там надо десятин на душу и по какой норме, в этом я предпочитаю положиться на В. М.: его департамент; меня не касается; всё, что по этому поводу от партии скажут, приемлю и ни мало вопреки глаголю и вам советую".

Это можно было понять просто, как шутку над самим собой; позднее это стало всё определеннее смахивать на насмешку над "аграрным вопросом", таким скучным, таким прозаичным... Занимательный собеседник, увлекательный рассказчик, с неплохим 190 художественным вкусом, Савинков обладал большим запасом фантазии; в его поведении однако Wahrheit (Правда) переплеталась, хотя и не грубо, с Dichtung; (Сочинение) то был крайний субъективизм в восприятии фактов и людей: чем дальше, тем больше он окрашивался какой-то "мефистофельщиной", искренним или напускным презрением к людям. Это, однако, не мешало ему с большим мастерством завладеть умом и сердцем отдельных, единичных людей, в которых незаметно, постепенно, всё глубже и глубже вонзались "нежалящие когти" его влияния; слабые натуры им поработались абсолютно; с менее слабыми дело обычно кончалось каким-нибудь внезапным разрывом.

Но на большую публику его публичные выступления, речи, иногда даже и статьи не производили большого впечатления. Они не лишены были яркости и своеобразной силы, но в них было что-то взвинченное. "Неискренность, поза", говорили одни. "Нет, просто не обычная для нашей будничной, повседневно-рабочей обстановки приподнятость настроения,

созданная ненормальной атмосферой террористической работы", - оправдывали его другие.

191

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Моя поездка в Германию. - "Грызуны науки" в германских университетах. Абрам Гоц, Николай Авксентьев, Илья Фондаминский, Владимир Зензинов и Дмитрий Гавронокий.

Когда я выехал в 1899 г. за границу, я вскоре оказался в положении "Вениамина" нарождавшейся партии социалистов-революционеров. Заграничные старые народовольцы, с П. Л. Лавровым во главе, ласково звали меня первую ласточкой вновь повеявшей на них из России революционной весны.

Но за моим приездом последовал перерыв, для эмигрантской тоски такой тягостно-долгой, что скептики уже говорили: а что, если первая ласточка так и останется последней.

"Нет, не останется!" - твердо и уверенно отвечал Михаил Гоц. И помню, однажды прибавил: "У меня тут наготове целый выводок наших будущих продолжателей, смены нашей: грызут гранит науки по германским университетам...".

Только через несколько лет, не ранее 1903 г., пришлось мне ближе встретиться с одним из представителей этого "выводка", про который я с тех пор не раз шутливо осведомлялся у Михаила Рафаиловича: "Ну, как там поживают твои грызуны? Скоро прогрызут себе выход в мир Божий?". Этот представитель был младший брат Михаила, Абрам Рафаилович Гоц.

Увидев их вдвоем, я скорее подумал бы об отце и сыне, чем о двух братьях. В нежности Михаила к брату было больше заботливо-отцовского, чем братского чувства; а тот, в свою очередь, видимо благоговел и преклонялся перед старшим братом. Во всём кружке Абрама Гоца жил какой-то культ двух людей, которых иные, впрочем, знали больше понаслышке, чем по личному опыту: Михаила Гоца и Матвея 192 Исидоровича Фондаминского, брата известного впоследствии Ильи Исидоровича Фондаминского-Бунакова. Оба они принадлежали к народовольцам самого последнего призыва. Имя Матвея Фондаминского я встречал в хронике лет угасания Исполнительного Комитета, когда в России от него оставалась бившаяся, как рыба об лед, одинокая и обреченная Вера Фигнер, а за границу уже заживо разлагался Лев Тихомиров и тщетно старалась его удерживать на какой-то минимальной высоте Мария Оловенникова-Ошанина.

В это время заката революционного движения Матвей Фондаминский ездил за границу, чтобы вверить ветеранам эмиграции выношенные им думы о том, на каких основаниях можно было бы возродить народовольческое движение. К сожалению, имеющиеся в литературе данные об этом замечательном человеке очень скудны, но все говорят о его необыкновенной даровитости и обаятельности. Быть может, тут было не без гиперболы? Одно было несомненно: Матвей Фондаминский обладал, кажется, большинством даров, которыми природа осыпала его младшего брата, но без его существенных слабостей. Он был человеком редкой красоты, интересным и оригинальным интеллектуально, душевно сложным и таким же превосходным оратором, с таким же красивым голосом бархатного тембра, как у Ильи; но в нем не было того чрезмерного перевеса эмоциональной стороны натуры над рациональной, который был характерен для Ильи Фондаминского.

Абрам Гоц учился в реальном училище и закончил среднее образование раньше других своих сверстников. Опережая других, он в 1896 г., еще в реальном училище, был захвачен общественными и даже революционными проблемами. Отбыв по окончании реального училища военную службу, Абрам Гоц уехал в 1900 году в Берлин и поступил здесь на философский факультет университета. Вскоре, один за другим, по германским университетам - кто в

Галле, кто в Гейдельберге разместились друзья и сверстники Абрама, о которых будет речь ниже. В этой среде царил полный культ науки и образования.

Одним из первых данных мне ответственных поручений вскоре после формального образования Партии С.-Р. был объезд русских студенческих колоний Швейцарии и Германии - для набора единомышленников и сочувствующих. Здесь у меня было много счастливых "находок". Среди них прежде всего 193 нужно назвать Николая Дмитриевича Авксентьева с его друзьями, о которых я уже много слышал.

Когда я впервые встретил Авксентьева, он был совсем еще молодым человеком, с золотистым пушком юности на щеках, с русой шевелюрой, откинутой назад и открывавшей благородные линии высокого лба. Он и его друзья были недавно исключены из русских университетов и приехали учиться в Германию. Всем памятно те настроения, с которыми студенты того времени переступали университетский порог. Так, верно, чувствовали себя перед посвящением в рыцарское звание юные пажи.

Но "Прекрасной Дамой" наших юношей была Свобода. Свободная наука и академическая свобода. Эта последняя была лозунгом студенческих беспорядков, волной прокатившихся по русским университетам в 1899 году. Н. Д. был тогда председателем Союзного Совета Объединенных Землячеств, проводившего забастовку в Москве. Он руководил работой Союза, председательствовал на многочисленных студенческих митингах и стал уже тогда (ему не было 20 лет) как бы знаменитостью. Это привело к его исключению из университета "без права обратного поступления".

Н. Д. Авксентьев представлял собою чрезвычайно целостный и законченный красивый русский тип. Он был насквозь русский, по-своему русский, как все разнообразные глубоко национальные или почвенные типы. Я был коренной волгарь, родившийся в Самарской и выросший в Саратовской губернии; он - близкий сосед, уроженец Пензенской; оба мы, к тому же, учились в Московском университете, дающем окончательную чеканку классическому русскому говору и еще чему-то, что кроется за ним.

Чистый и строгий старый русский тип сохраняется на Поволжье либо у старообрядцев, либо в духовенстве, либо в дворянстве. Авксентьев был выходцем из дворянской среды и во всем его складе, облике, манерах незримо чувствовалась дворянская, из поколения в поколение идущая культурность, выражающаяся в природном такте, чувстве меры, умении себя держать, представительности, способности импонировать без особых к тому усилий.

В истоках своих ведь вся русская культура была дворянскою культурой, да дворянской была и самая революция русская, от декабристов до "кающихся дворян" 70-х годов, пока 194 дворянам-революционерам не пришла смена в виде плебеев-разночинцев; умственного пролетариата, как называл их Писарев, "третьего элемента" по Гондатти, "кутейников" по "Московским Ведомостям" и "кухаркиных детей" по Делянову.

Авксентьев был центром целого кружка незаурядных людей, сыгравших немалую роль в истории ПСР, то как единое целое, то порознь. Здесь был, как полагается, и представитель оптимистического романтизма, с "душою прямо геттингенской", И. Фондаминский, впоследствии богатый капризными разливами мысли от неокантианства то к "христианам третьего завета", то к обновленному "ордену русской интеллигенции", то к младороссам, то еще к какому-нибудь "нео" и "младо".

Тут был и представитель энергического реализма, Абрам Гоц, проявивший впоследствии немало задатков политического лидера; и не от мира сего Дмитрий Гавронский, верный ученик Германа Когена с его чистым "логизмом", доказывавшего, что классический

иудаизм есть куколка, в которой искони созревала изящная бабочка немецкого этического социализма; и Владимир Зензинов, в котором тогда чувствовалось нечто от московско-сибирского старовера, точно одетого в застегнутый на все пуговицы длинный сюртук и сочетающего чинную строгость со смягчающей ее сентиментальностью; и В. Руднев, со способностями лидера и жесткою рукою в мягкой бархатной перчатке; и юная Мария Тумаркина, за красоту прозванная "Мадонной"; наконец, эстетическое направление в кружке было представлено М. О. Цетлиным, явившимся к нам в "Революционную Россию" со стихами, посвященными Гиршу Лекерту, и закончившим свой вклад в русскую литературу известной книгой о русской музыке и знаменитой "могучей кучке". Своим разнообразием и многоцветностью кружок был интересен, и мы - Михаил Гоц и я - ждали от него в будущем многого,

Все "командные высоты" в студенческих колониях были заняты тогда социал-демократией. У нас не могло быть и мысли о ее вытеснении - мы искали места рядом с ней, в союзе с ней и в дополнении к ней. Но господа положения редко встречают гостеприимством незваных пришельцев. Всей органичности зарождения с.-р. партии, всей ее почвенности они тогда - нечего скрывать - не разглядели. Русское крестьянство, 195 русская деревня незадолго перед тем была сброшена ими со счетов - она казалась без нужды отягощающим энергию городского пролетарского движения балластом. Нас приняли "в штыки". В итоге молодежь оказалась скоро разделенной на два лагеря, хотя и неравных, тративших огромную часть своих сил в драматически безысходном поединке.

Авксентьев лишь незадолго перед тем перешагнул порог совершеннолетия. Но он производил впечатление человека, который уж вполне "обрел самого себя" и очень ревниво относился к своей идейной самостоятельности. В своем кружке он лидерствовал и имел вкус к лидерству, не без примеси даже известной персональной властности. Отличался жизнерадостностью, вполне не покидавшей его потом и в самых тяжелых обстоятельствах. Держался с достоинством и сразу дал понять, что он и его друзья - согласно позднему выражению одного из них "под эсеровскую политическую программу и народническую философию хотят подвести не столько Лаврова и Михайловского, сколько Канта и Рилиа".

Их успокоило то, что новая партия так же четко отделяла политическую партию от общеполитического мирозерцания, как когда то была отделена церковь от государства. Каждый был волен обосновать свое присоединение к ней материалистически или идеалистически, марксистски или антимарксистски, религиозно или антирелигиозно. Авксентьев принес с собою в ее ряды свое философское кредо, вскоре опубликованное в книжке о "Сверхчеловеке" Но что же такое, в конце концов, сверхчеловек, как не человек, переросший в рыцаря? Не удивила меня впоследствии и весть о раннем вступлении Авксентьева в ряды масонства. Где же, как не в масонстве, сохраняется поныне ритуал торжественных посвящений, обетов, символических знаков, орденских рангов - словом, весь реквизит эпохи мистерий и рыцарской романтики?

И безотносительно ко всяким видам на будущее было так приятно отдыхать в обществе ищущей и мыслящей молодежи, от которой веяло свежестью, жадностью к книге, отсутствием всякой боязни мысли, упоением в деле разгадывания всех загадок бытия.

Живо помню, например, как мы, "старики" (тогда лет восемь разницы уже означали перемещение, так сказать, в высший возрастной класс), нагрянули однажды в гости к членам кружка, проводившим летние каникулы на 196 берегу одного из больших швейцарских озер, в местечке Фицнау. Если бы у нас спросили о цели поездки, мы, вероятно, оправдывали бы ее заботами о внедрении нашего партийного мирозерцания в умы приезжих.

А вместо этого оба мы, Михаил Гоц и я, совершенно позабыв об утилитарной стороне дела, ввязались в бесконечный и жаркий (типичный русско-интеллигентский) спор о высших мирозозерцательных проблемах. Изрядная доля вины падала на меня: являясь жертвой собственного боевого темперамента, я принялся так штурмовать Кантовскую "вещь в себе", что сразу сплотил против себя "единый фронт неокантианцев" и потом долго пытался его разбить, пользуясь разнобоем между его подгруппами. Так проспорили мы целый день, а за ним почти целую ночь; утром же нам надо было спешить на пароходную пристань и мы "доспоривали" в пути охрипшими голосами. Уже с парохода были сняты мостки, уже, бурля водой, заработали колеса и расстояние между нами стало расширяться, а к берегу с парохода и от берега к нему всё еще пролетали последние ракеты-снаряды философских аргументов, как будто они могли перерешить судьбу вопросов, свитых в Гордиев узел веками ученых дебатов...

Из Галле-Гейдельбергского кружка к нам тот или другой из его состава время от времени приезжал в Швейцарию. Авксентьеву мы даже поручили написать в наш специальный листок, посвященный делу Плеве, передовицу, и он с этой задачей хорошо справился.

Он играл в кружке "первую скрипку" и относился к этому своему положению очень ревниво: можно было предвидеть, что именно в нем более, чем в другом, будет говорить самая чувствительная сторона завязанного политика: эрос власти. Самым равнодушным к страстям земли был Дмитрий Гавронский: он чувствовал себя, как рыба в воде, в сфере абстракций. Все его очень любили, но в шутку держали пари, что перед ним можно поставить ребром любой самый конкретный жизненный вопрос, - и он, начав рассуждать о нем, всё равно через полчаса окажется в заоблачных высях, где в разреженной атмосфере отвлеченностей становится уже трудно дышать.

Илья Фондаминский, уступая Авксентьеву в холодной логической силе аргументации, имел свое преимущество: восторженный стиль, всегда согретый отзвуками интимной искренности. Мне приходилось иногда 197 проводить параллель между нашими "германо-эсеровским" выводком и кружком старых славянофилов, и тогда я Илью Фондаминского называл их вдохновенно-прекраснодушным Константином Аксаковым; Авксентьева же - их острым, хроническим Хомяковым.

Что касается Абрама Гоца, то у него не было той ораторской одаренности, того внешнего блеска, которые бросались в глаза у этих двух "первоцветов" кружка. Зато у него чувствовалась сосредоточенная энергия убежденности; его духовный напор на товарищей был очень велик, и ткань его аргументации отличалась полнотой и добротностью. Абрам Гоц в нашей среде первый почувствовал себя совершенно своим, и мы считали его более всего "нашим" во всём кружке.

Он не только идейно, но и действенно был связан с партией с самого начала ее зарождения. В качестве ученика жены А. А. Аргунова, он добился от нее знака высшего доверия: после гибели томской типографии Северного Союза С.-Р., ему были ею вручены дубликаты статей, предназначенных для № 3 (и частью для след. № 4) "Революционной России", и он их привез за границу.

Неудивительно, что мысли Михаила Гоца в трудную для партии минуту обратились к "германо-эсеровскому" кружку. Это было после разгрома центрального саратовского кружка, которому по соглашению более крупных местных с.-р. организаций, было поручено временно исполнять функции Центрального Комитета новооснованной партии, и арестов в ряде городов.

Каким-то чудом уцелевшую при разгроме "бабушку" (Е. К. Брешковскую) мы поспешили убрать за границу. Михаил Гоц и О. С. Минор, в тревоге за то, как спасти от разрухи всю партийную организационную ткань, направили свои мысли и надежды на "галлов" (так звал О. С. Минор питомцев университета в Галле). Они даже специально съездили туда и попытались убедить находившийся там тройственный авангард группы - Авксентьева, Абрама Гоца и Зензинова, - что никогда еще в развитии партии не было такого ответственного и критического момента, когда подобный ей сплоченный кружок мог бы золотыми буквами вписать свое имя в ее историю.

Целый день и ночь прошли в горячих дебатах по поводу этого призыва. Но в конце концов Гоц и Минор потерпели полную неудачу. Особенно в лице Авксентьева группа крепко стояла на своем: "Нельзя ничего 198 делать наполовину; все мы будем партии полезнее, доведя до конца свое академическое образование", говорил он. Вернувшись в Женеву, Михаил Гоц в раздумье говорил: "Почем знать? Может быть, они и правы. Они имеют лишние против нас шансы дожить до той счастливой поры, когда и полнота академического образования будет иметь большое значение. А мы, старики, знаем, что на наш век хватит тюремного академического стажа".

Позднее Абрам Гоц написал ему, что по-прежнему солидарен с другими товарищами в отрицательном ответе на сделанное им, как группе, предложение; но лично он в любой момент - в полном распоряжении партии, ибо рисует себе свое будущее - всё равно - в виде подпольной боевой работы, как это для себя ранее решил Петр Карпович. Эта верность товариществу была для него очень характерна. Мы поняли, что кружок, к которому он принадлежал, был для него, как и для других, целым "миром в себе". Это была прочная идейная семья.

199

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

ПСР и Социалистический Интернационал. - Амстердамский конгресс Интернационала. - Борьба с.-д.-ов против допущения с.-эр.-ов в Интернационал. Победа ПОР. - Брешковская и Житловский в Америке. - Приезд М. А. Натансона. Переговоры о создании "единого фронта всех революционных и оппозиционных партий в России". - Парижская конференция 1904 года.

Блестящий итальянский дебют Рубановича в борьбе за право русских политических изгнанников на продолжение своей политической деятельности за рубежом раз навсегда предопределил его дальнейшую жизненную судьбу. Молодой приват-доцент химии, каким его застала новая миссия - политического представительства ПСР за границей, - не прекратил своего курса лекций в Сорбонне; в этой научно-педагогической работе продолжала находить свое жизненное воплощение французская половина его души; но русская половина отныне целиком отдается активной политике.

И. А. Рубанович всегда отклонял как предложения поставить свою кандидатуру в члены палаты депутатов в одном из избирательных округов Франции, так и проекты сменить профессию в Сорбонне на кафедру в одном из русских университетов (когда в эпоху Временного Правительства к тому представлялась практическая возможность). Он хотел крепко держаться и дальше за свое русско-французское двуединство, лишь четко разграничивая сферы применения обоих его элементов. Однако, вне этого двуединства в нем оставался неисчерпанный "третий элемент" его духовного существа: неразрывная эмоциональная связь с его самосознанием, как еврея, - и притом еврея, не желающего подавлять в себе 200 своего

еврейства. Рубанович всегда в этом вопросе занимал очень твердую позицию.

"Закон исторического развития наций, - говорил он, - есть закон прогрессирующей интернационализации всей их жизни. Но прошло то время, когда эта интернационализация совершалась - на верхушке общественной пирамиды путем отмирания глубоких национальных корней. Такое отмирание создавало лишь поверхностный, оранжерейный "космополитизм".

Здоровая сердцевина нации живет не оскудением своего национального культурного инвентаря, но органическим его преобразованием, и самые границы того, что считается "национальностью", расширяются. В России едва ли не первым робким шагом прогресса в этой области было т. н. "славянофильство": в нем русское растворялось в общеславянском, и общественность утверждала себя лицом к лицу с государственностью. На Западе процесс этот подвинулся еще далее. Можно сказать, что уже теперь на Западе наряду с патриотизмом немецким, английским, французским народился обще-европейский патриотизм, обще-европейское самосознание. Мне не раз приходилось встречаться с людьми этого типа, - рассказывал мне Рубанович.

Их всё еще держит в плену национализм, только он становится расширенным, соборным национализмом. Это всё же - шаг вперед; только надо, чтобы он не заслонял собою дальнейшего пути. Надо помнить: как в "общерусском" тонут всевозможные локальные, "земляческие" патриотизмы, так и над всеми нынешними "соборными национализмами" в грядущем возвысится всеобъединяющий патриотизм вселенский".

"Здесь я готов бы был даже согласиться с Жоресом, - прибавил Рубанович, тайной слабостью которого была всегда известная доля недоверия к великому французскому трибуну, - что только первые шаги в сторону национального начала отчуждают, уводят от человечества, но дальнейшие полнее к нему возвращают". И прибавлял: "В этом нет ничего нового для нас, учеников Лаврова, так хорошо понявшего закон жизни новейшего общества - закон непрерывной социализации и интернационализации этой жизни".

Выдвинутый нами на пост представителя партии в Интернационале, Рубанович прежде всего сделал нам доклад о тех трудностях, которые ожидает он встретить на своем пути.

201 Как известно, создание социал-демократической партии было провозглашено в Минске весной 1898 г.: об образовании партии с.-р. мы объявили почти четырьмя годами позднее, в январе 1902 года. Полномочия на представительство с.-д. в Социалистическом Интернационале, полученные Г. В. Плехановым, были признаны без задержек.

Дело с нами было сложнее: когда мы постучались в дверь Интернационала, Россия в нем была уже представлена не только Плехановым, но и еще его соперником "рабочедельцем" Б. Кричевским, вынесенным на гребне волны нового прилива с.-д. элементов, получивших кличку "экономистов". Это уже само по себе затрудняло наше положение: согласятся ли поставить для русских третий стул? Не найдут ли этого как бы "премией за раскол"? Но к этому времени фонды более умеренного "рабочедельчества" успели упасть, а фонды "революционной социал-демократии", представленной Плехановым, сильно подняться.

И так как личные взаимоотношения между Плехановым и Кричевским достигли необычайной остроты, то Рубанович предложил попытаться достичь на этой почве некоторого предварительного сговора с Плехановым. "Не поймите меня превратно, - писал он из Парижа мне в Женеву (к сожалению, могу передать содержание письма лишь по памяти, своими словами), - тут не может быть и речи о каком-то маневре, вроде союза с Плехановым против Кричевского.

Я только учитываю одно благоприятное обстоятельство, не зависящее ни от нашей во-

ли, ни от нашего вмешательства. Перспектива того, что место, ныне занятое Кричевским, может оказаться за мною, Плеханова несколько не беспокоит. Кричевский рядом с ним в бюро Интернационала - это подвергает сомнению монопольное право Плеханова быть рупором русской социал-демократии. Рубанович же в бюро Интернационала - это лишь согласие Интернационала не прерывать организационной связи с тем русским социализмом до-марксистского периода, который так блестяще дебютировал в народовольчестве и который ныне возрождается в эсеровстве. Надо ковать железо, пока оно горячо, и поймать Плеханова на его нынешнем, сравнительно терпимом к нам отношении".

Посоветовавшись кое с кем из ближайших друзей, я ему ответил, что все мы с ним согласны. В России тяга к улучшению наших взаимоотношений с с.-д. тоже очень заметна: при 202 нашем горячем одобрении кое-где, особенно в Саратове и на Урале, уже возникают даже "объединенные группы с.-д. и с.-р." - и, почем знать, быть может, им удастся стать пока еще недостающим связующим звеном для создания в дальнейшем объединенной социалистической партии в России. "Если так, - снова писал нам Рубанович, - я жду от вас, что моя попытка личного сближения с Плехановым найдет поддержку во всё тоне нашей прессы, в удвоенной тактичности с нашей стороны даже при трактовке "наших разногласий".

Считаю долгом своим тут же сознаться, что надежды Рубановича на мир с Плехановым и с.-д.-ами не оправдались. Если он и не ошибся и Плеханов, может быть, был к нам тогда настроен мягко, товарищам своим этой мягкости он не захотел или не сумел передать. Так или иначе, но как раз накануне первого же международного конгресса, созданного после создания объединенной Партии Социалистов-Революционеров - то был знаменитый Амстердамский конгресс в 1904 г. - с.-д. партия объявила нам самую настоящую войну.

В специальном номере, посвященном грядущему конгрессу, центральный с.-д. орган ("Искра") обещал выяснить всем заграничным товарищам, что "интересы всемирного социализма представлены в России только социал-демократами", и потому им принадлежит "право на единственное представительство в международной организации пролетариата интересов российского сознательного рабочего движения".

Смысл этого угрожающего обещания стал ясен, когда мы ознакомились с отчетом с.-д. партии, представленным конгрессу; в нем заявлялось, что мы - П. С. Р. - "фракция буржуазной демократии", "не имеющая твердых политических принципов" и подкапывающаяся под основные принципы "не только русской, но и интернациональной социал-демократии"; откуда и вытекало, что нас нельзя "принимать в семью с.-д. партии", так как это "усилит наш престиж" и "несомненно повредит развитию классового сознания и самостоятельной организации русского пролетариата". А в вышедшем накануне открытия конгресса номере германского с.-д. "Форвертса" (Вперед) оказалась статья Плеханова, не только развивающая все эти мысли, но и заканчивавшаяся переименованием нас из "социалистов-революционеров" в "социалисты-реакционеры".

Несмотря на всё, Рубанович сохранял свой оптимизм. 203 Оптимизму этому помогло одно чрезвычайное обстоятельство. Почти ровно за месяц до открытия конгресса (14-го августа 1904 года) произошел в Петербурге взрыв бомбы Сазонова, покончивший с карьерой бывшего "победителя Народной Воли" фон Плеве, только что прославившего себя покровительством кишиневским погромщикам, усмирителям крестьян Украины и Поволжья, рабочих-стачечников и волнующихся студентов.

В сознании людей старшего поколения живет доселе память о том, каким вздохом облегчения, каким взрывом всеобщего энтузиазма откликнулась на этот акт страна. Эхо этого

взрыва прокатилось далеко за пределы России. Пишущий эти строки мог лично наблюдать, какое совершенно исключительное внимание привлекла к себе на конгрессе эсеровская делегация, возглавляемая рядом имен, из которых чуть не каждое представляло живую историю русской революции и русского социализма: Брешковская, Волховской, Лазарев, Шишко, Рубанович, Минор, Гоц - и за которыми шли мы, представители нового поколения - Житловский, Чернов и др.

В распоряжении делегации было около 30 мандатов, непосредственно присланных от действующих русских организаций.

И при проверке мандатов возник только один инцидент. Представители латышской с.-д. партии при поддержке русских с.-д. попробовали оспорить поддержанный нами мандат представителя конкурировавшего с латышской с.-д. партией "латышского с.-д. союза" (собиравшегося уже, впрочем, переименоваться в "Латышскую Партию Соц.-Рев."). Председатель мандатной комиссии - им был Эмиль Вандервельде - утомясь мелочностью спора, наконец, спросил у представителя "партии", знает ли он персонально представителя "союза"? "Еще бы - ответил первый: - мы вместе с ним сидели в тюрьме..." - "Нам, - ответил Вандервельде, - трудно понять, как это в царской тюрьме вы могли сидеть вместе, а в Интернационале - нет". Все невольно рассмеялись, и вопрос был решен, - подавляющим большинством голосов.

Наконец, на очередь стал вопрос о том, кому должны принадлежать два места в Бюро Интернационала, приходящиеся на долю России. Ввиду победы в рядах русской с.-д-ии течения "Искры" над течением "Рабочего Дела", Бюро сохранило за Плехановым его место и зарегистрировало 204 отставку Кричевского.

Но против кандидатуры на это место Партии С.-Р. была выдвинута контр-кандидатура еврейского Бунда. Предложение о предоставлении второго русского места в Бюро Интернационала Партии Социалистов-Революционеров прошло большинством двух третей голосов.

С тех пор И. А. Рубанович стал бессменным представителем Партии Социалистов-Революционеров в Интернационале.

Вскоре произошло и еще одно событие, поднявшее престиж нашей партии за границей. Это была поездка "бабушки" Брешковской в сопровождении Житловского в Америку. "Бабушка" ехала туда со специальной пропагандисткой - скажу точнее, апостольской миссией.

В Америке ей предстояло обратиться, между прочим, и к многочисленной, известной своей отзывчивостью, да и влиятельной, еврейской общественности. Какого же ей еще искать лучшего, чем Житловский, переводчика и посредника в сношениях с этой для нее непривычной аудиторией? Выехали они в октябре 1904 года. "Бабушка" имела в Америке совершенно исключительный успех на грандиозных и по числу участников, и по их энтузиазму массовых митингах, где зал дрожал от оваций, где женщины, слушая "бабушку", заливались слезами, где не раз "бабушку" по окончании ее речи толпа с пением революционных гимнов подхватывала на руки проносила по зале и где нередко зал не мог вместить всех собравшихся и приходилось тотчас же дублировать митинг в другом, наскоро найденном помещении!..

Для Житловского поездка эта должна была означать конец европейского периода его эмиграции. От его Союза осталось одно воспоминание. Смычка с русской партией у него налаживалась туго. Глубоко засевшей занозой было для него непризнание за Союзом преимущественных прав на представительство партии за рубежом. Скрепя сердце, Житловский подчинился, но от этого его работоспособность пострадала.

А "бабушка", как всегда, говорила: "Прошу вас меня обо всяких программных тонкостях и о научных теориях не спрашивать: не моя специальность. Но если здесь найдется до-

статочно лиц, чувствующих потребность хорошо разобраться в том, что называется политической философией 205 или мирозерцанием партии, то серьезно с ними заняться дал обещание мой спутник, которого я так и называю: мой философ. К нему и обратитесь". Дальнейшие вести из Америки гласили об организации Житловским систематического курса лекций, о том, что на первую лекцию собралось 700 человек (больше зал вместить не мог), о необычайном его успехе и т. д. У нас в Женеве явилась даже мысль об издании этого курса лекций. Но внимание Житловского и наше было отвлечено событиями в другую сторону. Надвигалась революция 1905 г. Житловский не утерпел и закрыл главу первого своего американского периода, не кончив обещанного курса лекций.

Из России пришла весть: наш старый знакомый, "матерой, травленный волк", Марк Натансон, отбив новых пять лет Восточной Сибири, вновь на воле. И опять он в чести у делового мира; за ним засылают от Нобеля: в Баку земля нефтеносная велика и обильна, а в финансах, счетоводстве и контроле порядка нет.

Рядом с этой вестью - другая. Где-то на Кавказе свила себе гнездо большая тайная типография. Она не принадлежит какой-либо отдельной партии: работает на революцию вообще, внефракционно. "Рука Марка" - в один голос решаем мы. Сносимся с ним; доказываем: на этот раз с ним долго церемониться не будут, сразу прихлопнут при малейшей тени подозрения; если у него есть силы и воля работать, - пусть перебирается, не медля, за границу.

И вот, Натансон у нас, в Швейцарии. Тот и не тот Натансон. Говорит каким-то потухшим, сокрушенно-задумчивым голосом. Былой металл звука сменился каким-то матовым тембром, мягким тоном, заботливо и тихо уговаривающим.

Увидев его несколькими годами позднее, старый его товарищ по "землевољчеству", Аптекман назвал его орлом с подбитыми крыльями. "Белый, как лунь, старик с большой окладистой седой бородой; с несколько загадочной улыбкой: - не то горечи, не то недоверия и презрения". Надо, впрочем, прибавить. Одно дело - каким видели Натансона наши глаза, 206 другое - каким видели его "свежие люди", не знавшие его в пору полного расцвета сил.

Натансону нетрудно было бы освоиться с новыми условиями нашей эмигрантской работы, раз только он вошел в ее наезженную колею. Но прежде, чем в нее войти, он не мало колебался. С первого же абцуга он нас предупредил, что ему нужно время - оглядеться и ориентироваться в создавшемся за время его отсутствия положении. Он вообще еще не может сказать, с кем решит работать: с нами или с социал-демократами. - Марк Андреевич Натансон еще не знает, с кем идти? Мы с трудом верили собственным ушам.

Скоро мы увидели, что глаза его разбегаются не только между нами и социал-демократами: их притягивает к себе и либеральное "Освобождение" Петра Струве. Вопрос для него стоял не о том, быть ли ему социалистом или перейти к либералам. Старые полубакунинские дрожжи никогда не переставали в нем бродить и в конце жизни его не оттолкнуло даже грубое ленинское "грабь награбленное". Но за органом Струве тогда стоял Союз Освобождения с пестрым составом - и левых, и весьма умеренных. Еще не было дано разглядеть, что Союз - не более, как куколка, из которой скоро выйдет ночная бабочка кадетской партии, чьи взоры слепит солнце социализма.

В своем первоначальном виде Союз Освобождения представлял много сходства с любимым - но, увы, мертворожденным! - детищем Натансона - Партией Народного Права.

Нам не представило большого труда понять и то, почему душа Натансона раздваивалась между эсерами и эсдеками. Эсдековские круги Женевы группировались вокруг живописной и блестящей фигуры Г. В. Плеханова. Но Плеханов был в числе первых, привлечен-

ных четою Марка и Ольги Натансон в кружок, получивший потом название "Земля и Воля". В наиболее прогремевшем из дел этого кружка - знаменитой демонстрации на Казанской площади в Петербурге в 1876 г. - Натансон и Плеханов были и главными инициаторами, и деятельными плечом к плечу - участниками. Плеханов оказывал теперь на Натансона для всех нас очевидное сильное притягательное действие.

Но Натансон правоверным марксистом никогда не был. В нем крепко держались "устои" старого народничества. Путь 207 от него к "новому народничеству" или эсеровству был бесконечно короче, чем к тому простому "переводу с немецкого", каким был русский марксизм начала XX века.

Но был и тут у него камень преткновения. Партию с.-р. Натансон застал в момент ее решительного выступления на путь террористической борьбы. Сам Натансон путями Народной Воли не ходил. Все годы ее трагической эпопеи он провел в тюрьме и ссылке. Во время же Народного Права он держался уклончиво, считая несвоевременным предрешать, придется ли идти старыми народолюбческими путями.

Мне Натансон однажды сказал:

- Не торопитесь провозглашать террор. Более, чем вероятно, что им придется кончить. Но никогда не годится с него начинать. Право прибегнуть к нему дано, лишь когда перепробованы все другие пути. Иначе он для окружающего мира не убедителен, не оправдан. А неоправданный террор - метод борьбы самоубийственный... И потом: террор должен всё время нарастать. Когда он не нарастает, он фатально идет назад...

Первые террористические акты - против Боголепова, Сипягина, кн. Оболенского, губернатора Богдановича - Натансону неоправданными не казались. Но его всерьез смущало то, что поставленный на очередь удар по Плеве был чем-то заторможен и заставлял себя ждать и ждать. А что, если окажется, что мы попали в безвыходный тупик? Уж не впали ли мы в ошибку и не лучше ли было эти акты допустить лишь в форме одиночных предприятий, проведенных на свой личный страх и риск отдельными революционерами, без всякой санкции и ответственности партии?

Но вот настало памятное 15 июля 1904 года. Плеве убит. Всенародное ликование внизу, в стране, правительственная растерянность наверху. Марк ликовал вместе с нами.

- А заметил ли ты, Виктор, - сказал мне тогда Михаил Гоц, - что Марк, всегда говоривший нам - "ваша партия" - сегодня в первый раз произнес - "наша партия"?

Еще было бы не заметить!

Метко нацеленный и безошибочно нанесенный удар сразу выдвинул партию с.-р. в авангардное положение по отношению ко всем остальным элементам освободительного движения. Тяготение к ней обнаружилось среди социалистов 208 польских (П.П.С.) и армянских (Дашнакцутюн) ; переговоры с нею завела новообразовавшаяся партия грузинских социалистов-федералистов, в которую входили и грузинские эсеры; в Латвии наряду с традиционной с.-д. партией обособился сочувствующий эсерам Латвийский с.-д. союз; от российских с.-д. отошла и сблизилась с ПСР Белорусская Социалистическая Громада.

В Финляндии рядом с традиционной партией пассивного сопротивления возникла союзная с с.-р.-ами и вдохновлявшая их боевыми методами партия активного сопротивления.

Наконец, в Союзе Освобождения рос удельный вес левого, народнического крыла. И у всех них росла потребность сближения и объединения. Натансону уже казалось, что в воздухе повеяло его идеей единого фронта с единой надпартийной программой. И он уже ставил перед нами вопросы:

1) пойдём ли мы на общую конференцию всех российских революционных и оппозиционных партий, о необходимости которой заговаривают финны и созыву которой сочувствуют и поляки? и 2) если да, то каких уступок потребуем мы от них и чем готовы мы взамен сами поступиться в их интересах?

Но такая постановка вопроса в нашей среде поддержки не нашла. Мы рассуждали иначе. Никаких торгов и переторжек нам сейчас не нужно. Наши отношения с этими партиями должны быть выражены двумя положениями: 1) у нас всех общий враг - царский абсолютизм и 2) нужно усвоить двусторонний лозунг: "врозь идти и вместе бить".

Для практических целей достаточно сообща рассмотреть: нет ли у договаривающихся партий такого объединяющего их элемента, что его можно принять как бы за "общий знаменатель", выносимый за скобки? Если он есть и не слишком по содержанию неопределен, - то всё в порядке: надо лишь условиться, что на нем и будет построен "единый фронт": каждый из входящих в него коллективов обязуется выдвигать его в первую очередь, твердо, без колебаний и отступлений. А что касается тактики, достаточно держаться основного принципа: мы обязуемся все начать наступление единовременно всеми силами и средствами и развертывать их кресчендо, ни от кого не требуя больше, чем позволяют его силы и тактические принципы, но и ничем не пренебрегая. Пусть пойдет в дело всё: начиная от самых скромных проявлений 209 "организованного общественного мнения", как петиции, адреса земств и городских дум, легальные резолюции обществ и учреждений; продолжая протестами, митингами, банкетами, уличными манифестациями; и кончая прямым бойкотом распоряжений правительства, всеобщими забастовками, захватным осуществлением требуемых общественностью прав и отстаиванием их всеми средствами, вплоть до применения оружия в любой форме, индивидуальной или коллективной, какая только для соответственного коллектива возможна и для его правосознания приемлема.

Натансон не сразу принял такое, на его взгляд слишком внешнее, "механическое" сочетание сил, без попытки более глубокого внутреннего сближения программных и тактических воззрений. Гоц, при моей поддержке, попытался дать ему известное удовлетворение: предложив ему взять на себя задачу подготовки идущего как угодно далеко и глубоко "внутреннего" программного и тактического сближения с социал-демократами.

Натансон взял на себя эту миссию с большим энтузиазмом. Он немедленно начал вести самым деятельным образом переговоры со своим старым другом Плехановым. Ходом этих переговоров он был вначале более чем доволен. Были довольны и мы, особенно когда он доложил, что Плеханов уже дал согласие на участие своей партии во всеобщей конференции, созыв которой намечался в последней четверти 1904 года в Париже.

Но увы, затем возникли какие-то трудности. Мы не были вполне в курсе хода обсуждений этой проблемы внутри самой соц.-дем. партии. Слышали лишь, что резко отрицательную позицию занял Ленин. Среди меньшевиков, как сообщалось нам, мнения разбились.

Натансон долго надеялся, что в конце концов авторитет Плеханова всё пересилит. Он ошибся. Вся заграничная социал-демократия в самый критический момент, накануне открытия Парижской конференции, послала решительный отказ от участия в ней.

Натансон лишь скрепя сердце принял фиаско своей согласительной миссии. Ему осталось лишь с великим сокрушением признать, что наше осторожное ограничение целей 210 конференции всё еще превышало меру политической зрелости и реализма большинства русских социал-демократов.

Натансон был глубочайшим образом огорчен и даже удручен тем резонансом, который

нашли решения конференции в русских эмигрантских кругах.

Замена самодержавной монархии народовластием на основе всеобщего избирательного права, - формулированная, как общая цель всех партий, участвовавших в конференции, - тотчас была заподозрена: не упомянуто о прямом, равном и тайном голосовании, - значит эсеры выдали буржуазии все эти, столь ценные гарантии народовластия. Не упомянута, в числе общепринятых требований, республика - значит, П.С.Р. вступила в заговор с либералами для удержания династии, лишь с лицемерным прикрытием ее конституционными ширмами. С торжеством указывалось на то, что конференция не высказалась об с.-р. лозунге социализации земли: не ясно ли, что эсеры предали буржуазии аграрную революцию! И всё покрывалось демагогическим воплем: позор тем, кто, называя себя социалистами, налаживает сделки с буржуазией, с либеральными врагами рабочих!

Самый видный и влиятельный из делегатов Союза Освобождения, П. Н. Милюков, сразу сильно нас огорчил: он не скрывал, что всеобщая подача голосов внушает ему не энтузиазм, а тревожные опасения; он предпочел бы ограничить его, если не имущественным, то образовательным цензом. Кроме того, он боялся, как бы этот лозунг не оттолкнул от Союза его правого, земско-дворянского крыла.

Мне уже мерещилось полное фиаско всего предприятия: всё равно "фигура ли умолчания" в таком кардинальном вопросе, или хотя бы замена ясной всем формулировки какою-нибудь "каучуковой", т. е. слишком растяжимой или туманной - мне представлялось политической ошибкой, чреватой для нас непоправимой компрометацией. "В таком случае, стоит ли игра свеч?" - поставил я ребром вопрос перед Натансоном, который был одним из нашей трехчленной делегации в Париже.

Тот ответил, что, может быть, я прав; но не надо торопиться, ибо разойтись всегда будет время. Если не удастся столкнуться, он лично думает, что для маскировки провала следует просто отложить конференцию на время, чтобы дать всем делегатам возможность обсудить вопросы в своих организациях. Третий наш делегат не соглашался ни со мной, ни с Натансоном; он 211 стоял за то, чтобы довести конференцию до конца во что бы то ни стало; иначе говоря, довольствоваться тем ее итогом, какой удастся получить, как бы скромн он ни был. Но этим третьим был - стыдно сказать, а грех утаить - Азеф.

Инцидент с вопросом об избирательном праве кончился, однако, так же быстро и благополучно, как волнующе начался. Один за другим высказывались в один голос против Милюкова все остальные три делегата Союза Освобождения; первым, от имени земской общности, князь П. Долгоруков, решительно отвергавший опасность раскола среди "освобожденцев" в России: кроме всеобщего избирательного права, иного объединительного лозунга, там себе не представляют.

От "интеллигентской" части Союза его поддержал В. Яковлев-Богучарский; но всего темпераментнее спорил за чистоту лозунга - П. Б. Струве! Для Натансона и меня всего любопытнее было слушать, как оправдывался потом перед нами дезавуированный своими же соделегатами Милюков. - "Держу пари, что вы, как социалисты, за моей аргументацией подозреваете тайное желание устранить рабочий плебс в пользу капиталовладельцев. Поверьте мне, что дело совсем стоит иначе. Если я чего боюсь, так это только того, как бы мужики не затопили в русском парламенте цвет интеллигенции своими выборными - земскими начальниками да попами...". Для характеристики тогдашнего отчуждения лидера русского либерализма от истинных дум и чувств русской деревни нельзя было бы и выдумать чего-нибудь более нелепого.

Одно время казалось, что трудность, устраненная на русской арене, возродится вновь на польской. Делегат П.П.С. - им был Пилсудский - вдруг в сухо-формальном тоне поставил ребром вопрос делегату польской Национальной Лиги - им был Роман Дмовский: как объяснить неучастие последнего в обсуждении вопроса о всеобщем избирательном праве и то, что требования всеобщей подачи голосов нет и в программе Национальной Лиги? Дмовский вежливо ответил.

Да, в их программе такого пункта нет, но эта программа имела в виду лишь независимую или по крайней мере автономную Польшу; и так как еще неизвестно ни время ее создания, ни условия, при которых она возникнет, то вопрос о такой конституционной частности, как организация избирательного права, мог быть оставлен и оставался открытым. Но теперь, 212 когда вопрос поставлен об общих требованиях всех национальных и общественных групп в пределах Российской империи, Национальная Лига не имеет никаких возражений против признания всеобщего избирательного права их общей целью. Пилсудский этим не удовлетворился.

Он поставил второй вопрос: может ли он истолковать этот ответ в том смысле, что активная борьба за всеобщую подачу голосов будет отныне составлять часть официальной опубликованной во всеобщее сведение программы польской Национальной Лиги? Дмовский тем же вежливо-сухим тоном ответил, что представитель П.П.С. понял его совершенно правильно.

Еще более благополучно прошли два остальных пункта общих всей конференции требований: безоговорочное отвержение насильственно-руссификаторской политики внутри России и агрессивной, захватнической-воинственной политики во вне (пункт, имевший свою остроту ввиду всё еще длившегося дальневосточного конфликта). Без возражений прошло, наконец, и принятие общего принципа права национальностей на самоопределение.

- Для партии наступает новая эра! - сказал мне Натансон по окончании конференции. - Однако есть еще темное пятно впереди: как при явной вражде социал-демократов удастся нам провести на родине весь этот план грандиозной кампании банкетов, митингов, уличных демонстраций и всего того, что могло бы из этого вырасти? Словом, план всенародной революции?

Тревоги его были напрасны. Литературная полемика эмиграции осталась литературной полемикой; а вспыхнувшее и развивавшееся "самотеком" движение протеста и манифестаций покатило, как лавина, захватившая своим потоком всё и всех. И не только те, плехановские и меньшевистские элементы, которые с самого начала по существу дела были настроены к нашему плану благоприятно, но и самые "твердокаменные" большевики не вынесли той самоизоляции, на которую они обрекли было себя своей упорной нетерпимостью.

И Натансон, всё еще чувствующий что-то вроде похмелья после конечного неуспеха своей дипломатической миссии перед русской с.-д. эмиграцией, сказал Гоцу и мне: "Было бы лучше, если бы я не внял вашему призыву перейти в эмиграцию. Следовало выждать на месте вот этого момента.

213 Именно теперь, там, на месте, я пригодился бы гораздо больше, чем здесь. А я сжег раньше времени за собою корабли и вот остаюсь не у дел".

- А ведь, может быть, Марк и прав, - после его ухода сказал я: - вот когда он в России был бы в своей родной стихии, ну, как рыба в воде!

- Ах, любой из нас, - кроме разве меня, калеки, - был бы там сейчас, как рыба в воде... - скорбно отозвался Гоц.

Прикованный к креслу, полупарализованный предательскою болезнью, он и раньше бесконечно страдал от самого тяжкого сознания, какое только может выпасть на долю революционера: сознание безнадежной инвалидности, когда надо заменить товарища, друга, брата на опасном посту. А тут к этому присоединилось ожидание "слушного часа" - момента решительного боя...

214

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Возвращение "грызунов" в Россию. - Максимализм "бабушки". - Споры об аграрном терроре. - Письмо Гершуни. - 1905 год в эмиграции. - Тяга на родину.

Поездка Гоца и Минора в 1903 году в Германию к "грызунам" с призывом была результатом крайней тревоги после обрушившихся на партию провалов. Они недооценивали самоврачающей силы уже окрепшего партийного организма, и прав оказался Е. Е. Лазарев, говоривший: "Посмотрим, может быть, и без нас там русские Авось да Небось выручат". И они выручали.

Неведомо для самих себя, как бы ошупью, наши "грызуны" набрали на практически более правильное решение, чем их посевшие на подпольной работе старшие братья. Отправься они на работу тогда же, в 1903 году, они, быть может, растерялись бы, попав прямо на свежее пепелище после партийного пожара, и, обжегши себе пальцы, томились бы по гиблым местам ссылки. А позже, на рубеже 1904-1905 гг., они застали в России конъюнктуру, как нельзя более благоприятную. Два блестящих дела, фон Плеве и вел. кн. Сергея Александровича, взбудоражили всю страну; она вся была охвачена грандиозной кампанией демонстративных общественных петиций и протестов, торжественных банкетов и митингов. Именно в этот момент выход на политическую сцену целой группы образованных, хорошо спевшихся между собою и развивших свои способности, как ораторов и полемистов, молодых людей - дало максимум своего эффекта. Илья Фондаминский, выступавший под разными псевдонимами (особенно - Бунаков), прослыл "Непобедимым"; он известен был еще под кличкой "Лассаль", очень подходившей и к его внешности. Авксентьева (псевдоним - Серов) окрестили "Жоресом"; оба они не 215 только быстро выдвинулись, как первоклассные ораторы на больших народных митингах, но и приобрели опыт политического спора с златоустами профессорского и адвокатского закала из рядов либеральной партии.

"Бабушка" тем временем рвется в Россию, бунтует против медлительности революционных организаций, "бабушка" на крайнем левом крыле. Она вдохновляет группу "аграрников", будущих максималистов, находящих, что партийный террор чересчур "аристократичен" и поверхностно-политичен; они хотят спустить его в "низы" и разлить широким половодьем, дополнив его аграрным и фабричным террором. Но Центральный Комитет не соглашается утвердить переход всего боевого дела в руки слишком импровизированных "ревроек", а на фабричный и аграрный террор накладывает категорический запрет. "Бабушка", скрепя сердце, подчиняется. Впрочем, вера во всякие организации у нее падает, и она проповедует личную вооруженную инициативу: "Иди и дерзай, не жди никакой указки, пожертвуй собой и уничтожь врага!". И каждую свою статью неизменно заканчивает одним и тем же двойным призывом: "В народ! К оружию!".

Своим неутомимым, кипучим темпераментом она предчувствует близость крупных событий и жаждет передать всем ту смелость революционного "дерзания", которая наполняет ее душу. Она совершенно наэлектризовала окружавшую ее и склонную к восторженности молодежь. Она вдохнула в них жажду открытой борьбы, жажду решительного революцион-

ного действия.

Тяжелее всех нас случавшиеся разногласия с молодежью отражались на Миноре. Молодежь скопилось за границей вообще, а в Женеве в особенности, множество. Вскоре из нее выделился кружок, человек в 20-25, преимущественно рабочих из Западного края, особенно из Белостока, совершенно эмансипировавшихся от всякого влияния Осипа Соломоновича и постепенно совсем отдалившихся от него. Кружок скоро приобрел и своих лидеров. Это были: Евгений Лозинский (Устинов), претендовавший впоследствии на то, что он совершенно независимо от Махайского изобрел теорию непримиримого классового антагонизма рабочих с интеллигенцией, как монопольной обладательницей "умственного капитала"; семинарист Троицкий, впоследствии ставший, под псевдонимом 216 Тагина, одним из литературных лидеров "максимализма"; и ученик земледельческого училища М. И. Соколов, прославившийся через несколько лет, под кличкой "Медведь", участием в Московском восстании и организацией знаменитого взрыва Столыпинской дачи на Аптекарском острове. Группа эта, посвященная Лозинским в теории расцветавшего тогда во Франции "анархосиндикализма", увлекалась "максималистской" перспективой захвата в момент революции всех фабрик и заводов для передачи их в руки рабочих, а лучшим средством приблизить революцию считала "экспроприации" и экономический (аграрный и фабричный) террор.

В Женеве молодая группа, принявшая резолюцию Устинова, насчитывала 25 человек. Согласно этой резолюции, "на обязанности боевых дружин в деревне должны лежать организация и осуществление на местах аграрного и политического террора, в целях устрашения и дезорганизации всех непосредственных представителей и агентов современных господствующих классов". Резолюция требовала, чтобы партия решила: 1) "немедленно, сейчас же приступить к организации с этой целью возможно большего числа боевых дружин" и 2) "заполнить всю деревенскую Русь листовками и прокламациями, призывающими сами крестьянские массы к повсеместной организации таких дружин". И т. д., и т. д.

"Мы хотим, чтобы движение приняло такую форму, как в Ирландии, - говорил Лозинский. - Но мы не надеемся здесь исключительно на силы партии... Мы думаем, что нельзя всё возлагать на нас. Поднять деревню своими агитаторами мы не можем физически; единственное, что мы можем - это оказать идейное влияние на борьбу крестьянства...". "Мы можем только наводнить деревню листовками, брошюрами об экономической борьбе и об аграрном терроре". "Партия не может регламентировать работу крестьянских организаций. Контроль здесь невозможен и вреден".

Как сейчас помню, как разволновался из-за этого О. С. Минор. Иные из нас не разделяли его тревог. Очень печально, конечно, - говорили "флегматики", что впервые в нашей среде произошло что-то вроде деления на "отцов" и "детей", что вся аргументация более опытных и теоретически более подготовленных людей отскакивала, как от стены горох, от специфической "настроенности" компактной группы 217 партийного молодняка.

И всё же, нечего принимать это слишком трагически. Если даже они сохранят свой заряд до возвращения в Россию, так ведь на местах они столкнутся с людьми, вооруженными известным опытом, которые их одернут... Но Минор только еще пуще волновался: "Этот толстокожий оптимизм надо бросить. На местах они чаще всего найдут пустое место после очередного разгрома, полтора человека с печатью комитета, и обработают их или отодвинут в сторону и сами завладеют печатью и наделают таких дел, что потом не будешь знать, куда деваться.

А, во-вторых, их резолюция опережает их приезд, ее уже везде читают - она ведь без

именных подписей, это просто резолюция женевской группы партии, а в России все знают, что в Женеве и Гоц, и Волховской, и Шишко, и Чернов - и вот увидите, еще примут это за наше общее мнение, авторитет имен заставит смолкнуть сомнения, - и кто будет в этом виноват, если не мы? Нет, этого так оставить нельзя, нам надо составить контррезолюцию и так же широко ее повсюду распространить и всеми нашими подписями снабдить, чтобы никаких недоразумений и быть не могло. Вы там как хотите, а я не желаю, чтобы обо мне думали, будто я на старости лет в "красном петухе" обрел разрешение всех задач революции. Если вы так тяжелы на подъем, так я один составлю особое мнение и подпишу его и буду рассылать, - чтобы не чувствовать на своей совести потакательства такому вот революционному упрости-тельству и вспышкопускательству!".

Осип Соломонович растолкал-таки всех, вплоть до самых хладнокровных, заставил меня засесть и составить обстоятельный проект резолюции, заставил нас собраться и обсудить подробно ее редакцию - и вот, благодаря ему, появился документ, имеющий существенное значение для будущего историка партии "резолюция о работе в деревне и об аграрном терроре" за 16-ю подписями. Тут были подписи и наших "стариков" - Волховского, Бохановской, Добровольской, Минора и его жены (Шишко и Гоца по болезни не было в Женеве, Лазарев жил в Кларане), и "средняков" - кроме меня и моей жены, дали свои имена Билит, позднее раненый при взрыве нашей лаборатории, Севастьянова, погибшая позднее в России на террористическом акте, и др.

В чем заключалась сущность нашей резолюции? Она решительно отвергала включение аграрного террора в число средств партийной борьбы и рисовала целый стройный "план кампании" в деревне. Вот этот план: "Мелкие деревенские организации, а равно и деревенские агитаторы-одиночки должны быть объединены в союзы, охватывающие возможно большие по пространству районы; должны быть поставлены в связь с городскими организациями, для обеспечения одновременности действий: должны готовить крестьянство своей местности к участию в общем одновременном движении и к расширению его в своем районе". Необходимо "повсеместное выставление крестьянами однородных требований, в духе нашей программы-минимум, и поддержание их всесторонним бойкотом помещиков и отказом от исполнения правительственных требований и распоряжений; сюда, в особенности, входит отказ от дачи рекрутов, запасных и от платежа податей.

Такой всесторонний бойкот вызовет, конечно, попытки сломить сопротивление крестьян репрессивными мерами. На такие репрессивные, насильственные меры необходим отпор также силой; готовить и осуществлять такой отпор есть дело крестьянских организаций, выступающих в этом случае в качестве боевых дружин. В подходящий момент такой отпор из ряда партизанских актов может превратиться в ряд массовых сопротивлений властям и, наконец, в частное или общее восстание, поддерживающее соответственное движение в городах или поддержанное им. Поскольку партийный лозунг этого движения должно быть завоевание земли, оно должно состоять не в захвате определенных участков в руки определенных лиц или даже мелких групп, а в уничтожении границ и межей частного владения, в объявлении земли общей собственностью, в требовании общей, уравнительной и повсеместной разверстки ее для пользования трудящихся".

В период своего наибольшего подъема, в 1905-1906 гг., крестьянское движение пошло именно по этой дороге. Целесообразность и жизненность данного "плана кампании" была подтверждена революционным опытом. Вехи для крестьянского движения были поставлены верно. По этим вехам оно пошло в момент высшего напряжения своих сил и, только разбив-

шись о гранитный мол вооруженной правительственной власти, волны народного моря расплескались, разбрызгались в отдельных проявлениях аграрного террора и 219 экспроприаторства, партизанства "лесных братьев", "лбовцев" и т. п. То, что сторонники аграрного террора считали программой подъема движения, оказалось программой его упадка. То, в чем они видели средство победы, оказалось симптомом и результатом поражения.

По приезде из Америки в духе нашей резолюции написала статью Е. К. Брешковская, именем которой много злоупотребляли во время ее отсутствия многие сторонники аграрного террора. Какие же крупные "теоретические и практические силы" стали на сторону нового течения? Среди участников этого "течения", кроме молодежи, можно назвать только князя Д. Хилкова, бывшего толстовца, который одно время, по закону реакции, круто повернул к признанию всех видов насильственной борьбы. В начале этого своего "полевения" он вступил, под влиянием Л. Э. Шишко, в Партию С.-Р., но впоследствии, с наступлением эпохи "свобод", стушевался и покинул революционное поприще. Когда наступила контрреволюция, он и формально заявил о своем выходе из Партии.

Аграрный террор не был включен Партией в ее программу; против него высказался и Съезд Аграрно-Социалистической Лиги, и первый съезд заграничной организации, и некоторые областные съезды в России. Ц. К. предоставил сторонникам "нового течения" полную свободу отстаивать свои взгляды внутри партии. Но он требовал, чтобы - пока Партия не изменила своего отношения к аграрному террору - никто не переходил от слов к делу и не бросал аграрно-террористических призывов и лозунгов в крестьянскую массу. Это было элементарное требование дисциплины. Кто не хотел или не мог ему подчиниться, тому оставался один путь - уйти из Партии.

Ц. К. поставил перед "аграрниками" этот вопрос ребром. Он предлагал им либо свободу защиты своих взглядов при дисциплине поступков, либо выход из Партии. После долгих колебаний, "аграрники" выбрали первое. Они дали торжественное обещание, что ни в чем не нарушат партийной дисциплины. Они будут стараться переубедить Партию, но пока это не удастся, останутся в рамках, начертанных партийными постановлениями.

"Бабушка" верила, что всё обойдется хорошо, ей было слишком дорого и крестьянское дело и молодые силы, 220 которые для этого дела могут быть полезными. Не все в Ц. К. и в редакции Ц. О. Партии были такими оптимистами, как она...

Во время женеvских споров противники аграрного террора спрашивали его защитников, почему они не идут дальше, не провозглашают фабричного террора, не провозглашают вообще анархического террора против имущих? Лозинский и его товарищи пытались провести грань между террором аграрным и другими видами экономического террора. Но эти различия были шиты белыми нитками. Логика брала свое, и, столкнувшись в Екатеринославе с квази-партийными элементами, пошли навстречу их настроению. Проведенная им в этом городе резолюция высказалась не только за аграрный, но и за фабричный террор.

Чем дальше в лес, тем больше дров. Молодой группой будущих максималистов была выпущена гектографированная прокламация, в которой впервые прозвучала нотка анархического отрицания парламентаризма. Против своих врагов говорилось в этой прокламации - "народ не пойдет с выборными билетиками в руках - он пойдет с дубиной...".

Наконец чашу терпения центральных учреждений Партии переполнила прокламация, составленная, вероятно, лично "Медведем" после того, как он основался в Минске, где наладил крестьянскую газету и где его сторонники временно овладели Сев.-Зап. "областным комитетом".

Прокламация эта, озаглавленная "К рабочим и крестьянам" (ноябрь 1904 г.), была направлена против еврейских погромов. Но автор был, видимо, твердо уверен, что надо клин клином вышибать и что погромы нужны - только не погромы евреев, а погромы всех имущих. Он даже усвоил себе поистине погромный, разухабистый стиль, вполне гармонизировавший с ультра-демагогическим содержанием лозунгов, бросаемых в массу. Вот образец этого стиля:

"Мы не царские палачи, мы трудовой народ и мы готовы каждому, кто сидит у нас на горбу, свернуть шею. Мы не прочь выпить с горя, но косушка не вышибает у нас ума и совести и, принимаясь за дело, мы будем твердо помнить: бей чиновников царских, капиталистов и помещиков! Бей покрепче и требуй - Земли и Воли!". И т. д. и т. д.

"Бей! бей покрепче!". Краткость, простота и выразительность этих лозунгов были поистине изумительны. И как 221 своеобразно хорошо звучали эти слова: "Мы не прочь выпить с горя, но косушка не вышибет у нас ума и совести" за подписью - областного комитета Партии с.-р.-ов.

Полученная за границей прокламация с кратким, но энергичным лозунгом "бей!" и выразительной философии "косушки" произвела сенсацию. Осип Соломонович предъявлял этот документ всем: "Ну, что, далеко мы уехали бы с нашей терпимостью и хладнокровием? Как вы это назовете? Революционеров нашим именем воспитывают в народе или просто красных погромщиков?". И приходилось сознаться, что в настроенности Минора оказалось больше политического разума, чем в уравновешенности многих его товарищей.

"Медведь" был немедленно вызван за границу. Еще раньше "бабушка" написала ему и его товарищам самое энергичное письмо - одно из тех писем, которые она так неподражимо умела писать, когда хотела кого-нибудь хорошенько распечь. С этим совпала самая решительная оппозиция целого ряда русских организаций группе "Медведя". Оппозиция дошла до того, что некоторые организации, обвиняя эту группу в непартийных действиях, объявили ей бойкот.

Однако и на этот раз дело кончилось миром. "Медведь", приехав за границу, признал инкриминирующую прокламацию ошибкой, совершенной в водовороте событий по неосмотрительности, вследствие спешной работы. Еще раз обязался оставаться в пределах лояльности и не нарушать партийной дисциплины. Еще раз оказалось, что он брал на себя обязательства, которые не мог выполнить.

Как предотвратить возможность со стороны "аграрников" тех или других шагов, вредных для Партии. Этот вопрос и раньше долго занимал руководящие партийные сферы. "Бабушка" сама хотела ехать в Россию, чтобы стать во главе крестьянского дела; но поездку ее необходимо было пока отложить. До приезда в Россию "бабушки" работать вместе с "аграрниками" и связать их с Партией должен был С. Н. Слетов. Будучи решительным противником экономического террора, он, однако, имел некоторые точки соприкосновения с молодыми "крестьяновцами" и поэтому был особенно пригоден для этой роли. С такими намерениями Слетов и выехал в Россию. Но он был взят на границе 3-го сентября 1904 года по доносу Азефа, с которым незадолго перед тем имел ряд 222 столкновений принципиального и организационного характера.

Вследствие этого ареста "аграрники" остались одни, не имея среди себя лица, которое могло бы сдерживать их увлечения и предупреждать трения с Партией.

До заграницы стали снова доходить сведения, будто у "аграрников" готовятся какие-то сепаратные совещания. Снова Ц. К. поставлен был лицом к лицу с чем-то вроде попытки со-

здания "аграрниками" "организации в организации". Снова оказалось, что они одной ногой стоят в Партии, другой - вне ее. Быть может, дело дошло бы до организационного конфликта, но он был предупрежден Курским провалом. "Медведь", правда, успел, отстреливаясь, уйти от полицейской облавы. Но силы изменили ему, нервы не выдержали, и в тот же или следующий день он, обессиленный, был арестован без всякого сопротивления на вокзале.

13-го сентября 1905 г. комендант Шлиссельбургской крепости явился в камеру к Гершуни. Министр, по хлопотам коменданта, разрешил перевести Гершуни из "чистилища" в общую тюрьму: оттуда уже многие выпущены совсем, оставшиеся ждут своей очереди. Впереди маячит Государственная Дума, что-то вроде конституции и всеобщей амнистии. И на самый нескромный вопрос - что же, неужели это Плеве дал конституцию? - комендант, с видом купальщика, бросающегося стремглав вниз головой в холодную воду, оглянувшись вокруг, шепчет: "Какой там Плеве, он на куски разорван бомбой, а тот, что бросил, здесь же сидит, в камере неподалеку... Сазонов его фамилия"...

Из чистилища вскоре перешел в общую тюрьму и Егор Сазонов - и точно ярким снопом прожектора осветилось всё, что происходило и происходит в России. Вслед за комендантом разложение охватило весь гарнизон сторожей и жандармов. Плохо разбираясь в происходящем, они уже начали разделяться на "правовой порядок" и на "левых". Через последних просачивались извне все новости и через них же проходили письма на волю. Еще сейчас помню, с каким волнением я развернул одно из таких контрабандных писем и увидел знакомый, бесконечно дорогой почерк Гершуни. 223 "Бабушке, Михаилу Рафаиловичу, Виктору Михайловичу и всем ближайшим друзьям!"... А дальше следовал текст замечательного письма, в котором сердечные излияния переходили в мастерски набросанную перспективу партийного будущего, перемежались рядом метких соображений чисто-практического свойства и сливались с целой философией русской революции.

Шлиссельбург еще держался. Но его уже ждало расформирование. Значит каменный мешок выпустит из своих недр и Гершуни. Но если и он его не удержит, какие еще стены и замки помешают ему вновь оказаться в наших рядах? Какая сила его остановит? Разве только смерть. Но об этой возможности, самой страшной и самой действительной, мы тогда думали меньше всего.

Во второй половине 1905 года в руководящих эсеровских кругах за границей настроение стало становиться всё более и более нервным. Причина была ясна всем. Темп жизни в России становился всё быстрее. Откликаться на вопросы и злобы дня "из прекрасного далека" стало необыкновенно трудно. Пока дойдут русские газеты, пока напишешь статью и соберешь все остальные материалы для очередного номера, пока его отпечатают, пока его успеют переправить контрабандными путями, пока там, в России, развезут по организациям смотришь, содержание номера приобретает характер почти что исторический.

Казалось бы, то же самое было и раньше; техника изготовления и доставка зарубежной литературы ведь не ухудшилась, а даже улучшилась. Но... то же, да не то. Во-первых, когда мы начинали за границей выпускать центральный орган печати, "Революционную Россию", - это было новостью. Революционные организации были в зачаточном состоянии, сношения между ними - и подавно; так что даже наиболее быстро стареющая часть, корреспонденции с мест, читалась повсюду с захватывающим интересом. Ко второй половине 1905 года положение круто переменилось. Кое-как, сначала медленно и постепенно, потом всё быстрее жизнь начала брать свое. И старые, заслуженные органы печати типа "Русских Ведомостей",

и новые, вроде 224 преображенного "Сына Отечества", "Нашей Жизни" и др. всё смелее стали касаться острых политических тем.

Из-за границы нам было видно, что в России впервые газета стала оттеснять на второй план журнал. Ну, а что же делать нам с нашей "Революционной Россией", которая была - ни газета, ни журнал? Попробовали выпускать "Революционную Россию" чаще, два раза в месяц; подумывали даже о превращении ее в еженедельную... Но и это не было решение. Главное запоздание приходилось не на время изготовления газеты, а на время транспортирования в Россию и дальнейшего распределения по разным ее концам. Учащенный выход в уменьшенном формате ничему не помогал, а содержательность убавлялась.

Для статей длительного характера и значения места оставалось еще меньше, а едва ли не они одни сохраняли для читателей свое значение. Я чувствовал, что как будто и сам начал как-то остывать к "Революционной России", не испытывать прежнего удовлетворения. Помню, как пенял мне за это Михаил Гоц. Он, в то время совершенно разбитый мучительной болезнью - опухолью на спинном мозгу был прикован к креслу. Тело было словно мертвое. Жили одни глаза - в них, казалось, перешла вся его жизнь. Он порывался сам писать - но почти не мог, мог лишь диктовать; он искал выхода в привлечении к ближайшей, чисто-редакционной работе в "Революционной России" новых людей. Наша "двоица" давно уже превратилась, благодаря привлечению Шишко, в "троицу". Выписали Волховского из Лондона. Искали еще и еще сотрудников. Михаил Рафаилович не хотел согласиться с тем, что время "Революционной России" прошло...

Лично я давно уже дал себе другой ответ. Я носился с проектом нелегальной поездки в Россию. "Темп жизни слишком ускорился, - говорил я, - мы здесь за ним не поспеваем и поспеть не можем. Надо поехать в Россию, надо жить там, окунуться в гущу общественных настроений. Надо организовать там идейно-литературный центр и открыть организованную политическую кампанию на страницах какой-нибудь близкой нам по духу легальной газеты. В ней говорить всё то, что можно сказать, прямо или полунамеками, легально. Чего там нельзя сказать, будем договаривать в летучих листках, в прокламациях, памфлетах нелегально. Только 225 это будет работой; а то, что мы сейчас за границей делаем - толчение воды в ступе".

Михаил Рафаилович выслушал меня, но со мной решительно не согласился.

- Тебя просто-напросто арестуют, вот и всё, - сказал он. - И как это ты будешь жить в Москве или Петербурге? Создавать идейный центр, видеться с писателями... Что ты, иголка что ли, чтобы где-то затеряться? А мало ли литературных барынь, которые всякую литературную новость умеют раззвонить тотчас же по всему Питеру?

И в какой это газете ты будешь писать? Или литературные псевдонимы для кого-нибудь остаются тайной? И газету твою закроют, и тебя изловят, и всё, что вокруг тебя будет, - выследят.

Не сговорившись с Гоцем, я формально поднял этот вопрос на заседании заграничного комитета. Успех был ничуть не больший. Все уперлись на том, что рисковать мной они не имеют права. Надо дать событиям развиваться дальше, а там видно будет.

Прошло еще около месяца. В России была в полном разгаре "банкетная" кампания. Явочным порядком стали возникать всевозможные союзы.

Японская война, видимо, была окончательно проиграна. На действиях правительства явно отражалась какая-то роковая растерянность. Затем, помню, пришло из России письмо с новостью: возникшие организации среди железнодорожников устроили явочным порядком

съезд и положили начало Всероссийскому Железнодорожному Союзу. На съезде обсуждался вопрос о таком средстве борьбы, как остановка всего ж.-д. движения в стране - всеобщая стачка... А одновременно с этим стали доходить первые сведения о планах организации почти легального беспартийного Всероссийского Крестьянского Союза.

Я снова было поднял тот же вопрос на нашем собрании, рассчитывая получить поддержку от нашей молодежи с Абрамом Гоцем во главе. В расчетах я ошибся. Абрам Гоц от имени молодежи выступил еще резче... Он доказывал, что мы, тяжелая артиллерия, должны пока сидеть смиренно и не двигаться с места. В Россию двинутся они. Там частью уже есть недавно поехавшие, а я нужнее пока здесь. И решение получилось опять против меня, и таким подавляющим 226 большинством голосов, что приходилось оставить всякие надежды...

Прошло уже, не помню хорошо, сколько именно времени после этого разговора. Настало горячее время: пришли вести о всероссийской забастовке. Мы сторожили выход новых газет, только ими и жили. Однажды меня спешно вызывают к Гоцу. Прихожу. Там в кресле Михаил и рядом с ним Иван Николаевич, он же Толстый Евгений Азеф.

- Прежде всего, вот, читай, - протянул мне Михаил "Journal de Geneve". Я взял газету. Маленькая, десятка полтора слов, телеграмма. 17-го октября опубликован царский манифест. В нем властям поручено преодолеть смуту, а затем призвать народных представителей к участию в государственных делах на основе свободы слова, печати, вероисповедания и действительной неприкосновенности личности.

- Ну, что ты скажешь?

- Ничего особенного. Новый шаг по тому же пути: довольно крупная уступка, сравнительно с идеей Булыгинской думы. Видно, что давление всеобщей забастовки стало нешуточным. Сломить ее нельзя - приходится маневрировать.

- И только? Не больше как очередная хитрость? Хладнокровно задуманная ловушка?

- Хладнокровная то, может, и не хладнокровная, потому что приходится туго, а, конечно, не без ловушки.

- Ну, уж от Виктора-то я этого не ожидал, - скрипуче процедил, попыхивая папироской, Толстый и, помолчав, прибавил ироническим тоном. - У нас тут сейчас Осип (Минор) был и всё на нас кричал: мы-де наивные люди, всё это просто ловушка; и нас, эмиграцию, и подпольников в России заманивают, видите ли, выйти наружу, расконспирироваться, а потом - всех разом сгрести и выместить из русской земли крамолу начисто. Тоже, политическое рассуждение! И ты тоже думаешь, что ради эдакой полицейской цели весь государственный строй России будут ставить вверх дном, потрясать всю Россию неслыханными новшествами, придавать бодрости всей оппозиции?

- Вовсе не так, не для чего карикатурить. Не знаю, что говорил Осип, а я говорю вот что: сломить движение стало не под силу, и в него надо вбить клин. Революционеров ведено скрутить в бараний рог, а "обществу" обещают 227 политические поблажки. Двойственный характер манифеста бьет в глаза. Это, конечно, маневр, но не грубо полицейский, а тонко политический. Разделяй и властвуй: успокой оппозицию и при ее пассивности раздави революцию, а затем уже и с оппозицией делай, что хочешь.

- Я думаю, Виктор, ты не совсем прав, - вмешался Гоц. - Первым словам манифеста я не придаю большого значения. Это скорее фасад, стремление уберечь "престиж власти". Конечно, правительство еще будет барахтаться, будет предлагать обществу свои услуги для подавления "крайностей". Но со старым режимом кончено. Это - конституция, это - конец абсолютизма, это - новая эра. О грубых ловушках и говорить нечего, это просто пустяки. Раз

самодержавие решилось проглотить такую горькую пилюлю, как свободы, неприкосновенность личности, законодательство только через народных представителей, - значит, сила сопротивления его сломлена. Как после крымской кампании был предreshен вопрос об освобождении крестьян, так теперь - о конституции. Возьмем пример: вот хотя бы Иван Николаев, Вениамин (Савинков) и их товарищи. Им остается сказать: "ныне отпускаеши"... С террором тоже кончено. Или ты другого мнения?

- Я думаю, что, конечно, сейчас от всех террористических актов следует воздержаться. Но распускать боевую организацию я бы не стал. Она еще очень может пригодиться. Я бы ее держал наготове, под ружьем, в таком виде, чтобы ее можно было мобилизовать в любой момент.

- Ну, а я думаю, что к террору у партии больше нет возврата...

Тем временем начали собираться другие. Известие застало нас врасплох, и разногласия была большая. Шишко видел во всем совершившемся вступление России в поверхностно-конституционную фазу и настаивал на том, чтоб сейчас все силы направить на использование открывающихся легальных возможностей: надо идти к массам, бросить туда все имеющиеся силы, приступить к настоящей, широкой массовой организации крестьян и рабочих.

Только в зависимости от того, что успеем сделать мы в этой области, будет решаться и вопрос о прочности конституционных уступок. Он поэтому считал единственно-правильной тактикой такую, которая не 228 будет форсировать событий и центром тяжести сделает не столько прямое давление для расширения уступок, сколько собрание сил для закрепления достигнутого сейчас и для расширения завоеваний - в будущем, в точную меру накопления и роста правильно организованных сил.

Я, к удивлению многих, его поддерживал, продолжая настаивать на том, что правительство маневрирует и потому надо не сыграть ему в руку, не оторваться в авангардных боях от общества и народа, не дать правительству разъединить нас и бить в розницу: только тогда, когда в движение будут вовлечены широкие массы населения, можно будет думать о новых завоеваниях; но тогда из поверхностно-конституционного фазиса движение перейдет в фазу наполнения революции широким социальным содержанием; в центре станет вопрос о земле.

"Толстый" сделал удивившее многих заявление: он, в сущности, только попутчик партии; как только будет достигнута конституция, он будет последовательным легалистом и эволюционистом: всякое революционное вмешательство в развитие стихии социальных требований масс он считает гибелью, и на этой фазе движения оторвется от партии и простится с нами: дальше идти нам не по дороге.

"Вениамин" (Савинков), наоборот, считал, что именно теперь, когда правительство колебалось, надо добивать его беспощадными террористическими ударами. Он яростно ополчился против моего тезиса: держать боевую организацию "под ружьем". Но все его аргументы были не политического, а морально-психологического свойства: террористов нельзя "засаливать впрок", а либо сказать им, что они не нужны, либо предоставить им действовать. Это был его конёк, и тут меж нами возобновился старый спор: я говорил, что если бы террористическая борьба и соответственная организация действительно имели, как это утверждали наши социал-демократы, - какую-то свою "имманентную" внутреннюю логику, сталкивающуюся с логикой общей линии тактического поведения партии, я первый отказался бы от террористического элемента в нашей программе действий раз навсегда.

О. С. Минор вмешался в этот спор и увеличил его хаотичность своей горячностью и ка-

тегоричностью. Но говорил он на этот раз уже вещи, совершенно непохожие на то, что передавал с его слов Иван Николаевич. Он возбужденно говорил против попыток мудрить над революцией, как будто ей что-то можно 229 со стороны предписать и навязать в качестве спасительных рецептов. Революция идет, она уже есть, она налицо, огромная и могучая, смывая на своем пути всё, ни у кого не спрашиваясь, и меньше всего - у нас. Все эти словопрения надо бросить, надо ехать в Россию и отдать свои личные силы на службу революции, как она сложилась.

Что надо ехать в Россию - об этом спору больше не было, но надо было сговориться, с чем мы туда едем, чтобы не было разнобоя. В России тоже надо было ожидать изрядного хаоса и не следовало увеличивать его собственной разноголосицей. Мы проспорили на тысячи тем целый день. Постепенно все ручейки расходящихся мыслей стали сливаться в одно русло. Много помог этому Михаил Гоц. Хотя в оценке достигнутых уже революцией завоеваний он был оптимистичнее меня, но тактическая линия поведения, выдвинутая Л. Э. Шишко и поддержанная мною, встретила и в нем полное сочувствие. С некоторыми оговорками за принятие ее высказался и бурнопламенный О. С. Минор. Молодежь с самого начала встала на нашу сторону бесповоротно и решительно. При особом мнении остались только Толстый и Вениамин - каждый при своем.

Мы расходились. Я, Толстый и Вениамин зашли в какое-то кафе подкрепиться едой: только теперь вспомнили, что целый день ничего не ели.

Вениамин саркастически критиковал наши решения. Он считал, что партия сделает колоссальную, непоправимую ошибку, изменит своему блестящему и славному прошлому, пойдет на политическое самоубийство...

А мне казалось, что он просто растерялся, что почва выскользнула у него из-под ног, и он не знает, что делать. Раньше всё было ясно: было самодержавие, была поэзия борьбы, была дорога индивидуального героизма, который, предполагалось, действенным примером пробудит массовый героизм в народе, в рабочем классе. А теперь, когда положение бесконечно усложнилось, когда открылись новые горизонты, он, как специалист террора, просто не подготовлен к новой эре, к широкой арене работы и борьбы. Он не так рисовал себе судьбу боевой организации. Весь приподнятый, он в своих построениях ориентировался на самопожертвование, гибель, красивую смерть, а за ней свободу России. Основная проблема для него была - суметь умереть.

230 А тут вдруг лавиной обрушилась новая проблема - суметь жить. И весь старый, привычный склад чувств и мыслей в нем возмущался. Он требовал какого-то заключительного аккорда: вся боевая организация, в полном составе, должна совершить какой-то акт: взорваться в Зимний дворец, или в какое-нибудь министерство, во время заседания Совета Министров, с поясами, наполненными динамитом, и там взорваться на воздух: без такого венчающего всю борьбу величественного финала дело будет незакончено... Во всём этом было много эстетики, но совсем не было серьезной политики...

- Что же мне теперь остается сделать? - саркастически спрашивал Вениамин. - То, что надо сделать, мне будет запрещено. Хорошо. Одного мне, вероятно, никто запретить не может: подойти на улице к какому-нибудь бравому жандарму или филеру Тутушкину и выпустить в него последнюю в своей жизни пулю. Это ведь не смешает карты нашей политической игры, Тутушкин - не Николай и не Дурново, и не Витте, это пройдет незаметно, а для меня - по крайней мере, не будет изменой всему моему прошлому. Итак, до свиданья... до моего свиданья в Петербурге с каким-нибудь... Тутушкиным.

А потом, когда ушел Савинков, и мы шли некоторое время по одной дороге с Толстым, он вдруг остановился в пустынном переулке и сказал:

- А я думаю вот что. Эти все Тутушкины или Зимний дворец, - это всё, разумеется пустяки. С террором покончено. Но одно дело, может быть, еще осталось сделать - единственное дело, которое имело бы смысл. Оно логически завершило бы нашу борьбу и политически не помешало бы. Это - взорвать на воздух всё охранное отделение. Кто может что-нибудь против этого возразить? Охранка - живой символ всего самого насильственного, жестокого, подлого и отвратительного в самодержавии. И ведь это можно бы сделать. Под видом кареты с арестованными везти во внутренний двор охранки несколько пудов динамита. Так, чтобы и следов от деятельности всего этого мерзкого учреждения не осталось...

"Чтобы следов не осталось"... Тогда я и не подозревал, какой особый смысл в этом мог заключаться для человека, чье имя Азеф сделалось несколько лет спустя нарицательным. И я только удивился тому, что обычно столь наклонный к 231 политическому реализму Толстый хочет взорвать стены здания, которое, по его же мнению, должно логикой вещей нынче утратить былое значение и силу. Увидев, что во мне он не найдет поддержки своему новому плану, Толстый недовольно замолчал.

- А всё-таки, об этом следует еще подумать, - пробурчал он: - я еще вернусь к этому проекту, он гораздо важнее, чем это может показаться с первого взгляда... Ну, до завтра.

На завтра собрались снова. Пришли более подробные сведения. Положение определялось, колебания рассеивались, в намеченной линии поведения сомневаться более не приходилось.

Все былые споры о моей поездке были кончены. Я должен был ехать в первую очередь. На меня возлагалась прежде всего миссия: немедленно по приезде в Петербург в спешном порядке организовать политическую газету - первый легальный центральный орган партии.

А тем временем, "волнуясь и спеша", я приготавливал к печати последний, прощальный номер "Революционной России". Я написал для него статью, предостерегающую против правительственного маневра и излагающую основы нашей тактики: не форсировать события, не зарываться, использовать открывшиеся легальные возможности, организовать, выйти на широкую арену массовой организации, вовлечь в движение деревню и лишь тогда выводить революцию из поверхностно-конституционной фазы в новую фазу - с широким социальным содержанием. Л. Шишко писал подробно об основах и перспективах массовой работы и массового движения. Б. Савинков должен был подвести итоги нашей боевой тактике и сказать, что сделавшие свое дело на этом тернистом пути по первому призыву партии снова готовы занять свой боевой пост. События не ждали, каждодневно приходили новые вести; и этот прощальный номер "Революционной России" вышел в трех отдельных выпусках, "возглавленных" этими тремя статьями, дополненными рядом заметок, корреспонденции и сведений из иностранных газет.

Помню последний вечер, когда я прощался с Гоцем. Я был в глупо счастливом настроении. У меня совершенно не вмещалась в мозг мысль, что я мог видеться с этим самым 232 близким мне из всех товарищей в последний раз... Я ходил по комнате, развивал всевозможные тактические, политические, литературные планы, словно пчелы, роившиеся в голове. Мы устали от бесконечных разговоров, хотели отдохнуть. Жена Гоца завела граммофон.

- Да, хорошо бы так, - сказал с непередаваемым выражением Гоц, когда я запел "Как король шел на войну", - а вот, если выйдет не "заиграли трубы медные, на потехи на победные", а совсем другое: "а как лег в могилу Стах...".

Он говорил это, применяя ко мне - ибо только что получил первые телеграммы о черносотенских погромах интеллигенции. Но не думал ли он втайне о себе? Не шевелилась ли мысль, что мы покидаем его здесь одиноко умирать на чужбине?

Я не хотел тогда об этом думать. Незадолго перед тем консилиум врачей, добравшись, наконец до истинной причины болезни - опухоли на оболочке спинного мозга, высказался за удаление ее операционным путем. Операция была необыкновенно сложная, но Гоц должен был поехать к лучшему специалисту, к какой-то мировой знаменитости, а при удаче операции впереди сияла надежда на полное выздоровление. Так надо было верить, так не хотелось, - эгоистически не хотелось, - портить собственную радость пессимизмом. Но теперь, вспоминая, я думаю, что Гоц только для нас поддакивал нашей вере, что через какие-нибудь два-три месяца он догонит нас в Петербурге. В нем жило тайное предчувствие конца, и я, слепец, не почувствовал его в этих словах: "а как лег в могилу Стах"...

И долго, долго после его смерти тяжелым камнем на сердце лежало у меня воспоминание об этом последнем вечере, когда я так занят был собой и своими планами и так мало дал самому близкому человеку, распятому на своем кресле больного и бессильному сорваться с этого кресла, чтобы перенестись в дорогую Россию, обновляемую революцией, куда он порывался всё время, говоря, что не перенесет этой жизни. Да, не болезнь и не операция, после которой он умер, нанесли ему смертельный удар, - а эти проводы нас всех, оставивших его одинокого умирать на чужбине...

... шагайте бесстрашно по мертвым телам,
Несите их знамя вперед!

233 И мы шагали... И наши шаги, как в этот день, порой - добивали смертельно раненых...

А дальше - переезд по бурному морю. Наш пароход по пути из Стокгольма в Або поздно вечером должен был войти в шхеры, бросить якорь и переждать: ночью ехать опасно. С паспортом у меня дело было неважно. Я спешил, а за спиной была серия предыдущих провалов, когда впервые возникло жуткое ощущение возможности провокации в центре, когда только что был заподозрен и почти уличен известный Татаров, имевший возможность заглянуть в материалы нашего паспортного бюро. Что было делать?

Где-то в Лондоне, у каких-то евреев-эмигрантов, ждавших отправки в Америку, было совсем недавно куплено несколько паспортов; из них по летам ко мне подходил только один паспорт, какого-то Арона Футера или что-то в этом роде. По одежке протягивай ножки, и я, со своей характерной русопетской наружностью, превратился в Арона Футера, приучая себя говорить хоть слегка с еврейским акцентом.

Но эти упражнения оказались лишними. Таможня в Або уже была преобразована дыханием революции. Осмотр моего незатейливого багажа и паспорта был пустой формальностью. На улицах Гельсингфорса мы видели "красную гвардию" капитана Кока. Русских полицейских властей не было ни видно, ни слышно. Оказалось: только завтра пойдет первый после забастовки поезд Гельсингфорс-Петербург. Недаром я летел на всех парах: у меня был свободный день, который я посвятил свиданиям с финскими друзьями активистами: супругами Мальмберг, Тидеманом, Франкенгаузером, Вольтером Стенбек и др.

Здесь на меня накинута с вопросами о Георгии Гапоне. Что у нас с ним вышло за недоразумение? В чем дело?

Из беседы я убедился, что первоначально обаяние имени и личности Гапона в Финляндии было огромно. На него готовы были чуть не молиться. А потом начались какие-то

странности.

Странен был образ жизни Гапона, совсем не "апостольский"; странны его хлопоты о передаче транспорта оружия, шедшего от нас, каким-то появившимся из Петербурга агентам большевистского центра; странно паническое бегство при первой опасности, свидетельствовавшее, как будто, о самой вульгарной трусости...

234 Гапон за границей побывал временным гостем почти во всех партиях и организациях, но нигде не "прижился" не пришелся ко двору. Дольше, чем у других, гостил он у нас, говоря, что мы не болтуны, как разные иные прочие, а люди дела; он особенно пытался сблизиться с бабушкой Брешковской и неопитом партии, крайним революционером из бывших толстовцев, кн. Д. А. Хилковым. Он проектировал вместе с ними "комитет трех" или "верховный боевой комитет", заведующий всеми видами вооруженной массовой борьбы и подготовительной к ней работы, наподобие того, как "боевая организация" заведует борьбой индивидуально-террористической. Не встретив, кроме них, ни в ком из руководящих деятелей партии поддержки и заметив нарастающее к нему скептическое отношение, Гапон уехал из Женевы в Лондон.

Там он замыслил образовать всероссийский рабочий союз, который исподволь должен заместить собою все партии. В этот момент он собирался "использовать" махаевцев, с которыми усиленно сговаривался, и находившихся под некоторым влиянием "махаевщины" максималистов; в Лондоне же он пробовал сблизиться с анархистами, захаживал к Кропоткину, просил у него письма к русским рабочим, с рекомендацией - организовать вне социалистических партий, в аполитичный чисто рабочий союз. Был он вообще человек явно себе на уме, вечно хитрил, везде толкался, всё вынюхивал, всех собирался "использовать", всех обернуть вокруг пальца, с огромной верой в свои силы, как демагога, способного "ударять по сердцам с неведомою силой" и вести за собой толпу, как послушное стадо.

В это время, после поездки "бабушки" в Америку, там были собраны большие фонды для русской революции. И, в ожидании близких событий, мы решили предпринять крупное дело по технической подготовке к будущему стихийному восстанию. Мы закупили большую партию оружия и зафрахтовали, для тайной перевозки ее в Финляндию, пароход "Джон Крафтон". Принять оружие должны были наши друзья, финские "активисты". Затем предполагалось постепенно передвигать это оружие к Петербургу. Для подготовительной работы в Петербурге и создания будущих первых кадров вооруженных рабочих, туда был послан примкнувший к партии бывший с.-д. инженер Рутенберг. Всем делом отправки оружия 235 заведывал в Лондоне Н. В. Чайковский; его правою рукою по отправке оружия, лицом, сопровождавшим транспорт, был намечен давнишний работник партии за границей, Билит.

Гапон давно кое-что знал - от "бабушки" и Хилкова - о готовящемся предприятии, и его переезд в Лондон, как оказалось, был делом тонко рассчитанным. Он усиленно вертелся около Чайковского и разнюхивал. Чайковский, сам бывший анархист (анархист особого рода, безвредный анархист, как подшучивал над ним покойный Ф. В. Волховский) и свел его с Кропоткиным.

Ловкий Гапон, подделываясь к обоим, выставлял свои будущие предприятия в наиболее приемлемом для них виде, в то же время уверяя, что от партии с.-р. он имеет полное одобрение своих планов и работает с ней в "контакте". При этих условиях ему нетрудно было быть в курсе хода работы Чайковского. И когда отправка "Джона Крафтона" стала делом ближайшего времени, Гапону вдруг понадобилось съездить в Финляндию. Там, видите ли, у него обеспечен приезд из Петербурга в Выборг делегатов от его бывших легальных "союзов"

по вопросу об их организации в новый беспартийный всероссийский рабочий союз.

Заручившись всей необходимой помощью и всеми полезными рекомендациями, Гапон приехал в Финляндию. В Выборге он увидался не только кое с кем из старых рабочих "гапоновцев", вызванных из Петербурга, но и с какими-то агентами большевистской организации. Тем и другим он обещал прежде всего - оружие. Большевики должны были это оружие перевезти в Питер и доставить "гапоновцам", получив за услуги "натурой" - часть того же оружия. Вел он себя так, что финны абсолютно не сомневались в его праве распоряжаться ожидаемым оружием. Надо думать, что не сомневались и большевики.

Всё шло гладко. Правда, появление какого-то большевика "Виктора", едва ли не цекиста, сначала удивило финских "активистов": почему большевик вместо эсера? Но, плохо разбираясь в русских партиях, они предположили, что нагруженный оружием пароход, действительно, такая серьезная вещь, ради которой естественно соглашение всех революционных организаций Петербурга. И работали вместе с приезжими, подготавливали приемочный пункт и склады.

Как известно, всё предприятие с "Джоном Крафтоном" 236 постигла неудача. Когда пароход ночью пробирался между шхерами, он наткнулся на подводные камни. Пришлось выгрузить оружие и зарыть его на ближайших островках в землю. Экипаж работал наскоро, торопясь спасать собственные головы, и притом в темноте, ничего не видя. Днем местные жители открыли следы свежих земляных работ и раскопали одну из ям. Они ожидали, очевидно, иной контрабанды. Оружие, однако, тоже было почти всё разобрано рабочей молодежью, когда на шум явились таможенные и полицейские власти. Им достались кое-какие остатки оружия и покинутое разбитое судно. Что касается Гапона, то розыски по делу "Джона Крафтона" так его напугали, что он в панике поспешил покинуть Финляндию...

Здесь же по дороге в Петербург, я узнал, что впоследствии, согласно указаниям спасшихся с "Крафтона", финнами производились поиски закопанного на соседних островах, что находки составляют часть вооружения красной гвардии.

О Гапоне я мог еще сообщить моим финским друзьям, что за самое последнее время о нем стали ходить совсем странные слухи: у него появились деньги, он кутил, играл в рулетке. Говорили, что у него завелись какие-то подозрительные знакомства. Проверить этих данных мы не успели, было некогда, но, во всяком случае, я посоветовал держаться от него подальше.

Вот, наконец, я и в Петербурге.

237

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

В Петербурге. - "Сын Отечества". - Г. И. Шрейдер и С. П. Юрицын. - Н. Ф. Анненский, А. В. Пешехонов и В. А. Мякотин. - Петербургский Совет Рабочих Депутатов. - Символический жест

Г. А. Лопатина.

В конце октября 1905 года я приехал в Петербург. В день моего приезда я попал прямо на собрание в "Русском Богатстве". После обычных взаимных расспросов и рассказов, я заявил о первой и самой очередной своей миссии: организации большой политической газеты, открыто поднимающей партийное знамя.

Я знал тогда, что газета необходима и что поэтому она будет. Но если бы меня тогда спросили, какие у меня для этого предприятия имеются уже реальные данные, ничего бы не мог сказать. У меня в тот момент для этого не было абсолютно никаких денег, не было даже

в виду опытного администратора для постановки материальной части, не было ровно ничего, кроме партийного "категорического императива": в кратчайший срок должна быть поставлена газета. Но этого было достаточно. Имя партии, в историю борьбы которой было вписано столько блестящих, героических страниц, само составляло капитал. Никто не сомневался, что деньги будут собраны. Никто не сомневался, что со всех мест России сами явятся корреспонденты, что откликнутся и сотрудники.

Обстоятельства избавили меня от необходимости "творить из ничего". Дело было так. Я воодушевлено развивал ту идею, что резкий поворот событий сделал анахронизмом прежние газеты обще-оппозиционного и обще-радикального характера, объединявшие вокруг очень общо намеченного 238 "направления" весьма пестрые литературные силы; что прежняя недифференцированность есть результат невозможности при цензуре договаривать всё до конца: всё исчерпывалось критикой, и критика всех объединяла; теперь же придется до конца выявлять положительную программу, и на этом многим, доселе маршировавшим в ногу, придется разойтись.

Газетам, пытающимся сохранить былой неопределенный или "коалиционный" характер, я предсказывал потерю влияния и общий упадок. Когда отсюда я вывел, в частности, необходимость создания новой, открыто эсеровской газеты, меня с обиженным видом прервал Е. Ганейзер. Он спросил меня, неужели я считаю чужою себе газету "Сын Отечества", которую, как будто, странно обойти, когда речь идет об открытом развертывании нашего знамени в прессе.

Я отвечал, что, конечно, считаю этот орган самым близким по направлению из всех органов прессы; но в нем при прежних цензурных условиях работали не только народники, а и народолюбиво настроенные либералы; и я не знаю, пожелает ли руководящая группа газеты предпринять радикальное ее переустройство, не связано ли это будет для нее с слишком большою внутреннею ломкой. Но, разумеется, если намерения тех, кто является душою газеты, идут по той же линии, что и мои, - я даже не могу себе и представить ничего лучшего.

Таким образом, из области чисто отвлеченной разговор сразу стал на вполне конкретную и практическую почву. Меня очень сильно поддержали В. А. Мякотин и А. В. Пешехонов, которые чувствовали, что "Русскому Богатству" всё труднее поспевать за событиями и вопросами дня. Им было ясно, что теперь журнал будет отодвигаться на задний план газетой, а они слишком были полны политического активизма, их тянуло в газету. Их и мои высказывания совпали, хотя мы предварительно совершенно не сталкивались. Да ведь я с ними почти и не был знаком. С Пешехоновым, тогда еще неизвестным никому земским статистиком, я в 1894 году несколько дней сидел в Пречистенском полицейском доме, после арестов, произведенных по всей России по делу о возрожденной "группе народовольцев" и новосозданной Партии Народного Права; а потом его и Мякотина я один раз видел в "Русском Богатстве", куда меня, тогда начинающего сотрудника, 239 пригласил Н. К. Михайловский при моем проезде из Тамбова за границу.

На следующий день я был на квартире у Мякотина. Накануне вышло как-то так, что мы говорили в один голос, и Ганейзеру должно было показаться, что я, Мякотин и Пешехонов составляем вполне спешившийся коллектив. А между тем дело было совершенно не так, и нам нужно было многое выяснить, чтобы договориться до конца между собою.

Накануне Н. Ф. Анненский, благодушно слушавший наши согласные речи, отечески благословлял нас на новое поприще.

- Ну, что же, - сказал он, - так и надо. "Русское Богатство", как орган общетеоретиче-

ский, может и должен оставаться в более широких рамках "направления"; тут никакой ломки не нужно; мы, старики, при нем и останемся, нам за вами не угнаться; ну, а нашу молодежь (он указал на Мякотина, Пешехонова и Петрищева) мы благословим выплыть в открытое море ежедневной политической прессы, под условием, что и своих обязанностей по отношению к журналу они забывать не будут.

Мне пришлось, однако, идя к Мякотину и потом договариваясь с ним, вспомнить, что Н. Ф. Анненский к одному пункту в нашей программе относился всегда осторожно. Об этом, будучи за границей, он беседовал долго и серьезно со своим старым знакомым М. А. Натансоном.

Он говорил, что в нашей тактике есть ахиллесова пята: это наше отношение к аграрному движению, специально к его захватническим тенденциям. Он нас подозревал в простом приятии этих тенденций и считал его крайне опасным. Он настаивал на том, что перетасовка земельных отношений должна произойти исключительно в законодательном порядке.

Мы в своих речах и писаниях не раз обращались к примеру Великой Французской Революции, где законодательной отмене феодальных повинностей, знаменитому акту отречения дворянства генеральных штатов от своих былых привилегий, предшествовала фактическая аграрная революция, штурм деревенских Бастилий и уничтожение документов, фиксировавших мужицкие обязательства и повинности. Это "прямое действие" допускалось нами и в условиях русской жизни; оно должно было подстегивать будущую Думу или парламент, если они будут упираться.

"Это неправильно, 240 говорил тогда Анненский, - это означает сделать лишней творческую законодательную работу, превратить парламент в машинку для прикладывания штампа к тому, что сделает сама стихия. Но стихия снизу не может осуществить скольконибудь рациональной земельной реформы; она может только беспорядочно расхватать землю: с этим нужно по возможности бороться и ни в коем случае этому не потакать". Я отвечал тогда Анненскому, что земельные захваты есть несомненное зло, что они могут довести до поножовщины. Однако, "прямое действие" в этой области, во-первых, совершенно неизбежно, так что просто "переть против рожна" - дело почти бесплодное, и что надо ставить вопрос о приемлемых и неприемлемых формах прямого действия; а, во-вторых, прямое действие в известных формах и допустимо, и не вредно.

Партия может рекомендовать: без насилий над личностью помещика и его семьи выдворение их из имений, уничтожение документов на право владения, снесение межевых столбов и объявление земли перешедшей к народу, причем ее правильное распределение должно произойти согласно новому будущему закону.

Сейчас, в частном разговоре с Мякотиним, мне пришлось снова затронуть этот вопрос. Мякотин пробовал сначала развить передо мной следующую аргументацию: "Явочный порядок" или захватно-революционное право для нас приемлемо исключительно там, где идет речь о правах и благах не вещественного характера. "Прямым действием" можно и должно добывать право свободно говорить к народу, выпускать без цензуры книги и газеты, исповедывать свою веру, уходить с фабрики по истечении стольких-то часов работы, отстаивать неприкосновенность личности. Но там, где право или притязание становится имущественным, вещественным, материальным, - ставить законодательство перед фактом недопустимо. Ибо поставить перед фактом здесь значит что-то осязательное из рук одного передать в руки другого. А здесь произвол не революционен. Ибо свободы и т. н. невесомые блага могут быть общедоступны, как воздух, и здесь захват никого не ограничивает в правах; веществен-

ные блага ограничены по числу и потому здесь явочный порядок, утверждая права одного, тем самым исключает права других".

Я на этот раз пытался выяснить Мякотину то, чего не сумел 241 выяснить Анненскому Натансон. Я различал между "захватом" и "явочным порядком действия" или постановкой законодательных учреждений перед совершившимся фактом, ибо "факт" может быть ведь и чисто негативным: фактическим уничтожением старых прав помещика, с отсрочкой утверждения и точного определения новых прав до соответственного законодательного акта. Мне было тем легче это сделать, что незадолго перед тем Пешехонову пришлось встать лицом к лицу с проблемой аграрных беспорядков; как ум по преимуществу практический, он стал искать, в какую сторону с надеждой на успех можно повернуть крестьянское движение, чтобы избежать безобразных и вредных эксцессов. И он сформулировал лозунг: "не грабьте, не уничтожайте, не жгите, не расхватывайте... берите во временное управление". Но это и был иными словами выраженный наш лозунг.

С помощью этой спасительной ссылки на Пешехонова мне удалось ликвидировать с Мякотиным первое затруднение. Мы перешли ко второму.

Мякотину очень понравилась моя настойчивость в требовании от ежедневной политической прессы выступлений под открытым забралом. Это - говорил он - есть первый шаг к переходу от нелегальных, подпольных конспиративных партий к партиям открытым, делающим всё гласно. Нелегальная партия всегда сбивается на тайное общество, на замкнутый кружок заговорщиков, конспираторов. А при таком положении нет и не может быть ни настоящей ответственности, ни настоящего контроля. Контроль в закрытом кружке - не контроль; ответственность не может быть анонимной, а подполье всегда анонимно. Когда ворота в партию будут открыты для всех, приемлющих программу, - только тогда, - будет истинный контроль. Без контроля и ответственности нет настоящей демократичности. Вот почему подпольная организация не может быть демократизирована. И т. д. и т. д.

Мне и на ум не пришло с чем-нибудь здесь спорить. Всё это мне казалось азбукой. "Разумеется, - говорил я, - подполье наше проклятие".

Мы с Мякотиным как будто с разных сторон и разными аргументами подходили к одному выводу. Он не возражал мне, хотя идея о будущей единой - включая социал-демократов - социалистической партии не возбуждала в нем особого 242 энтузиазма; то, что для меня было широкой увлекающей перспективой, для него, по-видимому, было беспочвенной "музыкой будущего".

Мякотин поставил вопрос, как я представляю себе переход от партии нелегальной к партии открытой? Я ответил, что всё зависит от обстоятельства и от дальнейших успехов или неудач революции. Сначала надо попытаться издание открытого партийного органа печати. Затем возможно образование каких-нибудь публичных клубов, может быть, какой-нибудь гласной "лиги" или "общества", или даже нескольких обществ, которые послужили бы легальной ширмой для многих, даже для большинства отраслей деятельности партии. Надо нащупывать почву во всех направлениях. А при благоприятном развитии событий можно попытаться и партии, как таковой, выступить в качестве партии гласной, ведущей свою работу публично, и для всех желающих - открытой.

По-видимому удовлетворенный этим разъяснением и, во всяком случае, не возражая против них, Мякотин вынул из письменного стола небольшой корректурный листок и попросил прочесть его. Листок был озаглавлен, помнится, так:

"Заявление. От группы писателей народно-социалистической партии" (а, может быть,

"народно-социалистического направления"). Составлено оно было в выражениях очень общих и ни в какой мере не походило на программу новой партии. Это была скорее характеристика направления - социалистической части тогдашнего русского народничества. Пробежав документ и отметив в уме ту осторожность, с которой в ней формулированы самые общие положения, я сказал, что возражений по существу не имею и что этот документ, возможно, для многих сочувствующих нам литераторов был бы полезным первым шагом к политическому самоопределению.

Мякотин упомянул, что в первые дни после 17 октября они решили было выступить с этим заявлением открыто, за подписями, но по каким-то обстоятельствам это замедлилось, теперь же, может быть, теряет свой смысл. Раз мы выступим под открытым забралом в газете, притом с участием целого ряда новых в легальной литературе, частью заграничных эсеровских сил, то этим сразу будет продемонстрировано больше, чем содержалось в первом опыте некоторого политического самоопределения группы чисто-легальных литераторов, о партийной принадлежности которых раньше можно было только гадать.

А потому он полагает, что этот корректурный листок так и останется корректурным, памятью об одной из вех на пути, слишком быстро пройденном для того, чтобы специально на ней задерживать общее внимание. Мимоходом Мякотин упомянул, что в числе 7 или 8 членов инициативной группы, составлявшей "заявление", был и главный редактор "Сына Отечества", Гр. И. Шрейдер, с которым нам предстоит сговориться о реформе газеты.

В этот и следующий день я успел побывать на дому и у А. В. Пешехонова, и у Н. Ф. Анненского. Говорили всё о тех же вопросах, причем мне показалось, что мои собеседники несколько ежаты от названия "социалист-революционер". Н. Ф. Анненский мимоходом сказал, что это название великолепное, прекрасно выражающее нашу духовную сущность в эпоху самодержавия, но что теперь, если суждено упрочиться эре политической свободы, нашей партии придется, вероятно, переменить название, так как в обстановке демократической государственности все проблемы социализма становятся эволюционными. Я возражал, что в современном мировом рабочем движении революционному социализму противостоит социализм реформистский, нашедший себе яркое выражение в мильеранизме.

Его принципиальный эволюционизм нам чужд. Мы остаемся и в демократической среде партией революционного социализма, ибо никогда не втиснем себя в прокрустово ложе легализма во что бы то ни стало и никогда не откажемся от священного права всякого народа на революцию.

Тем временем Е. Ганейзер переговорил уже со Шрейдером и между нами состоялось первое свидание. Судя по отзывам Мякотина, Пешехонова и Анненского, я ожидал встретить человека с расплывчатыми воззрениями, которого, может быть, отпугнет слишком определенная постановка всех вопросов в партийной идеологии и программе. Действительность готовила мне приятный сюрприз.

Григорий Ильич Шрейдер с самого начала произвел на меня впечатление исключительной личной мягкости и глубокой внутренней деликатности; но это не была слабость. Напротив, под этими внешними свойствами скрывалась большая внутренняя твердость. Ни убеждать, ни склонять Г. И. Шрейдера ни к чему мне не пришлось. Он без нашей аргументации сам пришел к сознанию того, что газету надо поставить на совершенно новые рельсы. Для него было ясно, что надо "раскрыть все скобки". И он принимал реформу газеты со всеми ее последствиями. Не боялся он и "страшной" клички - "социалист-революционер".

- Этого тоже не надо пугаться, - говорил он: - весь вопрос в известном педагогическом

такте. Дайте только содержание раньше слова; разверните программу - всю программу. Когда читатель ее поймет и полюбит, он не испугается никаких слов. Конечно, если поступать наоборот, если сразу огорошить страшным словом, это родит предубеждение, а, может быть, даже оттолкнет от дальнейшего чтения газеты. Этого надо избежать.

Ценность "Сына Отечества" потому для партии особенно и велика, что он уже имеет за собой огромную, завоеванную газетой аудиторию. Но эта аудитория наша политически неопытна. Она тянется ко всему лучшему, но ощупью, не зная, к чему идет. Поэтому надо не скакать прямо к конечным выводам и при том самым острым, а готовить сначала почву. Сумейте поставить так дело, и вся эта аудитория станет ваша, и никто ничем ее от вас не отпугнет...

Найдя во мне полное сочувствие этим своим мыслям, Гр. И. Шрейдер еще горячее заговорил:

- Я хотел бы захватить именно массы, поднять настоящую целину. Сейчас потребность в политическом образовании пробивается во всех самых глухих углах. Вот почему я не меньшее значение, чем основному "Сыну Отечества", придаю его маленькому удешевленному изданию. При большом "Сыне Отечества", используя часть его материала, очень легко вести и "малый", но сообщив ему характер совершенно популярной народной газеты. Здесь аудитория еще шире, еще непосредственнее и в известном смысле еще благодарнее. Если нам только дадут несколько времени поработать, - вот, где можно будет сделать огромное дело.

Итак, всё шло, как по маслу. Мы уже условились об общем заседании нас, новопоступающих, с главными литературными "аборигенами" газеты. Там надо было окончательно всё вырешить и формально организовать новую редакцию.

245 Я известил об этом Мякотина и Пешехонова. Как вдруг, за какой-нибудь час до срока, я был экстренно вызван ими и застал их вместе с Н. Ф. Анненским, очевидно, после какого-то довольно острого спора. Анненский выглядел взволнованным, утратившим свою обычную веселость. Пешехонов и Мякотин были явно расстроены и даже как бы растеряны...

Анненский не замедлил изложить мне суть дела.

Он упрекал меня и моих партийных товарищей в том, что мы, предпринимая такой важности дело, как постановка большой ежедневной политической газеты, и намереваясь воспользоваться из "Русского Богатства" такими крупными силами, как Мякотин, Пешехонов и, быть может, еще Петрицев, обошли журнал, как таковой, как солидарную коллективную единицу.

Я удивился: мы никого не хотели и не хотим обидеть. Весь разговор был начат на большом, расширенном редакционном "Четверге". Никто другой, как Н. Ф. Анненский благословил нас троих на газетное дело. И он же высказался так: газета пусть будет открыто партийной, но журналу лучше остаться органом более широкого, чем какая бы то ни была партия, направления. Но если так, как мог же я привлекать его к чисто партийному делу? Всякую такую попытку я считал бы со своей стороны неловкостью, как бы давлением на журнал в сторону его реформы, аналогичной реформе "Сына Отечества"...

Анненский возражал решительно и настойчиво. Да, "Русское Богатство" остается органом направления, но дело не в изменении им своей позиции, а в его активном участии в пересоздании "Сына Отечества".

Я говорю о "партии"; но что такое партия и кто - партия? Я отождествляю ее с известной нелегальной организацией плюс заграничная эмиграция; но это только часть партии, и

нельзя часть подставлять вместо целого. А кто является создателем партии? Я должен согласиться, что "Русское Богатство" было для нее главным идейным воспитателем и главной теоретической лабораторией: и если бы случилось так, - чего, впрочем, нет, и чего не дай Бог, - что группа конспиративных руководителей и группа "Русского Богатства" разошлась между собой, то неизвестно, за кем оказалась бы партия...

Я вдруг почувствовал, что между нами есть какая-то огромная, доселе незамеченная недоговоренность, которая, 246 быть может, скрывает за собой пропасть. Во всяком случае, мне сразу показалось, что Н. Ф. Анненский, при всём своем огромном и трезвом уме, здесь страдает литературщиной, наивным эгоцентризмом столичных журналистических кружков, не заметивших, как в скрытом от их глаз "подполье" выросла огромная "самозаконная" сила, идущая своими путями мысли и действия так, что за ней не угнаться самым почетным журнальным и легально-общественным авторитетам.

Я, однако, вовсе не хотел становиться в споре на эту почву. Я ответил, что готов столковаться с кем угодно; я понимаю, что Мякотин и Пешехонов, члены коллектива "Русского Богатства", действовать сепаратно не могут; но я думал, что они уже имеют от коллектива карт-бланш. На меня всё это свалилось теперь, как гром с ясного неба; а между тем, менее чем через полчаса в редакции "Сына Отечества" соберутся все ближайшие сотрудники и будут ждать нас для окончательного формального разговора, для организации и приступа к делу. Как же теперь быть?

Анненский ответил вопросом: а как же теперь быть в "Русском Богатстве", когда послезавтра приезжает В. Г. Короленко и когда всякий, естественно, может поставить вопрос: как могли мы не пожелать даже выслушать его голоса в таком огромном вопросе, чувствительно задевающим как интересы "Русского Богатства", так и вообще интересы общего дела?

Я знал Короленко, как литературную и моральную величину, но его политический облик был мне недостаточно ясен. Здесь из разговоров, для меня его позиция постепенно выяснилась.

Это - не политик. Это большая моральная сила, культурник, гуманист, всё, что хотите. Но, как культурник, он близок к "освобожденцам" не меньше, чем к народным социалистам "Русского Богатства". "Освобожденцы" даже всячески пробовали затянуть его в свою организацию, выставляя себя не столько партией, сколько какой-то универсальной организацией "всенародной оппозиции". И вот теперь, после такого решительного шага влево Пешехонова и Мякотина, какая-то другая, непартийная часть "Русского Богатства", может не то отколоться и уйти, не то наделать внутренних затруднений, и в это может быть запутан В. Г. Короленко.

Я готов был чем угодно помочь "Русскому Богатству" 247 в этом затруднительном положении, но не представлял себе, чем же именно я помогу. И вот здесь-то Анненский развил целую аргументацию, для меня в практических выводах новую.

- Всё это, - говорил он, - частности. Вопрос шире и глубже. Он заключается вот в чем. Мы, народные социалисты, социалисты-революционеры, - дело не в названии, - делимся на две части: подпольную и надпольную. Они не в равных условиях. Подпольная партия организована, имеет свои съезды, конференции, местные и центральные комитеты и т. д. Надпольная же партия неорганизована.

Вот и выходит, что решали, решают и будут всё решать - те, кто организован. Надпольные же будут или используемыми одиночками, - как Пешехонов и Мякотин, - либо совсем обойденными зрителями, как остальная часть "Русского Богатства". Этому должен быть по-

ложен конец. Способ для этого только один. Должна быть организована открытая для всех партия. Инициативу возьмет на себя хотя бы группа "Русского Богатства". Старая, нелегальная партия должна дать возможность всем своим членам - кроме тех, которые ей нужны для специальных, несовместимых с легальной работой целей - войти в эту открытую партию. Все общеполитические вопросы и все предприятия обще-публичного характера, - в том числе вся политическая пресса, - переходит в ведение этой гласной партии.

Нелегальная существует за ней или около нее, как подсобная по существу, но совершенно автономная организация технико-революционного характера. Это будет тайное общество, без программы, без прессы, может быть, с публикациями по поводу отдельных своих конкретных чисто-революционных действий. К этому необходимо приступить немедленно. При таком положении легко разрешить вопрос "Сына Отечества" - ясно, что он будет органом гласной открытой партии.

Я должен был выразить свое изумление. Как, нам предлагают целый организационный переворот, как будто его можно решить в один присест, как будто несколько человек вправе решать его за всю партию! Поистине надо иметь об ее внутренних распорядках совершенно фантастическое представление. Практичность того, что нам предлагается, более чем спорна. Весь проект зиждется на молчаливом 248 предположении, что общественное и народное движение достигло прочной победы, при которой нет возврата к прошлому, и возможно создание настоящих европейских политических партий. Я же склонен скорее сделать из своих наблюдений иной вывод. Положение в высшей степени непрочно.

Правительство фактически сильнее, чем оно само думает. Мы гораздо слабее, чем кажемся. Это положение каждую минуту может завершиться контрреволюционным ударом. При таких условиях мы рискуем, производя организационную революцию, старую партию разрушить, а новой не успеть создать. Я предложил бы другое.

Пусть "надпольная" часть организуется. Но не в новую "партию" с новой "программой" и "тактикой" - ибо из этого может выйти лишь раздвоение, а затем, помимо нашей воли, трения, соревнование и раскол, - а пока в какой-нибудь другой форме: какой-нибудь "Союз", "Общество", "Лига". Сразу безупречной формы сочетания обеих частей найти нельзя, но мы готовы пойти навстречу правам "надпольной" части. Можно найти формы негласного представительства мнений и интересов легальной организации в партийных центрах. Мы даже и сейчас, пока еще надпольной организации не существует, готовы из ее будущего инициативного ядра, во избежание разнобоя в будущем, широко кооптировать в наш Центральный Комитет. Тут можно найти, если подумать, какие угодно гибкие компромиссные формы. Но предрешать сейчас ликвидацию подпольной партии, оставление из нее лишь какого-то технико-боевого обломка и построение партии заново на легальной базе - немислимо. Это головоломный эксперимент при обстоятельствах, делающих его прыжком в неизвестное. Во всяком случае, единым духом такие вещи не делаются. А ставить дело "Сына Отечества" в зависимость от предварительной всесторонней нашей организационной революции это значит срывать неотложное практическое дело ради спорных проектов.

Анненский в ответ снова обрушился на органические дефекты подполья и на невозможность их исправления путем поверхностных заплат. Я признавал все преимущества открытой партии, когда для этого созрели объективные условия, но безусловно отвергал, как авантюру, всякое "легализаторское импровизаторство" на песке. Спор затягивался, мы уже начали повторяться.

Мы уже опоздали на собрание, вся редакция 249 "Сына Отечества" должна была более

часу быть в сборе и ожидать нас, ничего не подозревая. Я категорически предложил - или идти туда и продолжать выполнение намеченного ранее, как будто без всяких разногласий, плана, или честно сказать редакции "Сына Отечества", что мы поступили необдуманно и сделали ей конкретные предложения, не взвесив достаточно положения и не столкнувшись между собою. В конце концов, за последнее никто высказаться не мог. Мы пошли.

В редакции "Сына Отечества" былолюдно. Налицо были все заведующие отделами. Помню издателя, С. П. Юрицина; помню заведующего "обзором печати" М. Ганфмана-Ипполитова; фельетониста Александра Яблоновского; работавших в иностранном отделе Головачева и талантливого карикатуриста В. Каррика; Ганейзера с его женой Юлией Безродною; заведующего военными вопросами офицера, фамилию которого запомнил; были и еще какие-то лица. Нас уже давно ждали, и как только мы трое расселись и перезнакомились с присутствующими, вступительное слово взял занявший место председателя Гр. И. Шрейдер, пользовавшийся, видимо, среди собравшихся большим авторитетом и вполне заслуженным: в его большом редакторском таланте и техническом опыте газетного дела мы вскоре все смогли убедиться на деле.

Он заявил в очень мягкой форме, но по существу очень твердо, что теперь, когда над прессой более не тяготеет проклятая обязанность недоговаривать из-за страха цензуры, каждой газете необходимо занять ту или другую совершенно определенную партийную позицию.

"Сын Отечества" был органом народническим и стоял на крайнем левом фланге прессы. Соответственная этому организованная политическая сила левонародническая - называется партией социалистов-революционеров. К ней тянулись все симпатии левонароднических органов, но печать оставалась в надпольи, политические борцы - в подпольи. Они разлучены, связь между ними была чисто духовной, моральной. Ныне открылась возможность связи непосредственной; партии выходят наружу. Со своей стороны печать захватным порядком превратила все запретные темы в темы доступные. Он счастлив, что в нашем лице газета получает соединительное звено с борцами, подготовлявшими исторический праздник освобождения.

Все 250 основные работники газеты уже предупреждены о предстоящей реорганизации газеты. Вновь вступающие лица - трое присутствующих и четвертый, имеющий вскоре приехать Н. С. Русанов, возглавляют собою основные отделы; вместе с Гр. И. Шрейдером они будут составлять главный редакционный комитет. Но и труд всех прежних работников газеты нужен, и материальное положение их останется прежним.

Затем высказался издатель С. П. Юрицын. Он всецело поддержал Гр. И. Шрейдера, подчеркивая необходимость более резкого боевого тона, обуславливаемого характером переживаемого момента. Говорил он немного, короткими, красиво построенными фразами.

Из остальных сотрудников первым стал говорить М. Ганфман-Ипполитов. Он в чрезвычайно корректном и доброжелательном тоне приветствовал реформу газеты. Сейчас происходит то, что лежит в природе вещей. Принятие более определенной политической позиции, вплоть до партийной принадлежности, неизбежно. Хорошо, что "Сын Отечества" нашел свою партию, а партия нашла свой орган. Но его, Ганфмана, собственная позиция значительно правее. Он искренно желает новому составу полного успеха на пути, по которому лично он не может за ними последовать.

М. Ганфман был умным и ценным сотрудником. О его потере жалели. Он вел обзор печати и писал передовые, Он был очень хорош в полемике со всей правой прессой. Но теперь

зарождалось множество левых, в том числе социалистических газет. В откликах на их высказывания, Ганфман, самоопределявшийся, как кадет, - неизбежно разошелся бы с нами. Кто-то предложил тогда разделить обзор печати на две части: правую прессу оставить за Ганфманом, левую передать мне. Я без малейших колебаний согласился, но Ганфмана, по понятным причинам это не устраивало. И он всё с той же твердостью, смягченной выражениями искренней доброжелательности к газете, отклонил это и все подобные компромиссные предложения.

Было заметно, что это заявление Ганфмана, при всей его мягкости и корректности, деморализующе подействовало на многих из сотрудников. Сразу появились колебания и какой-то внутренний испуг у фельетониста Яблоновского. Но что всего более нас удивило, так это резкая перемена позиции 251 у Ганейзера.

Он, с таким жаром ухватившийся за идею "сосватать" нас с "Сыном Отечества" и энергично действовавший для устранения всяких препятствий, вдруг проявил чрезвычайное беспокойство и поставил нам много всевозможных вопросов для выяснения нашей позиции. Мякотин, Пешехонов и я держали "единый фронт". По нашим высказываниям никто бы и не подумал, что мы только что чуть-чуть не разошлись совсем в разные стороны. Правда, и задаваемые нам вопросы как-то совершенно не попадали в "больные места", а счастливо проходили мимо них.

Помню, одним из главных вопросов было отношение к стачечному и демонстрационному пылу тех дней. Должно быть, тем из редакции, кто страдал психологией "испуганных интеллигентов", казалось, что именно - представитель вчерашнего подполья должен непременно стремиться во что бы то ни стало форсировать события и лезть напролом. Мои ответы должны были поставить их в полное недоумение.

Дело в том, что когда я успел немножко ориентироваться в происходящем вокруг, я нашел положение крайне непрочным. Чем дальше, тем больше мне казалось, что главная наша сила в слабости, в растерянности правительства. После всеобщей забастовки правительство вконец растерялось и страшно преувеличило силы революции. Это для нас было выгодно, и это надо было использовать для организационной работы, чтобы как можно скорее уменьшить роковую диспропорцию между представлением правительства о наших силах и действительным состоянием этих сил.

Вот почему мне тогда и думалось: прежде всего и больше всего избегать форсирования событий! Если мы захотим "добивать правительство", как гласил один из брошенных тогда в массу лозунгов, то правительство от растерянности может перейти к мужеству отчаяния: и тогда неизбежно окажется, что оно, в сущности, гораздо сильнее, чем само думает, а мы - гораздо слабее, чем кажемся.

Поэтому нужна огромная осторожность в нападении, но зато самый широкий размах, самое большое дерзновение в организационных начинаниях. Особенно же важным, конечно, казалось мне и моим товарищам перенести движение из городов в деревни, захватить крестьянство, сделать реальной силой едва начавшийся формироваться Всероссийский Крестьянский Союз. Надо - 252 рассуждали мы лихорадочно собирать силы. Рано или поздно, правительство всё равно оправится и попытается взять назад то, что дало. Чем дальше удастся нам отсрочить этот момент, тем больше накопится у нас сил, чтобы отразить неизбежный контрреволюционный натиск. А потому тактика ни в коем случае сейчас не должна быть агрессивной. Надо удерживать уже завоеванные позиции, надо выиграть время. Мы должны импонировать "спокойствием уверенности", не выдавать своей слабости в данный момент и

больше всего спеша - вырасти, для чего у нас возможности колоссальные. Всё прочее приложится.

Я успел незадолго до того побывать в Совете Рабочих Депутатов. Там, к моему ужасу, я увидел в полном ходу совершенно расстраивавший эти планы проект - явочным порядком осуществить на всех петербургских фабриках и заводах восьмичасовой рабочий день. Начать такое дело, опираясь на организацию, возникшую без году неделя, не успевшую еще окрепнуть, да притом и приниматься за него без всякой подготовки, вдруг, - не значило ли это идти на авантюру, возлагая все надежды на какое-то стихийное и все выручающее "наитие революционного вдохновения".

С этим глубоко-скептическим настроением взял я в первый раз слово в Совете Рабочих Депутатов, чтобы призвать к осмотрительности, к более последовательной и выдержанной тактике вместо дерзких революционных импровизаций. Я подробно старался показать, какая разница между французским прототипом завоевания восьмичасового рабочего дня методами "прямого действия" и его предполагаемой российской копией; я пытался направить внимание Совета на другое: на рассылку по всей стране рабочих депутатий, чтобы повсюду вызвать к жизни "советы", подобные петербургскому.

Мои соображения выслушивались со стороны значительной части собрания, - и мне казалось, как раз со стороны интеллигентской социал-демократической его части - более, чем холодно. Была ли это партийная предубежденность (что может быть доброго из Назарета?) или еще что - не знаю, но мне не дали и докончить моей речи. Вдруг в зал вошла большая группа лиц, окружавших знакомые мне фигуры Льва Дейча и Веры Засулич; из президиума было заявлено, что только что прибыли эти старые, заслуженные борцы за дело 253 освобождения труда и потому все текущие дела и речи прерываются для их торжественного приёма. Начались приветственные речи, овации, возгласы... В атмосфере энтузиазма потонули все мои призывы к более обдуманной тактике.

Весь полный еще свежих впечатлений от этой своей неудачной попытки, я охотно использовал повод, чтобы развить перед редакционным собранием "Сына Отечества" свои мысли о наиболее целесообразной тактике в данный период революции. Политически-уравновешенным элементам этого собрания они пришлось как раз ко двору. Я заметил, что особенно Мякотину и Пешехонову моя позиция чрезвычайно понравилась: их мысль, видимо, работала в том же направлении. Они горячо поддержали меня, и ослабленный недавним инцидентом контакт снова налачился: опять у нас было полное "единство фронта", опять полное взаимное понимание и взаимная поддержка. В создавшейся таким образом благоприятной обстановке удачно сошло дело и со вторым вопросом, обращенным к нам со стороны собрания.

Этот вопрос исходил от "военного обозревателя" газеты. Его интересовало, как партия смотрит на работу среди армии. Думает ли она бережно относиться к ее единству, ценя в ней орудие защиты родины от внешнего врага, или же, в интересах революции, думает восстанавливать солдат против офицеров и подрывать дисциплину?

Я отвечал, что разумеется, нашим заветнейшим желанием является - привлечь армию к переходу на сторону народа; если возможно целиком, с офицерами во главе; это лучшее, о чем только можно мечтать. Я указывал, что партия стремится не только распропагандировать нижних чинов. Нет, она стремится создать и организации офицерские. Я упомянул о традиции декабристов и народовольчества.

Сказал, что в организационном отношении сейчас, пожалуй, мы среди офицерства ра-

ботаем даже больше, чем среди солдат, ибо солдатские массы организовать трудно, приходится ограничиваться лишь пропагандой и агитацией. Я не скрыл, однако, что поскольку офицерство, исполняя приказ свыше, выполняет свои командные функции в деле усмирения крестьянских или рабочих волнений мы, разумеется, не можем отказаться от проповеди неповиновения, и в этом смысле - взрывания воинской дисциплины.

254 Наш офицер остался, конечно, неудовлетворенным. Он, как выяснилось из дальнейшего обмена мнений, готов был тоже примкнуть к революции, но под условием, чтоб она овладевала солдатами не иначе, как через офицера. Личная популярность офицера, полное доверие к нему и преданность ему - вот что должно привести солдата на сторону народа. Спорить не приходилось: это было, конечно, сообразнее с традициями декабристов, чем наша тактика, исходившая из революционирования низов. Массовое начало в революции враждебно сталкивалось с военным "революционным аристократизмом". И военный обозреватель "Сына Отечества" был только последователен, когда заявил о своем уходе по невозможности для него примириться с нашей постановкой дела.

Кто-то, может быть, даже я сам, попробовал ему указать, что этих вопросов в газете дебатировать не придется, так что с чисто газетной точки зрения разногласие не существовало. Но наш военный оппонент заявил, что для него это вопрос принципиальный и что он не будет работать в органе, обслуживающем партию, работа которой, с его точки зрения, не может не разлагать армию.

Итак, к будущему кадету Ганфману прибавился еще один уходящий. Это подействовало на колеблющегося Яблоновского. Он окончательно объявил о своем уходе. Ганейзер и Юлия Безродная, видимо дезориентированные, пока помалкивали; они, как будто, начинали раскаиваться в том, что сделали; но от инициативы в деле нашего объединения к прямому отказу переход был слишком крутой и для слабых людей невозможный. Но уже чувствовалось, что их отпадение - дело времени. А затем оставалась кое-как улаженная - скорей лишь отсроченная рознь в нашей собственной среде. Мякотин и Пешехонов были в весьма важных вопросах "при особом мнении". За будущие отношения с ними я не был спокоен; и, как оказалось, недаром. Правда, зато со стороны Г. Шрейдера и С. П. Юрицына я встретил гораздо больше, чем у них, тяги к партии; это было приятным сюрпризом; их и потом было много.

Так или иначе, дело было благополучно доведено до конца. Партия получила ежедневный орган печати, с прекрасной репутацией, с готовой многочисленной аудиторией и притом как раз с той, какая ей была нужна.

255 Тотчас же к газете стали подтягиваться литературные работники из партийных эсэров. Не без некоторых колебаний в состав редакции вошли В. А. Мякотин и А. В. Пешехонов. Последний, в частности, взял на себя ведение маленького народного издания "Сына Отечества"; это второе сокращенное популярное издание, с лозунгом "Земля и Воля", напечатанном такими крупными буквами, что эти слова казались настоящим именем газеты, велось, кстати сказать, А. В. Пешехоновым с редким умением.

Как-то раз - это было в конце 1905 г. - я сидел в редакции "Сына Отечества". Мне сообщили, что меня хочет видеть недавно освобожденный из Шлиссельбурга Г. А. Лопатин. Нет нужды говорить, с каким чувством встретил я этого ветерана, о котором я так много знал, но кого увидеть пришлось в первый раз. Он передал мне в подробности всё, что "старички" вынесли из свиданий с Гершуни, и всё, что сам он просил передать нам.

"А, кроме того, - сказал он, - у меня к вам есть свое особое дело. Когда я был в последний раз схвачен на улице (в 1884 г.), я, как вы, наверное, знаете, возглавлял приехавшую из

заграницы для восстановления Народной Воли ее временную Распорядительную Комиссию. В моем распоряжении был положенный на чужое имя в банк остаток ее фондов. Я его теперь получил: вот он. А вот и расчет банка о вложенной сумме и наросших за это время на нее процентах.

Как только передо мной и товарищами, с которыми я мог посоветоваться, встал вопрос, куда девать эти суммы, ответ был единодушный: деньги эти по праву принадлежат Партии Социалистов-Революционеров, как подлинной и бесспорной продолжательнице Народной Воли. Сумма невелика, все масштабы и вашей работы и вашего бюджета бесконечно превысили масштабы наших времен. Я сдаю ее в ваши руки: это для нас вопрос принципа, никакими деньгами не измеряемого"...

Эту встречу я пережил, как историческое событие. Я поднялся, мы с Лопатиным обнялись и расцеловались.

256

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

В Петербурге. - Н. Д. Авксентьев и И. И. Фондаминский. - Разногласия в ПСР. - Первый съезд партии. - Перводумье. - Наша печать. - Д. И. Гуковский. Смерть Михаила Гоца. - Абрам Гоц в Б. О. - Побег Гершуни. - Азеф и генерал Герасимов. - Партия и

Б. О. - Гершуни на съезде в Таммерфорсе. - Гершуни, Азеф и Савинков. Смерть Гершуни.

Чуть ли не на второй день после моего приезда в Петербург я опять встретился с Н. Д. Авксентьевым и как-то сразу подружился с ним. Тогда, в расцвете нашей дружбы, Авксентьев и его большой друг Илья Фондаминский, только что выдвинулись на фоне знаменитой, либеральной общественностью начатой "банкетной кампании", предшественницы первой всеобщей стачки, - выдвинулись, как два совершенно первоклассных оратора. Более юные и неопытные слушатели больше поддавались интимно-задушевному интонациями речей Бунакова (Фондаминского), касавшимся самых чувствительных струн их сердца: другие, более требовательные, ставили выше стройную и неуклонную логику речей Авксентьева. Он искусно владел словом, но не давал слову владеть собою, не отдавался целиком на волю его стихийного течения. Позднее, в дни второй всеобщей забастовки, мы трое - Фондаминский, Авксентьев и пишущий эти строки поделили между собою три главных завода, считавшихся основными цитаделями петербургского социал-демократизма, Путиловский, Обуховский и Семянниковский.

Авксентьев тогда был одним из представителей нашей партии в Исполнительном Комитете Петербургского Совета Рабочих Депутатов (вторым представителем нашей партии был Фейт).

257 Партия, разумеется, совершенно перестроилась; все, находившиеся в ее распоряжении свободные силы были переброшены в Россию, за границей почти всё было переведено на "консервацию", в России началось стремительным темпом издание книг и газет, были использованы, наряду с нелегальными, все легальные и полуполигальные возможности. Впрочем, граница между легальным и нелегальным в это время стиралась: революция "явочным порядком" захватывала себе права, никакими законами не гарантированные, но легко используемые просто в силу растерянности властей. Большинство членов Центрального Комитета и его ближайших помощников, однако, имели предусмотрительность не легализоваться, не жить под своими именами, и, позволяя себе открытые, публичные выступления, были готовы в любой момент "нырнуть в подполье".

Руководство нашей партийной работой в Москве находилось в руках чрезвычайно дружной и спевшейся группы. В этом была ее сила, но в этом заключалась и ее слабость. Дело в том, что быстрый рост работы сопровождался сильным увеличением кадров активных работников: пропагандистов, агитаторов, организаторов. На работе из них выделялись время от времени люди, по своей талантливости способные занять руководящее положение. Руководящая группа не всегда успевала или умела их ассимилировать. Может быть, здесь влияло и то, что состав руководящей группы подобрался из лиц, давно уже сблизившихся и хорошо знавших друг друга; благодаря этому новым лицам войти в их среду было трудно. Может быть, здесь влияло и различие темпераментов. В составе главных деятелей комитета преобладал интеллектуальный тип. Вне комитета и в некоторой оппозиции к нему группировалось несколько человек ярко выраженного волевого темперамента.

Как бы то ни было, в скором времени возникли организационные трения. Уже осенью 1905 г. "оппозиция" представляла собою нечто цельное. В ее составе было несколько незаурядных личностей, как братья Мазурины, Маргарита Успенская, Виноградов и др. В ее руках находился железнодорожный район, впервые предъявивший комитету справедливые требования.

Эпоха кратковременных "свобод", наступившая после 258 17-го октября, не прекратила этих разногласий. Правда, воспользовавшись более свободными условиями работы, комитет решил пойти навстречу многим "демократическим" требованиям. Но зато и требования оппозиции во много раз возросли.

На трех состоявшихся в это время общегородских конференциях была произведена общая реорганизация Московского комитета.

До Московского восстания оппозиция нападала на комитет за недостаточную его революционность, за неспособность к решительным действиям. Еще в середине 1905 года границу приезжали два оппозиционера - один из братьев Мазуриных, и одна из сестер Емельяновых - с жалобами на пассивность Московского комитета и с планами "бланкистской", чисто боевой организации для захвата города. Действительно, комитет, в общем, был сдержаннее "оппозиции". Но к декабрю 1905 г. и он не устоял перед общей тягой в сторону самых несбыточных надежд и планов. И в этом отношении он занял позицию, заметно отклонившуюся от линии поведения, принятой Центральным Комитетом и систематически проводившейся почти всеми социалистами-революционерами Петербурга.

В Петербурге социалисты-революционеры были против борьбы за введение явочным порядком 8-часового рабочего дня, против второй забастовки и против третьей забастовки с переходом к вооруженному восстанию, но за такие меры, как неплатеж податей, требование возвращения вкладов из сберегательных касс, бойкот властей, "явочное" осуществление свободы слова, печати, собраний и т. п. Они всюду горячо доказывали, что там, где на арене борьбы выступает только один пролетариат, мы рискуем перенапряжением его сил и вследствие этого конечной неудачей блестяще начатой кампании. Нужно вывести на арену борьбы крестьянство, нужно больше всего бояться изолирования пролетариата в борьбе, нужно дать генеральное сражение при той же атмосфере единодушного всенародного движения, печать которого лежала на первой забастовке.

Как известно, весь состав Совета Рабочих Депутатов был арестован как раз во время заседания, на котором решался вопрос о третьей забастовке. Большинство, несмотря на возражения представителей Партии С.-Р., высказалось за 259 забастовку.

Основным аргументом за возможность успешного движения были известия из Москвы,

где тогда шли волнения в Ростовском полку, отразившиеся и на других полках. Но характерно, что делегаты Петербургского Совета, приехав в Москву, встретились там с сильными колебаниями, начинать или не начинать забастовку? Было ясно, что на этот раз забастовка может быть только прелюдией вооруженной борьбы. Ответственность была слишком велика...

И вот, случилась необыкновенная вещь. Московский Совет Рабочих Депутатов решил объявить стачку и перевести ее в восстание - в значительной мере потому, что такое решение принято в Петербурге: а в Петербурге оно было принято потому, что "шли к восстанию" события в Москве.

Пишущему эти строки пришлось быть делегатом ПСР на происходившем в это время в Москве съезде Всероссийского ж.-д. союза. Моя миссия, как я ее понимал, состояла в том, чтобы узнать на месте, нельзя ли еще предотвратить стачку-восстание. Эта миссия не удалась. Я присутствовал и на том заседании ж.-д. съезда, на котором представители трех местных комитетов большевистского, меньшевистского и с.-р.-ского - докладывали о положении дел в войсках. Все трое приходили к одному и тому же заключению. Удерживать войска нельзя. Избежать бесплодных жертв можно только одним путем: взять движение в свои руки, пойти ему навстречу. В случае восстания переход значительной части войск на сторону народа обеспечен.

После заседания у меня был горячий спор с представителем с.-р. организации. Переубедить его мне не удалось. Он был безусловно убежден в том, что близится развязка. Навстречу ей он шел с энтузиазмом.

Итак, в Москве была объявлена забастовка. Это было сделано в значительной мере ради Петербурга... Но в Петербурге, как мы и предсказывали, ровно ничего не случилось. Объявление забастовки осталось на бумаге. Москва была предоставлена ее собственной участи. Судьба московского восстания известна. Войска на сторону народа не перешли.

Переброска почти всех наших сил в Россию дала нам возможность в январе 1906 г. устроить на территории 260 Финляндии - фактически осуществившей явочным порядком тогда все свободы - наш первый общепартийный съезд (на Иматре).

На съезде мною было оглашено письмо, полученное нами от Гершуни из Шлиссельбургской крепости.

"Что делается на воле, мы знали, - писал он. - По неясным намекам на фактическое положение, какие удавалось схватить, мы рисовали себе фантастические, дух захватывающие картины народного движения, порой пессимистически относились к своим оптимистическим фантазиям. И, Боже мой, какими жалкими, бесцветными оказались эти самые смелые фантазии в сравнении с действительностью! Она была жгучим, ослепительно ярким снопом света, ударившим в наши потемки. Точно вихрь ворвался в наш склеп и перевернул всё вверх дном, а сердце, точно испуганная птица, трепещет радостно порывисто рвется туда, наружу. Всё величие момента встало перед нами во всей своей необъятности и, сконцентрированное во времени и пространстве, в первую минуту раздавило нас своими размерами и необъятными горизонтами...

Сбылось предсказание - последние да будут первыми. Россия сделала гигантский скачок и сразу очутилась не только рядом с Европой, но оказалась впереди ее. Изумительная по грандиозности и стройности забастовка, революционность настроения, полное мужества и политического такта поведение пролетариата, великолепные его постановления и резолюции, сознательность и организованность трудового крестьянства, готовность его биться за

решение величайшей социальной проблемы, - всё это не может не быть чревато сложнейшими благоприятными последствиями для всего мирового трудового народа. И России, по видимому, в XX веке суждено сыграть роль Франции в XIX веке. Но крупнейшим счастливым результатом будет, как мне кажется, то, что России удалось миновать пошлый период мещанского довольства, охвативший мертвящей петлей европейские страны, переживавшие революционный период при менее благоприятной конъюнктуре и в другой исторической эпохе"...

Увы - шлиссельбургские часы жестоко отставали. И когда я, получивший письмо, оглашал его на заседании замершего в трепетном безмолвии партийного съезда, среди нас были товарищи, лично участвовавшие на баррикадах Пресни 261 и успевшие спастись от разгрома московского восстания. На наших глазах, шаг за шагом таяли блестящие результаты первой, совершенно спонтанной, но действительно величественной всеобщей стачки. Недружно начатая, закончилась, не достигнув ни одного из трех выставленных политических требований, вторая забастовка, наскоро переименованная в чисто демонстративную. Неудачно, лишь перенапрягая силы пролетариата, прошла анархо-большевистская попытка "явочного введения 8-ми часового рабочего дня"; и, хотя сильно дезорганизовав правительственный аппарат, не спасла положения и всеобщая почтово-телеграфная стачка. Пришлось поставить "ва-банк" и проиграть последнюю ставку в третьей всеобщей стачке, перешедшей в московское вооруженное восстание. Арест Совета Рабочих Депутатов, на который отвечать уже не было сил, подвел итоги поражению.

На съезде присутствовали с совещательным голосом Н. Ф. Анненский, В. А. Мякотин и А. В. Пешехонов, которые ультимативно поставили вопрос о превращении ПСР в широкую, легальную, для всех открытую партию, где всё ведется гласно, под публичным контролем, на последовательно-демократических началах. Съезд всеми голосами против одного отверг их предложения, признав их для данной эпохи совершенно неосуществимыми, и они немедленно приступили к организации особой Народно-Социалистической Партии.

Гибель "Сына Отечества", конец эпохи "явочных свобод", разгром первого Совета Рабочих Депутатов, крушение московского восстания - таковы были события, которым был отмечен рубеж между 1905 и 1906 годом. Под знаком этого торжества собравшейся, наконец, с духом реакции произошли выборы в первую Думу; эти выборы принесли полное торжество оппозиции. Первую Думу называли тогда "Думой народного гнева"...

Короткая пора "перводумья" опять открыла перед нами широкие горизонты "легальных возможностей". Мы решили снова начать большую газету. Но на этот раз условия были гораздо хуже. Гр. И. Шрейдер, чей большой редакторский опыт мы научились так ценить, должен был скрыться от суда за границу. С. П. Юрицын, который не только был нашим 262 издателем, но и писал хорошие публицистические фельетоны, - тоже. Я лично, арестованный в союзе печатников вместе с Фейтом и др. и выпущенный по ошибке, усиленно разыскивался полицией и жил нелегально; было совершенно неясно, как велика может быть доля моего фактического участия в газете.

Что касается Мякотина и Пешехонова, то на их содействие в газетном деле нельзя было более рассчитывать. Видя, как растаяла прежняя редакционная группа "Сына Отечества", такие ближайшие его сотрудники, как, напр., М. Бикерман, тогда крайний левый в вопросах политических и тактических, недоверчиво держались поодаль. Мы сами порою тревожно спрашивали себя, сумеем ли мы удержать нашу газету на той высоте, на которой стоял "Сын

Отечества". Но мы твердо знали: партия не может обойтись без большой газеты в момент, когда лицом к лицу сойдутся первое народное представительство и самодержавная власть. Мы избрали главным редактором Н. С. Русанова; кроме меня и Н. И. Ракитникова, в редакционный коллектив были включены А. И. Гуковский и С. П. Швецов.

А. И. Гуковский пришел к нам из окружения "Русского Богатства", и для нас было приятным сюрпризом, что в нашем споре с В. А. Мякотиним и А. В. Пешехоновым он принял нашу сторону. Другою такою же "белой вороною" в составе "русских богачей", как мы их называли, был П. Ф. Якубович-Мельшин, но этот последний совершенно не был газетным человеком и мог оказать нам лишь моральную поддержку. То же приходится сказать и о старом народовольце, участнике легендарного "хождения в народ" А. И. Иванчине-Писареве, близком друге покойного Н. К. Михайловского и главе администрации "Русского Богатства".

В этом малочисленном составе мы храбро взялись за дело. Первое время мы совершенно не имели сторонних сотрудников и лишь понемногу, по мере того, как газета завоевывала себе видное место среди конкурирующих изданий, начался приток статей ведомых и неведомых сотрудников, а потом и приток людей. Явился Бикерман, покаявшийся нам чистосердечно, что не ждал от нас ничего путного в газетном смысле, принесший нам свои извинения, поздравления и готовность работать; с тех пор редкий номер газеты выходил без его статьи, всегда интересной, живой, иногда с оттенком 263 несколько "талмудической" логики.

Начал присылать свои вещицы тогда еще совершенно неизвестный К. И. Чуковский. Удачно попробовала свои силы в политической публицистике, под псевдонимом А. Филиппова, А. Ф. Даманская, легко и живо воспринявшая идеи и настроения нашего редакционного кружка, и под веянием бурного времени очень литературно их излагавшая. Явились и талантливые фельетонисты, в стихах и прозе; появились молодые и способные сотрудники по вопросам военным, по быту и организации армии, по отделу внутренней жизни; валом повалили корреспонденты; в то наэлектризованное время каждый давал больше, чем обычно был способен давать.

А. И. Гуковский немедленно занял в нашей редакции очень видное место. Он вложил в газету очень много - и качественно, и количественно. Как-то раз, незадолго до конца нашего предприятия, помню, мы подсчитали литературную производительность всех главных редакционных работников. Правда, рекорд побил я; но ведь я, стесненный нелегальным положением, должен был избегать частых передвижений и кончил тем, что почти что поселился в редакции, там же ночуя, часто не раздеваясь, благо налицо был отличный кожаный диван: наборщики, приходя рано утром в типографию, помещавшуюся тут же, в нижнем этаже, первого меня заставляли в редакции и первого меня теребили с требованием рукописей; и последним или одним из последних заставляли меня в редакции самые свежие телеграфные новости "последнего часа", часто требовавшие немедленного отклика.

Второе место, следом за мною занял А. И. Гуковский, далеко опередивший даже нашу "живую энциклопедию", Н. С. Русанова, писавшего статьи. А. И. Гуковский в совершенстве овладел типом газетной передовицы, сжатой и в то же время ударной. Он был стремителен, резок, определенен, возвышался до истинного пафоса, не чуждался и хлещущей насмешки, и горькой, переходящей в сарказм, иронии. Благодарного материала для них он имел сколько угодно.

А. И. Гуковский не просто пел в унисон со всеми нами; нет, он внес в наше "хоровое" газетное дело и свою личную, "сольную" партию. У него была одна излюбленная, особенно дорогая его сердцу идея. То была идея новой декларации прав человека и гражданина.

264 Юрист по образованию и профессии, А. И. относился к юриспруденции не только как к особому рода технике для переложения на нормальный язык законодательства текущих потребностей и опытов быстротекущей жизни. Он искал в науке и философии права руководящих начал для глубоко продуманной и всесторонней реконструкции общества, а в социализме - скрытой правовой идеи, которая могла бы быть рассматриваема, как душа всей социалистической системы. Русская революция, в пролог которой мы в 1905 г. вступили, была для него в полном смысле этого слова Великой Революцией - тем же для нашего времени, чем для своего была Великая Французская Революция 1789-93 годов. Та революция развернула широко свою хартию личных прав и вольностей - хартию либерализма, быстро выпродившегося в идеологию буржуазии. Наша революция должна дать такую же хартию углубленного социального содержания. Эта мысль была в центре тогдашнего умонастроения А. И.; к ней он неизменно подходил, с чего бы ни начал. Социализм без вскрытия его основной правовой идеи был для него неполным. Русская революция без новой "Декларации прав" оставалась незаконченной, "ущербленной революцией". Думская тактика без набатного зова новой великой Декларации - тактикой бескрылой, неспособной потрясти всю страну и создать то мощное напряжение всенародной воли, без которого Дума обречена на бесславное поражение.

Газету нашу часто закрывали; мы немедленно начинали ее под новым заглавием. Тогда попробовали запечатать нашу типографию. А. И. немедленно "продал" типографию и добился ее распечатания для пользования "новым" собственником. Так дожили мы в состоянии напряженной борьбы почти до самого разгона Государственной Думы. Накануне этого разгона пробил и наш час: на помещение газеты был устроен форменный налет, всех, кого застали, без разбора захватили, а помещение и редакции, и типографии запечатали...

Конец этот мы предвидели. Газета наша задолго до этого дня принялась разоблачать план разгона Думы, который стал нам известен из секретных полицейских источников: мы имели человека, который сообщал нам много тайн из мира охранки и жандармерии, а этот мир первым был посвящен в решение покончить с Думой и первым начал 265 подготавливаться ко всяким случайностям в момент ее насильственной кончины. Сильные этой осведомленностью о планах противника, мы делали отчаянные усилия, чтобы заставить Думу осознать неизбежность рокового исхода и обеспечить наилучшую обстановку для столкновения с властью, прежде всего путем решительного отстаивания земельной реформы в пользу трудового крестьянства.

О Михаиле Гоце приходили из-за границы лишь отрывочные и редкие вести. В начале лета 1906 года один товарищ случайно застал его одного. Вошел незаметно и невольно остановился. Во всей фигуре Гоца и в застывшем выражении его лица была такая скорбь, такая горечь и тоска...

В это время у Гоца была уже парализована вся нижняя часть тела и начали отниматься руки. Все предположения о ревматизме давно были оставлены. Крупнейшими специалистами было определено, что источник болей - в опухоли, давящей на спинной мозг. Рак или нет? Еще только раз увидел Гоца в Дюссельдорфе его старый товарищ по якутской драме, Терешкович. Михаил Гоц, уже совершенно неузнаваемый, высохший, похожий на живую мумию - у которой жили только одни глаза - передал ему, что выдающийся хирург готов сделать отчаянную операцию, но всё же не безнадежную попытку - спасти его операцией. "Итак, через день я ложусь на операционный стол"...

Операция снятия со спинного мозга опухоли - она оказалась не злокачественной - прошла, как нам передавали, блестяще. Казалось, жизнь победила смерть. Но в незримой приходо-расходной книге его жизни чего-то не доставало. Гоц заснул в санатории, где он набирался сил для новой, свободной от кошмара болезни, жизни. Спал тихо, спокойно. Но - не проснулся.

Его младший брат, Абрам Гоц, в ноябрьские дни 1905 г. принимал участие в начатой П. М. Рутенбергом в Петербурге работе по формированию "рабочих дружин", а через месяц попросился в Боевую Организацию. Он сразу же был принят и встал на работу: под видом извозчика он ведет слежку за министром внутренних дел Дурново.

Новый шеф столичной охраны, генерал Герасимов, так 266 потом рассказывал об этом: "В середине апреля 1906 года мы были заняты поисками террористов, работавших над Дурново. Знали про извозчиков. Обследовали извозчицьи дворы. Заметили одного, потом еще двух: сносятся между собой и с четвертым, по-видимому их шефом. Один из старейших филеров обозначал этого четвертого: Филипповский. Почему? - "Старый знакомый: Медников когда-то его показывал в Москве, в булочной Филиппова; это один из самых главных и драгоценных секретных сотрудников...".

Герасимов решает: не выслеженных трех подозрительных извозчиков и никаких соприкасающихся с ними людей пока не трогать. Тайнственного же "четвертого" с величайшими предосторожностями, с гарантией полного секрета взять и доставить в Охранное отделение.

Тайнственный незнакомец, назвавшийся инженером Черкасом, долго запирался. Его держали в течение нескольких дней в секретной камере при охранке. Он, наконец, сдался: признал себя работавшим когда-то для тайной полиции, согласился объясниться на чистоту, но лишь в обязательном присутствии своего бывшего начальника Рачковского. Тот приехал, и тут разыгралась небывалая в стенах охранного отделения сцена.

Рачковский пытался успокоить какого-то штатского, тот ругал его неподходящими для печати словами за бессчетное количество грубых ошибок. Мнимый инженер Черкас на самом деле был Азеф. Его удовлетворили за промахи Департамента пятью тысячами рублей. "Мы, - говорит ген. Герасимов, отказались от идеи немедленного ареста "извозчиков", чтобы не компрометировать Азефа".

Дальнейшие действия филеров привели, однако, к тому, что весь отряд внезапно снялся с места и рассеялся. Не знаю, по поручению ли Азефа или на свой личный риск, Абрам Гоц, освобожденный от своих обязанностей вокруг Дурново, направился в Царское Село, где изучал возможности покушения на "священную Особу Его Императорского Величества", как привыкли выражаться в донесениях охранки. Здесь он наткнулся на хорошо знавших его филеров и был арестован. Однако, обвинения в разведке подступов к "священной особе" ему предъявлено не было. Он шутил: "Меня судили за занятие извозным промыслом".

Впоследствии Абрам сам с неподражаемым юмором 267 описал свою извозчицью эпопею. Все в этой новой среде его признали за "своего" и полюбили.

Хозяин извозчицкого двора прочил за него свою свояченицу, женщину, фельдфебельского сложения; товарищи-извозчики отговаривали его, обещаясь сосватать ему богатую дочку лавочника, чьи кокетливые уловки по его адресу они со стороны имели случай подметить; тайно влюбленной в удалого лихача оказалась даже кухарка извозчицкого двора; вызванная на суд для опознания его, она, увидя Гоца, всплеснула руками с радостно-изумленным восклицанием "Алёша", восклицанием, провалившим всю его систему защиты: Гоц утверждал, что никогда извозчиком не был и что всё это - нелепое измышление неудач-

ливых сыщиков. А бедная кухарка готова была плакать и упрекать всех за то, что ей не растолковали дела: для такого золотого парня, как Алёша, она готова под присягой показать всё, что только потребовалось бы для облегчения его участи!

Свидетели со стороны обвинения не особенно усердствовали; что-то связывало их словоохотливость; однако, для нетребовательного суда оказалось достаточно улик, чтобы Абрама Гоца приговорили к 8-ми годам каторжных работ. Он отбывал их в Александровском каторжном центре близ Иркутска.

Знаменательный момент: Шлиссельбургская крепость упразднена. Последние обитатели ее вывезены в московскую пересыльную тюрьму: это уже не народовольческие старожилы, их давно нет, а их смена из рядов ПСР. Гадания о том, куда же их денут, вскоре кончены: уже прозвучало имя, заслужившее мрачную известность, почти не уступающую Шлиссельбургу: Акатуйская каторга.

Там и встретились все они: цвет уцелевшего боевого эсеровства. Григорий Гершуни, Петр Карпович, Егор Сазонов и ряд других борцов, менее знаменитых, но не менее заслуживших честь быть олицетворением вздымавшей Россию революционной бури. И по женской линии: Мария Спиридонова, Анастасия Биценко, Фрума Фрумкина, Измаилович и сколько их еще!

Но не о героическом прошлом думали они в Акатуе: всё 268 в них тянулось к будущему. Будущее же концентрировалось в одной сверлящей мысли: побег.

Окруженная диким безлюдьем гор, Акатуйская каторжная тюрьма не сулила сколько-нибудь благоприятных перспектив для массового побега. Куда деваться целой группе там, где уже через несколько часов после побега будут сторожить на всех дорогах жандармы, полицейские и стражники, а на всём лесном бездорожье - дикие инородцы, полные радостного упования: за поимку беглых или за меткие выстрелы им вслед полагается денежная награда. Но в одиночку убежать еще, может быть, можно.

Всё это взвешено неоднократно и со всех сторон и единогласно решено: в первую очередь поставить побег Гершуни, как самого нужного человека, того, кого напряженно ждет вся действующая эсеровская Россия.

Иллюзий нет ни у кого, всем ясно, до какой степени сложным предприятием будет этот побег. Первая стадия - выбраться из самого здания острога. Вторая покинуть Акатуй: небольшой, прямо против тюрьмы по другую сторону от дороги, поселок из разного рода служб и из жилых домов для тюремных чиновников и стражи. Третья: долгий и сложный путь от Акатуя до моря. И четвертая: посадка на судно и отъезд "за пределы досягаемости". Организация последних двух стадий передается товарищам на воле. Там лихорадочно принимаются необходимые меры. На месте остается справиться с трудностями внутреннего характера.

В тюрьме производилась заготовка хозяйственным способом соленых огурцов, квашеной капусты и т. п. Заготовленные продукты переносились через дорогу из тюрьмы в поселок. Тут есть достаточно вместительный подвал, ниже подвала другой, сводящийся, в сущности, к загроможденной всякою всячиною яме.

Тем самым назревает сам собою и план. В бочке из-под капусты вынести кандидата на побег из стен острога в поселок. Внешне операция немудреная и к тому же примелькавшаяся. Бочку переносят носильщики из самих каторжан, под строгим наблюдением восьми караульных, сдают с рук на руки, а сами уходят назад, уводя за собою тот же караул. В поселке должен быть, разумеется, помощник.

Его дело - 269 подготовить из нижнего подвала нечто вроде собачьего лаза, выводящего под стенами здания наружу. Замаскировать вход в лаз и выход из него, в сущности, легко, единственной трудностью является устройство лаза под землей и фундаментом; но он легко поддается лому и кирке. За стеной место не особенно закрытое, но можно улучшить момент, чтобы им воспользоваться и незаметно выйти на дорогу, идущую между тюрьмой и поселком. По ней ходят порою случайные путники. Нет, конечно, гарантии, что тебя не остановят и не спросят: что за человек? Но в этом уж надо положиться на случай, личную удачу и находчивость.

Понемногу всё подготовлено. Бочка тесна - с аршин в ширину и немного более полутора в длину. Но в этом и ее достоинство - не возбуждает больших подозрений. Будь Гершуни больше ростом и крупнее общим сложением, дело оказалось бы безнадежным. Проверчены два отверстия, полускрытые обручами: через них пойдут две резиновые трубки для дыхания спрятанного. Сверху, над головой, защитные приспособления. Прямо на голове - железная тарелка, обернутая кожей. Это на всякий случай: бывает, что от чрезмерного рвения какой-нибудь страж ткнет в щель туповатой пашкой и поворочает ею туда и сюда: надо, чтобы пашка скользнула, не поранив головы. Есть еще над всем этим легкая матерчатая перегородка, на которой держится легкий маскирующий слой капусты. Сооружение непрочное, но оно и рассчитано на короткий срок. Пленному дается в руки острый нож, чтобы взрезать по крышку над головой. Вся операция должна быть выполнена быстро; но задохнуться в глухой клетке при каком-нибудь осложнении можно и того быстрее. Заранее уже несколько раз проделана репетиция с порожнею бочкой.

И вот, наконец, извне приходит весть, что снаружи подготовлен для беглеца ряд приемных и этапных пунктов. Пора: надо пробовать счастье. Гершуни раздевается, остается в одной рубашке, и, изогнувшись, забирается в бочку. Тесно, душно.

В восемь с половиною часов всё в порядке. Бочка поднята. Никто особого интереса к ней не проявляет, никто не подвергает ее никаким чрезвычайным мерам инспектирования: "не в первой!" Вот бочка уже в поселке, вот ее опускают в подвал. Конвоируемые солдатами носильщики возвращаются обратно.

270 Ворота за ними запираются... Всё кругом принимает будничный вид...

Для беглеца как раз этот момент и был критическим. Забраться в бочку ему пришлось заранее. В подвале его должен был встретить "свой"; но вокруг входа в подвал что-то долго ходили "чужие", и тому пришлось выждать, пока всё успокоится. Но если под открытым небом поступление воздуха через резиновые трубки еще кое-как шло, в спертom воздухе подвала оно как будто почти совсем прекратилось. Сколько пришлось Гершуни ждать - он уже не отдавал себе отчета. При всём своём терпении, силе воли и выносливости, он задыхался и был уже на границе обморока. Прибег к ножу, но неудачно: через прорез потек на лицо, в нос и рот капустный сок, из рта вывалились трубки. Последним отчаянным напряжением, захлебываясь солоноватой влагой, упираясь головой в покрывку и пытаясь выпрямиться во весь рост, Гершуни продавил, наконец, выход головою: едва отдышался.

К счастью, тут подоспела обещанная помощь "своего". Гершуни получил кое-какое "посконное" одеяние. Оставалось пролезать сквозь узкий и тесный лаз. Добравшись до заслоненного кустом выхода из лаза, он ждал сигнала, по которому надо было выйти на дорогу и принять вид чернорабочего, идущего в место поглуше по своим надобностям. Судьба его на сей раз хранила. Так должен он добраться до заранее приготовленной для него телеги с конной упряжкой. Покинув стены острога в восемь с половиною часов утра, он пустился в

путь, имея впереди почти полсутки до вечерней проверки, когда исчезновение арестанта могло быть замечено. Не обмани, добрый конь, выручай!

И добрый конь не обманул. Не обманули и "пристанодержатели" вдоль дороги. Прошло немного времени, и Гершуни, благополучно проехав до Владивостока железной дорогой, сидел уже на палубе небольшого парохода, который, по выполнении всех законных формальностей, выходил в открытое море. Вокруг Гершуни сидело шесть человек: пять японских социалистов и один русский эмигрант...

О предстоящем необыкновенном событии было дано знать по кабелю в Сан-Франциско. Оттуда телеграммой был извещен Нью-Йорк. Русско-еврейская улица гудела, как растревоженный улей. Повсюду шли сборы - встречать "воскресшего из мертвых".

271 "От одного соприкосновения с ним все мы точно помолодели, рассказывал потом один из крупных местных общественников. - Что он говорил? Важнее даже не это, а как он говорил... как ставил все вопросы - в упор! как глядел в глаза"... "Да он вообще говорил мало. Кажется, будто он всегда молчит, но всё видит", - такими и подобными отзывами обменивались видевшие его впервые люди. Всех привлекала чрезвычайная простота его обращения. "Ни одной фразы и ни малейшей позы"...

В Америке у Гершуни был замечательный разговор с Аб. Каганом, редактором еврейской социалистической газеты "Форвертс": Каган, сам бывший член народовольческого кружка в России, ребром поставил перед ним вопрос: какие чувства испытывал он после успешного совершения террористического акта?

Гершуни после продолжительного молчания поднял на Аб. Кагана глаза, резко выделявшиеся на его побледневшем лице. "В это время чувствуешь себя плохо, потому что знаешь, что участвовал в отнятии человеческой жизни..."

В этом был весь Гершуни. Мне вспоминается его рассказ о том, как в Шлиссельбурге до него дошла весть об ожидаемой амнистии, новом строе, народном представительстве и т. п. и какой это вызвало в нем взрыв небывалой, восторженной радости. "Неужели? - спрашивал он себя. И уж действительно в России можно будет жить? Уж не нужно будет ни убивать, ни умирать за убийства? Настал уже этот благословенный момент? Револьвер и бомба могут уже быть оставлены там, за порогом новой жизни, как мрачное наследие мрачного бесправия, как мрачное орудие защиты от дикого произвола и насилия властных и сильных - над бесправными и слабыми". Никто радостнее его не прощался с такой политической борьбой, в которой необходимыми участниками является револьвер, динамит и баррикада. И для него была большим ударом суровая правда, что царское самодержавие и не думало серьёзно отказаться от террора сверху, что оно пошло на видимость уступок, чтобы лишь получить передышку, и что борьбе суждено возобновиться с еще большей жестокостью.

Оставив в Америке ряд новых друзей и заручившись их обещанием не забывать дорогого ему дела, Гершуни 272 двинулся дальше: через Европу в бурлящую и волнующуюся Россию.

В Париже Гершуни встретил двух людей, заместивших его в деле руководства созданной им боевой организацией - Азефа и Савинкова. Они были не у дел, формально подав в отставку, получив ее от Центрального Комитета и оставив Боевую Организацию разбитой на отдельные куски, дезориентированной и утратившей былую веру в свое дело. Как это случилось? - Лишь после того, как вышли (на немецком языке) воспоминания генерала Герасимова, нам окончательно выяснилась общая картина катастрофы, постигшей нашу боевую работу, как раз в то самое время, когда Б. О. по планам партии должна была довести свои атаки

на царский режим до максимальной энергии.

Первая половина деятельности величайшего из провокаторов нового времени, Азефа, проходила под знаком сложной авантюры; в течение этой авантюры он умудрялся наносить предательские удары не только по революции, но порой и по своим хозяевам; и действовал он то с азартным риском для собственной жизни, то с планом безопасного "выхода из игры" и сокрытия всех следов и от охранного, и от революционного мира одинаково.

Тот переломный момент истории России, которым является незавершенная и сорвавшаяся "революция 1905 года", была переломным пунктом и в карьере Евно Азефа. Его арестуют в момент, когда он уже оборвал было работу свою в охране; с ним "объясняются": его снова привлекают к "работе"; и ему диктуют или сообщая с ним вырабатывают новые, прочные условия заново налаженного "сотрудничества".

Раньше он сам по мотивам самосохранения резервировал какой-то сектор своей деятельности, куда не должны были проникать зоркие очи охраны; здесь зрели его шансы двигаться вперед его "революционную" карьеру. На этот раз Герасимов и Азеф сообща собираются регулировать и координировать и тактику охраны, и тактику революции.

Азеф дает гарантии предотвращения вовремя террористических ударов по центральной власти. Герасимов берется беречь революционный престиж Азефа, давая ему возможность во время спасать жизнь террористов, действующих в сфере его ведения. Герасимов для этого будет во время создавать неловкими 273 действиями охраны переполох среди участников каждого серьезного террористического плана, давая тем самым Азефу сигнал к его "спасительному" для них вмешательству, спешному расформированию попавшего под удар отряда и такому "прятанию концов в воду", которое среди революционеров лишь укрепит веру в его необыкновенный конспиративный гений. Партия же, ведущая террористическую борьбу, должна быть понемногу и, в конце концов, совершенно измотана фатальным разыгрыванием шахматной партии между террористами и охранниками "в ничью".

С осени 1905 г. дело так и шло. В 1906 г. тягостный опыт непрерывного фиаско ряда боевых предприятий подготовил такую атмосферу безнадежности и растущего разочарования в терроре, что Азеф пошел на решительный шаг.

Устами Савинкова, бессознательно служившего в данном случае рупором Азефа и его полицейских вдохновителей, Центральному Комитету было заявлено, что оба руководителя Б. О. подают в отставку и вместе с ними покидает работу весь остальной личный состав организации. Опыт-де показал, что все недавние успехи в деле Плеве и вел. кн. Сергея Александровича могли быть лишь результатом тактического сюрприза: с одной стороны - новой динамитной техники, с другой детально разработанной тактики "революционного филерства", посредством маскировки "революционных наблюдателей" то в извозчиков, то в разносчиков, то в иных мирных жителей. Но успехи террористических ударов куплены дорогой ценой всестороннего ознакомления охраны с этой тактикой, бороться с которой ныне ей легче, чем противоположной стороне - ее усовершенствовать. Поэтому впредь до создания новой и высшей технической базы, дающей возможность снова захватить аппарат самодержавия врасплох, приходится террор приостановить.

Согласись с этим Центральный Комитет, Охрана была бы надолго обеспечена от жестоких ударов по столпам старого режима. Но Ц. К. с этим не согласился и поручил одному из своих членов оспаривать концепцию Азефа и Савинкова перед лицом специально созванного общего собрания боевиков. Контртезисы гласили: если и признать что из боевой практики нужно исключить некоторые методы работы, как уже использованные, то у дела есть и

другая сторона: 274 самый факт массового расширения всего движения делает уязвимым многие слабые стороны охранно-полицейского механизма.

Отныне мыслимо создавать вспомогательную для боевой деятельности сеть агентов, разбросанных по всем разветвлениям партийной работы для систематического обследования всех незащищенных мест охранного аппарата власти. Боевики слушали с растущим сочувственным вниманием. Но тут Савинков и Азеф поспешили вмешаться в беседу, чтобы категорически отвергнуть подобную "новую тактику", как противоречащую принципу полного изолирования террористической деятельности от общепартийной. Было ясно: их авторитет подавляет критическую мысль рядовых боевиков.

Тогда Ц. К. заявил, что партии ничего не остается, как отныне рассматривать людей данного состава Б. О., как освобожденных по собственному их настоянию от всяких дальнейших обязательств перед партией в этой специальной области. Они растворяются в партии в качестве рядовых ее членов; Ц. К. призывает тех из них, кто готов работать в терроре по-новому, опираясь на более широкую, чем дотоле, связь с массовыми организациями, столкнуться между собою и войти с ними в новые переговоры. Боевики колебались. Первоначально на них всех произвели подавляющее впечатление Азеф и Савинков, запечатлевшие тотчас же свой выход в отставку отъездом за границу и увлекшие за собой еще кое-кого из рядовых членов; но потом к работе некоторые вернулись... За один лишь декабрь 1906 г. были один за другим устранены: один из вдохновителей крайней реакции гр. Игнатьев, прославившийся своими репрессиями СПб градоначальник ген. фон-дер-Лауниц и ненавидимый всею либеральной и революционной общественностью обер-палач - главный военный прокурор Павлов.

И Азефу, надеявшемуся, что он заслужил у власти себе почетный отдых, пришлось вновь "вернуться к делам". Без его надзирающего за всем глаза сам Герасимов ни за что ручаться перед царем более не мог.

Таков был общий фон событий, когда, пролетев метеором по Америке и собрав мимоходом для партии значительную сумму денег, Гершуни появился в Европе. Но сейчас ему было некогда обсудить с Азефом и Савинковым вопрос о выходе из кризиса. Сейчас Гершуни нужно спешить, чтобы 275 поспеть на февральский (1907 г.) съезд партии в Таммерфорсе.

Как будто заново переживаю я тот незабываемый момент, когда перед массой партийных делегатов, съехавшихся в Таммерфорсе со всех краев России, председатель съезда неожиданно - если не для всех, то почти для всех - заявил, что он предоставляет слово вне очереди новоприбывшему "товарищу Капустину". Не успело обежать все ряды шелестящим шопотом имя, как он уже стоял на трибуне и начал свое слово. От охватившего его волнения Гершуни сначала почти не мог говорить; и весь зал волновался вместе с ним. Но вот он овладел собой - и перед всеми уже был настоящий, прирожденный трибун.

Я не собираюсь, - да за отсутствием документов и не смог бы, - цитировать его речь. Я передам лишь те основные мотивы, которые вдохновляли и особенно сильно врезались в память.

"Я знаю: все вы, находящиеся передо мной - продумавшие свой жизненный путь - социалисты-революционеры. Это значит, что за свою правду вы умеете честно умирать. Но теперь внутренне-русское и общемировое положение до такой степени сложно и ответственно, что повелительная задача наша - уметь умирать не только честно, но главное - умно: и не столько умирать, - сколько жить - жить согласно со своею высшею правдою.

Я знаю - вы далеки от мысли опираться лишь на самих себя. Вы дорожите связью с

массой, или как у нас теперь выражаются - с периферией. Но кто эта периферия? Это - ближайшая сочувственная среда, в которой и при помощи которой живут наши комитеты. В них, под вечными обвалами арестов, сменяясь, упорно отстаивают непрерывность своего существования десятки испытанных товарищей. Они непосредственно опираются на сотни активных работников; те, в свою очередь, доводят до вашего слуха голоса и настроения тысяч и тысяч.

Это не мало: но пока в ваших рядах к этому сводится весь или почти весь "массовый элемент" вашей силы, - вы - жертвы самообмана, и ваши попытки "опираться на массы" не могут идти дальше случайностей политической лотереи, в которой риск проиграть выше шансов выиграть...

276 Пока вы были слабы, вы были подвижниками подспудной проповеди идей свободы и социализма. По мере вашего усиления росло ваше дерзание. Теперь: пришла пора мыслить по-иному. Пока вы были слабы, от того или иного употребления вами энергии вашей зависело очень, очень мало. По мере вашего усиления от этого в текущей жизни зависит всё больше и больше. Растут все благие последствия умелого проведения вами вашей тактики; но растут и все роковые последствия каждой из ваших ошибок. Растет, одним словом, мера вашей ответственности за всё и доброе и злое - что в России совершается, вследствие ли энергического вмешательства вашего или вследствие ослабления и недостаточности этого вмешательства. И вот почему всестороннее взвешивание всего, что вы собираетесь предпринять, а с ним и меткость ваших решений теперь обязательнее, чем когда-либо.

Вы привыкли - я охотно скажу иначе: мы привыкли - в ближайших соседях наших справа видеть наших врагов и конкурентов. Кадеты были привычной "головой турка", на которой каждый охочий прохожий мог испробовать силу своих бицепсов. Теперь обстановка усложнилась. Усложнилась настолько, что надеюсь несколько вас не шокировать, отметив великую истину данного момента: кадеты нам не враги и нам не опасны. Наоборот, это мы им враги и враги опасные...

Вам говорят, что сейчас все идеи вышли на улицу. Что лишь в первоначальную эпоху своего вхождения в мир они могут соблюдать почти монашескую аскетическую суровость, бескомпромиссность, "чистоту риз". Вам говорят, что все мерки отныне должны быть снижены, что романтика должна уступить место реалистической прозе жизни. Но эти речи, как покатая плоскость: раз вступив на нее, никогда не знаешь, куда докатишься и сумеешь ли во время остановиться там, где это найдешь необходимым. Конечно, практические последствия ваших действий и громкозвучная ударность лозунгов, их выражающих, становятся много важнее, чем своеобразная эстетика непримиримой позы. Но всё это относится только ко внешности. Внутренняя же природа вещей остается та же: главная, всепобеждающая сила революции - в ее высокой моральной чистоте, а не в ловкости маневрирования и не в безупречности мелочной калькуляции...

277 Перед вами - если не нынче, то завтра - откроются все соблазны открытой арены соревнования политических партий. Это соревнование затягивает. Из подчиненного средства оно легко превращается в самоцель. Тем более, что эпоха подпольного бытия невольно прививает людям сектантскую узость, нетерпимость, болезненную страсть к самоизоляции. Вот почему я не устану повторять: не жалейте только сил на достижение взаимно-скорейшего объединения в одну российскую социалистическую партию.

Как это ни трудно, постарайтесь забыть всё тяжелое, безобразное, лежащее преградой по пути к объединению, все личные отношения - ведь теперь социал-демократия находится

уже в руках не отдельных лиц, а части организованного пролетариата, к здравому смыслу и гражданскому долгу которого вы можете и даже обязаны в ближайшем будущем апеллировать. Имея всё это в виду, вы, конечно, будете прилагать все старания не обострять настоящих отношений, и в полемике будете по-прежнему побеждать не ухарством, а благородством. Пусть по-прежнему останется распределение сил на наиболее чуткие, морально-чистые элементы, с одной стороны, и неразборчиво самовлюбленные враждующие направо и налево - с другой. И тогда победа обеспечена за вами".

В словах Гершуни звучали какие-то новые струны, необычные в повседневной партийной литературе. Редко кто оставался нечувствительным к звучащей в них покоряющей внутренней правде. Но не всё в них находило одинаково сочувственный отклик. Немалочисленные были и критические голоса.

Гершуни от революции требовал того же, чего гуманные люди требуют от полководцев. Избегать ненужных жертв, щадить побежденных, уважать интересы и жизнь нейтральных. Он с энтузиазмом отнесся к поступку Каляева, который, выйдя с бомбой против вел. князя Сергея, отступил, увидев рядом с вел. Князем его жену и детей.

Он, как до него Михаил Гоц, восстал против тактики максималистов, взорвавших дачу премьер-министра П. А. Столыпина, когда она была полна посторонних людей, ждавших приема для ходатайства за близких, в том числе и пострадавших от репрессий власти. Неудивительно, что он на том же партийном съезде вместе с "бабушкой" решительно выступил против тактики 278 экспроприаций. О лучшем союзнике в деле борьбы с распылением революции нельзя было и мечтать.

После съезда Гершуни вновь вернулся к вопросу о кризисе Боевой Организации. На этот раз Азеф во всём поддерживал Гершуни. Но у Гершуни выросла новая тяжкая забота: он узнал, что на имя Азефа пало темное пятно слухов. Гершуни не ждал проку ни от каких разбирательств; ничего, кроме разглашения партийных секретов, они не дадут. Есть только одно простое, честное и радикальное средство.

Он, Гершуни, вместе с Азефом, доверие к которому у него было безгранично, возьмет на себя большое дело. Или оно им удастся, и тогда все слухи сами собой умрут; или оба на этом деле погибнут - и тогда, каким бы уроном ни была эта двойная гибель для партии, всё же имя ее будет очищено от кошмарного "навета", который, как он успел убедиться, тяжкой гирей висит на психике бойцов террора. Азеф не только с ним не спорил, но пытался преодолеть и упорство Савинкова, заставив и его пересмотреть огульное осуждение всей "прежней тактики".

Но Савинков, гордый и самолюбивый, упорствовал и раздражался. Гершуни совсем на нем поставил крест, придя к выводу, что этот человек, ставший для партии "отрезанным ломтем" и в политическом, и в морально-психологическом смысле. Человек высоких требований, предъявляемых к личной жизни революционера, Гершуни не прощал Савинкову многих черт личной избалованности.

Гершуни жил, сговаривался с Азефом, готовился работать вместе с ним. Но смерть уже стерегла его. Он явно таял: упадок сил, высокое давление крови, сердцебиение, высокая температура и т. п. Финляндские врачи теряли голову симптомы неведомой болезни становились всё тревожнее. Были приняты экстренные меры: его отправили за границу, в славившуюся своими медицинскими знаменитостями Швейцарию. Гершуни едва согласился на это, и то лишь под условием, что уезжает на самое короткое время: набраться сил и спешно вернуться - на арену ожидающей его настоящей борьбы. А оттуда нас как громом поразила

страшная весть: Гершуни в госпитале! У Гершуни несомненная, со страшной быстротой прогрессирующая саркома легких!

Гершуни умер в цюрихском госпитале, после тяжелой агонии, в ночь с 16 на 17 марта 1908 года.

(Idn-knigi.narod.ru - из - В. Зензинов "Пережитое" стр.236 :

Появились намеки, что недавние крупные провалы - дело провокации, забравшейся в самое сердце партии. Илья сообщил мне также, что бежавший с каторги летом 1907 года Григорий Андреевич Гершуни неожиданно захворал и находится сейчас в санатории в Цюрихе.

К нему туда ездила Амалия, при нем, как сестра милосердия, жила Любовь Сергеевна Гавронская. Думают, что у него плеврит. Вести о провокации в центре были известны и Гершуни. Постепенно эти разговоры стали принимать более определенный характер - стали называть имя Евгения Филипповича Азефа, т. е. нашего "Ивана Николаевича", главы Боевой Организации!

Всё это вызывало страшное волнение в центральных партийных кругах. Гершуни от этих чудовищных слухов страдал больше, чем от своей болезни. "Единственный способ, - говорил он, - покончить с этими слухами, это после моего выздоровления организовать центральное дело (против царя). Оно все равно уже поставлено на очередь. В нем должны принять участие я и Иван. И когда мы оба погибнем, честь Ивана в партии будет восстановлена"...

Но весной 1908 года (17 марта) Гершуни неожиданно для всех умер в Цюрихе. Умер самой страшной для революционера смертью: на больничной койке. У него оказался не плеврит, а саркома легких. Слухи об Азефе продолжали крепнуть. Новые провалы среди участников террористических предприятий эти слухи усилили...)

279

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Конференция ПСР в Лондоне. - Итоги революции 1905-1907 годов. Разоблачение Азефа. - Поездка О. С. Минора в Россию и арест его. - Арест Брешковской и Чайковского. - Шишко и Волховской в годы революции. - Правое течение в ПСР. - Начало "психологического отрыва" Савинкова.

Михаил Гоц был прав: Гершуни заменить было нечем. Это был человек необыкновенной революционной интуиции. Его отсутствие болезненно ощущалось нами во время второй и третьей всеобщей политической забастовки, во время московских баррикадных боев, роспуска Думы, в дни Кронштадтского, Свеаборгского, Киевского, Севастопольского восстаний. И если наши мысли в его отсутствие обращались к такому ветерану революции, как Натансон, то мы лишь обманывали себя. Когда Гершуни после своего побега с каторги вернулся в наши ряды - увы, слишком поздно для участия в решительных событиях, - он зорким взглядом быстро оценил положение.

"Марк Андреевич, - говорил он, - это наш большой капитал, только надо знать, как и куда его поместить. Он лучше кого бы то ни было умеет взвесить слабые стороны любого дела, любого плана, любой позиции. Это для нас - целый Государственный Совет. Но каждому свое: Государственный Совет ни премьером, ни диктатором, ни главнокомандующим быть не может. Скорее уж это - спасительный тормоз. Отличный муж совета, ревизор, министр финансов, дипломат - всё, что угодно. Но сказочной разрыв-травы, отмыкающей замки и запоры истории, у него искать нечего".

В дни революции пятого года мы познали на опыте не только сильные, но и слабые стороны Натансона, как революционера. Да, муж совета, муж трезвого опыта, но не человек 280 смелой интуиции и всевзрывающей находчивости. Возможно, что когда-то он имел и эти свойства, как о том гласила молва. Но груз лет отяготил его плечи.

Увы! конечное поражение революции 1905 года было не последней и не самой тяжелой из катастроф, которые были уготованы нам историей, как будто ставшей с этого момента для нас злой мачехой...

К нам подкрадывался черный год партии: год ошеломляющего, кошмарного открытия. Оказалось: с начала боевой деятельности партии в сердцевину ее уже проник и чем дальше, тем глубже вгрызался всеподтачивающий червь провокации. Оказалось: через все страницы ее деяний, не исключая и доблестнейших, была незримо протянута отравленная нить измены. Оказалось: предателем и провокатором был тот самый человек, которому "бабушка русской революции" Катерина Брешковская земно поклонилась за организацию дела Плеве; тот самый человек, которому Гершуни завещал быть его преемником и с которым - непременно вместе - он хотел идти на такое дело, чтобы или победой, или совместной с ним смертью положить конец "кривотолкам".

В августе 1908 г. Ц. К. созвал большую общепартийную конференцию в Лондоне. Конференция открылась 4-го августа и заседала 11 дней. Из 74 присутствовавших делегатов было 48 приезжих из России. В числе остальных, кроме членов Ц. К., находившихся за границей, присутствовало 11 человек гостей, в числе их народовольцы, бывшие шлиссельбургские узники, Г. А. Лопатин, В. Н. Фигнер и М. Фроленко, жившие тогда за границей. Открыл конференцию старейший член ПСР Ф. В. Волховской, В своей речи он сказал:

"Я не вижу здесь столько дорогих, столько милых, столько крупных лиц. Я, прежде всего не вижу здесь Григория Гершуни с его необыкновенными стальными глазами, взгляд которых, как острый гвоздь, проникал не только в душу тех, кто имел таковую, но и в нутро субъектов, у которых вместо души - пустое место: в нутро бездушных судей и жандармов.

Гершуни - наша сила и слава - мертв. Я не вижу прелестной девушки, целиком сотканной из света, энтузиазма и силы, - девушки, перед которой я, - старый, испытанный революционный работник, - готов пасть и целовать следы ног ее. Я говорю о Рагозниковой. Здесь нет Карла 281 Трауберга и Кальвино-Лебединцева с их семерыми сподвижниками - все они погибли...

Но я лучше прерву перечень этих дорогих имен. Каждая из этих жизней вырвана из наших сердец с куском живого мяса и оставила после себя вечно сочащуюся рану. Это - страшные потери, но я привел их не для того, чтобы поддаваться тоске, а чтобы вы отчетливее, ярче вспоминали, какими людьми богата русская земля, а, следовательно, и наша партия, ибо она представляет все самые жизненные и самые настоятельные народные требования. А если народ давал из себя такие силы в прошлом, то нет оснований думать, что он не выдвинет их и в будущем. Напротив: чем дальше, тем большие массы захватываются сознательной политической жизнью, а, следовательно, тем обширнее становится почва, из которой вырастают деятели. Потери велики; но никакие потери не могут остановить движение".

В своем докладе о "текущем моменте" я, подводя итоги событиям 1905-1907 гг., вспомнил, что многих поражало, что во время "свобод" по вопросам тактики с.-д. и с.-ры как будто менялись местами.

С.-ры были против борьбы за явочное введение восьмичасового рабочего дня, они считали опасной и преждевременной вторую всеобщую забастовку, в Петербургском Совете Ра-

бочих Депутатов они голосовали против третьей забастовки. Они принимали участие во всех этих наступательных действиях пролетариата, подчиняясь общей революционной дисциплине, чтобы не ослаблять в момент борьбы позиций неправильной тактикой. Почему же с.-ры, которых все привыкли считать яркими сторонниками самых крайних методов борьбы, здесь так усиленно стояли за осторожность и выдержку, когда с.-д-ы были окрылены готовностью на самое решительное наступление?

Потому, что здесь оказалось различие в оценке борющихся сил; потому, что с.-д-ы, ослепленные успехом первой забастовки, стали на ту точку зрения, что пролетариат достаточно силен, чтобы на своих плечах вынести всю тяжесть борьбы, добить поколебленного и растерянного врага. Отсюда - тактика форсирования событий. От такой тактики мы не ждали ничего кроме перенапряжения сил и без того истощенного борьбой пролетариата. Мы стояли за оборонительную тактику, за самое энергичное использование уже завоеванных свобод в смысле 282 организации и привлечения к движению более глубоких толщ народных масс; нам казалось необходимым, насколько это в наших силах, отложить момент решительного столкновения до тех пор, когда наряду с пролетариатом в генеральном сражении сможет выступить и крестьянство.

"Наша тактика, - говорил я, - не восторжествовала. Против нее была и гораздо более нас влиятельная в городах социал-демократия и просто игра разбуженных стихий, двигавшихся, слушаясь не политического расчета, а непосредственного чувства. События показали, что пролетариат и интеллигенция, выступившие первыми на арену борьбы, не могли не только добить врага, но и удержать в своих руках неожиданно вырванные в первый момент у царского правительства уступки. Крестьянство же не успело вступить в борьбу сколько-нибудь широкими массами, только сравнительно немногие революционные оазисы из всего огромного деревенского мира разделили с городским движением его участь. Не нужно, однако, преувеличивать и всю вину за неуспех движения, валить на то, что другие партии, игравшие дирижирующую роль, не приняли нашей тактики и сделали те или иные ошибки. Это было бы глубоко неисторично.

В силу внутренней логики развивавшихся на наших глазах событий принятие или непринятие той или иной тактики партией могло повлиять на отдельные фазы исторического процесса, но не на окончательный исход его. Первая великая победа, одержанная освободительным движением над царским абсолютизмом, была одержана в кредит. Она была вовсе не результатом достаточной силы революционных общественных элементов, а лишь результатом полной неподготовленности правительства к вновь создававшемуся положению. Ужасный исход русско-японской войны, вместе с революционными ударами внутри, перевернул в стране все отношения. Правительство было поколеблено морально. Немудрено, что в него утратили веру все. Его прежнее видимое могущество не выдержало испытания - и само перестало верить в него.

Если взглянуть на период свобод трезвыми глазами, - говорил я, - без иллюзий, то мы увидим, что самым опасным в нем было несоответствие видимого с реальным. По-видимому, революционные силы были господами положения, находились даже люди, говорившие о правительстве Витте и 283 правительстве Хрусталева; и это в то время, когда правительство располагало всей своей колоссальной вооруженной силой, - а Совет Рабочих Депутатов - несколькими сотнями револьверов да самодельным холодным оружием, в виде пик и палок со свинцовыми наконечниками, наскоро сработанными в мастерских Шлиссельбургского тракта.

По-видимому, крестьянство целыми селами входило в Крестьянский Союз: реально, все эти приговоры о присоединении к союзу были только стихийным сочувственным откликом проснувшейся мужицкой души на первые услышанные лозунги, еще неясные во всем их значении, но уже затрагивающие самые наиболее струны крестьянского сердца. По-видимому, войска готовы были перейти на сторону революции; реально они были охвачены процессом деморализации и брожения, в целом продолжая оставаться под гнетущей властью дисциплины, заставляющей покорно стрелять по команде в восставших. По-видимому, решался вопрос о том, кто победит завтра в уже почти совсем надвинувшемся бое; реально было лишь превращение России в колоссальный революционный университет и ряд отчаянных попыток самозащиты от первых робких правительственных репрессий.

Кого ослепила видимость, тот готовил себе страшный психологический кризис, отчаяние и разочарование. Кто видел реальное положение вещей, тот старался лишь использовать "во всю" неограниченные возможности проникновения в самые глубокие слои народной подпочвы. И в самом деле, до "революции" мы были ничтожной кучкой. Мы верили, конечно, что наша программа полнее всего отвечает историческим стремлениям русского трудового народа; мы чувствовали, что стоим на верном пути, но проверить эту веру в живой действительности мы не могли, ибо сфера проникновения наших идей в народные массы была крайне ограничена. Краткий период свобод дал нам возможность широко сеять наши идеи на почве, которая по нашим предположениям должна была быть особенно благоприятной для них. Тут оказалось, что результаты нашей работы превзошли во много раз наши самые смелые ожидания. Мы завоевали ряд позиций среди пролетариата, который с.-д-ы считали своей монопольной собственностью. В деревне мы не имели конкурентов.

Тот факт, что 104 члена второй Думы подписали наш проект 284 социализации земли, даже для слепых явился ярким и несомненным подтверждением нашего положения, как великой массовой партии. Краткий период свобод был использован нами полностью. Наши идеи приняты значительной частью рабочих и крестьянских масс. Но успехи наши - чисто идейные. Наше влияние на массы увеличивалось с каждым днем, но мы не успевали закреплять его организационно.

Правительство фактически отняло у народа все те уступки, которые оно сделало в момент подъема революционной волны и собственной растерянности. Если судить по внешности, для правительства всё обстоит благополучно. Третья Дума для него очень полезное украшение, которое ничуть не стесняет его действий внутри страны, а в глазах цивилизованного мира служит наглядным доказательством того, что Россия благополучно пребывает под конституционным режимом. Черносотенные элементы, где они имеются, громко шумят и изображают из себя "народ", преданный старозаветным основам государства российского. Но всё это - внешность. В массах царское правительство уже фундамента не имеет.

Ни для кого не тайна, - сказал я, - что мы разбиты, но разбиты не как массовая партия, а как организация. Разбитость наша заключается в громадном несоответствии между нашими ослабленными организационными силами и той массой, которую нам предстоит обслужить, охватить и закрепить. Из этого положения для нас вытекает настоятельная потребность в строительной работе. Работа эта должна выразиться в том, что мы приспособим нашу организацию к полицейским условиям работы, усилив в ней элемент конспирации и централизованности. Надо сомкнуться, сосредоточиться, усилить партийную дисциплину. Но, чтобы не оторваться от масс, нужно входить во все виды массовых организаций, возникающих в трудовой массе, содействовать их росту и развитию, пользоваться ими для распространения

наших идей. Политическая организация охватывает массу односторонне и недостаточно и лишь в исключительные моменты дает всей массе случай проявить свою сплоченность и активность. Колоссальное значение экономических организаций, профессиональных союзов и кооперативов в том и заключается, что они объединяют ежедневно, ежечасно усилия рабочих для улучшения их 285 обыденной жизни, на началах полной самостоятельности и автономии... В сферу нашего партийного воздействия должны быть втянуты все возникающие массовые организации, не исключая и просветительных. Идеи наши брошены в широкие круги трудовых масс, и наша ближайшая задача заключается в закреплении их в сознании трудовых масс".

В конце сентября 1908 года Марк Натансон сказал В. Н. Фигнер:

- Вера, надо принять меры и усмирить Бурцева, который направо и налево распространяет слух, что Азеф провокатор. Мы решили пригласить тебя, Германа Лопатина и Кропоткина разобрать основания, по которым он позволяет себе порочить члена Ц. К. и дискредитировать партию. Согласна ли ты принять участие в этом?

Она ответила - согласием.

Вскоре Кропоткин приехал в Париж и в квартире Савинкова начались заседания. 26-го декабря того же 1908 года было подписано Центральным Комитетом заявление об окончательном установлении провокаторства Азефа.

Дорого обошлись партии укусы пригретой ею на своей груди змеи провокации. Не менее дорого обошлось ей самое прозрение. Тому, кто сам не пережил тех дней, трудно даже вообразить себе размеры овладевшей партией оторопи и ощущения моральной катастрофы. Среди 14-ти крупнейших партийных работников, собранных вместе с наличным составом Центрального Комитета на чрезвычайное тайное собрание для решения вопроса о том, что самый факт предательства отныне непоколебимо установлен подробными показаниями допрошенного нами бывшего директора Департамента Полиции Лопухина, - нашлось только четыре человека, которые признали данные эти достаточными для вынесения Азефу смертного приговора и приведения его в исполнение.

Когда же один из них (Слетов) предложил немедленно отправиться к Азефу и без долгих разговоров собственноручно убить его на месте, - никто не откликнулся сочувственно на это предложение. Более того: представитель партии в Интернационале И. Рубанович противопоставил ему требование строго держаться в таких рамках, "чтобы ни интересы правосудия, ни интересы партии не пострадали", а двое или трое из присутствующих 286 потребовали от собрания гарантии, что на Азефа не будет произведено покушение, или же они пойдут к нему и предупредят о грозящей ему незаслуженной опасности...

На этот раз - думаю, в первый раз в своей жизни - сам старший Марк Натансон растерялся. Зато растерялся до паникерства, до полного паралича воли, до неспособности держаться какого-нибудь решения: "Конечно, - говорил он потом, перед лицом чрезвычайной партийной Судебно-Следственной Комиссии - на нас действовал не страх, что в перестрелке нас убьют, а страх, что будет полный развал партии, что начнется междуусобица". Азеф между тем получил возможность вовремя бежать.

И тут произошел взрыв эмигрантских страстей, дошедших до точки кипения, вакханалия всеобщего смятения и хаоса. Сумятица не пощадила и преданнейших работников партии. Неожиданно явившийся ко мне Карпович, с мучительной тревогой и волнением выслушав мою горестную повесть о том, как показания Лопухина дали мне ключ к разгадке противоречия между видимыми заслугами Азефа и тайными хитросплетениями его измены, - по-

бледнел, схватил шляпу и сдавленным голосом произнес:

- Ну, Виктор Михайлович, если всё это так, то у нас один выход: всем, не медля ни минуты, разбежаться в разные стороны, чтобы не напоминать видом своим друг другу о том, что было и о чем надо забыть навсегда, чтобы можно было как-то еще жить...

Мы не оправдали себя, как организаторы и практические руководители. Мы считаем своим долгом передать ответственные ключевые позиции в партийной организации другим. Но есть ли у нас смена, думал я, мы не знаем. Так будем же заново готовить эту смену, углубим и обновим партийное мирозерцание, всю идеологию партии, ее жизненное миропонимание, ее философию.

Здесь получили начало и мои планы будущих теоретических работ и мысль о большом идеологическом журнале: им скоро стал журнал "Заветы" в Петербурге. На них росли и пробовали себя молодые побеги от старых корней эсеровства, показавшие себя в первых наших успехах 1917 года.

287 После лондонской общепартийной конференции и еще до разоблачения Азефа Центральный Комитет решил приступить к последовательному восстановлению главнейших областных организаций, из которых состояла партия. На первую очередь было поставлено Поволжье, - как потому, что оно всегда играло основную роль в жизни партии, так и потому, что в эмиграции скопилось десятка полтора надежных товарищей, для которых

Поволжье было родиной, во всех городах Поволжья имели связи и, отправившись спешившей группой, могли рассчитывать немедленно же поставить на ноги работу "по всей линии фронта".

Везде, где среди молодежи назревало какое-нибудь живое дело, О. С. Минор оказывался тут, как тут. В итоге, Минор оказался во главе группы, вел от ее имени переговоры с Ц. К. о ее переброске в Россию, передал просьбу группы отпустить его с нею и сам присоединился к ее ходатайству. После долгих споров в Центральном Комитете было вынесено положительное решение, и О. С. Минор был назначен уполномоченным Ц. К. по Поволжской области, с правом распоряжаться и всеми личными силами спешившей за границей группы.

Это было героическое безумие. Но вся жизнь русского революционера того времени нередко сводилась к цепи таких героических безумий. Это ехала группа обреченных. Во-первых в курсе всего предприятия был Азеф. Во-вторых, в состав группы успела войти уличенная впоследствии секретная сотрудница Охранного Отделения Татьяна Цейтлин.

Минор сам рассказывал о своем драматическом прощальном свидании с Азефом накануне отъезда. После беседы о том, что делать Азефу в виду "клеветнических" обвинений Бурцева, причем Азеф "говорил с надрывом, почти со слезами на глазах", - они вдвоем засиделись в кафе до часу ночи, причем Азеф "с печатью страдания на лице" всё время уговаривал Минора не ехать в Россию, ибо его там наверное изловят и повесят. Минор даже рассмеялся и ответил ему так, как и должен был ответить "солдат революции":

- Не тебе, Иван, говорить об этом. Сколько раз ты рисковал жизнью и никогда не останавливался перед опасностью.

288 Когда-нибудь это неизбежно должно произойти. Нет, вопрос решен. Завтра я еду. Напрасно уговаривать.

Азеф пошел провожать Минора до его квартиры, "всю дорогу продолжал то же безнадежное дело, стоя у дверей, держа Минора за руку, чуть не умоляя не ехать, - и, в конце концов, расцеловал его и быстро ушел". Вспоминая об этом полтора десятка лет спустя, Минор мог найти этой сцене лишь одно объяснение: "в звере-человеке на минутку человек подавил

зверя"... Кто знает?

О. С. Минор благополучно перебрался через границу и в конце декабря прибыл в Саратов. Там он узнал, что предательство Азефа, в которое долго не верилось, окончательно доказано и уже опубликовано Центральным Комитетом. Это был для него оглушительный удар. Но машина уже работала. Ранее его приехавшие товарищи успели связаться с местными людьми, и обычный механизм нелегальной работы уже был пущен в ход. Опять всё то же: организация областного съезда, областного комитета, постановки областной типографии, областного печатного органа. А 2-го января 1909 года массовые аресты смели всё это стройное здание, и Минор оказался в одной из самых ужасных тюрем того времени - Саратовской тюрьме.

Одно дело - сесть в тюрьму в обычное, тихое время, когда даже и на тюрьме почитают благодать патриархального спокойствия и лени.

Или сесть в тюрьму во время апогея подъема движения, когда власть становится или кажется непрочной, когда дыхание свободы пробивается через все щели и скважины, когда сами тюремщики втайне подумывают, не лучше ли "перестраховаться" и кое в чем угождать сегодняшним побежденным, которые завтра могут оказаться победителями.

И совсем другое дело - попасть в тюрьму в момент безнадежного разгрома и упадка движения. Только что восторжествовавшая реакция мстит за пережитые моменты неуверенности в завтрашнем дне. Чем выше вздымалась волна освободительного движения, чтобы затем упасть, тем более искажен неутолимой злобой маниакальных лик реакции. Минор уже раз испытал это в Якутске. Второй раз пришлось ему это пережить в Саратове: и Саратов в иных отношениях превзошел Якутск... А Минор вступал в стены тюрьмы 289 потрясенным, буквально придавленным тяжестью вести о провокации, разъедавшей годами самую сердцевину организации.

Неукротимая воля Осипа Соломоновича отстоять свое человеческое достоинство, вспыхнувшая "мужеством отчаяния", имела своим последствием, что из четырнадцати месяцев саратовского заключения он 192 дня провел в тюремном карцере. Тюремные власти, сразу решив, что имеют дело с опасным революционером, принялись немилосердно выбивать из него "дух бунта" и, в особенности, проводить систему абсолютной изоляции. Ежедневные обыски с раздеванием донага, грубые окрики, заключение в карцер, перевод из этажа в этаж, из камеры в камеру, вплоть до знаменитого "страшного коридора" или "коридора смертников", где то и дело раздавались крики избиваемых или уводимых на повешение... Зловещее предсказание Азефа "непременно поймают и уж, конечно, повесят" - готовилось как будто стать действительностью...

Впечатлительная, нервная, порывистая натура Минора и в более молодые годы трудно переносила одиночество. Когда-то заявлением, что чувствует, как буквально стоит на границе сумасшествия, - он добился, что ему позволили делить камеру с другим товарищем. Теперь были не те времена. И все протесты, все попытки что-то отстоять, чего-то добиться, подсказанные инстинктом самосохранения, приводили лишь к одному: к дальнейшему ухудшению положения.

У Минора начались галлюцинации, целые ночи борьбы с собой, попытки прогнать галлюцинацию силой воли, самоувещанием, короткие промежутки освобождения и новые срывы в пропасть жутких видений, являющихся сознанию со всей силой неодолимой и беспощадной реальности.

Только суд и приговор военно-окружного суда в марте 1910 года, назначивший Минору

8 лет каторжных работ, прервал эту безнадежную борьбу со стихией безумия, эту агонию на краю бездны душевного хаоса.

Еще раньше ареста Минора, в сентябре 1907 г., по указанию Азефа, в Симбирске была арестована "бабушка" Брешковская, а 11-го ноября того же года в Петербурге был арестован Н. В. Чайковский, проживавший там по чужому паспорту.

Брешковскую в кандалах привезли в Петербург, и на полтора года о судьбе ее ни звука. Напрасно в Америке, где 290 ее помнят и любят, подымается в ее пользу широкое движение, напрасны обращения оттуда к Столыпину.

У него на всё один, исключаяющий всякие колебания, ответ: "Она поднимала крестьян против помещиков!". В 1910 г. ее и ее старого друга Н. В. Чайковского судят. Он, заявив, что не принадлежал к партии с.-р., добивается оправдания. Но "бабушка" негибаема. Со следственным производством знакомиться она не желает: "Пусть этим прокурор занимается, а я свои дела и так знаю". Защитнику она заявляет: "Что ж, ходи, я тебе рада. Рада, как человеку, а какая тут защита? Я царский суд видела, он остается тот же, да и я остаюсь та же". С судом Брешковская объясняется коротко. "Чем занимаюсь? Проповедью революционного социализма. Больше разговаривать нам не о чем. Была на воле делала свое дело без вас; теперь ваша очередь - делайте свое дело без меня".

Приговор: бессрочная ссылка на поселение. "Бабушку" отправляют в Киренск (Якутской области).

В разгаре революционных событий 1905-1906 г. и Леонид Шишко, уже тяжело больной, вернулся в Россию, чтобы собственными глазами видеть и осязать перипетии переживаемой бурной эпохи и разобраться в смысле ее. Контрреволюционный поворот не обескуражил его. Его духовный взор не приковывался к гнетущим впечатлениям исторического сегодня. Он охватывал, на твердом фундаменте личного опыта, гораздо более широкую и длинную историческую полосу. И вот почему в то самое время, когда отчаяние и разочарование было нередким гостем среди молодежи, он сохранял всё время спокойную уверенность в прочность того дела, у колыбели которого он стоял в своей далекой юности. Все события располагались у него в более правильной исторической перспективе. Чуждый чрезмерных надежд разгара революционных событий, он оставался чужд и чрезмерных разочарований. С наступлением реакции он вернулся в Париж, где умер в начале 1910 г.

В 1906 г. приехал из Америки в Россию и Х. О. Житловский. Он приехал, когда как раз готовился созыв всероссийского съезда социалистических организаций 15-ти национальностей: то были большею частью союзники ПСР (младо-дашнакцане, грузинские социалисты-федералисты, эстонская ПСР, латышский союз, с.-р-ский по программе, но еще не успевший переименоваться из с.-д. в с.-р.). К ним Житловский смог присоединить еще новооснованную "Социалистическую еврейскую рабочую партию" или, по инициалам ее имени "Серп", и инациональные отделы общепартийных с.-р. организаций (мусульманский, поволжский, чувашский, осетинский и даже якутский). В виду заслуг Житловского по разработке национальной проблемы, Житловскому предлагалось, по моему предложению, поручить открытие съезда.

Увы, полицейские удары по инациональным организациям очень ослабили общий их съезд: вместо 15 делегаций собралось 6 и пришлось довольствоваться малоавторитетной конференцией. Самый состав делегации нашей партии, бывшей фактически устроительницей съезда, оказался не авторитетным; глава ее, Натансон, подпал под влияние лидера правого крыла П. П. С., Пильсудского, и вместе с ним провел решение, согласно которому основной

вопрос конференции, вопрос национальный, был признан "вопросом открытым" и "еще не вышедшим из стадии внутрипартийных дискуссий". Житловский, разочарованный и даже подавленный, вернулся в Америку.

Ф. В. Волховской в революционные годы жил в Петербурге, а потом в Финляндии. Ф. В. являлся активным деятелем партии. Он особенно увлекался деятельностью среди военных, был тесно связан с нашим Военно-Организационным Бюро; сотрудничал в газетах "За Народ" и "Народная Армия", предназначенных для пропаганды среди военных - солдат и офицеров. После разгрома Военно-Организационного Бюро он вернулся в Англию. В 1911 и 12 гг., как писатель и редактор, он принимал самое деятельное участие в заграничных партийных изданиях "Знамя Труда" и "За Народ". Умер Феликс Вадимович в Лондоне в 1914 г. за несколько дней до объявления войны...

Из других основоположников ПСР Егор Лазарев еще в октябре 1905 г. вернулся в Россию и легализовался. До разгона Второй Государственной Думы он жил в Петербурге, а затем переехал в родную Грачевку, Самарской губернии. Разгром партии, азефовщина заставили Е. Е. Лазарева возвратиться в Швейцарию. На этот раз не надолго. В 1909 году Лазарев вновь едет в Петербург, где становится секретарем редакции "Вестника Знания" Битнера. После студенческой 292 демонстрации, вызванной смертью Л. Н. Толстого, Е. Е. Лазарева неожиданно арестовывают и после трехмесячного заключения, в 1911 году, высылают в третий раз в Сибирь, на 4 года. Но благодаря хлопотам друзей, ссылка в Сибирь заменяется ему высылкой за границу, где Лазарев и прожил до революции 1917 года.

В эти годы партийного затишья в нашей партии начало складываться новое течение, впоследствии оформившееся как "правое крыло" партии. Наиболее выдающимся его представителем был Н. Д. Авксентьев. Н. Д. был одним из трех редакторов партийного органа "Знамя Труда". Он имел полную свободу писать на его страницах о чем угодно и - в дискуссионном порядке - что угодно, но он предпочел образовать рядом с ним особый, уже чисто фракционный орган "Почин". Многие, - лично я не был в их числе, - очень его за это тогда упрекали, но исключительно по линии нецелесообразности, несоответствия интересам момента, а отнюдь не прегрешения против партийной дисциплины. Принцип свободы защиты своих мнений внутри партии в наших рядах торжествовал всегда, и если в чем партию с.-р. и можно было упрекнуть, так это не в подавлении какого-либо "еретического" течения внутри партии, а уж скорее в чрезмерной терпимости к попыткам от автономии мнений перейти к "автономии действий", т. е. к практическим выступлениям, вносящим в жизнь партии жесточайший разнобой и совершенно ломающим самые основы партийной дисциплины.

С "Почина" началось некоторое обособление Н. Д., как лидера "правого крыла" нашей партии. В сущности, первый шаг в этом направлении имел место еще раньше, на Лондонской общепартийной конференции 1908 года.

Авксентьев вообще был богато одаренной натурой. Широко философски образованный, он обладал и высокоразвитым художественным вкусом. Были у него и артистические задатки, которых он не развил. Он был превосходный чтец, блестящий рассказчик и остроумный собеседник.

Психологический отрыв Бориса Савинкова от партии начался давно. В сущности, настоящим партийным человеком он никогда не был. Он был скорее "попутчиком" в партии.

293 "Я ведь, В. М., собственно говоря, не эсер, а народовол", - заявил он как-то раз и принялся обращать многих боевиков в "народовольчество", которое в изменившейся и усложнившейся обстановке было, как программа, уже не живым, а историческим словом.

Попытка объяснить показала, что Савинков просто скептик по отношению ко всем партийным теориям, скептик не по какому-нибудь более глубокому подходу, а по недосугу вдуматься и неимению для этого серьезной подготовки; народовольчество же, именно по изжитости программно-теоретического содержания, оставалось лишь как казовая сторона, которая его и привлекала. Но длилось это недолго.

"Я, В. М., ведь в сущности анарх", - с каким-то смешком заявил Савинков после поездки в Лондон и нескольких разговоров с П. А. Кропоткиным. Если бы Савинков всерьез мог сделаться анархистом, он, конечно, выбрал бы не коммунистический анархизм Кропоткина, а какую-нибудь разновидность анархо-индивидуализма.

Эстетство и духовный аристократизм потом бросили Савинкова на время в сторону "христиан третьего завета", Мережковского и Зинаиды Гиппиус, тогда почему-то вообразивших, что они должны создать какое-то "религиозное народничество" и сделать религию душой революции.

Савинков внес в террористическую среду новый тон, которого раньше, в демократические времена Гершуни, не было и в помине.

Это была своеобразная выправка и психология военно-террористического цеха, свысока относящегося к другим видам работы, как менее героическим. Не все боевики, в атмосфере вечной нервной напряженности и опасности для жизни, умели сохранить идейное достоинство и моральное равновесие, чтобы совсем не поддаться этому новому "душку", каждое проявление которого вызывало трения с "комитетскими" работниками, причиняло нам много и мелких неприятностей и серьезного горя.

После опубликования Савинковым, под псевдонимом В. Ропшин, "Коня Бледного", впервые раздались с разных сторон даже требования об его исключении из партии: морально-политическая сущность этого произведения одними воспринималась, как оплевывание террористов и партии, другими - как претензии на сверхчеловечество и проповедь аморализма.

294 Савинков резко высмеивал все эти нападки, основанные на незаконном смещении героя рассказа, Жоржа, с автором, а остальных персонажей - с разными его товарищами по боевой работе. Мне казалось ясным, что если Савинков и вложил что-то "свое" в Жоржа, то иное "свое" он вложил в антиподов Жоржа; я знал, что Савинков, хотя и путано, и слабо, но всё же частично отразил в диалогах "Коня Бледного" кое-какие из глубочайших переживаний таких людей, как Каляев и Сазонов.

Я знал, что из своего каторжного захолустья Сазонов требовал, чтобы его тоже исключили из партии, если будут исключать Савинкова. Общее несчастье открытие провокации Азефа - сняло с очереди вопрос о "Коне Бледном": вокруг Савинкова сплотилось несколько человек, задавшихся целью новыми атаками "очистить террор от пятна", наложенного участием "великого провокатора"; но слишком ли были неблагоприятны внешние обстоятельства, вмешался ли случай, или Савинков оказался несостоятельным, как "единый глава" новой террористической организации, только из нее ровно ничего не вышло.

Савинков вернулся к литературе и в "То, чего не было" пробовал продолжить и углубить постановку морально-революционной проблемы, начатой в "Коне Бледном" - без всякого успеха. Высокомерно-пренебрежительное отношение к людям, иссушавшее его душу, могло дать только карикатуриста, а не художника революции. Верные своему догмату свободы мысли и критики, мы предоставили Савинкову право высказаться на страницах "Заветов": но не мало крупных партийных деятелей осталось "при особом мнении", готовые уже

тогда отнестись к Савинкову, как к "отрезанному ломтю". В последнем отношении, пожалуй, они проявили больше проницательности по отношению к будущему, тогда как мы больше терпимости и уважения к формальным правам всякого несогласно мыслящего члена партии.

295

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Наши взаимоотношения с Польской Социалистической Партией (ППС). - Доклад Пилсудского в Париже накануне 1-ой мировой войны. - Разрыв ППС с ПСР. - Война. - Раскол в социалистических рядах. - Социал-патриоты, интернационалисты и пораженцы. - Циммервальдская конференция.

Канун первой мировой войны для нас был ознаменован внезапным острым расхождением с польскими социалистами в лице известной Партии Польских Социалистов.

С самого возникновения Партии Социалистов-Революционеров у нее как-то почти автоматически установились с ППС самые тесные и даже сердечные отношения. Уже в нашем "надполье", в "Русском Богатстве" Н. К. Михайловского, со всеми польскими делами и проблемами знакомил русскую читающую публику видный член ППС Людвиг Василевский, писавший под псевдонимом Л. Плохоцкого. Естественно, что он в той же роли перешел и в нашу "подпольную" "Революционную Россию". Далее, мы всегда считали себя непосредственными преемниками и продолжателями "Народной Воли"; а одним из ее замечательных организационных достижений считалось заключение федеративного союза с предшественницей ППС, польской партией "Пролетариат". То было формальное закрепление идейной солидарности русского и польского социализма в делах их общей, единой и нераздельной непосредственной революционной войны против самодержавия: "За вашу и нашу волюность!".

В рядах основоположников и ветеранов нашего движения никаких расхождений по вопросу о наших взаимоотношениях с поляками тоже не возникало. Лично я всегда сознавал и 296 чувствовал себя в этом вопросе политически единодушным с такими людьми, как Лавров, "бабушка" Брешковская, Шишко, Волховской и др. Не иначе смотрели на дело и люди поколения, непосредственно предшествовавшего моему: Михаил Гоц, Минор, Гершуни. Всем нам были чрезвычайно дороги и святы великие традиции русского революционного движения, утверждавшие польско-русское братство еще со времен "декабристов" и кончая идейными основоположниками революционного народничества: Некрасовым, Чернышевским внутри России, Герценом и Бакуниным - за рубежом.

Я пишу это, чтобы объяснить, почему в рядах ППС господствовало тогда величайшее доверие к нашей партии и высокая оценка ее высоко над международными распрями поднявшейся всечеловечности. Но именно поэтому, помню, на нас пахнуло чем-то необычным и тревожным от выступления Иосифа Пилсудского в начале 1914 г. Этот властный и энергичный лидер польского социализма всегда производил на меня такое впечатление, что социализм у него был лишь средством, а национализм целью. И оно было только подкреплено прочитанной им в Париже в январе 1914 года в зале Географического Общества лекцией, оставившей сильное впечатление.

Лектор показал себя человеком, знающим, чего он хочет, умеющим зорко следить за направлением общего хода событий, не боящимся предвидеть и предрекать ближайший их оборот и с ним сообразовать свою тактику. Пилсудский уверенно предсказывал в близком будущем австро-русскую войну из-за Балкан. Не было у него сомнений и в том, что за Австрией будет стоять - да и теперь уже скрыто стоит - Германия. Он высказал далее уверен-

ность, что и Франции нельзя будет, в конце концов, остаться пассивным зрителем конфликта: день, в который Германия вступится открыто за Австрию, будет кануном того дня, когда Франции придется, в силу связующего ее договора, вмешаться на стороне России. Наконец, Британия, полагал он, не сможет оставить на произвол судьбы Францию. Если же соединенных сил Франции и Англии будет недостаточно, они вовлекут рано или поздно в войну на своей стороне и Америку.

Анализируя, далее, военный потенциал всех этих держав, Пилсудский ставил ребром вопрос: как же пойдет и чьей 297 победой кончится война? Ответ его гласил: Россия будет побита Австрией и Германией, а те, в свою очередь будут побиты англо-французами (или англо-американо-французами). Восточная Европа потерпит поражение от Европы Центральной, а Центральная, в свою очередь, от Западной. Это и указывает полякам направление их действий...

Не могу похвалиться проницательностью: меня осаждали самые разнообразные колебания и сомнения. Да, полагал я, гипотеза Пилсудского не исключена. Но ведь, если Россия потерпит ряд поражений, полунемецкая дворцовая камарилья сумеет примирить Николая с Вильгельмом не чересчур дорогой для первого ценою: они как-нибудь по-новому сговорятся о Польше, но никаких "освобождений" из этого для поляков не получится: просто германская доля в Польше увеличится за счет русской.

Я, увы, никак и представить себе не мог, чтобы Россия была выведена из войны и на время превращена в германского вассала какими-нибудь другими руками, а не руками Дурново и Протопопова, всегда предпочитавших сохранение дружбы с Германией. Того, что произойдет на самом деле, никто представить себе не мог: Пилсудский тоже не был исключением. Без этого никем не угаданного оборота событий план Пилсудского оказался бы карточным домиком, мечтой политического комбинатора. На этот раз, однако, история обманула все предвидения и все расчеты; но обманула так, что Пилсудский вышел на первых порах несомненным бенефициантом создавшейся конъюнктуры.

В чем должна состоять польская тактика, Пилсудский в своей лекции намекал. Но Пилсудский, видимо, считал нужным объяснить с нами напрямик и расшифровать всё, о чем в зале Географического Общества говорил обиняком. Ко мне от ППС (тогда это значило от Пилсудского) явился для совершенно конфиденциальных разговоров старый польский революционер и социалист Иодко (если не ошибаюсь, он кончил жизнь послом Речи Посполитой в Константинополе).

Этот разговор в моей памяти останется, как один из самых замечательных, которые мне приходилось вести. Длился он очень долго. Чем дальше подвигался он вперед, тем больше оба мы становились внутренне взволнованными; но именно потому в самых трудных пунктах мы держались с 298 величайшей сдержанностью. В конце концов, понимали мы друг друга с полуслова и "агитировать" друг друга не собирались. А что мы встретились друг с другом не для того, чтобы вести переговоры, а объяснить и распрощаться, это, надо думать, Пилсудскому с самого начала было ясно, а для меня выяснилось тотчас, как только его посланник коснулся самого существа дела.

- Против истории идти нельзя, нельзя "переть против рожна", - говорил он, - не менее абсурдно было бы для нас остаться простыми зрителями событий. Это возможно для кого угодно, только не для нас, поляков. Кто в критический, поворотный момент истории не хочет встать ни на одну из борющихся сторон, тот ничего, кроме туманов, ни откуда не получит. Если наша партия своего выбора не сделает, то поляки Кракова и Познани будут драться в

рядах немецких армий против поляков Варшавы, Лодзи и Люблина. И мы окажемся, если не виновниками, то попустителями этого ужаса: брат, идущий на брата, без того, чтобы Польская Социалистическая Партия указала им выход из трагического тупика! Нет, наша партия этого не переживет. Мы не можем и не должны дожидаться того момента, когда половина поляков окажется мобилизованной в австро-германскую армию, а другая - в русскую, для целей полякам одинаково чуждых. Иного выхода нет. Мы сами должны мобилизовать всех поляков, и во имя лишь общей нашей цели: освобождения Польши, всей Польши.

- Это неплохо звучит в теории, но как это будет выглядеть на практике?

- Просто и ясно. Если первым, предварительным результатом войны будет поражение России, мы прежде всего должны добиться освобождения русской части Польши, тем более, что она и самая большая и наиболее исконно-польская из трех ее частей. Скажите мне прямо: имеем ли мы на это право или не имеем?

- Вы имеете право не только на это; но и на большее: на воссоединение всех трех частей. Но вопрос не в "праве", а в том, как это право реализовать. Вы же ведь не думаете, что на это вы будете иметь санкцию Германии и Австрии?

- А почему нет? На это будет тем больше шансов, чем 299 успешнее польская военная сила параллельно с германской будет очищать губернии "царства польского" от русской власти и ее сил; и чем большим подспорьем для ликвидации русской власти над Польшей будет нами организованная польская партизанщина, дезорганизующая коммуникации и вообще тыл русских армий.

- В войне нет просто параллельных действий против общего врага, а есть действия союзные.

- Это почти так, и всё же не вполне так, - история знает примеры параллелизма действий и без настоящего союза.

- Во-первых, очень плохие примеры, весьма несовершенные, по сравнению с примерами действий формально объединенных. А, во-вторых, простой параллелизм действий еще возможен там, где действующие против одного врага силы имеют каждая свой отдельный фронт и свою отдельную базу. А тут база противорусской войны может быть только целиком в немецких руках, а это ставит вас в полную зависимость от немцев: не обманывайте же самих себя.

- Пусть так, не спорю, и понимаю, что это - особенность положения, очень для нас неблагоприятная. Но над этим мы не властны.

- Значит, вы будете организовывать польские бригады, инкорпорированные в германскую армию? Вы будете частью силы, враждебной России и ее союзникам?

- Я буду с вами совершенно откровенен - только, разумеется, то, что будет мною здесь сказано с глазу на глаз, публичному оглашению не подлежит. Мы уже теперь усиленно подготавливаемся на случай всеевропейской войны. Да, мы готовы инкорпорироваться в одну из собирающихся действовать на русско-польской территории армий. Только мы предпочитаем германской армии - австрийскую. У нас в Галиции уже идет военная подготовка польских военных кадров... Австрию мы предпочли Германии, потому что она слабее и ей можно будет ставить условия.

- А с ее стороны не будет условий - вроде принца из Габсбургской династии на польском престоле или, как наименьшее, ограничение будущего польского государства размерами только русской части Польши?

300 - Предположим. Однако же, с польской точки зрения, независимое государство да-

же только из одной части, из русской Польши - всё же лучше, чем ничего. Главное для нас - получить какую-либо свою собственную территорию, где будет формироваться самостоятельная польская армия. Не забывайте, что после разгрома царской армии европейский Запад оружия не сложит, и немецкий блок раньше или позже испытает в свою очередь судьбу России. Вот когда наступит время для освобождения и прусской, и австрийской части Польши; а немецкий принц, если таковой будет посажен, будет нами низложен.

- Значит, ваши слова о перемене ориентации на французскую есть заранее предусмотренный и планированный маневр?

- Святая истина, и для Парижа, и для Лондона это не является тайной. Первая фаза войны - мы с немцами против русских. Вторая и заключительная фаза войны - мы с англо-французами против немцев.

С минуту продлилось молчание. Наконец, Иодко снова заговорил:

- Теперь всё сказано. О подробностях и всяких возможных осложнениях будет время говорить и даже подробно дебатировать потом... если окажется, что есть смысл этим заняться. Но прежде всего - основной вопрос. Зная будущую нашу позицию в надвигающейся войне и зная общий наш план вмешательства в ее ход, сохраните ли вы, сохранит ли ПСР сочувствие нашей освободительной войне, останется ли, в главном и целом, - нашим союзником, соединяющим свою борьбу против царизма с нашей борьбой, или... или нам грозит расхождение?

Видя, что я молча прошелся несколько раз по комнате, Иодко прибавил:

- Я понимаю, что вы вряд ли решитесь, да и вряд ли вправе дать мне ответ без совещания с другими ответственными товарищами... Мы и сами имеем пока ввиду лишь дать вам повод и материал для такого совещания. Мы еще не воюем, время у нас есть. Да и военные тучи могут рассеяться. Но всё же ведь лучше предвидеть всё на худой конец, не правда ли?

301 Я вскинулся:

- Нужны ли эти оговорки? По совести говоря, они звучат неубедительно. У вас ведь война имеется в виду не "на худой конец", напротив: вы ведь в сущности возвращаетесь к мотивам времен Мицкевича - "Боже, дай нам европейскую войну, которая освободит Польшу". Вот эта-то ваша психология нас с вами теперь и разводит в разные стороны. Будущая мировая война, если она разразится, будет, с нашей точки зрения, катастрофой, от которой стынет кровь в жилах, и это не позволяет ставить на нее какие бы то ни было ставки...

- О, с точки зрения общей гуманности, - холодно-вежливым тоном, не без оттенка иронии, вставил Иодко, - поверьте, и мы вполне разделяем ваши чувства.

- Нет, вы их не разделяете, ибо они идут гораздо дальше абстрактной гуманности. Поймите же и вы нас. Война расстроит все наши планы и все расчеты, она перевернет всё вверх ногами, всё предоставит бесконтрольной игре слепых, разнузданных сил. Их последствия никем не могут быть предвидены, их величина заранее измерена и взвешена быть не может. В послевоенном хаосе может бесследно погибнуть всё, в чем мы видели лучшее из своих завоеваний, в чем была наша гордость. Тот план, который мы вычитывали и вместе боялись вычитать из парижской лекции вашего лидера, будет одной из дерзновеннейших авантур в истории. Ее успех не вовсе исключен, но если судьба им ее и увенчает, то с дальнейшими неизмеримыми последствиями, которые могут оказаться роковыми...

- Ваше пророчество разделяет судьбу всех пророчеств:

оно туманно. Вы хотите сказать: "Крез, перейдя Галис, разрушит большое царство". Но вы забываете, что нам терять нечего.

- Терять можно не одни лишь материальные и юридические ценности, но и моральные. Скажу немного. Будь ППС не более, как чисто национальная партия...

- Более глубоко национальной, чем наша партия, в Польше нет!

- Я сказал: чисто национальная. У такой партии план ваш был бы естественным. Националист способен делать 302 самую азартную ставку на всеобщее пришествие "труса, глада, огня, меча и нашествия иноплеменных", лишь бы была достигнута его национальная цель; он не ставит вопроса, не слишком ли дорогою ценою обойдется она всему человечеству. Его лекарства всегда могут оказаться горше самой болезни. Но партия социалистическая может иметь только такую стратегию и тактику, при которой с ней сможет всё время идти в ногу и весь Интернационал.

- До Бога высоко, до Интернационала далеко. Нас сейчас интересует не он, а ваша партия.

- Наша партия? Думаю, что могу уверенно сказать за нее: с болью души нам придется отметить - наш с вами доселе ничем не омраченный союз в борьбе против царизма неизбежно оборвется.

- Как? Вы прекратите борьбу с царизмом?

- Мы ее не прекратим, но воинские части, инкорпорированные в одну из немецких армий, будут всем русским народом встречены, как его враги, а не союзники: ничего другого вы ожидать не можете.

И, на протестующий жест Иодко, я продолжал:

- Понимаю, что вы такими стать не хотите, но объективная логика вещей будет сильнее ваших желаний и субъективных намерений. Величайшее русско-польское отчуждение придет и не думаете ли вы, что из него может родиться в будущем какой-нибудь акт возмездия со стороны России?

- Должен ли я это понять, как угрозу?

- Нет, об угрозе с нашей стороны не может быть и речи. Я говорю не о нашей России, - когда-то она будет. Говорю о России, податливой к сведению национальных счетов, о России, для которой оправданием противопольских чувств будет то, что она видела вас против себя под знаменем Габсбургов или Гогенцоллернов, для нее это безразлично...

Иодко был, видимо, глубоко взволнован. Надо было кончать. Фразы были излишни. Мы говорили на разных языках.

- Хочу верить, что польский народ когда-нибудь разочаруется в политике дерзновенных международных авантюристов и что его социалистические лидеры захотят вернуться с путей, которые сейчас нас непоправимо разделяют, на те пути, 303 которые нас соединили и сдружили - смею думать, на благо обоих народов. Верьте, что тогда протянутая вами рука встретит нашу братскую руку, без оглядки на прошлое, со взглядом, устремленным не назад, а вперед. Иодко поднялся с кресла и взялся за шляпу.

- Мне тоже было больно услышать то, что я сейчас от вас услышал. Хотелось верить, что если уж не вся ваша партия в целом, то хоть лично вы, - мы вас считали испытанным другом Польши, - нас поймете и не обидите порицанием. Но нет: русский поляка, должно быть, никогда не поймет. Вы никогда не бывали в положении подобном нашему. Вам оно так же мало знакомо, как мужчине - муки роженицы. Завтра может быть, поражения русской армии заставят шатаваться царский трон - русские почти всегда выигрывали от царских неудач и проигрывали от царских побед - и вы требуете от нас, чтобы мы пропустили этот момент, чтобы мы упустили случай, бывающий раз в столетие, и не попробовали вернуть себе неза-

висимость и свободу? Да, я знаю, знаю, - ответил он на мое протестующее движение, - вы скажете, что мы из огня попадаем в полымя, что кайзерское рабство внешним образом культурнее царского, но внутренне опаснее, подсекая глубочайшие экономические корни нашего бытия. Но, во-первых, мы еще посмотрим - откуда вы взяли, что нам к концу войны не удастся и от кайзерского засилья отделаться, как от царского? А, во-вторых, пусть выйдет по-вашему. Но разве нет русской поговорки: хоть горшке, да по-иному. Так чувствует себя вся русская часть Польши, и мы заодно с ней, мы ее плоть и кровь.

Я заранее решил оставить за Иодко последнее слово и не прерывать его. Но здесь не выдержал и поставил еще один вопрос:

- Если я правильно вас понял, вы принятие вашего "плана кампании" не ставили в зависимость от того, какое он встретит отношение со стороны нашей партии? Мы стоим перед совершившимся фактом, и решение ваше окончательное?

- Да, точно так. Вы не ошиблись. Можно сказать: "жребий брошен".

И, пробормотав еще какие-то неловкие и стесненные 304 прощальные слова, мы разошлись... Иодко, во всяком случае, пожелал нашей партии лучших успехов во всех ее начинаниях. Я, по совести, не мог ответить ему тем же и пожелал Партии Польских Социалистов благополучно пережить ждущие ее тяжелые испытания...

Чего-то подобного я уже ожидал и опасался. И всё же мне было неизъяснимо тяжело.

Едва успели кое-как зарубцеваться раны, глубоко врезавшиеся в тело партии "черным годом" раскрытия центральной провокации, как на нее налетел другой, на этот раз всеевропейский шквал - первая всемирная война. Внутренним разладом, трениями и расколом отозвалась она на социалистических партиях всего мира: но русский кризис по остроте не имел равного.

Когда разразилась война, я встретился с Б. Савинковым и П. Карповичем. Втроем мы подробно обсуждали создавшуюся ситуацию. Всецело поддерживаемый Карповичем, я развил ту точку зрения, что эта война будет величайшей катастрофой для социализма, для демократии и вообще для всей европейской цивилизации; что она не может быть "нашей" войной, что она нам - чужая; что просто встать за "тех" или "других" из двух воюющих лагерей для нас, как социалистов, было бы идейным и моральным самоубийством; что мы должны плыть против течения и звать охваченных массовым военным психозом "опамятоваться".

Я даже пытался анализировать возможные последствия трех исходов войны: 1) "вничью", по невозможности довести войну до конца из-за отказа разочаровавшихся в военных иллюзиях масс; 2) победа Антанты и 3) победа блока центральных держав; первый, в моих глазах, был самым желательным, второй меньшим злом сравнительно с третьим. Савинков выждал, пока не высказались до конца я и Карпович (который впоследствии мне сообщил разгадку - у Савинкова никакого своего мнения не было).

Затем он категорически заявил, что в общем с нами согласен; но ко всем выкладкам о возможных последствиях разных исходов относится 305 скептически: всё это гадание на кофейной гуще. Перейдя на рельсы метафизических и религиозно-этических мотивов, знакомых нам по "Коню Бледному" и "То, чего не было", он заявил, что его отношение к войне исчерпывается тем, что сказал бы о ней Толстой: бросьте убивать друг друга, бросьте ежедневно совершать величайшие греховные ужасы, перестаньте быть сумасшедшими и омрачать свою совесть, свое моральное сознание дикими воинствующими выкриками. Только в этом - правда, всё остальное - ложные умствования, националистические или интернациона-

листические, равно суетные.

В это время мне - бросившемуся в изучение учебников и монографий по тактике, стратегии и философии войны, а также всего, что к ней относится, было предложено писать о войне в газету "День". Я согласился, ибо война подрезала все источники моего материального существования, и поделился этим заработком с Савинковым: он взял на себя внешнюю сторону военных действий, я теоретическое "освещение" (конечно, цензура скоро доказала мне полную утопичность моего предприятия). Савинков стал "военным корреспондентом", вошел в круги французского офицерства, и скоро я, к своему крайнему изумлению, стал читать вышедшие из-под его пера бойкие, живые и благонамеренные антанто-патриотические очерки, в которых и следа не было того абсолютного морального неприятия крови, о котором я так недавно от него слышал.

Натансона новый кризис застиг врасплох. Когда, наконец, нам, застигнутым войною в разных странах - по преимуществу во Франции, Италии и Швейцарии, удалось съехаться на совещание в Лозанне, обнаружилось, что Натансон держится "сам по себе", не примыкая всецело ни к одному из двух разошедшихся течений партии.

Одних, после факта разрыва всей европейской цивилизации на два схватившихся в смертельном поединке, более всего мучил паралич, охвативший Социалистический Интернационал, и первоочередной задачей ставилось его восстановление и выработка общесоциалистического плана сокращения периода мировой бойни, замена ее "справедливым демократическим миром" и международным правовым порядком, исключавшим новые войны. Другие видели в этом полнейшую утопию; 306 они приветствовали то, что война всех нас "спустила с облаков на землю, и каждого на его родную землю".

Для России это значило: во имя патриотизма забыть или, точнее, временно отложить все свои счета с самодержавием и союзными с ним социальными слоями, поставить главной задачей - единство общенационального фронта для совместной с союзниками военной победы, лишь после нее и на ее фоне производить великое внутреннее преобразование России. Вместе с этим последним Натансон считал тогда дело Интернационала проигранным и восстановление его не реальным; но, в противность им, победа царской России окрашивалась для него в самые темные цвета...

Где же выход? Он предлагал такой прогноз, как самый вероятный: победа, в конце концов, будет идти с Запада на Восток, только две половины пути история пройдет в обратном, так сказать, порядке. Сначала Россия будет побеждена союзом центральных империй, а потом германские и союзные с ними армии потерпят поражение от собравшегося с силами Запада. Эта точка зрения была им заимствована у Пилсудского.

То была макиавеллистически задуманная и сулившая непосредственный успех международно-политическая авантюра крупного калибра. Правда, успех ее создавал бы для Польши с двух сторон мощных врагов, едва ли способных забыть новому молодому государству его "двойное коварство": немцев и русских. При территориальной же отдаленности Запада едва ли было правильно всецело положиться на его защиту в момент, когда два соседа проникнутся мыслью, что месть сладка и что расплющить Польшу между немецким молотом и русской наковальней - предприятие вполне осуществимое и обоюдовыгодное. Дальnozорность плана была сомнительна; но таковы все авантюры. Самый же план ее осуществления, надо отдать ему должное, имел в своей основе достаточно проницательный анализ ближайшего хода событий и достаточно приноровленную ко всем его изгибам тактическую линию поведения.

Что план Натансону вчуже импонировал, понятно. Но каким образом можно было нечто подобное изобрести с русской стороны?

307 Савинков, вместе с подпавшим под полное его влияние Борисом Моисеенко - дебютировал "открытым письмом" к нам, где заявлял, что всякий, кто во время войны позволит себе сделать хоть шаг, направленный против царя или против капитализма, тем самым делает шаг, направленный против России. После этого всякие отношения с Савинковым были у нас порваны. Он занялся работой над сближением народнических социал-патриотов с марксистскими: сводил Н. Д. Авксентьева и И. И. Бунакова с Г. В. Плехановым и Г. А. Алексинским.

Последние вскоре начали издавать в Париже совместно журнал "Призыв", в котором сотрудничали также А. А. Аргунов, Борис Воронов и др. с.-ры.

Мы, интернационалисты, издавали ранее "Жизнь", а потом "Мысль".

Война разрушила международные отношения социалистических партий, Интернациональное Социалистическое Бюро не функционировало. Нормальные связи его с партиями и союзами прервались.

Социалистическими партиями нейтральных стран делались многократно попытки восстановить интернациональные связи пролетариата с целью вызвать его, согласно постановлениям социалистических конгрессов в Штутгарте, Копенгагене и Базеле, на общую акцию против войны и в пользу мира. Такова была цель состоявшейся в сентябре 1914 года в Лугано италяно-швейцарской конференции. Эту же цель ставил себе лидер голландских социалистов Троельстра, предпринявший объезд некоторых стран. Результатом этого объезда явилось перенесение Международного Социалистического Бюро из Брюсселя в Гаагу. Создать же почву для совместной работы социалистических партий ему не удалось.

В январе 1915 года состоялась в Копенгагене конференция социалистов северных нейтральных стран. Конференция эта ограничилась формулировкой всеобщей программы мира, не входя в обсуждение средств ее реализации. Затем в частной, полуофициальной форме делались шаги перед М.С.Б. в тех же целях воссоздания порванных международных связей пролетариата. Но социалистическая конференция стран "согласия" в Лондоне, как и конференция социалистов 308 двойственного союза (Германии и Австро-Венгрии), показали, что все такие попытки обречены на неудачу и что дальнейшие шаги в этом духе вряд ли приведут к лучшим результатам. Подтверждением этому послужил следующий факт. Когда Ц. К. швейцарской партии обратился к М.С.Б. с предложением созвать его пленарное собрание с привлечением представителей отдельных стран, французская партия отказалась дать на это согласие. Наконец, швейцарская партия в согласии с Ц. К. итальянской партии пригласила социалистические партии нейтральных стран на съезд, который должен был состояться 30-го мая в Цюрихе. Но большинство приглашенных партий либо совсем не ответили на предложение, либо ответили отказом.

Все эти попытки восстановить интернациональные социалистические связи ясно показали, что не только общая акция социалистических партий разных стран, но даже простой, ни к чему не обязывающий обмен мнений между ними совершенно невозможны, покуда большинство партий стоят на почве патриотизма и военной политики своих правительств.

Учитывая все эти обстоятельства, Ц. К. итальянской партии постановил 15-го мая 1915 г., руководствуясь докладом Моргари, который вел переговоры с социалистами воюющих и нейтральных государств, взять на себя инициативу созыва международной конференции. Приглашения были разосланы всем партиям, рабочим организациям или отдельным группам,

раз только было известно, что они стоят на почве старых положений и постановлений Интернационала, всем тем, одним словом, от которых можно было ожидать, что они предпримут одновременно общую кампанию во всех странах против войны.

Согласно постановлению Ц.К. итальянской партии были предприняты, шаги, приведшие первоначально к предварительному обмену мнений между представителями воюющих и нейтральных стран, что имело место 11-го июля 1915 года в Берне. Здесь были намечены главные положения, которые должны были лечь в основу предполагавшейся конференции. Было постановлено, что будущая конференция ни в коем случае не должна взять на себя задачу создания нового Интернационала. Задача конференции усматривалась в призыве пролетариата к общей акции в пользу мира, в создании в этих 309 целях активного центра, в попытке вернуть пролетариат к его исторической миссии.

Поэтому было решено пригласить на конференцию все организации и группы, которые готовы открыть кампанию против войны, игнорируя их принципиальные различия в области теоретического обоснования социализма.

Конференция была созвана 5 сентября 1915 года в Циммервальде (Швейцария). Заключительная часть единогласно принятого конференцией манифеста гласила:

"Мы, представители отдельных социалистических партий и синдикатов, или меньшинств в этих организациях, мы - Немцы, Французы, Итальянцы, Русские, Поляки, Латыши, Румыны, Болгары, Шведы, Норвежцы, Голландцы, Швейцарцы - мы, стоящие не на почве национальной солидарности с классом эксплуататоров, а на почве интернациональной солидарности пролетариата и классовой борьбы собрались, чтобы вновь связать разорванные нити международной солидарности и призвать рабочий класс к возрождению своего самосознания и к борьбе за мир.

Эта борьба есть в то же время борьба за свободу и братство народов, борьба за социализм. Задача состоит в том, чтобы предпринять выступление за мир без аннексий и контрибуций. Но такой мир возможен лишь при условии решительного осуждения всякой мысли о насилии над свободой и правами народов... Никакая военная оккупация целых стран или отдельных провинций не должна завершиться их насильственным присоединением. Никаких аннексий - ни явных, ни замаскированных. Никаких навязанных извне хозяйственных или таможенных союзов, тем более невыносимых, что они неизбежно влекут за собою умаление политических прав включенной страны. Признание за народностями права располагать своею собственной судьбой.

С самого начала войны вы предоставили всё - ваши силы, ваше мужество, вашу стойкость - к услугам правящих классов, для междоусобной, братоубийственной войны. В настоящий момент дело идет о том, чтобы, оставаясь на почве непримиримой классовой борьбы, двинуться в поход во имя своего собственного дела, во имя святого дела социализма, за освобождение угнетенных народов и поработанных классов.

310 Обязанность социалистов всех воюющих стран - вести эту борьбу со всей энергией и пылом. Обязанность социалистов всех нейтральных стран поддерживать всеми подходящими средствами своих братьев в их борьбе против кровавого варварства.

Никогда еще история не предъявляла задачи более благородной и более насущной. Нет ни усилий, ни жертв, которые были бы слишком велики для того, чтобы окупить намеченную цель: восстановление международного мира. К вам, рабочие и работницы, к вам, матери и отцы, вдовы и сироты, к вам, раненые и искалеченные, к вам всем, жертвам войны, взываем мы: протяните друг другу руку через все пограничные линии, через поля сражений, через

руины городов и сел,

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!"

За русскую делегацию манифест подписали: В. И. Ленин, П. Б. Аксельрод и М. А. Натансон. Натансон был делегирован интернационалистическим большинством заграничной делегации нашего Ц. К. Я был делегирован организацией, издававшей эс-эровскую интернационалистическую газету "Жизнь", которая ранее выходила в Париже, а потом в Женеве. Я внес поправку к манифесту, но конференция ее отвергла.

311

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

1917 год. - Через Англию и Швецию в Петроград. - В революционной столице, - Абрам Гоц. - Народ и революция. - "Бабушка", Натансон, Авксентьев, Минор, И. Г. Церетели и Н. С. Чхеидзе.

Всех треплет лихорадка: домой, домой! Множество долгих и нудных перипетий с разрешениями, визами - выездными, проездными и въездными. И, наконец, узкий грузовой паровозик, пересекающий из "засекреченного" порта северной Шотландии, под эскортом двух миноносцев, бурное Северное море...

Что ждет нас там? В Лондоне удастся бросить первый взгляд в короткие информационные бюллетени первых дней революции. В Стокгольме - первые случайные номера петроградских газет. В них приковывает к себе знакомое имя Абрама Гоца.

После поражения революции 1905 г. Гоцу пришлось пережить восемь долгих лет каторжных работ в Александровском Централе близ Иркутска. Срок его каторги кончился в 1915 г. Он вышел в "вольную команду" и вместе со своей семьей поселился в с. Усолье близ Иркутска, откуда ухитрился участвовать в редактировании ежедневной иркутской "Сибири".

Теперь из петроградских газет я узнаю, что с Гоцем на Петроградской конференции борется группа, возглавляемая Б. Камковым. Это - один из моих учеников, известный мне своей страстностью и отсутствием чувства меры.

Над Торнео, с "той стороны" шведско-русской границы - красное знамя. Но в таможене - личный обыск не менее строгий, чем где бы то ни было в условиях военного времени. Далее - горы, речки, озера Финляндии: поезд быстро глотает 312 пространства. Для нас он всё же ползет слишком, слишком медленно... Между Гельсингфорсом и Выборгом - ждущие нас корреспонденты разных газет: в глазах любопытство, но и какая-то опаска. Сообщают, что в Питере приготовлено всё для "подобающей встречи". Значение этого слова нам еще абсолютно неизвестно.

И вот - Петроград. Первою бросается в глаза фигура Абрама Гоца. Он, как будто, почти не изменился. Манеры его по-прежнему быстрые, точные и деловитые, но приобретшие необычайную уверенность. И всё кругом ждет его указаний. Уж не назначен ли он петроградским градоначальником? Или власть в Петрограде захвачена партией с.-р.?

Едва мы успели обняться и поздороваться, как Гоц явно спешит выполнить точно разработанный церемониал. Он хватает меня под руку и ведет по перрону. Направо и налево - во всю длину платформы красные знамена с золотыми буквами лозунгов: "Земля и Воля", "В борьбе обрешь ты...", имена всевозможных отделов партии. Военские части с ружьями "на караул". Гром военных оркестров, оглушительный гул приветствий, лозунгов, звуков "Марсельезы". Речи в зале приемов, речи перед толпой, речи с импровизированных платформ, с грузовиков, даже с площади бронированного автомобиля в разных местах площади, где ничего не было видно, кроме сплошного моря голов...

Когда мы, наконец, вырвались из всего этого громко-звучного, многоцветного и пышного хаоса и автомобиль Гоца мелькал по улицам, я не мог не закидать Гоца вопросами. Я с жадностью слушал, и, кажется, слушал бы без конца всё, что Гоц мог мне рассказать о метаморфозах, происшедших на родине. Почти всю ночь мы проговорили в квартире Абрама. Легли на рассвете на несколько часов. После долгой разлуки - моя первая, незабываемая и, вероятно, неповторимая ночь на родине. Как хотелось верить, как охотно верилось в полноту и неистребимость всего происшедшего...

Я разворачиваю страницы петроградских и московских газет. Я ищу глубинных откликов событий, откликов, идущих из недр тогдашней России.

Вот из села Давыдова, Моршанского уезда, Тамбовской губернии пишут о первом митинге: "На лицах всех присутствующих была написана радость, что они могут открыто 312 говорить о том, о чем тайно думали много лет. Надежда на лучшее будущее светилась в глазах у каждого. Отрадно было видеть стариков, которые, внимательно выслушав ораторов, поняли, что прошли годы гнета, что можно поднять седую голову, которую они низко гнули много лет... Была почтена обнажением головы память борцов, погибших за свободу..."

Вот из деревни Бабеево, Московского уезда, сообщают, как на первое же собрание "явились семь окружающих деревень" причем некоторые общества явились в полном составе; одно из таких обществ к месту собрания подошло с красным флагом и с пением "Марсельезы". Добрую половину составляли женщины. На лицах всех участников собрания можно было отметить особую торжественность. Собрание бурными аплодисментами приветствовало закон Временного Правительства о прекращении продажи спиртных напитков...

Вот вести из Житомирского, Буцкого и Нововолжского уездов: "Во время молебнов на площадях и в церквях многие плакали от радости, клялись работать, не покладая рук. А крестьяне дер. Поповской, Ярославской губернии, собрали все портреты Романовых, вынесли их в поле и сожгли".

Вот из всех окрестных сел и деревень г. Фастова, Киевской губернии:

"Идут вести о народном ликовании, волной переливающимся из деревни в деревню".

И так со всех концов России.

"Историческая музыка эпохи", открытой февральскими днями, в наивной вере, в неомраченной еще цельности настроения, в дружном едином порыве, праздничном и светлом. Много было в февральской революции яркого. Но вряд ли можно найти в ней что-нибудь более трогательное, чем эта, переливающаяся через край переполненной радостью души народной струя почти религиозной веры в пришедшее обновление всей жизни.

И вряд ли была в тогдашнем кипении жизни другая сила, которая была бы до такой степени недооценена и недоиспользована. А между тем в ней глубиннее всего звучала "историческая музыка эпохи".

314

Вскоре после прибытия в Петроград я, конечно, отправился в Таврический дворец, где заседал Совет Рабочих и Солдатских Депутатов. После приветственной речи председателя Совета Н. С. Чхеидзе и моей ответной речи я был избран тов. председателем Петроградского Совета, а затем и Всероссийского Совета Рабочих и Солдатских Депутатов.

Через каких-нибудь два-три дня я увидел Гоца еще в одной новой роли. Ураганом налетел он на меня, подхватил и куда-то понес...

- Виктор Михайлович, едем в Семеновский полк. Его части несут караульную службу

при некоторых важнейших арестованных и вот теперь там поднялись тревожные разговоры о самосуде над бывшим военным министром Сухомлиновым. По совести говоря, если бы в самые дни революции он не удержал головы на своих плечах, я не пролил бы о его судьбе ни единой слезинки. Но теперь... Теперь это был бы удар по революционной самодисциплине воинских частей и акт недоверия к новому революционному правопорядку и новой революционной юстиции...

Скоро мне пришлось узнать, что Гоц в советских сферах считается "незаменимым специалистом" по части укрощения разных эксцессов в самых революционных местах. Заговорит ли где-нибудь инерция недавних мятежных страстей и захочется воинской части, чем-то возмущенной и жаждущей проявить себя в действиях, - выйти из казармы, побрызгать оружием, а то и пострелять хоть в воздух остратки ради - кого же лучше всего послать, как не Гоца?

Он сумеет и объяснить, что надо, и разобрать законные претензии, и пожучить и пошутить, словом, всех, покуда что, утихомирить, а резонным жалобам и запросам дать должное направление. Приглядываясь к отдельным случаям его вмешательств, прежде всего, отмечу одну важную черту. Гоц обладал абсолютной отвагой, - так, как бывают люди, обладающие абсолютным слухом.

Эта его отвага, эта его совершеннейшая неустрашимость звучала в каждом звуке его голоса, светилась в каждом его взгляде, ощущалась в каждом его жесте. Чувствовалось, что он - олицетворение негнушейся воли. Она 315 гипнотизировала, обезоруживала, давала раз навсегда понять, что от нее не отделаешься никакой выходкой. К тому же, этой воле сопутствовала не менее абсолютная выдержанность. Я всегда считал, что он самою природой предназначен на пост министра внутренних дел для революционного времени. Но Гоц и слышать не хотел вообще ни о каком министерском poste.

Ссылался он при этом главным образом на свое еврейство, способное стать ему поперек дороги и будить расовые страсти. Мы, не-евреи, громко протестовали, но чувствовали, что в этом пункте натываемся на ничем непреодолимое упорство. Лично я думал, что есть и другая, не менее для него веская причина; но об этом ниже.

Присматриваясь к общему пафосу, одушевляющему деятельность Гоца в течение всего великого "Семнадцатого года", я вряд ли ошибусь, если скажу, что кульминационного пункта он достигал в вопросе о внешней обороноспособности революции. И неудивительно: этим вопросом была насыщена вся атмосфера. Позиции Абрама Гоца были укреплены неприступно. "Если мы, хотя бы в увлечении самыми благородными и значительными задачами и целями внутреннего развития, пренебрежем вопросами внешней обороноспособности, - всё пропало.

Мы не только сами полетим в пропасть военного разгрома: мы увлечем в нее и наших союзников. Разбив революционную Россию, центральные державы тем самым раздавят то зерно высших социальных достижений, которые в этой революции созревают. Они с развязанными руками смогут бросить все свои силы на Запад; и если вместе с Россией будут растоптаны зародыши новой социальной культуры, то вместе с Западом будут растоптаны и все зародыши чисто-демократической культуры и всех ее личных и общественных свобод. И если даже Россия, утратив свои шансы грандиозного социального преобразования, выживет, как независимая страна и государство, роль ее в концерне мировых держав будет сведена к нулю. Все мы сейчас охотно предаемся мечтаниям о том, что России суждено сказать новое слово в деле решения мировой социальной проблемы грядущего; но мы забываем, что эта

наша миссия висит на тоненькой ниточке: остатке обороноспособности армии, защищающей границы нашей родины, а родина эта - есть в то же время родина Революции..."

316

"Бабушка" Брешковская за год до начала мировой войны опять совершила фантастический побег из ссылки. В пять дней она проделала тысячу верст, но была арестована, просидела около года в тюрьме, а потом была направлена в Булун, вблизи Ледовитого океана. Тут застала ее революция. Конец самодержавия! Для "бабушки" это означает - триумфальный проезд через всю Россию и комната в Зимнем дворце. Но "бабушку" едва можно уговорить пробыть там лишь самое первое время - и то только в мансардной каморке.

Война пробудила в Катерине Брешковской взрыв патриотических чувств. Она и в ссылке щиплет корпию и шьет белье для раненых. Отдав этим долг чувству гуманности, тем полнее и свободнее предается она другой стороне своей натуры: она жаждет, она требует беспощадного разгрома виновников войны - немцев.

Катерина Брешковская никогда не была приспособлена к руководящей роли в центре большой политической организации. Тут ей было не по себе. Не теоретик, не стратег и не тактик была она, а проповедник, апостол, убеждающий словом и, еще более, действенным примером. К ней всегда тянулись молодые души, потому что она в них верила и этой верою заставляла их стать выше самих себя. Всем она щедро оказывала моральный кредит, но от всех требовала, чтобы за словом шло полноценное дело. И так как сама она была цельна, словно вырублена из одного куска гранита, от нее излучалось во все стороны сияние такого морального авторитета и высокого престижа, который дается немногим избранным натурам...

И Ленин, и Натансон революцией 1917 года были застигнуты в Швейцарии. Они изнывали в ней, тщетно пытаясь проложить дорогу домой через страны Антанты. В этом состоянии зарождаются фатальные мысли. Натансон предоставляет Ленину дерзко испробовать путь небывалый, путь авантюристский, путь своего рода "коллорабационизма" не своего с врагами, а врага с собою; Натансон выждет - он сначала посмотрит, что из этого выйдет.

Швейцарские и шведские друзья выхлопатывают Ленину у германского военного 317 командования право проезда домой по вражеской территории в знаменитом "пломбированном вагоне". Ленин проехал и нашел в Петербурге, на Финляндском вокзале, триумфальную встречу. Победителей не судят - и второю "пломбированной" партией тем же путем следует Натансон. Он еще не знает, что за одушевленной встречей последует обратная волна негодования, протеста, уличных шествий с плакатами "Ленина и компанию обратно в Германию!" Но, "вино откупорено - его надо пить до дна".

Вместо естественного в других условиях торжественного приема одного из самых заслуженных ветеранов освободительного движения, партия краснеет за его согласие использовать двусмысленную снисходительность Гогенцоллернского генерального штаба. Партия едва приневоливает себя послать официального представителя встретить Натансона на вокзале - и пишущий эти строки в порядке партийной повинности принимает на себя выполнение этого решения. Нельзя же из-за глубокой политической ошибки, подсказанной тоской по родине, забыть все прошлые заслуги. Нельзя же лишить его места в Центральном Комитете Партии, которое с честью и преданностью занимал он без перерыва двенадцать лет - и каких тягостных лет!

Всё, как будто, в порядке. Но только как будто. Знающий себе цену ветеран легендарных времен неуволнимо ощущает, что многие морально "принимают его в штыки". Хочет он или не хочет, но в партийном центре на его долю выпадает роль "адвоката дьявола". Он не может не защищать предшественников по "пломбированному" путешествию по вражеской стране. Он не может вообще не требовать более мягкого к ним отношения. К тому же подталкивают его и те "левые" элементы партии, которые находят, что большевики не по праву захватывают роль в дальнейшем "углублении" (вернее, обострении) революционного процесса, что роль эту легче и успешнее могла бы выполнить сама партия с.-р., только не нынешняя, а такая, какую они себе ее представляют.

Для Натансона, человека скорее "правых" устремлений, широчайшего "соглашателя" и коалициониста, доставшаяся ему роль была неестественна; она была ему навязана не столько логикой и политикой, сколько тайнами индивидуальной психологии.

318 Позиция Натансона становится всё более двусмысленной. Одной ногой еще стоит в партии, на положении постоянного оппозиционера, душой он уже ищет точки опоры где-то вблизи большевиков, при большевиках, почти в охвостье у них.

Одновременно со мною и тем же путем вернулся из заграницы в Петербург и Н. Д. Авксентьев.

Первые шпоры свои в партии он с блеском заслужил в той банкетно-митинговой кампании 1905 года, план которой созрел в недрах знаменитого "парижского совещания", где Натансон, Рубанович и пишущий эти строки сошлись с П. Б. Струве, П. Долгоруковым, В. Богучарским и П. Н. Милюковым, где Пилсудский очутился за одним "круглым столом" с Дмовским, где, храня свою легальность, устами Конни Циллиакуса говорил из-за кулис отец финского конституционализма Свинхувуд. Те, кто в моем лице впоследствии не раз встречали сурового критика многих коалиционных комбинаций (тогда как Авксентьев всегда бывал их адептом), потом не без удивления отмечали, что я был в числе инициативных участников конференции, давшей русскому движению первый и самый сильный толчок как раз в "коалиционном" направлении. Но я от несения ответственности за него никогда не уклонялся и в свое время со спокойной совестью перенес за то бесконечное множество нападок.

Наша точка зрения была такова. Пока основой государственного строя России не стало народовластие на базе всеобщего избирательного права, - преступно разобщать, преступно оставлять в стороне хотя бы одну из тех политических сил, для которых народовластие - необходимое предварительное условие их нормальной жизнедеятельности. Чтобы осуществить это предварительное условие, все они должны стать в единый фронт. Другое дело - на второй день после его осуществления. Тогда в порядке дня будет стоять другой вопрос: какие именно социальные достижения можно и должно реализовать через сообща завоеванное народовластие. По этому признаку произойдет радикальная перегруппировка всех сил, и пути вчерашних попутчиков могут разойтись резко и надолго.

319 Завязавшаяся у меня с Авксентьевым дружба относилась к периоду до переломного пункта в постановке всех этих вопросов. В течение почти всей революции 1905 года всё шло у нас гладко.

Авксентьев в разгаре событий 1905 года был вырван из партийных рядов арестом, судом и ссылкой, счастливо бежал и был введен в ряды ее Центрального Комитета. И тут, и в позднейшей эмиграции он мужественно выносил черные дни партийного упадка, всеобщего разброда, разочарования, массового отступничества.

Во второй, зрелой поре жизни Авксентьева его "Прекрасной Дамой" становится идея, а затем и реальность "коалиции". Это была новая героиня его идейно-политических устремлений. Нося ее цвета, он ратовал в ее честь на бесчисленных политических турнирах и выдержал бесчисленное количество схваток.

О. С. Минор до самого февраля 1917 года стойко выносил повторный ад царской каторги. Его едва успели отправить на поселение в Балаганский уезд Иркутской губернии и он не успел еще там толком и оглядеться, как его освободила и вызвала в Москву - февральская революция. И он поспешил туда, чтобы на партийной переключке отозваться: "Здесь!"

Я встретился с Минором на огромном майском Всероссийском партийном 111-м съезде, куда он попал прямо с поезда. Минор заседал вместе со мною в президиуме съезда. На нем тогда явно сказывались надорванность сил и утомление. Выступал он мало, четкой позиции еще не занимал, искал ориентации, чувствовал потребность в какой-то средней линии. Мне казалось, что он не только простился с эксцессами партийной "левизны", но и органически заметно "поправел".

Партия шла в гору. Вскоре произошли выборы в обе столичные городские думы. О. С. Минор был выбран подавляющим большинством в председатели московской Городской Думы: городским головою "первопрестольной" оказался также эсер, В. В. Руднев.

Антисемиты, конечно, негодовали, что дума "сердце России" возглавлена - о ужас! - евреем... Но кому было дело до бессильной злобы антисемитов?

Петроградские выборы также не пощадили их национальных 320 чувств. Городским головой столицы был избран эсер по партийной принадлежности, известный знаток земско-городского дела, еврей по национальности - Григорий Ильич Шрейдер.

О. С. Минор был выбран и в состав Центрального Комитета партии. Но практически участия в нем он почти не принимал. Резиденцией Центрального Комитета был Петроград, а О. С. поселился в Москве, где, кроме думской деятельности, отдался работе по изданию партийной московской газеты "Труд". В Петербург он наезжал редко.

Лидером соц.-демократов в Совете был И. Г. Церетели, сразу завоевавший мою большую личную симпатию, несмотря на все частные расхождения в политических диагнозах и прогнозах, назревавшие в ходе развертывания сложнейших противоречий революции. Церетели горячо приглашал меня ближе узнать и оценить его ближайшего друга и соратника Чхеидзе, подчеркивая, до какой степени он считает важным, чтобы мы с Николаем Семеновичем хорошо сошлись, поняли друг друга и действовали в полном единодушии.

Живо помню общее впечатление, врезавшееся от всей этой своеобразием отмеченной фигуры: отчетливое впечатление какой-то особенной собранности. Такое впечатление оставляют лишь настоящие люди, на которых можно положиться. И я понял, почему Чхеидзе стал во главе петроградского Совета: с ним росло ощущение прочности и политической ясности. И еще осталось впечатление благородной простоты, бывшей отсветом большого и подлинного внутреннего благородства.

Стоя во главе Совета, Чхеидзе мог, если бы хотел, стать в центре Временного Правительства революции: реальная сила была в руках Совета. Еще легче ему было встать в центре правительственной коалиции социалистов с цензовиками. Он этого не захотел. Его ум, правильно или неправильно, говорил ему: для социалистической демократии еще не пришло время. И мощную поддержку уму оказывала одна особенность его характера. Когда вопрос о вхождении в правительство был решен, когда уже уклоняться было нельзя, когда болезнь

властебоязни в социалистических рядах была сломлена повелительным требованием событий, - надо было видеть, как взбунтовался Чхеидзе против неизбежных личных выводов из новых политических позиций. Он ничего слышать не хотел о своем вхождении в правительство. И я понял: Чхеидзе был глубоко скромен.

Скромность - свойство, прежде всего и легче всего утрачиваемое на политической арене, где так бесконечно часто приходится "выступать" и "фигурировать". А Чхеидзе умудрился пронести эту черту души через всё свое политическое поприще. Быть может, тогда эта сама по себе драгоценная черта, свидетельствующая об органическом целомудрии души, помешала Чхеидзе дать всё, что он мог дать. Быть может, властебоязнь была тогда недостатком. Но я издавна привык наблюдать среди политических деятелей тех, у кого велики достоинства самых их недостатков, и тех, у кого велики недостатки самых их достоинств: Чхеидзе был человеком первой из этих двух категорий.

Скромность не исключала твердости и силы. Это особенно чувствовалось мною, когда я слышал первую же его речь к солдатской толпе, перед Таврическим дворцом, при вручении красного знамени Совета. Он умел находить простые слова, шедшие прямо к уму и сердцу рядового простолюдина. Но в голосе его звучал металл - точно отголосок гулко и мерно топотадвигающихся батальонов революции.

Помню его на председательской трибуне Совета. Было трудно представить эту трибуну без него - и его без этой трибуны. На первом съезде Советов оказалось, что эсеровская партия представлена на съезде самой большою по численности фракцией. По традиции таких собраний, она имела полное право претендовать на замещение председательского места и в Совете, и в будущем Исполкоме своим представителем. Но нам и в голову не могло прийти воспользоваться этим бесспорным формальным правом и лишить рабочих и солдат Петрограда того председателя, с которым они так сжились и сроднились с первых дней революции и который показал себя не просто достойным занимаемого им места, но занявшим его по праву.

Николай Семенович с виду был порой хмур и суров. Но из-под его густо насупленных бровей часто сверкала вспышка-молния добродушной - нет, это не то слово, не "добродушной", а доброй и душевной улыбки. А иногда оттуда выглядывал и лукавый бесёнок иронии. Его хмурость была сосредоточенностью. В высшей мере обладал он одним драгоценным даром: совестью ума. Ум, "честный с собою", не отмахивается от сомнений, не склонен к утешительному оптимизму, не боится и самых безотраднейших выводов. Таким умом был наделен Чхеидзе. И потому, чем чаще я его встречал, тем больше мне казалось, что над всеми элементами его души доминирует одно настроение: глубокой умственной тревоги.

Н. С. Чхеидзе не был "человеком короткого дыхания". Очень характерно было для его поведения, когда, во время переговоров контактной комиссии с Временным Правительством, его вызвали к телефону и сообщили, что его любимый сын, принявшись чистить оказавшееся заряженным ружье, нечаянно застрелился.

Со стоицизмом древнего римлянина заключил он в себе налетевшую душевную бурю и, с застывшим в трагическую каменную маску лицом, остался на своем посту. Слишком огромны в его глазах были стоявшие тогда перед советской демократией "проклятые вопросы" революции, чтобы он мог себе позволить уйти от них для того, чтобы погрузиться в личное горе. И большинство из тех, кто продолжал переговоры в его присутствии, даже и не подозревали, что пережил он, когда его вызвали на минуту из комнаты и когда он вернулся побледневший, со смертью в душе, но подавивший силою воли всё личное - ради общего, ради

революции...

323

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Третий съезд ПСР. - Резолюция о войне и мире и об отношении к Временному Правительству, - Кн. Г. Е. Львов. - Образование коалиционного правительства с участием социалистов. - Политические трудности.

В мае 1917 года в Москве состоялся третий съезд ПСР. Между ним и 2-ым, Таммерфорским съездом партии был перерыв в десять лет, в течение которых партия вновь очутилась в подполье, и только за границей, в эмиграции, могла существовать открыто, издавая свои газеты и книги и собирая свои совещания. Но все эти совещания, по уставу партии, не могли иметь законодательной силы для партии, как целого. Заграничная организация партии всегда рассматривалась последней, как одна из местных организаций, к тому же имеющая сравнительно с другими местными организациями крупную невыгоду отрыва от родной почвы. Только одна Лондонская общепартийная конференция 1908 года являлась исключением из этого общего правила, ибо на нее съехались делегаты русских организаций, специально приехавшие за границу, чтобы после опять вернуться на свои боевые посты.

Длина перерыва между двумя съездами привела к тому, что майский съезд 1917 года представлял собою совершенно своеобразную картину. Партия еще три месяца тому назад находилась в скелетообразном состоянии, она существовала, как организационное целое, в виде сети немногих нелегальных групп, не имевшей даже правильного, общепризнанного организационного центра.

Всё остальное, идейно принадлежавшее к партии, представляло собою либо аморфную периферию, незаметными переходами сливающуюся с колеблющейся и 324 неоформленной массой сочувствующих, либо такую же организационно аморфную, хотя и резко отграниченную от окружающего мира массу ссыльных, заключенных и поднадзорных. В два месяца картина резко изменилась.

Появились вернувшиеся из эмиграции лидеры со своим окружением, вернулись, большей частью в родные места, потерпевшие судебные или административные кары, заявили о себе и "бывшие эсеры", когда-то перетерпевшие за принадлежность к партии и в трудное время реакции совершенно порвавшие с нею связь и часто вообще ушедшие от политики в частную жизнь. Из них составились первые партийные группы и комитеты, в которые затем нахлынули многочисленные новобранцы. Их прилив в партии с.-р. чувствовался особенно сильно: ни одна партия не росла так неудержимо-стремительно, как она. Старый, испытанный состав партии был буквально затоплен бурным притоком новых пришельцев.

В итоге собравшиеся на майский Московский съезд партии представляли собою не только очень пеструю массу, но и массу людей, почти совершенно не знавших друг друга. Только во время съезда должно было происходить и происходило взаимное ознакомление, причем и ранее работавшим вместе обычно приходилось заново знакомиться друг с другом: так велик был перерыв в их личных сношениях, так много было каждым пережито совершенно особняком от других. И это обстоятельство особенно сильно отразилось на выборах Центрального Комитета, тем более, что некоторые известные по прошлому работники партии не успели еще добраться до центра и кое-кого избирали в Ц. К. заочно.

На политической физиономии избранного съездом Ц. К. это отразилось довольно заметно. Если анализировать резолюции съезда, обращая особенное внимание на вносимые фракционные поправки, то придется разделить съезд на три чрезвычайно неравные части. С

одной стороны, не очень большое (человек 50-60) левое крыло, очень темпераментное и решительное; с другой, едва заметное по своей численности, человек 10-12, откровенно-правое крыло, и на вид чрезвычайно компактный, охватывающий главную массу, от двух третей до трех четвертей съезда, центр.

Однако, компактность центра обуславливалась тем, что 325 на его фракционных заседаниях предварительно устранялись то путем майоризирования, то путем компромисса, разногласия между правым центром и левым центром, при значительном численном преобладании второго.

Съезд принял следующие резолюции о войне и мире и об отношении к Временному Правительству:

"Съезд партии с.-р., признавая, что Временное Революционное Правительство в основу своей международной политики положило выдвинутую российской демократией программу мира без аннексий и контрибуций с осуществлением права всех народов на самоопределение, и, полагая, что вопрос о спорных областях должен быть разрешен путем свободного и обставленного международными гарантиями опроса самого населения, считает необходимым, чтобы Временное Революционное Правительство в кратчайший срок приняло все зависящие от него меры для присоединения остальных союзных России держав к этой программе мира. Равным образом, путем международного соглашения должны быть переложены финансовые - как в отношении государств, так и в отношении частных хозяйств последствия войны на господствующие классы всех стран, захваченных прямо или косвенно войной.

"Съезд партии с.-р. требует, чтобы Временное Революционное Правительство приняло меры к пересмотру и ликвидации всех тайных договоров, заключенных царским правительством с союзными державами и чтобы в своей дальнейшей международной политике оно руководилось исключительно интересами населения России и интересами демократии всего мира.

"Съезд партии с.-р., полагая, что осуществление этих задач возможно лишь в международном масштабе и объединенными усилиями трудовых масс всех воюющих стран, категорически отвергает сепаратный мир и сепаратное перемирие, как в корне противоречащие методам интернационального действия.

"Отвергая безответственную программу шовинистской прессы в пользу форсирования наступления во что бы то ни стало, способную при недостаточной организованности революционной армии толкнуть ее на гибельную авантюру, 326 чреватую самыми опасными последствиями для всего дела русской революции, и усматривая в этом газетном походе стремление снять с очереди вопрос о целях войны, 3-й Съезд партии с.-р. равным образом считает недопустимым внесение в армию демагогической проповеди отказа от всякого движения вперед из окопов и неповиновение распоряжениям революционного правительства и полагает, что как первое, так и второе может затормозить создание, рост и укрепление новой революционной армии, способной быть надежной опорой для всей новой международной политики революционной России.

"Пока эта война продолжается, революционная Россия идет навстречу необходимости стратегического единства фронта с союзниками и выдвигает в то же время необходимость единства фронта политического, считая их двумя сторонами одного и того же дела - прокладывания дороги миру на основе самоопределения национальностей и отказа от политики аннексий и контрибуций.

"Съезд партии с.-р. настаивает на ведении со всей энергией борьбы за всеобщий мир,

считает необходимым в то же время, в интересах самой борьбы за мир, в интересах защиты русской революции и ее политических и социальных завоеваний от всяких посягательств как изнутри, так и извне, приведение армии в полную боевую готовность и создание из нее силы, способной к активным операциям во имя осуществления задач русской революции и ее народной политики.

"Съезд партии с.-р. видит в создании коалиционного Временного Правительства, с одной стороны, новое свидетельство роста силы трудовой демократии городов и деревень, с другой стороны, неизбежный шаг для неотложной борьбы с грозной опасностью всероссийской разрухи - борьбы, необходимой для укрепления новой революционной России, этой первой цитадели "третьей силы" в современной Европе.

"Считая основной политической задачей момента реорганизацию местной власти на началах органического народовластия и подготвления выборов в Учредительное Собрание, 3-й Съезд партии с.-р. отвергает и осуждает всё, что может затормозить или отодвинуть их осуществление, авантюристическими попытками захвата власти на местах или в 327 центре, и всякую безответственную проповедь в этом направлении.

"До тех пор, пока решением социалистической демократии группа министров-социалистов остается в составе Временного Правительства и через нее осуществляется воля этой демократии и ее контроль над всей внутренней и внешней политикой правительства, последнему обеспечивается самая энергическая поддержка в проведении его мероприятий против всех элементов распада и дезорганизации. 3-й Съезд партии полагает, что, идя этим путем, партия социалистов-революционеров совместит двуединую задачу: участия в строительстве настоящего и подготвления грядущего, и тем подготвит свое торжество в Учредительном Собрании".

В апреле-мае 1917 года Партия С.-Р., как и Российская Социал-дем. Рабочая Партия, решила делегировать своих представителей в коалиционное Временное Правительство, председателем которого тогда был кн. Г. Е. Львов.

Превосходный организатор и глава земского движения в предреволюционную эпоху, человек, в высочайшей мере способный внушить уважение, умный, осторожный, тактичный, незаменимый там, где надо сглаживать трения, выбирать сотрудников и налаживать работу, кн. Львов, однако, носил в себе слишком много инерции уходящей в прошлое эпохи для того, чтобы не потеряться в новой.

Он был бы, может быть, провиденциальным человеком после того, как уже пронеслись бы революционные бури, определилось, что в старом пошло на слом и что уцелело; когда настал бы момент налаживать, восстанавливать, приводить в порядок, "перебелять начисто" революционные черновики истории. Но ему пришлось стать в положение "объединяющей фигуры" тогда, когда правитель должен быть одновременно и народным трибуном; когда ему нужен не только зоркий взгляд опытного политического лоцмана, но и мускулатура рожденного для состязаний гребца; когда еще больше, чем политический разум - малый разум повседневности, ему нужна какая-то вдохновенная интуиция; еще больше, чем тактический расчет, ни перед чем не останавливающееся дерзание; еще более, чем уравновешенность, тройной заряд стихийной волевой энергии.

Г. Е. Львов не только не отвернулся от революции, но, напротив, в течение 328 известного времени его тянуло к ней; он понял и даже частично вообрал в себя ее пафос; ему в этом помогла наличность некоторого романтическо-славянофильского элемента в мирозерцании, хоть и меньшего, чем у лично близкого ему Шилова. Он ценил земский "третий эле-

мент", умел с ним работать и был не чужд его радикальных демократических устремлений; добродушно-философски, немножко "непротивленчески" он принимал ход событий, даже когда это сбивало его с рельс.

Когда, под давлением Всероссийского Совета Крестьянских Депутатов и нашего партийного съезда, я должен был войти в состав Временного Правительства в качестве министра земледелия, старые его члены, с князем Львовым во главе, радостно (и, думаю, совершенно искренне) встретили мое назначение.

Все они в один голос пригласили меня принять участие в объезде фронта, в целях поднятия его боеспособности: на популярность моего имени среди солдат в массе своей мужиков в серых шинелях - возлагались в этом деле большие надежды. Я ответил, что сам бесконечно рад перспективе такого объезда, как и объезда, после этого, наиболее типичных земледельческих районов с сильными крестьянскими организациями; но срок этого объезда для меня определится моментом, когда я смогу поехать не с пустыми руками, а вооруженный рядом временных мер, ставящих нашу земельную политику на твердые рельсы подготавливающейся и развертывающейся аграрной реформы.

Узнав об этом моем заявлении и о разочаровании, вызванном им в рядах не-социалистической части правительства, Гоц приехал ко мне и пробовал меня убеждать: не соглашусь ли я на компромисс - сделать два объезда фронта: один после, а другой, так сказать, "в кредит", до принятия Временным Правительством моих вступительных в аграрную реформу законопроектов. Впервые от недавнего полного единогласия мы дошли до какого-то, пусть частичного, но всё-таки существенного разногласия. Перед нами были две возможности.

Или во Временном Правительстве есть готовность приступить к делу аграрной реформы, строящей всё сельское хозяйство России на трудовом крестьянском землепользовании - тогда первые, подготовительные мероприятия пройдут легко и просто. Главное из них - приостановка земельных 329 сделок, посредством которых у народной власти может утечь между пальцев тот земельный фонд, за счет которого может быть увеличено трудовое землепользование, и переход частновладельческой земли на учет земельных комитетов, призванных на местах участвовать в создании нового земельного режима.

Или такой готовности в не-социалистическом большинстве Временного Правительства нет; и тогда, во-первых, не для чего было мне вручать портфель министра земледелия, а тем самым и земельной реформы, и тем более не для чего мне объезжать фронт, тем самым как бы обещая мужикам в серых шинелях, что за судьбу чаемой ими земли они могут не беспокоиться. Это будет косвенным обманом: как же партия может такому обману способствовать? Гоц эту альтернативу понимал, но считал, что правильный логический путь для нас вряд ли возможен: откладывать подъем боеспособности фронта нельзя, а провести немедленно первые законопроекты, вводящие аграрную реформу, может и не удастся; не-социалистические министры в принципе как будто согласны на многое, а когда доходит до дела, то вырастают разные затруднения, то формальные, то технические. Поэтому, казалось Гоцу, следует рискнуть: объехать фронт с благою вестью о грядущей Земле и Воле, и уповать на то, что сила впечатления не позволит после этого объезда повернуть назад.

Не стану говорить, что я Гоцу отвечал, чем обосновывал свой отказ идти "на авось" и что из всего этого вышло. Гоц был лидером советской фракции ПСР и должен был иметь ясный и твердый ответ по всем проблемам, которые приходилось Временному Правительству решать, а партии - эти решения поддерживать - или отказываться поддерживать.

Не один лишь земельный вопрос был для него - как и для всех нас - камнем преткновения. Был им, прежде всего, и вопрос рабочий.

Во всех, втянутых в войну странах Европы к этому времени промышленный рабочий накопил известное количество т. н. "завоеваний военного времени". Одна царская Россия ухитрилась не считаться с этой необходимостью и потому передала Временному Правительству страну, полную вопиющих неудовлетворенных потребностей. И пронесшийся благостный лозунг "Свобода" стал для всевозможных слоев народа 330 сигналом властного предъявления своих неотложных наболевших нужд; предъявления, не всегда сообразованного с реальными возможностями столь же неотложного их удовлетворения.

А тут ко всему этому присоединилась еще одна беда. Уже в апреле было установлено, что война обходится государству в 54 миллиона рублей ежедневно и что к концу бюджетного года дефицит достигнет 40 миллиардов рублей. А в то же время всем нам было известно, что аппарат взимания прямых налогов давно находится в состоянии полного паралича, что явочным порядком страна практикует безмолвный заговор неплатежа каких-либо податей и повинностей. Откуда же брать деньги для ведения войны? Всевыручающий печатный станок был единственным не саботирующим своих обязанностей "аппаратом" увеличения денежных средств государственного казначейства. Об этом то и дело снова и снова приходилось разговаривать с Гоцем: его чаще всех посылали улаживать дело с нововозникающими забастовками.

"Самая каторжная из всех натуральных повинностей, которые я когда-либо знал", - сказал он мне однажды, в изнеможении опускаясь в кресло в моем кабинете. "Все принялись бастовать напрапалую: прачки бастуют уже несколько недель, приказчики, конторщики, бухгалтера, муниципальные, торговые, больничные служащие - часто с докторами во главе, - портовые рабочие, пароходная прислуга... А ведь это всё только цветики... Вот, Донецкий бассейн поднялся - это уже хуже. А что хуже всего, так это дело с железнодорожниками. Могу вам сказать, что на нас надвигается ни больше, ни меньше, как всеобщая железнодорожная стачка".

Это заявление Гоца соответствовало действительности. Вопрос о заработной плате железнодорожников давно уже обстоятельно разбирался особой комиссией под председательством такого умеренного и не склонного созидать каких-либо трудностей правительству человека, как Г. В. Плеханов. Но дело вопияло о себе: 95% жел.-дор. служащих получало меньше 100 руб. в месяц, а жизнь всё дорожала. Комиссия выработала нормы оплаты, на основе индекса цен, обеспечивавшего с грехом пополам жизненный минимум. Правительство, подсчитав общую сумму прибавок к существующим расходам, могло только ужаснуться - и отказать. Да, всё это справедливо, но - невозможно.

Это было в конце мая: через 331 день Гоц доложил, что создан уже стачечный комитет, и на двух крупнейших ж.-д. узлах, Петроградском и Московском, подавляющим большинством постановлено приступить к забастовке. Опять для Совета настали страдные дни. Железнодорожников удалось остановить: всеобщая забастовка во время войны была вещью чудовищной. Но и запрещение забастовок авторитетом власти, когда ее собственной комиссией установлено, что рабочим не обеспечен элементарный жизненный минимум, тоже было делом чудовищным. И поэтому правительство на него не решилось. На его месте самоотверженно, ставя на карту всю свою популярность, встал Совет.

Читатели могут себе представить, какая головоломная задача падала на плечи деятелей того времени. А главное, никакая твердая фиксация денежной зарплаты ничего не давала.

Неудержимо шла инфляция, стоимость жизни росла, любая ставка зарплаты через неделю-другую оказывалась катастрофически низкой. В любой отрасли промышленности забастовки грозили стать перманентными. Со своей стороны, предприниматели вопияли о ненасытности рабочих. Грозили локаутами и порой пробовали к ним переходить. Им в ответ росли протестующие вопли рабочих о накоплениях во всех отраслях индустрии, военных прибылях. Взаимная ненависть обеих сторон разгоралась и предвещала пожар гражданской войны, которой никакими заклятиями никто остановить был бы не в силах.

И без того взволнованная и напряженная мысль людей, вынесенных на гребне революционной волны к вершинам власти, заработала еще более лихорадочно.

Одно было ясно. Исходить необходимо было только из нормы реальной зарплаты, согласованной с индексом стоимости жизни. Денежная плата должна была автоматически из него вытекать. После такой реформы можно было бы прибегнуть к полному запрету стачек. Гроза военной опасности такую меру вполне оправдывала. Запрет стачек и должен был, и мог, сопровождаться и запретом локаутов, закрытия предприятий и т. п. И в этом уже являлась острая нужда. В самом деле, почувствовав, что красные дни сверхприбылей прошли, что изношенность фабричного инвентаря и перерыв в снабжении машинами из-за границы несет много трудностей, 332 иные расчетливые предприниматели уже бежали с производственного фронта: разбазаривание инвентаря предприятий, запасов сырья и пр. давало возможность придать капиталу подвижность; множились закупки валюты и перевод капиталов за границу; росла спекуляция, особенно в сфере международных сделок - по существу более или менее контрабандных: самые баснословные барыши получались в области торговых сношений между воюющими странами. Но борьба с этим злом требовала контроля над валютой, нормировки важнейших цен, вообще говоря - перехода от вольного рынка и нестесняемой частной инициативы к регулируемому народному хозяйству.

Возражения против твердых мер в экономической области никогда не были в России сильны, а в военное время в особенности. Русская индустрия в преобладающей массе своей работала на казенные заказы и широко пользовалась авансами из государственного казначейства. Только давать и ничего не контролировать становилось очевидным для всех абсурдом.

К счастью для советских новаторов, в России в это время гостил британский министр снабжения Гендерсон, которого никто не мог заподозрить ни в каких экономических сумасбродствах. И в заседаниях Временного Правительства, и перед другой аудиторией он не скупился на описание всех тех мероприятий по реорганизации национальной промышленности, которые широко проводились во всех великих державах, запряженных в тяжкий хомут первой, невиданной дотоле великой мировой войны. России мероприятия эти едва коснулись, и средний фабрикант еще верил в возможность жить и действовать по старинке, когда каждый заводчик на своем заводе был царь и Бог. Им казалось, что только какие-то сорвавшиеся с цепи социалисты измышляют ни с чем несообразные эксперименты, которые, того и гляди, разрушат всю отечественную промышленность...

Приходилось искать новые конструктивные идеи, строить схемы и планы, не всегда до конца разработанные и требующие проверки опытом; нужно было собирать материал, когда заваленность чисто практической работой почти не оставляла для этого времени.

Зато каким оптимистическим энтузиазмом загорелся Гоц, когда, наконец, советский "трест мозгов" закончил свой план "смешанной экономики", комбинирующей 333 государственные монополии в одних, уже созревших для этого секторах промышленности, со сво-

бодным или принудительным трестированием в других и с осторожно направляемой центральным экономическим комитетом частной инициативой - в третьих, все в рамках экономического распределения сырья, с контролем над кредитом, сделками с иностранной валютой, эмиссиями акций и облигаций, себестоимостью и ценообразованием, и этот план можно было, по живому свидетельству Гендерсона, подкрепить британским опытом и ушедшим еще дальше опытом германским.

Но оптимизму Гоца скоро был нанесен внезапный удар. И нанесен он был человеком, на способность которого к восприятию новых идей Гоц возлагал особые надежды и потому особенно ценил его, как представителя "коалициоспособной" части буржуазии; это был тогдашний министр торговли и промышленности А. И. Коновалов. Человек привлекательных личных качеств и достаточно передовых взглядов, дружественный к рабочим организациям, он дрогнул под напором отсталого большинства предпринимательского класса. И вдруг заявил, что уходит в отставку, ибо "скептически относится к той форме общественно-государственного контроля и к тому способу регулирования производства, который ныне предлагают..."

- К той форме! К тому способу! - горячился Гоц. - А какую форму и какой способ он предпочитает? Пусть не таится, пусть скажет. Может быть, мы предпочтем его "формы и способы". Может быть, найдется компромисс... Это же просто выходка, чисто негативная, недостойная делового и серьезного человека. И это в вопросе, от благополучия разрешения которого зависят судьбы новой России. И он еще заявляет - взгляните на эти его слова - что он находит, что "следует проделать следующий этап революции и дойти до однородного социалистического министерства". Это же просто вызов, коварная вылазка против коалиции. Не будь это Коновалов, я сказал бы - это провокация.

Я был искренне удивлен.

- Абрам, вы неправы. Никакой задней мысли, никакой провокации я тут не вижу. Может быть, и в самом деле у нас в России такая попытка может быть сделана лишь социалистическими руками. Германия нам не указ. Там 334 возможен кайзеровский "военный социализм", который все ресурсы страны готов сжать железною рукою. У нас этого нет - ни наши капитаны тяжелой индустрии, ни наши "юнкера" принять этот путь не способны. Среди них А. И. Коновалов может быть генералом без армии. У него нет на это никакой охоты; я это понимаю и на него за это в обиде...

Но Гоц твердо стоял на своем:

- Вы ни за что не хотите видеть, что на нас идет напор с двух сторон.

Слева большевики травят "десять министров-капиталистов", требуя, чтобы мы от них "очистились", т. е. остались без союзников и скатились им прямо в пасть. Справа - заговорщики, монархисты, мечтающие о военном диктаторе, о генерале на белом коне: эти нашептывают в уши кадетам и кадето-подобным, что, их же жалеючи, советуют им лучше уйти и оставить нас одних, чтобы не погибнуть вместе с нами, давно на их взгляд обреченными. А теперь вот и люди, вроде Коновалова, говорят то же. Это нам знак: чего не делать. Не сокращать, а расширять свою политическую базу. Не отступаться от коалиции, а обоими руками за нее держаться.

Устами Гоца с нами говорила, в сущности, целая группа т. н. "сибирских циммервальдовцев": кружок, с которым он тесно сблизился по выходе в вольную команду и работая в газете "Сибирь". В нем были такие люди, как И. Г. Церетели и Ф. И. Дан, и как примыкавшие к ним В. С. Войтинский, Вайнштейн-Звездин и др. Всё это были люди больших, иногда

огромных достоинств. Идти с ними плечо в плечо и нога в ногу было легко и радостно.

Но над всеми ими тяготела, часто обеспоживая их работу, одна старая и, на мой взгляд, устаревшая догма. Она гласила, что русская революция обречена быть революцией чисто-буржуазной, и что всякая попытка выйти за эти естественные и неизбежные рамки будет вредной авантюрой. Но если наша революция - в принципе буржуазная, то и "делание" ее выпадает на плечи буржуазии. Заменить ее мы не можем; максимум возможного для нас - буржуазию, призванную делать революцию, поддерживать и бережно подталкивать.

Догма эта сказалась на первых порах властебоязнью: Церетели и его друзья долго упирались перед вхождением в правительство. Из-за этого самая коалиция вышла 335 запоздальной. А когда всё-таки на нее пошли - упорно предоставляли буржуазии идти в коренной упряжи, сами идя "на пристяжке". Если не было "коалициоспособных" представителей буржуазии - довольствовались фигурами, персонально принадлежавшими к буржуазии, но не представляющими ее, как класса. Соглашались на всё, только бы не переобременить плечевой трудовой социалистической демократии противоестественной ответственностью за власть, которой догма велит оставаться чужой, буржуазной.

Тщетно наш общий советский "трест мозгов" выработывал план "регулируемой смешанной экономики". Тщетно наш чисто-партийный "трест мозгов" разрабатывал законопроект о социализации земли и другие, с ним связанные. Тот и другой пролежали под сукном вплоть до того времени, пока ими не завладели большевики, одно карикатурно исказив, а другое - доведя до абсурда, - и повернули их в бессмертную заслугу самим себе.

Но, конечно, не Г. Е. Львову было угнаться за лихорадочными темпами событий, а тем более - управлять ими. Г. Е. Львов претерпевал революцию. У него не было кадетской догматичности, но не было и кадетского увертливого оппортунизма. Он был поэтому в эпоху революции часто левее кадетов и в общем беспомощнее их. Событиям он часто противопоставлял какое-то фаталистическое безволие, которое почему-то потом смешивали с некоторыми другими слабостями Временного Правительства и окрестили ее "керенщиной".

Он не был враждебен крестьянству; это противоречило бы его земскому гуманитарному крестьянофильству; но когда аграрная революция стала стучаться в ворота, нажим на него земско-землевладельческих кругов стал так силен, что он внезапно поставил ультиматум: или он, или политика министерства земледелия. Впрочем, это был скорее повод для его ухода из правительства, чем истинная причина; он просто к этому времени слишком ясно почувствовал, что, как глава Временного Правительства, он не является и не может быть тем "настоящим человеком на своем настоящем месте в самое настоящее для него время". И он был прав.

336

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Разнобой в ПСР. - "Правые", "левые" и "левый центр".

А. Ф. Керенский. - Уход кадетских министров и заговор Корнилова. Демократическое Собрание. - Октябрь. - Четвертый съезд ПСР. - Откол "левых с.-р.-ов", - Всероссийский съезд крестьянских депутатов. - Петроградский Совет и Собрание уполномоченных от фабрик и заводов.

По мере развертывания событий, изначальный разнобой в Центральном Комитете ПСР становился всё отчетливее. Из прежнего эклектически-компромиссного центра выделился левый центр, вынесший из опыта шести месяцев революции заключение, что коалиция центральных партий трудовой демократии - с.-р. и с.-д. меньшевиков - с партией либеральной

буржуазии далее немыслима без окончательной дискредитации их в массах и без перехода их влияния на народ к большевикам.

С точки зрения левого центра, развивавшейся мною и моими политическими друзьями, русская революция, в качестве революции общенациональной, имела одно чрезвычайно уязвимое место: это - отсутствие в России устойчивой и зрелой либеральной буржуазии.

Наступление революции в России было катастрофой для всех откровенно-правых партий. У них исчезло даже всякое мужество поднять свое знамя. Партия кадетов из самой левой легальной партии неожиданно для себя превратилась, благодаря исчезновению старых правых, в самую правую легальную партию. Но тем самым она естественно сделалась складочным местом для всего, что было когда-то правее ее. Партия к.-д. не заметила, не осознала или намеренно закрыла 337 глаза на это затопление ее рядов справа, и теперь несла все его последствия, т. е. всё более резкий отрыв от революционной демократии.

Были и еще две причины, по которым с к.-д. партией коалиция стала немыслимой. Россия была при старом режиме "темницею народов", и революция разбудила ее узников - т. н. "негосударственные национальности". Или законные права этих национальностей революцией будут признаны, и тогда Россия станет преобразовываться в свободный федеративный союз равных народов; или этого не будет, и тогда у "негосударственных национальностей" не будет иного выхода, кроме сепаратизма. К.-д. партия, со времен самодержавия привыкшая себя чувствовать и мыслить, как "государственная", глубоко централистическая партия, не могла не бороться изо всех сил против всякого шага по пути к децентрализации России, производимой по национальному признаку. Для нее это было ослаблением государственного единства. Надо было выбрать: или союз с ищущими своей эмансипации "негосударственными" национальностями, и тогда разрыв с к.-д. партией; или сохранение коалиции с к.-д. партией, и тогда отчуждение и вражда с украинцами, белорусами, национальностями прибалтийского края, Кавказа, Башкирии, Туркестана и т. д.

К.-д. партия при самодержавии использовала все неудачи царской внешней политики и играла на струнах уязвленного патриотизма, постепенно перестраиваясь из либерально-пацифистской партии в партию национально-либеральную, пактирующую с империализмом и этим приобретающую симпатии в кругах плутократии, бюрократии и дворянства. Это наследие прошлого висело тяжелою гирею на ее ногах, враждебно сталкивая ее с новыми началами внешней политики русской революции - теми самыми началами, которые в бесконечно ослабленном виде провозглашались президентом Вильсоном. Рассчитывая, незадолго до революции, на дворцовый переворот, партия к.-д. связала себя со старым командным составом царского режима, не понимавшим необходимости радикальной демократизации армии и поэтому всё более отчуждавшимся от революционизированной солдатской массы.

Это создавало глубокое отчуждение и антагонизм между кадетской партией и советской демократией. Сохранение их 338 коалиции в правительстве вело лишь к их взаимной нейтрализации, т. е. к параличу творческой деятельности правительства. Невозможность же никак не откликнуться на неотложные вопросы жизни вела к постоянным конфликтам внутри правительства, к министерским кризисам, перестройкам в его личном составе, после чего опять начиналась всё та же "сказка про белого бычка", создавая впечатление неустойчивости, неавторитетности власти и никчемности ее существования.

С этой точки зрения, необходимо было признать коалиционную власть пережитым этапом революции и перейти к более однородной власти, с твердой крестьянско-рабочей, федералистической и пацифистской программой; в противном случае историческая изжитость

коалиционной власти должна была, с этой точки зрения, привести к широкой непопулярности и ослаблению Временного Правительства, а вслед, за этим - к опасным для судеб новой России покушениям на него справа и слева - военно-монархических заговорщиков и анархо-большевистских демагогов, для утверждения или милитаристической, или социально-погромной диктатуры.

Левая группа Ц. К. когда-то, в начале революции, разделяла общераспространенное тогда увлечение личностью А. Ф. Керенского, единственного человека в составе первого Временного Правительства, который шел навстречу революции не упираясь, а с подлинным подъемом, энергией и искренним, хотя и несколько истерически-ходульным пафосом.

Но чем дальше развивались события, тем больше в ее рядах происходила переоценка его личности. В конце концов, роль его стала сводиться к балансированию между правым, национал-либеральным, и левым, социалистическим крылом правительства. Нейтрализуя то первое - вторым, то второе - первым,

Керенский, казалось, видел свою миссию в этой "надпартийной" роли, резервируя себе роль суперарбитра и делая себя "незаменимым" в качестве центральной оси власти. Казалось, что его более всего удовлетворяет именно такое состояние правительства, и что он старается даже усугубить его, последовательно удаляя из состава кабинета, одну за другою, все крупные и красочные партийные фигуры и заменяя их всё более второстепенными, несамостоятельными и безличными. Тем самым создавалась опасность "личного 339 режима", подверженного случайности и даже капризам персонального унастроения.

В это время произошло катастрофическое событие, в котором левый центр мог усмотреть первую иллюстрацию правильности его прогноза опасностей, грозящих революции и революционной власти от сохранения коалиционной формы правительства и соответствующей этой форме программы или - точнее беспрограммности. Это был знаменитый "Корниловский заговор" и последовавшее за ним восстание ставки против Временного Правительства.

Ликвидация Корниловского восстания произошла в условиях, внесших громадное смущение в ряды трудовой демократии. Керенский взял на себя инициативу объявления верховного главнокомандующего армией - мятежником, а управляющий военным министерством его кабинета, Савинков, грозил, что с Корниловым будет поступлено, "как с изменником".

Но правительство в самый момент конфликта распалось вследствие выхода из него сочувствующих Корнилову членов-кадетов; что же касается остальных министров, то Керенский просил всех их подать прошения об отставке, чтобы дать ему полную свободу для наилучшей реконструкции всего кабинета. Таким образом, в момент конфликта существовала лишь единоличная власть министра-президента, фактическая персональная диктатура. Но это была диктатура на холостом ходу и ее носитель, Керенский, в это время менее всего управлял событиями и страной. Впоследствии, в своих работах полумемуарного характера, он сам рассказывал о том, как большинству людей, с которыми ему приходилось иметь дело, он представлялся человеком обреченным, как один за другим его покидали люди, в близость которых он верил, и как настал даже такой момент, что он в Зимнем дворце ощутил вокруг себя почти полную пустоту и переживал страшные часы покинутости и одиночества.

Таким образом, не правительством, которое расплылось, и не персонально Керенским была ведена борьба и произведена ликвидация мятежа. Мятеж был подавлен частью - армей-

скими комитетами, арестовывавшими солидарных с мятежом командиров, частью - советскими, партийными и национально-революционными организациями, 340 распропагандированными ударные отряды, двинутые Корниловым на Петроград. Это было сделано без большого труда, ввиду единодушного массового настроения, возбужденного повсюду известием о готовящемся перевороте в пользу единоличной военной диктатуры.

Кризис власти в связи с Корниловским восстанием вновь поставил перед Ц. К. нашей партии вопрос об отношении к самой идее правительственной коалиции с цензовыми элементами.

Одна группа в Ц. К., во главе с автором этих строк, устанавливала прежде всего, что кадетская партия, как целое, несомненно была на стороне Корнилова во время мятежа, и поэтому никоим образом не может быть представлена в правительстве, защищающем демократическую революцию. Тяга к военной диктатуре у к.-д. партии не случайна. Она - продукт общей эволюции этой партии и тесно связана с ее позицией в аграрном, рабочем, национальном и военном вопросах. Возвращение кадетов в правительство делает его неустойчивым и паразит его бесплодием. Во всех основных вопросах государственной жизни - об аграрной реформе, о защите прав рабочего на стабилизированную реальную заработную плату и на контролирующее участие в управлении производственным процессом, о децентрализации и правах национальностей, о демократическом мире - министры кадеты занимают позицию, противоположную министрам-социалистам. Ни те, ни другие недостаточно сильны, чтобы доставить торжество своей политике, но достаточно сильны, чтобы помешать противникам проводить их политику.

В результате власть оказывается стерильной. Она не способна ни на один решительный шаг, ибо, сделав его в том или другом духе, она вызывает правительственный кризис и демонстративный уход в отставку или той, или другой стороны.

Лидеры правых и правоцентрированных настроений в нашем Ц. К., напротив того, доказывали, что нельзя всю партию кадетов обвинять в соучастии с корниловцами; что в ней есть элементы, свободные от всякой связи с ними: что в кадетской среде есть чрезвычайно большое количество квалифицированных 341 общественных деятелей с большим опытом практической земско-городской и государственной работы; что нельзя с легким сердцем ставить крест на них и этим отбрасывать от революции разные промежуточные элементы, в чьих глазах работа оппозиционного "прогрессивного блока" Государственной Думы и роль думских элементов в начале революции окружают известным ореолом имена людей, поскользнувшихся на корниловском движении.

Кадетская партия - всё же самая левая из буржуазных группировок. Правда, она увлеклась чисто партийной враждой к сменившим ее в правительстве представителям рабочего и социалистического движения. Но есть опасность, что, ультимативный отказ ей в допущении в состав правительства будет понят, как отказ от сотрудничества со всею несоциалистической Россией. Другое дело, если бы, например, удалось привлечь в состав кабинета некоторых крупных, прогрессивно настроенных деятелей торгово-промышленного мира или некоторых кадетски-мыслящих людей не в качестве представителей партии, а персонально. Словом, представители этого крыла Ц. К., идя на уступки, подчеркивали, что согласны не настаивать на образовании правительства по соглашению с кадетской партией, а лишь на сохранении коалиции также и с "цензовыми" элементами русской общественности.

Обсуждение кончилось компромиссом, в котором нашли свое отражение преобладав-

шие в Ц. К. правоцентрированные настроения. В принципе было принято: 1) Продолжение коалиции с цензовыми элементами, но при обязательном условии твердой внешней политики в духе русской революции и ликвидации безответственности власти.

2) Временное Правительство впредь до созыва Учредительного Собрания должно быть ответственным перед некоторым временным органом (предпарламентом), который должен быть создан из представителей организованных сил страны, причем цензовым элементам в этом органе может быть отведено лишь меньшинство мест.

И 3) созыв Учредительного Собрания не должен быть более откладываем.

Первое из этих предложений было принято 10-ю голосами против 2, второе 8-ю против 1 при двух воздержавшихся, и 3-е - единогласно. Единогласно же было решено придать третьему требованию ультимативный характер.

342 Главной причиной затяжки с Учредительным Собранием было то, что к.-д. партия ультимативно настаивала на соблюдении всех формальностей процедуры по организации выборов. В особенности требовала она, чтобы списки избирателей были составлены не какими-нибудь "самочинными органами народной власти", возникшими на местах, но правильно избранными новыми демократическими органами самоуправления. Было бы трудно отвергать - да никто и не отвергал, что именно такие органы были бы самыми подходящими для нормальной организации выборной процедуры в национальное законодательное собрание. Но беда была в том, что время то переживалось самое ненормальное, а требуемая придирчивыми законниками безупречная процедура оказывалась слишком громоздкой и потому необходимо отстающей от лихорадочного темпа жизни страны.

Для придания власти большей устойчивости, отсутствие которой так болезненно сказалось во время Корниловского восстания, решено было - впредь до созыва Учредительного Собрания - создать в конце сентября широкое полупредставительное учреждение, своеобразный "предпарламент" или Демократическое Собрание.

Демократическое Собрание составом своим не оправдало надежд правоцентрированной группы ПСР. Ход общих прений показал, что коалиционистские настроения сильно ослабели не только в советах. Из среды различных составных частей собрания подавались многочисленные проекты резолюций, общий дух которых был таков, что правоцентрированная с.-р. резолюция вряд ли могла рассчитывать получить приоритет и быть положена в основу решения Собрания.

Делу не помогло и появление Керенского, который заявил, что сегодня же передаст в руки Собрания тяжелое бремя власти, если Собрание не примет принципа коалиции, отвержение которой Керенский считает гибельным и без которой он никакого участия в правительстве не примет; Керенский пожал бурные аплодисменты приблизительно половины собрания. Он смягчил недовольство другой половины, заявив, что ему инкриминируют восстановление смертной казни на фронте, но он до сих пор не утвердил ни одного вынесенного армейскими судами смертного приговора.

343 Немедленно после произнесения этой речи Керенский удалился и не принимал более никакого участия в заседаниях.

Демократическое Собрание, хотя и слабым большинством, высказалось "в принципе" за коалицию. Но Демократическое Собрание осталось без всякого решения того основного вопроса, ради которого было собрано.

С.-р.-овская делегация в Демократическом Собрании постепенно, шаг за шагом, делала уступки не только из начертанной программы, и не только по вопросу о пропорциональ-

ном соотношении в "Предпарламенте" цензовиков и революционной демократии, но даже из самого принципа ответственности власти перед будущим предпарламентом. В итоге всей этой компромиссной работы "Предпарламент" остался лишь в качестве совещательного учреждения, чем-то вроде Земских Соборов при самодержавии (по формуле "правительству - сила власти, земле - сила мнения"). Он даже не получил права запросов. Цензовики получили в нем представительство, сильно повышенное с тем, какое им было потом дано - выборами на основе всеобщего избирательного права. Правительство опубликовало, как свою, платформу, выработанную Демократическим Совещанием, но после ретушировки, которая делала ее шагом назад сравнительно с платформами, уже публиковавшимися во всеобщее сведение от имени предыдущих составов Временного Правительства.

В заседании Ц. К. ПСР 17-го сентября, очень немногочисленном, из 7 человек, был заслушан формальный протест Веденяпина против действий Авксентьева и Гоца, нарушивших свои обязанности по отношению к Ц. К. По их требованию было созвано экстренное собрание Ц. К. по вопросу о том, какую общеполитическую резолюцию об организации власти проводить на заседании с.-р. фракции Демократического Совещания. Но когда Ц. К. экстренно собрался, то оказалось, что Гоц и Авксентьев сами на него не явились, но направились прямо на заседание фракции и там голосовали за резолюцию, требовавшую образования коалиционного правительства на основе сговора с к.-д. партией.

В момент, когда партии грозил откол левого крыла и когда левый центр решительно выступил против будущих сецессионистов, - центральное ядро Ц. К. распалось.

344 Когда лидер правого центра, Авксентьев, открыто выступил с защитой позиций крайне правого крыла партии, с защитой коалиции во что бы то ни стало, сам голосовал и других приглашал голосовать за нее, - то, несмотря на происшедшее при этом формальное нарушение дисциплины Ц. К., существенно ничего не менялось. В февральской революции Авксентьев и его друзья не почуяли присущей народному движению грандиозной силы отталкивания от всего старого; они приветствовали эту революцию, как "малую революцию", по мотивам своим чисто патриотическую и общенациональную, сделанную скрепя сердце во время войны, чтобы избавиться от неспособной, насквозь прогнившей власти, фатально ведущей страну к поражению; как революцию во имя более успешного ведения и победоносного завершения войны союзом всех освобожденных "живых сил" страны.

Ни для кого не было тайной, что Авксентьев пошел в ногу с партийным центром лишь скрепя сердце, когда на 3-ем съезде коалиционное правительство трактовалось, как положение переходное, впредь до дальнейшего изменения соотношения сил в стране в пользу социалистов. Но открытое присоединение к нему Гоца, коренного "центровика", лидера эсеровской фракции в Совете - было партийной сенсацией.

Основным помощником Гоца в деле аппаратной обработки партии был В. М. Зензинов, - типичный образец "делового министра", как его когда-то прозвали в кругу близких людей. Чрезвычайно усидчивый, настойчивый и уравновешенный, умеющий терпеливо "бить в одну точку", он органически отдалялся от всего, что отдавало "крайностью", и столь же органически тяготел к какой-то неопределенной "золотой середине". Педантизм смягчался в нем воспитанностью, выдержкой, хорошими манерами и подчеркнутой, изысканной корректностью.

Он происходил из хорошей, культурной, крупно-торговой среды, и в общении с людьми буржуазных партий производил впечатление почти своего, и, во всяком случае, не вносящего диссонанса человека *comme il faut*, достойного всякого уважения. У него не было никаких возмущающих течение его общественной работы сильных индивидуальных страстей,

и он пользовался поэтому репутацией безупречности, политической выдержанности и преданности партии. Это был блестящий образец - большого человека на малые 345 дела. В деле непосредственного руководства партийным аппаратом он был незаменим и неподробен.

Заслушав доклад А. Гоца о переговорах с Временным Правительством, Центральный Комитет ПСР 24 сентября семью голосами при семи воздержавшихся согласился, что "Авксентьев, Гоц и Руднев выполнили поручение, данное им Демократическим Совещанием".

С этого времени пишущий эти строки систематически отходит как от работы в Предпарламенте, который считает учреждением безвластным и ненужным, так и в самом Ц. К., где предоставляет новому большинству без помехи проводить свой "новый курс", неся всю ответственность за него и за его результаты перед партией. 2-го октября я получил месячный отпуск "для объезда России" и непосредственного общения с массами, от которых, на мой взгляд, Ц. К. совершенно оторвался.

В эти дни на меня частным порядком было оказано большое давление с целью склонить меня отложить свой отъезд, по крайней мере, до сакраментального дня 22 октября, когда весь Петербург ждал попытки большевиков захватить власть. Мне указывали, что мой отъезд почти накануне этого дня будет понят, как несолидарность с противящимися перевороту антибольшевистскими силами. Крепя сердце, я согласился отложить отъезд, но с тем, что это будет последний раз. 22-ое октября прошло мирно. Создалось впечатление, что большевики будут дожидаться если не Учредительного Собрания, то, по крайней мере, 2-го съезда Советов, на котором они, рассчитывая на сильную "левую сепессию" в рядах с.-р. и с.-д. меньшевиков, надеются получить большинство.

22-го вечером я покинул Петроград и после успешных выступлений в казармах войск Московского гарнизона поехал на съезд крестьянских секций Западного фронта в Минск, куда меня призывали партийные товарищи, опасавшиеся на этом съезде "засилия" большевистских и союзных с ними элементов.

Через три дня после моего отъезда началось большевистское восстание.

Когда во второй половине ноября я вернулся в Петербург, я на вокзале был задержан для объяснений с 346 Военно-Революционным Комитетом. После всех объяснений мне было заявлено, что я свободен и что самый акт приглашения объясниться с Военно-Революционным Комитетом, несмотря на присутствие вооруженного караула, не должен рассматриваться, как арест.

Такова была обстановка, в которой произошел почти одновременно со 2-ым Всероссийским Съездом Крестьянских Советов четвертый съезд Партии Социалистов-Революционеров (26 ноября - 5 декабря 1917 г., ст. ст.).

Главным предметом съезда было обсуждение вопроса - "о текущем моменте и тактике партии", докладчиком по которому был я, давший, между прочим, сдержанную по форме, но категорическую по существу критику ошибок революционной демократии вообще и центрального партийного руководства в частности.

Против моих заключений выступали: В. Подвицкий, признавший, что коалиционная тактика действительно потерпела полное крушение, но что это крушение было, в сущности, крушением самой революции; В. Г. Архангельский, полагавший, что всё-таки без коалиции обойтись было невозможно и что однородное правительство "единого трудового фронта" оказалось бы не сильнее, но даже еще слабее коалиционного;

Фирсов-Розенблом, смягчавший значение всех ошибок тактики тем, что течение революции со всеми ее слабостями и спадами было "фатально и неизбежно"; и, наконец, мой пре-

емник по министерству земледелия, С. Л. Маслов, обвинявший всю революцию в антигосударственном, почти анархическом уклоне, констатировавший, что "революция сорвана", что выхода из тупика нет, все предлагаемые тактические планы безнадежны и неосуществимы и "будущее печально".

Что касается крайнего правого крыла партии - "воленародцев", - то от их имени выступали В. И. Лебедев и А. А. Аргунов. Первый заявил, что, по его мнению, правых вообще от центра теперь отделяет немного. Центр во главу угла своей тактики ставил борьбу за мир, не отвергая обороны страны;

Правые - оборону страны, не отвергая борьбы за мир. В других вопросах, на его взгляд, особых разногласий нет. А теперь, когда большевиками армия совершенно разложена, - все течения приведены к одному знаменателю, "всем" приходится 347 думать только об одном: о скорейшем заключении мира. Поэтому "правые" хотят общей работы, а не распрей и расколов.

После прений были предложены три резолюции: докладчика (левоцентричная), Когана-Бернштейна (крайняя левая) и Архангельского (умеренно-правая). При голосовании, какую положить в основу обсуждения, за первую высказалось 99 голосов, за вторую 52 и за третью всего 8. После рассмотрения в комиссии поступивших поправок, моя резолюция была принята 126 голосами против 7, при 13 воздержавшихся.

В резолюции этой указывалось, что в Учредительном Собрании Партия Социалистов-Революционеров, под контролем Центрального Комитета, должна противопоставить большевистскому методу раздачи невыполнимых обещаний тактику серьезного и глубокого законодательного творчества, чуждающегося оппортунистических компромиссов. На первую очередь при этом должны быть поставлены вопросы о мире, о земле, о контроле над производством и о переустройстве Российской Республики на федеративных началах, и вся социальная политика должна быть поставлена в связь с предстоящей задачей демобилизации промышленности и армии; партия обязана приложить всю свою энергию к сосредоточению вокруг охраны прав Учредительного Собрания достаточных организованных сил, чтобы, в случае надобности, принять бой с преступным посягательством на верховную волю народа, откуда бы оно ни исходило и какими бы лозунгами ни прикрывалось. При этом партия должна постоянно иметь в виду необходимость быть готовой к отпору контрреволюционным попыткам, подготовляемым эксцессами большевистского режима.

Всё это прошло, несмотря на то, что на 4-ом съезде почти не было прежнего крайнего левого крыла, а из партийных левых раскольников, руководимых Натансоном и Спиридоновой, имевших свою сепаратную всероссийскую конференцию, на общепартийный съезд удалось попасть только И. З. Штейнбергу и В. Трутовскому. Они огласили там резкую резолюцию, приглашавшую "всех подлинных революционеров" уйти со съезда. К ним присоединилось и покинуло съезд, однако, всего 7 делегатов.

348 Одновременно с общепартийным съездом заседал Всероссийский съезд Крестьянских Советов. Он был собран, однако, не Исполнительным Комитетом, избранным на предыдущем, первом всероссийском съезде, а некоей самочинной организацией. Исполнительный Комитет созвал по вопросу об организации Второго Съезда чрезвычайную конференцию: конференция эта распалась на "правых" и "левых"; "левые", вставшие на точку зрения признания октябрьского переворота и советской власти, принялись собственными силами, с устранением Исполнительного Комитета, собирать съезд. Фактическая сила, имевшаяся в руках Совета Народных Комиссаров, была на их стороне.

"Правым" ничего не оставалось, как протестовать, и всё же идти на находящийся в чужих руках съезд, в расчете на то, что крестьяне - народ упорный и переломить себя никому не дадут. Расчет этот оправдался, но не вполне. В нем не была учтена возможность для "левого блока" (большевиков, левых эсеров, максималистов и анархистов) наводнить съезд делегатами так называемых "крестьянских секций" фронта, тыловых гарнизонов, флота и т. д. 1-го декабря, накануне открытия съезда и при еще неполном его созыве, оказалось, что при 489 приехавших крестьянах-делегатах явилось 294 армейских депутатов, часто с весьма сомнительными "полномочиями" (вплоть до анекдотического "полномочия" на поездку ради приобретения для окопов граммофона, тоже открывшего предьявителю двери заседаний съезда).

Сразу же обнаружилось, что солдатская часть съезда, благодарная большевикам за прекращение войны, валом валит к "левому", пробольшевистскому сектору, тогда как крестьяне в большинстве своем питают к большевикам органическое недоверие. Но так как крестьянам со всех концов России съехаться гораздо труднее и они тяжелее на подъем, чем спешащие покинуть фронт солдаты, то на первых заседаниях съезда перевес был у левого блока, хотя и небольшой.

При выборах временного президиума кандидатка большевиков и их союзников, левая эсерка Спиридонова прошла 269 голосами против 230, поданных за В. М. Чернова; при проверке голосования выходом в разные двери отчетливо сказалося преобладание среди "спиридоновцев" серых шинелей, и такое же преобладание среди "Черновцов" мужицких поддевок. Но мужики продолжали прибывать, и 349 соотношение сил изменяться. Когда на съезд прибыл "сам" председатель Совета Народных Комиссаров Ленин, поднялись крики, что съезд еще не решил вопроса, признает ли он Совет Народных Комиссаров законной властью или нет, а потому выслушать председателя его не может.

Не будучи уверен в результате голосования и не желая идти на риск и в то же время сильно надеясь на воздействие ленинской речи, левый блок сделал уступку: Ленин взошел на кафедру и получил слово не как председатель Совнаркома, а как представитель большевистской фракции съезда. Всячески стараясь выставить Совет Народных Комиссаров истинно-народным, демократическим правительством, Ленин неосторожно заявил, что, не в пример безответственному Временному Правительству, Совнарком отчитывается перед Советами и, если советский съезд, вроде происходящего, вынесет ему вотум недоверия, он уйдет в отставку.

Этим промахом я поспешил воспользоваться и в ответной речи пригласил крестьян принять вызов Ленина и показать ему, много ли доверия имеют они к захватнической власти: фракция социалистов-революционеров дает для этого случай, внося соответственную резолюцию против Совета Народных Комиссаров и за Учредительное Собрание.

Действительно, депутатом-солдатом тотчас же была внесена от имени эсеровской фракции такая резолюция, и она прошла большинством 360 голосов против 321. "Левая" часть съезда пришла в крайнее возбуждение: ее вождя только что "поймали на слове", и теперь, если держаться за власть, нужно было отступить от только что данного слова, а если сдержать слово, нужно было отступить от власти. Большевики, разумеется, предпочли первое.

В это самое время в рабоче-солдатском Всероссийском Центральном Исполнительном Комитете резолюция, одобряющая действия Совета Народных Комиссаров, прошла всего лишь 150 голосами против 104, при 22 воздержавшихся. Но во ВЦИКе отсутствовали пред-

ставители эсеро-меньшевистского блока демонстративно удалившегося с 2-го рабоче-солдатского съезда и бойкотировавшего ВЦИК. Если бы не это, Совнарком мог бы получить вотум недоверия разом в "обоих палатах" советского государства. Теперь же можно было опираться на одну из двух против другой: на рабоче-солдатскую, против крестьянской.

350 Как бы то ни было, но взволнованные неожиданным провалом на крестьянском съезде большевики попробовали на следующий день поправить свои дела, пустив в ход фейерверочное красноречие Л. Троцкого.

На их беду появление Троцкого перед крестьянами совпало с опубликованием в газетах одной речи, где он грозил всем врагам советской власти "изобретенной еще во время великой французской революции машиной, укорачивающей человека ровно на длину головы".

Под свежим впечатлением этой речи, увидев ее автора на трибуне, половина залы внезапно и стихийно разразилась бурей негодования. Троцкий, бледный, как полотно, покинул трибуну под сплошной гул возгласов: "насильник, палач, кровавый убийца". Президиум, будучи не в силах справиться с этим взрывом массового гнева, не нашел другого выхода, как удалиться вместе с Троцким и "левой" частью съезда в особую залу, где Троцкий и прочел свой доклад.

Таким образом, съезд распался на две части; их пробовали потом несколько раз соединять, но они немедленно, иногда по самому незначительному поводу, приводившему к бурным схваткам и хаосу, снова распадались. Между тем крестьяне-делегаты из дальних губерний продолжали приезжать и немедленно присоединяли свои подписи к резолюции в пользу Учредительного Собрания и против Совнаркома. Но съезду еще предстояло произвести выборы постоянного президиума вместо временного, и перевыборы Спиридоновой становились всё более и более проблематичными.

Нервность обеих, сторон росла. Наконец, по поводу одного из сравнительно малозначительных инцидентов Спиридонова неожиданно заявила, что президиум слагает свои полномочия. Этим единый съезд и был оборван. Около половины делегатов, возглавляемые Спиридоновой, двинулись торжественной процессией прямо в Смольный, где им был оказан президиумом ВЦИКа и Совнаркомом не менее торжественный прием: символически демонстрировалось "рабоче-крестьянско-солдатское единение". Другая, большая часть удалилась в старое помещение Крестьянского ВЦИКа, откуда она некоторое время спустя и была выдворена специальным отрядом красногвардейцев. В то же время по всей России прокатилась волна репрессий против крестьянских съездов и советов, которые не давали большевистским властям прибрать себя к рукам.

351 Ц. К., избранный на четвертом съезде ПСР, избрал линию поведения, равно далекую и от "правого" активизма, и от "правого" пессимизма. Вместо заговорщически-террористических действий он посылал людей партии в массы. Зная, что если большевизм захватил власть путем солдатского пронунциаменто, то удерживает ее он всё-таки и сочувствием доведенных до точки революционного кипения рабочих, Ц. К. с.-р.-ов главным средством борьбы против большевиков избрал именно обратное отвоевание массовых рабочих симпатий. Он развивал лихорадочную агитацию за отзыв фабриками и заводами тех своих депутатов в Совете, которые голосовали за дикие и жестокие акты диктатуры. И его агитация имела успех. Всё чаще и чаще такие депутаты отзывались и производились перевыборы депутатов. Дело дошло до того, что большевики стали серьёзно опасаться за свое господство в Петербургском Совете. Чтобы остановить таяние своего большинства, они вынуждены были почти на крайнюю меру: на запрет досрочного отзыва и частичных перевыборов, - под тем

предложением, что в скором времени они готовят всеобщие и единовременные перевыборы Петербургского Совета.

Отсюда возникла новая форма движения, история которого еще ждет своего исследователя и бытописателя. Новый эсеровский Центральный Комитет пришел к соглашению с социал-демократами меньшевиками о направлении избирательной кампании в несколько иное русло. Если Петроградский Совет запретил досрочный отзыв и перевыборы своих депутатов, то можно призвать фабрики и заводы избирать представителей на особую чрезвычайную "рабочую конференцию", "собрание уполномоченных от фабрик и заводов". Таким образом создано учреждение, фактически параллельное Совету, но имеющее значительно больший моральный авторитет ввиду свежести его полномочий, в отличие от устаревших, искусственно сохраняемых и вообще сильно "подмоченных" полномочий Совета.

Рабочая конференция приковала к себе внимание всего рабочего Петрограда. Фабрики и заводы, один за другим, присоединялись к ней и избирали в нее своих представителей. Она превращалась в самый оживленный "рабочий парламент".

352 Ей шла на руку тактика большевиков - преподносить Совету готовые партийные решения или даже просто ставить его перед совершившимся фактом, гильотинировать дебаты и в "скорострельном" порядке получать на все свои действия санкцию задним числом. Рабочая конференция подвергла подробному обсуждению и критике с социалистической точки зрения основания декретов Совета Народных Комиссаров и в противовес им разрабатывала позитивную программу социальных реформ, свободную от необузданного экспериментаторства и утопизма. Обсуждала она и международную политику большевистской диктатуры, с ее попыткой "выскочить из войны" путем сепаратного мира, который, согласно ее уверениям, должен, однако, оказаться миром вполне демократическим, справедливым и потому равно почетным для обеих сторон. Свою программу рабочая конференция предполагала передать, в качестве петиции, Учредительному Собранию, права которого на полноту власти она отстаивала безоговорочно.

353

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Учредительное Собрание. - Заговор против народной воли. - Страшная ночь.

7-го октября 1917 года большевистская фракция "Предпарламента" демонстративно вышла из него в полном составе, в знак возмущения и протеста. В отсутствие перешедшего на нелегальное положение Ленина ее возглавлял Троцкий. В оглашенной ими декларации большевики шумно возвещали стране: "Буржуазные классы, направляющие политику Временного Правительства, поставили себе целью сорвать Учредительное Собрание!"

Сенсация Троцкого-Ленина при помощи их партийной прессы, авторитетных деклараций их Центрального Комитета и страстных речей бесчисленных ораторов-демагогов облетела всю страну. Полтора месяца, с завидным постоянством и гипнотической силой фанатически-исступленного упорства, в головы масс вбивалось страшное подозрение: народ и страна обмануты, Учредительному Собранию уготованы Временным Правительством похороны по первому разряду.

Удачно придуманный маневр сослужил свою службу. Власть оказалась в руках большевистской верхушки, диктаторски распоряжавшейся своей партией, но за это обучавшей ее столь же диктаторски распоряжаться всею Россией. Как же, однако, быть с требованием "немедленного созыва Учредительного Собрания"?

Протоколы Ц. К. большевиков того времени долго - десятилетия - хранились втайне.

Они были преданы гласности Госиздатом лишь в 1929 году. Лишь из них мы официально узнали, с чего начал Ленин подкоп под Учредительное Собрание; узнали и его знаменитую фразу: "Ждать Учредительного Собрания, которое явно будет не с нами, - бессмысленно, ибо это значит усложнять нашу задачу!"

353 В воспоминаниях Л. Троцкого о той эпохе ("Правда" от 9-го апреля 1924 г.) читаем:

"В первые же дни, если не часы, после переворота Ленин поставил вопрос об Учредительном Собрании. - "Надо отсрочить" - предложил он. - "Надо отсрочить выборы. Надо расширить избирательные права, дав их восемнадцатилетним. Надо дать возможность обновить избирательные списки: наши собственные списки никуда не годятся"... Ему возражали: неудобно сейчас отсрочивать, это будет понято, как ликвидация Учредительного Собрания, тем более, что мы сами обвиняли Временное Правительство в оттягивании Учредительного Собрания. Ленин со своей позицией остался одиноким. Он недовольно поматывал головою и повторял: "Ошибка, явная ошибка, которая нам может дорого обойтись".

Отсрочивать выборы, производство которых уже шло и первые результаты которых уже публиковались, было поздно.

"Комиссаром" над комиссией по выборам в Учредительное Собрание был назначен известный большевистский цент-ровик Урицкий. Он делал Ц. К-ту специальный доклад по поводу поражения большевистского списка среди сугубо-пролетарского уральского района. Доклад этот, конечно, секретный, цитирован в "Собрании Сочинений" Л. Д. Троцкого, т. 3-й, часть 2-ая, стр. 364-365:

"Урал не оправдал наших ожиданий. В местах, отдаленных от центров революционной работы, Учредительное Собрание пользуется большой популярностью. Этим именем заставляют нас держаться выжидательной тактики... Созовем ли мы Учредительное Собрание? - Да, созовем. - Разгоним? - Да, может быть; всё зависит от обстоятельств".

Назначение комендантом Таврического дворца человека, чей доклад был отличной иллюстрацией его чувств к "хозяину земли русской Учредительному Собранию" (как его в то время всё еще пышно именовали в прокламациях Ц. К. его партии), уже само по себе было символично.

С этим "хозяином", ради которого на словах и совершали весь переворот и захват власти - на деле ж сговаривались секретно поступить "в зависимости от обстоятельств" так или иначе, но с одинаковым конечным результатом. "Выяснилось тем временем, что мы будем в меньшинстве даже с левыми эсерами"... - "Надо, конечно, разогнать Учредительное 355 Собрание, - говорил Ленин, но вот как насчет левых эсеров?" "Нас, однако, очень утешил старик Натансон. Он зашел к нам "посоветоваться" и с первых же слов сказал: "А ведь придется, пожалуй, разогнать Учредительное Собрание силой". - "Браво! - воскликнул Ленин. - А пойдут ли на это ваши?" - "У нас некоторые колеблются, но я думаю, что, в конце концов, согласятся, - ответил Натансон". ("Правда", No 91, 20 апр. 1924г.).

В те времена пишущему эти строки не раз приходилось вызывать "левых с.-р-ов" и Натансона лично на публичное объяснение.

- Вы сбрасываете с себя узы партийной солидарности и дисциплины, вы взрываете партию изнутри, - говорил я им, - помните же: образовав отдельную партию, вы не сохраните и ее единства, вы и ее взорвете изнутри. Вы помогаете большевикам диктаторски расправляться с другими партиями: придет и ваша очередь, большевистский террор обрушится и на вас. Когда-нибудь вы опомнитесь, но будет слишком поздно. Дело, которое вы начинаете, история назовет вашим политическим самоубийством...

Натансон такого публичного объяснения не принял ни разу. Но для большевиков вопрос уже был предрешен. Оставалось закончить кое-какие формальности.

26 декабря Ленин опубликовал свои "тезисы об Учредительном Собрании". В них народные избранники предупреждались, что "Учредительное Собрание, если бы оно разошлось с Советской властью, было бы неминуемо осуждено на политическую смерть". И "единственным шансом на безболезненное разрешение кризиса" объявлялась полная капитуляция и "безоговорочное заявление Учредительного Собрания о признании советской власти, советской революции, ее политики в вопросе о мире, о земле и рабочем контроле" и т. д. Иными словами, все проблемы, для решения которых Учредительное Собрание собиралось, уже решены до Учредительного Собрания и без Учредительного Собрания.

И вот пришла пора открывать его. Для того, чтобы быть готовым ко всем возможным неожиданностям в этой последней встрече с побежденными, но не покорившимися противниками, Ленин облек чрезвычайными полномочиями лично преданного ему Вл. Бонч-Бруевича. Пробольшевистская, но 356 позволявшая себе некоторую фронду "Новая Жизнь" Максима Горького в те дни сообщала, что "во все комиссариаты были вытребованы усиленные наряды красноармейцев. Везде установлены ночные дежурства. До 5-ти часов утра в Смольном и комиссариатах не смыкали глаз"; а членам мирных делегаций Германии, Австрии, Болгарии и Турции Совнарком еще ранее предложил перебраться на 5-ое января в какие-нибудь "более безопасные помещения".

Ко дню открытия Учредительного Собрания готовились обе стороны. Ленин, отличный практик-стратег, не смущался тем, что и под ливнем самых соблазнительных декретов страна устояла и ответила ему вотумом недоверия, послав в Учредительное Собрание абсолютное большинство социалистов-революционеров.

Из удачного октябрьского опыта он знал, что всего существеннее - иметь большинство в решающий момент в решающем участке войны. И, подтянув для верности в Петроград еще своих надежных латышей, он составлял диспозицию уличного столкновения. Мы знали, что большевики в Питере полные господа положения, но не теряли надежды. На фабриках и заводах шел процесс отрезвления и разочарования в Совнаркоме. Мы могли рассчитывать на многочисленные колонны демонстрантов из всех рабочих районов к Таврическому дворцу для приветствования Учредительного Собрания.

Если их пустят, мы будем окружены живою стеной от всякой попытки разгона. Если не пустят, если будут разгонять вооруженной силой, если прольется кровь безоружных - потерпят ли это самые крепкие революционные воинские части, первыми выступившие против царя в феврале!

Преображенцы и Семеновцы приняли резолюции в пользу Учредительного Собрания. Они не хотели верить в возможность его разгрома - ведь большевики в оправдание октябрьского переворота говорили, что без него буржуазия сорвала бы созыв Учредительного Собрания. Но на случай насильственных мер против народных избранников, они соглашались пойти на его защиту, особенно, если будут поддержаны броневым дивизионом, тоже неоднократно высказавшимся за Учредительное Собрание. Эту верность свою броневой дивизион собирался продемонстрировать в день его открытия. Первым этапом его маршрута намечались казармы Преображенского и Семеновского полков: они должны были подойти 357 к Таврическому дворцу с одной стороны - с других сторон предполагались рабочие демонстрации не вооруженные.

Мы знали, что физическая сила в Петрограде на стороне большевиков, но результат

выборов показал, что гуша страны за нами. Мы не хотели в Петрограде ни в коем случае по-давать повода к вооруженному столкновению. Надо было морально обезоружить хотя часть находящихся в распоряжении большевиков. Для этого мы пропагандировали демонстрацию гражданского населения абсолютно безоружную, против которой было бы нелегко употреб-лять грубую силу. Всё, на наш взгляд, зависело от того, чтобы не дать большевикам и тени морального оправдания для перехода к кровопролитию. Только в этом случае, думали мы, могут поколебаться даже самые решительные их защитники и проникнуться решительно-стью самые нерешительные наши друзья...

День открытия Учредительного Собрания был назначен еще Временным Правитель-ством. День открытия Учредительного Собрания должен был разрешить судьбу его. Вынести всю тяжесть на своих плечах предстояло нашей партии, за которую на выборах высказалось абсолютное большинство народа. Именно ее депутатам приходилось, чем бы это для них ни кончилось, попытаться быть полновластным Учредительным Собранием. Но в обеих столи-цах приказов овладевшей властью диктаторствующей партии беспрекословно слушалось громадное большинство тыловых гарнизонов, а по численности голосовавших на выборах она вышла на первое место. Физическая сила была не за нас. Открыв для нас двери Тавриче-ского дворца, власть имела возможность превратить его в простую мышеловку. Никаких ил-люзий на этот счет у нас не было. Петербург не с нами.

Но с нами толща страны. За большевиков высказалось не более четверти избирателей - свыше 9-ти миллионов голосов из общего числа поданных 36 с четвертью миллионов голо-сов, тогда как за партию социалистов-революционеров 21 миллион, т. е. 58%.

И вот 5-го января, собравшись неподалеку от Таврического дворца, мы идем туда, к назначенному полуденному часу, основною массою приблизительно человек в двести. Ли-тейный проспект пустынен. Но дворы по обоим сторонам живут своей настороженной бое-вой жизнью. Время от времени оттуда, как из-под земли вырастают вооруженные патрули: 358 раздаются вызывающие возгласы: кто идет? "Учредителей", всё же, мрачно пропускают. Подходим к Таврическому дворцу. Площадка перед самым дворцом загромождена легкими орудиями, пулеметами и "боеприпасами" - для наступательных действий или для выдержки-вания осады? Свободен один узкий боковой вход: туда впускают по одному, после проверки билетов и некоторым задается вопрос, нет ли с собой оружия?..

Зато внутри в вестибюле и коридорах всюду вооруженная стража. Картина настоящего военного лагеря. Но это не военный лагерь дисциплинированной армии, готовящейся к бою. Это - оккупанты, грубые и развязные. Пока еще ни к кому прямо не обращаясь и обменива-ясь впечатлениями между собою, они бросают в пространство фразы: "вот того хорошо бы в бок штыком", "а этому пули не избежать", и "по том вон пуля плачет". У нас заранее твердое решение:

ни в какие пререкания со стражей не вступать.

Входим в большую залу заседаний.

Она пустынна. Нет ни единого большевика и не единого из их лево-эсеровских союз-ников. Те и другие уединились в своих фракционных комнатах. К общему заседанию они еще не готовы. Фактически они действуют, как единый блок. Но договорные условия еще далеко не выработаны. В полдень должно было состояться открытие Собрания: но больше-вики и их союзники всё еще продолжают совещаться. После полудня проходит час: не гото-вы. Истекает второй час: то же самое. Идет третий, четвертый... Начать без них? Рисуем не набрать кворума. От дальнейшего хода торгов и переторжек мы не ждем ничего.

Единственно, чего еще раньше "левым эсерам" удалось достичь, это разрешения Учредительному Собранию открыться. Но Совет Народных Комиссаров своих правомочий в его руки не передает. Разыграется поединок двух независимых держав. Одной, опирающейся на штывки, пулеметы и орудия, другой - опирающейся на право говорить от имени многомиллионного русского народа. Если невооруженная держава не капитулирует сама перед вооруженной, спор будет решен силой.

Большевики, вместе с их спутниками, чего-то еще ждут. Чего? Известий извне. Между двух-фракционным блоком и столичной "улицей" идет нервный обмен гонцами. 359 Параллельно такой же напряженный обмен идет и у нас. Наши вести благоприятных перспектив не открывают.

Расположенный в Петербурге броневой дивизион сохранял верность Учредительному Собранию. Эту верность свою он собирался продемонстрировать в день его открытия. Первым этапом его маршрута намечались казармы Преображенского и Семеновского полков. На их митингах неизменно проходили резолюции: Вся власть Учредительному Собранию! Эта возможность какой-то консолидации сил, сочувствующих установлению подлинного народовластия, казалось, открыла бы Учредительному Собранию перспективы; во всяком случае "разгонные" настроения большевиков могли бы, пожалуй, быть серьезно сдержаны. Однако, самые последние вести ни к каким иллюзиям не располагали. Большевики оказались хорошо подготовлены ко всем случайностям.

В ночь под открытие Учредительного Собрания организованные большевиками рабочие ремонтных мастерских сделали порученное им дело. Путем умелого "технического саботажа" броневые машины были превращены в неподвижные, точно параличом разбитые груды железа.

Удручающие вести приходили с маршрутов движения из разных частей города. Всюду колонны демонстрантов наталкивались на вооруженные заставы и засады. Безоружность толпы только придает духу "верным стражам советской власти". Если толпа не дает себя сразу разогнать, в нее стреляют из винтовок, стреляют из пулеметов...

Были случаи: толпа, обстреливаемая из пулеметов, ложится на землю, переждав таканье пулеметов, после чьего-нибудь призывного возгласа, вновь подымается и бросается вперед - и снова ложится - и опять встает, оставляя на месте раненых и убитых. И еще вести: всё мрачнее и мрачнее: при разгоне одной колонны - со Шлиссельбургского тракта - полегло много обуховских рабочих. В другом месте среди убитых известная нам всем эсерка Горбачевская, дочь революционера и внучка декабриста. В третьем - запоздавший на открытие Учредительного Собрания и пришедший вместе с демонстрантами крестьянин-депутат. По всем больницам и по многим частным домам разнесены раненые. Ни одна из колонн демонстрантов не может пробраться к Учредительному Собранию.

360 И последняя весть. В казармах преображенцев и семеновцев настроение мрачное и подавленное. Там ждали прихода броневиков и готовы были вместе с ними пойти к Таврическому дворцу, рассчитывая, что при таких условиях большевики отступили бы без кровопролития. Броневики не пришли. Настроение упало.

Нам ясно: судьба Учредительного Собрания решена. Мы отрезаны от толщи страны, которая нас послала. Мы - пленники в осажденной крепости.

Один из членов Учредительного Собрания эсер Лисенко описал это единственное заседание Учредительного Собрания довольно подробно под названием "Страшная Ночь". Я рекомендую всем, кто может где-нибудь в библиотеке найти эту брошюру, прочитать ее. К со-

жалению, мой экземпляр пропал вместе со всей моей библиотекой, которая была захвачена немцами.

Да, это была воистину страшная ночь. Эта страшная ночь, я понял тогда, решила судьбу России на долгие, долгие годы. Теперь мне всё яснее становится, что эта страшная ночь решила судьбу не только России, но и Европы и всего мира.

И вот, наконец, сообщение двух фракций - большевистской и левоэсеровской. Они готовы к открытию заседания. Они готовы, и всё "готово".

Зал заполняется народом. По бокам трибуны - вооруженные. В коридорах вооруженные. Галереи для публики набиты битком. И там над головами то здесь, то там дула винтовок. Билеты на галереи распределял Урицкий. И распределил...

В книге своей "На боевых постах февральской и октябрьской революций" Вл. Бонч-Бруевич описывает, как он обеспечивал власть и порядок в Таврическом дворце с помощью особо подобранной команды с крейсера "Аврора" и двух рот с броненосца "Республика", и как другой его товарищ по оружию, Дыбенко, располагал на ключевой позиции - на углу Литейного проспекта - опять-таки какой-то специальный "отряд тов. Ховрина в 500 человек, с ручательством, что мимо него никакие демонстранты к Таврическому не проникнут", как всем собранным в три часа ночи отдельным начальникам отрядов "вручались в запечатанном конверте специальные задания".

Из воспоминаний Троцкого, написанных по свежим 361 следам событий ("Правда", 20 апреля 1924 г.), мы впервые узнали, как сам Ленин боялся, что обычные воинские части, крестьянские по составу, окажутся ненадежны, ибо "в случае чего русский мужик может колебнуться", как он распорядился "о доставке в Петроград одного из латышских полков, наиболее рабочего по составу".

Когда наступил, наконец, момент открытия Учредительного Собрания, Ленин, по свидетельству верного Бонч-Бруевича, "волновался и был мертвенно бледен, как никогда... сжал судорожно руку и стал обводить пылающими, сделавшимися громадными, глазами всю залу". Вскоре, однако, он оправился и "просто полулежал на ступеньках то со скучающим видом, то весело смеясь".

Депутаты медленно размещаются по своим скамьям. Стороны обводят друг друга напряженными взглядами.

Наконец, все в сборе. Минуты томительного ожидания. "Левый" сектор ждет. Старейший депутат среди нас: старый народоволец С. П. Швецов. Ему и следует открыть заседание.

Внушительная фигура С. П. Швецова подымается на трибуну. И разом, по сигналу, раздаётся ужасающая какофония. Топанье ногами, стук пюпитров, крики, кошачий концерт. Левоэсеровский сектор соревнуется с большевиками. Присоединяются хоры. Стучит прикладами о пол стража. Он берет колокольчик. Видно, как он мотается в руке. Но звука не слышно. Он кладет колокольчик на стол, - им немедленно завладевает какая-то фигура и уносит, чтобы вручить, в виде трофея, входящему в зал Свердлову. Пользуясь минутным затишьем, Швецов успевает произнести сакраментальную фразу:

"Заседание Учредительного Собрания открывается". Новый взрыв оглушительного галла. Швецов покидает трибуну и возвращается к нам. Его место занимает Свердлов, чтобы второй раз открыть собрание именем Совнаркома и ультимативно предложить нам его "платформу". От нас требуется сказать просто: да или нет.

Но ультиматум пока висит в воздухе. Надо организовать президиум. Наше предложение - пока выбрать лишь председателя Учредительного Собрания и секретаря; организацию

коллегиального президиума отложить на завтра. Это предупредительная мера: чтобы своим уходом с 362 заседания большевики и их союзники не "сорвали" президиума. За наше предложение - большинство. Начинаются выборы. Большевики своего кандидата не выставляют. Они будут голосовать за кандидата левых эсеров - Спиридонову.

Ту самую Спиридонову, которую они потом арестуют и будут мытарить по тюрьмам и ссылкам, выматывая из нее последние остатки здоровья и жизни, доведя до грани душевной болезни. Они ставят теперь ставку на имя, на террористическое прошлое, на мученическую судьбу женщины. Они надеются оторвать от нас и от "нейтральных" отдельные голоса. Их расчеты не оправдываются. На моем имени, выставленном нашей фракцией, объединяется внушительное большинство - гораздо больше того, что нами ожидалось. Видимо, кое-какие из левых эсеров-крестьян не удержались и голосовали с нами. Я получил 244 избирательных голосов против 151 неизбирательного.

Моя вступительная речь. Приходится призвать на помощь всё свое самообладание. Кто прочтет стенографический отчет об этом заседании, не будет иметь даже отдаленного впечатления о том, что происходило на самом деле.

После каждой фразы - десятки вскриков, то иронических, то озлобленных, подкрепляемых угрожающим поигрыванием винтовками со стороны сгрудившейся, как на митинге, массы. Нельзя поддаваться на провокацию. Надо помнить: одержит верх тот, чьи нервы крепче. И я, не обращая внимания на крикунов, веду свою линию.

"Страна высказалась. Состав Учредительного Собрания - живое свидетельство мощной тяги народов России к социализму. Оно означает - конец неопределенного, колеблющегося переходного периода. Вопрос о земле предрешен: она станет общим достоянием, на равных правах открытым для всех трудящихся и желающих трудиться. Учредительное Собрание - это начало активной внешней политики, направленной к миру - не шкурнически-сепаратному, а всеобщему, демократическому миру без победителей и побежденных.

Наша страна стала цитаделью освобождающей революции, и в ней по призыву революционного правительства должен состояться съезд воскресшего Интернационала, который будет съездом умиротворения народов. Советы, как орган общественного контроля, должны быть не соперниками, а союзниками и сотрудниками 363 Учредительного Собрания: всякая иная линия поведения грозит ужасами гражданской войны, разорения и одичания.

Учредительное Собрание должно иметь полноту власти. Но оно не желает узурпировать народную волю. Оно готово все свои основные решения передать на проверочное всеобщее голосование народа, на плебисцит. При таких условиях всякий, кто против него - тот стремится к захвату власти, к деспотической опеке над народом".

Под перекрестный огонь выкриков, звяканья винтовок и угроз я довожу речь до конца. Теперь черед большевистских ораторов Скворцова и Бухарина. Во время их речей наш сектор - образец сдержанности и самодисциплины. Большевистские ораторы резки, митингово-крикливы, вызывающи по тону, подчеркнуто-грубы в выражениях - но ледяной сдержанности эсеровского большинства никакая провокация сломать не в силах.

Большевикам отвечает с.-д. И. Г. Церетели, которого тоже с самого начала пробуют "пугать", наводя на него винтовку. Мне надо заставить крикунов замолчать и слушать. Как это сделать? Призывы к сохранению достоинства Учредительного Собрания вызывают только еще более ожесточенный гул, порою переходящий в неистовый вой. Дыбенко и подобные ему демагоги, совершенно распоясавшись, подают сигналы к новым и новым атакам.

Ленин в "правительственной ложе" демонстрирует свое презрение к "учредилке", раз-

легшись во всю длину и принимая вид уснувшего от скуки человека. Я дохожу до того, что угрожаю "очистить от публики" неистовствующие хоры. Несмотря на нелепость угрозы, - ибо стража ждет лишь сигнала, чтобы "очистить" зал от нас, - она на время действует. Спокойный и достойный тон Церетели довершает остальное. Он может довести свою речь до конца. После него легче сделать то же эсеру Тимофееву, говорящему о мире, и Скобелеву, требующему расследования убийств и наказания виновников кровавой расправы над мирными демонстрантами, шедшими приветствовать Учредительное Собрание.

Стоит упомянуть об особенном взрыве криков, когда пробует говорить по-украински и пытается занять квази нейтральную позицию депутат Северцов-Одоевский. Большевики в Учредительном Собрании не желают слышать иной речи, кроме русской. Я вынужден 364 самым категорическим образом заявить, что в новой России не может быть народа, лишенного права говорить о своих нуждах, где ему угодно, на своем родном языке.

Наш план установлен заранее. По трем вопросам: о войне и мире, о земле и о форме правления мы должны сказать полным голосом свое слово. Это наше знамя, поднятое со всемирной трибуны перед лицом всей страны, если угодно, политическое завещание обреченного на смерть Учредительного Собрания. Большевикам этот план необходимо сорвать. Они требуют, чтобы мы или целиком отвергли, или целиком приняли программу Совнаркома. После споров, мы обходя эту программу, переходим к рассмотрению главных вопросов: о мире, о земле, о государственном устройстве... Тогда большевики демонстративно уходят, чтобы потом снова нарушить ход наших занятий оглашением декларации. Они объявляют нас контрреволюционерами.

Левые эсеры в тяжком положении. Мы еще не успели высказаться ни по одному вопросу. Лезвоэсеровские мужики бунтуют: им приказано от Учредительного Собрания получить трудовое мужицкое право на землю, всю землю. Вот почему лезвоэсеровские мужики бунтовали. В их рядах дезорганизация, пререкания. Один левый эсер вдруг выхватывает револьвер и угрожает другому. Сотоварищи едва успевают его обезоружить и предотвратить трагедию. А в двери со штыками на перевес уже вбегает толпа матросов - они думают, что это сигнал, что "начинается"... Их едва успевают удержать и объяснить недоразумение. Иначе они начали бы "работу" - с левых эсеров...

Но вот и левые эсеры принимают свое решение. Перед самым переходом к вопросу о земле они посылают на трибуну И. З. Штейнберга с декларацией о несолидарности их с нами и об уходе из Учредительного Собрания. Он тщетно пытается "цветами красноречия" прикрыть капитуляцию перед большевиками.

Так, с бесчисленными перерывами, мы добираемся до вопросов о земле и форме правления. Уже брезжит в окно предчувствием рассвета горизонт неба. Мы остаемся одни, лицом к лицу с вооруженным скопищем людей, не понимающих, чего еще их заставляют ждать.

Мы знаем: большевики совещаются, решают нашу участь.

365 Совещаются и левые эсеры. Но нам нужно договорить свое "последнее слово". Я заявляю о переходе к следующему пункту порядка дня: о земле. В это время кто-то сбоку трогает меня за рукав, - "так что надо кончать - есть такое распоряжение народного комиссара"...

Я оглядываюсь: бритый матрос, за ним - его товарищи. "Какого народного комиссара?" - "Распоряжение. Словом, тут оставаться больше нельзя. Караул устал. И сейчас будет потушено электричество".

"Члены Учредительного Собрания тоже устали, но не могут отдыхать, пока не выпол-

нили возложенного на них народом поручения: решить вопрос о мире, земле и государственном устройстве".

И, не давая страже времени опомниться, я перехожу к оглашению главных пунктов "основного закона о земле". О докладах, о длинных речах, о дебатах больше нечего и думать: с кем дебатировать? Мы остались одни. Нужны не разглагольствования, а решения. По моему предложению Учредительное Собрание голосует. Шесть основных пунктов давно выработанной нашей фракцией новой земельной конституции приняты. Все земельные угодья государства обращены безвозмездно во всенародное достояние на началах равенства общегражданских прав в деле их трудового использования...

Под аккомпанемент продолжительных криков: "Пора кончать! Довольно! Очистить здание! Сейчас гасим электричество!" - решается судьба остальных пунктов законопроекта о земле, детализирующих применение общих принципов в разных сферах землевладения и землепользования. Их разработка поручена комиссии из представителей всех фракций, на партийной основе.

На случай, если погаснет электричество, спешим запастись свечами. Кому-то удастся, несмотря на ночь, раздобыть их немного. Еще надо успеть во что бы то ни стало решить вопрос о форме правления: иначе большевики завтра же не постесняются объявить, что "учредитовцы" оставили открытой дверь для возврата монархии. Удастся благополучно справиться и с этим вопросом. Провозглашена федеративная связь отдельных народов демократической республики с сохранением за ними их национального суверенитета.

Всё это - под аккомпанемент вызывающих восклицаний 366 вооруженной стражи, у которой чешутся руки. По заранее принятому решению наша фракция не поддается ни на какие провокации и не входит ни в какие пререкания. Молчать и довести до конца свое дело.

Из окон глядит туманное, сумрачное утро. Я объявляю перерыв заседания - до 12 часов дня.

Перед выходом ко мне протискивается какой-то бледный, уже немолодой человек. Прерывистым голосом он умоляет меня не вздумать пользоваться моим автомобилем. Там меня поджидает кучка убийц. Он, сообщающий это, сам большевик, член партии. Но его совесть не мирится с этим...

Я с несколькими окружившими меня товарищами выхожу из двери. В сторонке, где ожидает мой автомобиль, толпятся неподалеку от него люди в матросской форме. Наше пешее передвижение надежнее автомобильного, и мы направляемся в другую сторону, мимо. Когда я пришел домой, это был сюрприз. Город уже был полон вестью, что с Учредительным Собранием кончено, а Чернов и Церетели убиты.

В двенадцать часов дня посланные на разведку члены Учредительного Собрания приносят весть, что двери Таврического Дворца запечатаны и охраняются стражей с пулеметами и двумя полевыми орудиями. Позднее появляется декрет Совнаркома о нашем "упразднении". Вышедшие номера газет с отчетами о заседании Учредительного Собрания отбираются представителями власти, рвутся в клочки, сжигаются на площадях и углах улиц...

Через несколько дней петербургский пролетариат небывалой по грандиозности демонстрацией проводил гробы убитых рабочих на то же кладбище, где покоились жертвы расстрела рабочего шествия к царю 1905 года. Тот расстрел происходил в памятный день девятого января. И тот же день, день тринадцатой годовщины царской кровавой бойни символически выбран был петербургским пролетариатом для погребения жертв первого большевистского расстрела рабочих. Какая, полная глубокого смысла, политическая символика!..

После разгона Учредительного Собрания. - Восстание на Волге. Чехословацкий легион. - Фронт Учредительного Собрания. - Уфимское Совещание и образование Директории. - Переезд Директории в Омск и переворот адмирала Колчака, - Второй разгон Учредительного Собрания.

Когда, после затянувшегося на всю ночь, до утра, первого заседания Учредительного Собрания Совет Народных Комиссаров объявил о его роспуске и здание Таврического Дворца было занято вооруженной силой с пулеметами и легкой артиллерией, - в эсеровской фракции Учредительного Собрания не оказалось должного единодушия. Группа членов Учредительного Собрания, включая и автора этих строк, предлагала воспользоваться переданным через члена партии А. Высоцкого приглашением рабочих огромного Семянниковского завода и перенести дальнейшие заседания Учредительного Собрания в его стены, демонстративно заявив, что Учредительное Собрание не признает за Совнаркомом права роспуска и отдает себя под защиту пролетарского Петрограда.

Предложение это, однако, было отвергнуто. Одни из его противников указывали на то, что в Неву из Кронштадта введена и поставлена вблизи этого завода канонерская лодка, и перенесение Учредительного Собрания на Семянниковский завод кончится лишь его обстрелом и большим числом бесполезных жертв; а Учредительное Собрание не вправе подводить рабочих под расстрел, если у него нет средств их защиты. Другие находили, что если даже большевики и не решатся на бомбардировку завода, то положение в его стенах Учредительного Собрания, за решениями которого нет силы, 368 способной проводить их в жизнь, окажется бесславным: Учредительное Собрание окажется простой "говорильней". Большевики будут его игнорировать и, сохраняя свою власть в городе, не допустят даже никаких газетных отчетов о "незаконных заседаниях" распущенного собрания; и ему придется волей-неволей угаснуть в такой, лишенной всякого резонанса, атмосфере, что после этого оно уже не воскреснет.

Эти аргументы не убедили вносящих предложение, но подействовали на большинство. Мысль о Собрании в стенах большого завода была отвергнута. А между тем, настроение рабочих кварталов было для него действительно на редкость благоприятно.

Это было доказано состоявшейся 9-го января грандиозной процессией при похоронах жертв большевистских расстрелов в день открытия Учредительного Собрания. Она превратилась в массовую демонстрацию гигантских размеров, напоминавшую о первых демонстрациях "медового месяца" февральской революции. Перед несчетным числом участников траурного шествия не устояли даже большевистские отряды, по началу как будто готовые продолжить дело своих предшественников. Этот благоприятный момент был упущен.

Результатом всего происшедшего было то, что Ц. К. партии социалистов-революционеров вынужден был вскоре эвакуироваться в Москву. Но так как большевистский угар в Москве был не меньше Петроградского, а отрезвление от него шло даже еще медленнее, то во фракции Учредительного Собрания вскоре стало пользоваться почти всеобщим признанием убеждение, что в столицах дело Учредительного Собрания пока нужно считать проигранным; остается искать где-то еще на территориях России места, которое бы пригласило Учредительное Собрание к себе и оказало ему защиту.

Одно такое приглашение, однако, пришлось отвергнуть; то было предложение Донского казачьего круга с Калединым во главе. Керенский также в свое время вел очень серьезные

переговоры с казачьими кругами, но должен был их порвать. Несколько позднее стало известно, что верхи казачества преследовали при этом свои тайные цели и планы, рассчитывая воспользоваться Керенским, как демократическим прикрытием. Была перехвачена и опубликована часть ленты 369 переговоров по прямому проводу людей Петроградского Всеказачьего Центрального Совета с фронтовыми представителями казачества; этим последним рекомендовалось из казачьего центра быть с Керенским осторожнее, но воспользоваться им, как "наживкой для ловли известного рода рыбы".

Не иную цель имели руководящие казачьи круги, предлагая свое гостеприимство на Дону и Учредительному Собранию. Пойти на такую двусмысленную роль члены Учредительного Собрания, разумеется, не могли. Центральный Комитет Партии Социалистов-Революционеров отправил эмиссаров на Украину для обследования, не следует ли переехать на ее территорию, вступив в боевой союз с представителями украинского федерализма. Однако, оказалось, что Украина стоит накануне германской оккупации, что при резком конфликте с московским большевизмом она ищет выхода в сепаратном мире с центральными империями, в отдельном сговоре с ними, в ориентации на вооруженную германскую помощь против большевиков. При таких условиях сговор с украинскими "самостийниками" оказывался для Учредительного Собрания невозможным. Последовательно отвергнув столицы, Дон и Украину, как исходные пункты борьбы за Учредительное Собрание, приходилось обратить свои взоры на север и восток.

Так, естественно, и стала складываться идея о переселении Учредительного Собрания в Урало-Волжский район. Дальнейшие события только укрепили эту новую "ориентацию". Кризис переговоров Совнаркома с немцами, попытка задержаться на переходном положении "ни мир, ни война", германское наступление на Петроград, капитуляция Совнаркома, постыдный мир, распад коалиционного Совнаркома и выход из него "левых эсеров", разлад в рядах самой большевистской партии - все эти события укрепляли в с.-р. рядах непримиримую оппозицию большевистской диктатуре и готовность при первой возможности поднять против нее знамя восстания.

Но, рассматривая Совнарком после Брестского мира и водворения в Москве графа Мирбаха почти как немецкую экспозитуру, защитники Учредительного Собрания предполагали, что рано или поздно восстание против большевиков натолкнется на вооруженные немецкие силы и поведет к восстановлению Восточного фронта мировой войны. А рассматривая эту 370 проблему с чисто-стратегической точки зрения, приходилось считаться с возможностью распространения немецкой оккупации на центральную Россию, что делало естественной операционной базой против них Поволжье. То же самое Поволжье предугадывалось партии социалистов-революционеров и тем обстоятельством, что с Поволжья началось и в Поволжье с давних пор пользовалась наибольшим успехом партийная работа в крестьянстве; в Поволжье одна губерния за другой давала при выборах в Учредительное Собрание полную победу эсеровским спискам, часто отдавая партии 80 и более % голосов; наконец, в Поволжье прежде всего началась в крестьянской среде психологическая реакция против занесенного в деревню выходцами с фронта увлечения большевизмом, что привело к первым противобольшевистским восстаниям.

Наконец, в борьбе Учредительного Собрания с Совнаркомом надо было быть готовым и к победе в этой борьбе, как бы ни казались слабы шансы на победу. В этом случае Учредительному Собранию и поставленному им правительству пришлось бы иметь дело с сокрушительным натиском немцев в направлении Петрограда, а, быть может, даже и Москвы.

Как быть?

Этот вопрос решался так. Ясно, что судьбы мировой войны отныне могут быть решены только на западном фронте. Значение восточного фронта при этом только одно: содействовать успеху западного фронта, притягивая на себя возможно большую часть сил центральных империй. В этом отношении Россия обладает огромными возможностями: поглощения военных сил противника своими неизмеримыми пространствами. Надо вооружиться железной моральной броней и не бояться отступления как угодно далеко, - так далеко, как это требуется для восстановления равновесия сил на фронте. Уходя вперед, германцы должны будут увеличивать размеры своей оккупационной армии, которая неминуемо подвергнется разложению и революционной заразе. При ограниченности их людских ресурсов, рано или поздно им придется ощутить, что чем больше их успехи, тем больше будут и их последующие неудачи.

Поэтому пусть базой восстановления восточного фронта 371 станет Урал и Поволжье; пусть там возродится будущая боеспособная армия революции; пусть старая армия распылится и от нее останутся только лучшие части, наскоро переформированные на добровольческих началах: пусть их задачей, а также задачей партизанов в тылу, будет только замедлять движение вперед завоевателя и наносить ему возможно больше ущерба, совершенно не задаваясь задачей ввязаться в генеральный бой с целью остановить его. Рано или поздно, после ударов на западном фронте, волны неприятельского нашествия повернут назад и покатаются с той же быстротой, с какой шел их прилив. Надо лишь вооружиться терпением и мужеством: они будут вознаграждены сторицею.

В направлении этих руководящих идей шла и разработка организационно-военных вопросов специалистами. Впоследствии законченный результат этих работ вылился в известном докладе полк. Махина о восстановлении восточного противогерманского фронта, представленном им Самарскому "Комучу" (Комитету членов Учредительного Собрания).

Среди кадетов по этому вопросу господствовала величайшая разногласия. Особенно характерно то, что вопрос об интервенции для кадетов стоял прежде всего в плоскости вопроса о допустимости или недопустимости интервенции в войне гражданской, в борьбе с большевиками.

Перед партией с.-р. этот вопрос во всем объеме встал на 8-ом Совете партии. Считая и вероятным и желательным восстановление восточного фронта, партия понимала, что без военно-технической и материальной помощи союзников не обойтись... И так же хорошо понимала, что чем слабее и дезорганизованнее страна, тем труднее задача: ибо чем необходимее чужеземная помощь, тем шире должны быть размеры этой помощи, но тем больше соблазна для союзников не только помогать, но и опекают, под тем предлогом, что помощь окажет свое действие лишь при установлении нормального внутреннего порядка, без которого оно будет парализовано...

Вот почему решения 8-го Совета нашей партии резко подчеркивали, что тот вид помощи, который более всего чреват опасностью вмешательства - появление на русской территории иностранных вооруженных сил - приемлем лишь 372 при следующих условиях:

1. с согласия уже установившегося и предварительно признанного союзниками народно-революционного правительства,
2. после предварительного торжественного заявления, что появление на русской территории иностранных войск не может послужить поводом к явным или замаскированным земельным захватам за счет России и

3. лишь на условиях, аналогичных тем, на которых в свое время русские войска действовали на западном и салоницком фронтах (подчинение общему командованию и абсолютное невмешательство в политическую жизнь страны).

Отсюда, прежде всего, вытекало, что иностранные войска не должны принимать участия в собственно-гражданской войне. Восстание, освобождение от большевистского режима должно произойти силами самого русского народа - и только его. Непосредственно драться с большевиками иностранные войска могут лишь с того момента, когда фактически будет возобновлен русско-германский фронт и большевистские воинские части на этом фронте будут боевыми союзниками германских войск. Отсюда следовало, далее, что с момента прекращения мировой войны или выхода из нее Германии никакого места для военно-технической "интервенции", даже для простого присутствия иностранных вооруженных сил на русской территории быть не может.

Без внешних союзников должен быть свергнут большевистский режим и установлена новая власть. Лишь к борьбе с союзными германо-большевистскими силами допустимо на определенных условиях привлечение вооруженных сил Антанты. С момента выхода Германии из войны участием этих сил должен быть положен конец. Такова была позиция партии.

Когда голосовалась резолюция в этом смысле, один из членов Совета (Каллистов) предложил дополнить ее заявлением, что в рядах партии нет течения, которое бы в деле освобождения России от большевистского гнета рассчитывало на какие-либо иные силы, кроме сил самого русского народа. Предложение было принято единогласно.

Чехословаки ни во что не желали вмешиваться и хотели лишь, чтобы их оставили в покое и выпустили из пределов России, после октябрьского переворота из приемной матери 373 превратившейся для них в злую мачеху. Их задержали, их силой хотели разоружить, им грозили, на них напали. И лишь после этого они подняли оружие и побратались с теми, кто пришел к ним на помощь.

К этому времени произошли два крупных события. Вспыхнуло восстание фронтовиков в Саратове, отдавшее на время в их руки город, и большевистская власть была изгнана уральскими казаками. Средневожские губернии, в которых влияние ПСР было особенно сильно, глухо волновались; в чисто заводском ижевско-воткинском районе дело также шло к свержению рабочими большевистской власти. В этих условиях в июне 1918 г. Поволжский Областной Комитет ПСР заключил с уральским казачьим войском союз для ликвидации большевистской диктатуры и провозглашения власти Учредительного Собрания в Поволжье и Приуралье. Центральный Комитет, принимая во внимание, что искони вольнолюбивое Уральское казачество, исторически оппозиционное, сохранившее традиции пугачевского движения, не представляет опасности в смысле монархической реставрации, - этот союзный договор утвердил.

В то же время, получив известие о предъявлении графом Мирбахом Совнаркому требования о разоружении и репатриации в Австро-Венгрию личного состава чехословацких легионов и предвидя их отчаянное сопротивление, Ц. К. вошел с ними в сношения, предупредил о надвигающейся на них грозе и предложил им сконцентрироваться по возможности в районе Пенза-Челябинск, где они могут рассчитывать на поддержку зреющего сильного народного противобольшевистского движения. Национал-революционная, социалистически окрашенная психология легионерской массы, казалось, гарантировала их прочный союз со сторонниками Учредительного Собрания.

Для возглавления движения началась переброска в эти районы партийных сил. Туда же

(в Самару) предполагался заранее переезд и председателя Учредительного Собрания.

Но в последний момент, введенный в заблуждение ошибочной информацией с мест, Ц. К. изменил мой маршрут, и я оказался в Саратове, который предполагалось вскоре занять наступающей Народной армией восставшей территории. И 374 всё развитие военных действий, и организация власти на освобожденной территории пошли непредвиденными путями. Мне пришлось сделать несколько рискованных попыток перебраться из оставшегося в стороне от военных действий Саратова через фронт. Когда это мне, наконец, удалось, вопрос об организации власти на территории от Волги до Тихого океана оказался уже разрешенным на т. н. Уфимском Совещании (сентябрь 1918 г.) путем сложного компромисса, создавшего для демократии вообще и для нашей партии в особенности необыкновенно трудное и запутанное положение.

К этому времени на территории Учредительного Собрания был уже налицо кворум Центрального Комитета партии (установленный после его выборов на 4-ом съезде в 8 человек). На лицо находились Чернов, Ракитников, Зензинов, Федорович, Чайкин, Гендельман, Веденяпин, Раков, Буревой, Н. Н. Иванов, Герценштейн.

Собравшийся сначала в Самаре, а затем закончивший свои прения, после эвакуации Самары, уже в Уфе, Центральный Комитет должен был прежде всего произвести оценку результатов Уфимского Государственного Совещания. В этом вопросе с самого начала выдвинулись две противоположные точки зрения. Одну из них представлял М. Я. Гендельман, главный руководитель социалистов-революционеров в работах согласительной комиссии Уфимского Совещания. Другую точку зрения защищал я.

На взгляд М. Гендельмана, окончательный итог Уфимского Совещания следует оценивать, как победу, одержанную, вопреки необычайно трудным обстоятельствам, партией социалистов-революционеров. Кроме нее и мусульманского блока, все остальные группировки Уфимского Совещания ничего знать не хотели об Учредительном Собрании, избранном в конце 1917 года, считая его состав односторонне-партийным и указывая, что из него вышли большевики и левые эсеры, чем оно сделалось неполным; признать большевиков и левых эсеров членами Учредительного Собрания невозможно, ибо они занесли руку на него; не признать же их - значит упразднить Учредительное Собрание в его прежнем виде.

Представителям партии - продолжал Гендельман - удалось отстоять Учредительное Собрание в его современном составе. 375 Принятое на Совещании решение, что, в случае наличности половины плюс один членов Учредительного Собрания за вычетом большевиков и левых эсеров, оно может быть открыто 1-го января 1919 года, - а, в случае недобора членов, при кворуме в одну треть того же состава, 1-го февраля, - есть не только принципиальный, а и весьма важный практический успех.

Не менее важным практическим успехом является и то, что и до этого, начиная с нынешнего своего состава, Съезд Членов Учредительного Собрания признан учреждением государственным, и в его компетенции принимать все меры, необходимые для подготовки будущей работы Учредительного Собрания и для обеспечения прибытия наибольшего количества его членов; как учреждению государственному, ему обеспечено де юре содействие всех органов власти на освобожденной территории.

Что касается личного состава избранной Уфимским Совещанием Директории, то, какого бы мнения о нем ни держаться в других отношениях, - в смысле лояльного соблюдения этих постановлений об Учредительном Собрании на данный состав Директории положиться можно, и партия в ней представлена двумя членами.

Большого не только добиться, но даже и добиваться было нельзя. По совести приходится при этом признать, что нынешнее Учредительное Собрание избиралось при совершенно особенных и, конечно, ненормальных условиях; а, главное, со времени выборов произошло столько событий, пережито странною так много, что новый опрос избирателей напрашивается сам собой; вот почему эсеры на Уфимском Совещании согласились с тем, что нынешнее Учредительное Собрание должно ограничиться лишь самыми необходимыми функциями - выслушать отчет Директории, санкционировать программу мер для освобождения остальной России и установить порядок выборов нового состава депутатов.

Этим вполне обеспечен нормальный переход к полному народовластию: созыв постоянно действующего представительного учреждения остается в надежных руках, в руках избранных всеобщего голосования. Эсерам на совещании - добавлял Гендельман - удалось разбить все доводы врагов нынешнего Учредительного Собрания. Не признать прав современного Учредительного Собрания - значит косвенно санкционировать роспуск его большевиками. Против этих аргументов наши противники, утверждал Гендельман, 376 были бессильны и вынуждены были капитулировать. Вот почему итог Уфимского Совещания надо признать победою партии, хотя за эту победу и пришлось заплатить некоторыми уступками в других вопросах.

В противоположность этой оптимистической оценке итогов Уфимского совещания я доказывал, что оно было тяжелым поражением демократии в лице Партии Социалистов-Революционеров и что им создано положение не только полное опасностей, но и прямо ведущее партию и демократию к неминуемому падению.

Принцип Учредительного Собрания не спасен, а сдан без борьбы. После Уфимского совещания не может быть и речи о том "полновластном Учредительном Собрании", которое партия всегда защищала. Только само Учредительное Собрание, имеющее выбранный им президиум, может назначить время и место своего собрания и, собравшись, выработать свой регламент, установить кворум и т. д.

Теперь это за него решило Уфимское Совещание, состоявшее из "делегатов", то выбранных, то назначенных от самых пестрых группировок, порою чрезвычайно сомнительных. Даже о какой-нибудь относительной демократичности этого совещания не может быть и речи. И вот, оно поставлено де-факто выше Учредительного Собрания, за ним признано право предрешить, когда Учредительному Собранию быть и когда не быть, каков его законный состав, каков его кворум и т. д.

Этим создан прецедент. В любой момент другое, подобное Уфимскому, случайно и произвольно подобранное собрание сможет перерешить всё это, и правовая основа для принципиального протеста против этого нами заранее потеряна. Еще хуже то, что Уфимскому Совещанию дано было предопределить компетенцию Учредительного Собрания, круг вопросов, за пределы которого оно идти не может. Полновластного Учредительного Собрания нет более. Признание съезда членов Учредительного Собрания "государственным установлением" есть клочок бумаги. Вопреки мнению, будто состав Директории обеспечивает признание и поддержку его съезда, мы видим, что выработанный съездом устав, на основе которого он работает, до сих пор Директорией не опубликован и тем самым съезд повис в воздухе, не имея официального значения. Состав Директории 377 ничего не гарантирует, а существо ее власти антидемократично. Это власть безответственная. На много месяцев она никому не обязана давать отчета. Это пятиглавый диктатор. Кому же вручена диктаторская власть?

Не трудно было установить, кто победил на Уфимском Совещании: это так называемый Союз Возрождения. Из пяти членов Директории четыре: Астров, ген. Болдырев, Чайковский и Авксентьев являются членами этого союза; пятый, Вологодский, еще правее его (Не участвовавшие на Уфимском Совещании Астров, Вологодский и Чайковский избраны были заочно. Временно, до вступления их в должность, на Совещании были избраны для замещения Астрова - В. А. Виноградов, Вологодского - В. В. Сапожников и Чайковского - В. М. Зензинов. Фактический состав избранного на Уфимском Совещании правительства был: Авксентьев, ген. Болдырев, Виноградов, Сапожников и Зензинов.).

Никого не представляющее персональное объединение спевшихся деятелей разных партий победило самую большую, самую массовую партию современной России. Директория будет простой ширмой, за которой будут прятаться до поры до времени ликвидаторы демократии - военщина, атаманщина, карьеристы и испуганные, откинутые большевистским переворотом в лагерь крайней реакции, мелкие политиканы. Пока безвластный съезд членов Учредительного Собрания будет готовить съезд законного, но полувластного его кворума, фактическая власть и реальная сила будут захвачены, при попустительстве пестрой и бесхарактерной крешающей вправо Директории, самыми настоящими врагами демократии. При таких условиях никогда Учредительное Собрание созвано не будет, а если, вопреки всему, попытается собраться, то будет разогнано не хуже, чем при большевиках.

Прения развернулись. Гендельман продолжал доказывать, что признание всеми в принципе необходимости собрать Учредительное Собрание теперешнего состава имеет большое моральное значение и должно быть зачислено в политический актив Уфимского Совещания: он признал вместе с тем, что практически положение, конечно, остается чрезвычайно опасным, но это результат сложившегося после эвакуации 378 цитадели Учредительного Собрания, Самары, неблагоприятного соотношения сил; большего в данных условиях нельзя было достигнуть: без единого правительства освобожденных территорий существовать далее было невозможно; врагов демократии, действовавших пораженчески, надо было обезоружить, а это можно было сделать, только пойдя на уступки.

У эсеровской фракции Уфимского Совещания иного выхода не было. Она должна была действовать так, как действовала. Директория была единственным спасением против еще большей опасности: военной диктатуры, образ которой уже маячил в тумане грядущего. Русские якобинцы, большевики, нанесли демократии решительный, почти смертельный удар; неудивительно, что спастись остается лишь ее остатки.

Вместе с тем была сделана попытка доказать, что условия гражданской войны, разделившие членов Учредительного Собрания внутренними фронтами, в сущности, почти не дают возможности собрать Учредительное Собрание действительно в полном виде, а осколку Учредительного Собрания трудно отстоять и добиться для себя полноты власти целого учреждения.

Наша группа отвечала на этот последний аргумент тем, что практически было бы достаточно созвать членов Учредительного Собрания освобожденных территорий, ибо фактически представительное учреждение будет управлять людьми и ресурсами не всей России, а лишь этой освобожденной территории.

И "Временное Правительство" лучше было бы назвать "правительством освобожденной территории": имя "Всероссийского" не увеличивает его престижа. Основная идея восстания и была - изгонять повсюду захватчиков власти, большевистских диктаторов, и образовать новую местную власть вокруг всенародных избранных. Местные комитеты членов Учре-

дительного Собрания, объединенные между собой, избравшие центральную власть, ответственную перед своими избирателями, составляющими вместе Учредительное Собрание освобожденной местности, такова государственная форма, которая может обеспечить подлинную и неразрывную связь с массами.

Если встать на такую точку зрения, то даже спор об Учредительном Собрании теперешнего или нового состава теряет свою остроту. Если завтра же будут назначены новые 379 выборы в местное Учредительное Собрание Приамурья и Сибири, и Директория согласится признать себя перед ними ответственной, то мы защищать права старых депутатов не будем. Мы их защищаем не потому, что боимся выпустить из рук раз завоеванные мандаты; а потому, что непризнание прежнего Учредительного Собрания неизменно соединяется с утверждением, что сейчас новых выборов из-за гражданской войны производить ни в коем случае нельзя и сводится на деле, практически, просто к желанию управлять страной самодержавно и без Учредительного Собрания и вообще без всякого народного представительства; иными словами, против левой, красной диктатуры, воздвигнуть такую же деспотическую, но только правую, белую диктатуру.

В их борьбе между собой Партия Социалистов-революционеров не может стать ни на ту, ни на другую сторону; если она сумеет сыграть историческую роль, то лишь выступив, как третья сила и поведя решительную борьбу за демократию на два фронта. Без решимости на это партия может только бесславно капитулировать перед одной из диктатур и свести себя на нет: диктатура ее использует и выбросит за борт, как выжатый лимон.

Не лишая Директорию полноты партийной поддержки, Центральный Комитет счел нужным в то же самое время стремиться к выпрямлению линии ее поведения. Обещая Директории поддержку, партия не отказалась от своего права критики.

Для судеб Директории в значительной степени решающим являлся уже самый выбор места резиденции: по ту или по ю сторону Уральского хребта? Европейская сторона была ближе к фронту; она вовлекла бы правительство в самое непосредственное соприкосновение с трудами и заботами Народной армии. Здесь было четыре центра: Самара, самый авангардный и самый радикальный по традициям; Екатеринбург, по настроению скорее кадетско-буржуазный; Уфа, неопределенный; и Челябинск, город без окраски, резиденция чехословацкого Национального Совета.

Левые с самого начала требовали избрать в качестве резиденции Самару, что предполагало определенную политику: защиту этого пункта во что бы то ни стало, сбор всех военных сил тыла для наступательной стратегии из этого опорного пункта в сторону Саратовской, Тамбовской, Пензенской губ. с перспективой направления 380 удара по линии Рязань-Москва; это означало - пополнение военных кадров за счет крестьянства средне-волжских губерний, где как раз в это время продрозверстка, реквизиции, набор в Красную армию и учреждение "комбедов" подымало широкую волну местных восстаний.

Ни на такую энергичную политику в тылу, ни на героическую попытку наступления на фронте Директория - увы! - не была способна. Форсированная попытка героического наступления на фронте означала бы ставку не на регулярные военные силы, собранные и обученные глубоко в "тылу" военных действий, а на то, что организованные ударные воинские части, прорываясь на территорию противника, должны играть роль снежного кома, неудержимо растущего за счет подымающегося населения находившихся под большевистским гнетом районов.

Эта война с большевиками была бы войной-восстанием, она требовала боевых лозун-

гов, популярных в народной массе; одним из главных технических средств такой войны была бы пропаганда, взрыв противника изнутри; это означало широчайшую защиту принципов демократии, их противопоставление принципам диктатуры, защиту рабочего от крепостной большевистской милитаризации труда, защиту крестьянства от поборов, от продразверстки, защиту земельной реформы от ее превращения в большевистскую чиновничью "национализацию" с единственным собственником-государством и с крестьянством в качестве не то арендатора, не то приказчика государства на "казенной" земле.

Этот, по мнению нашей группы, единственный путь к победе над большевиками претил элементам, блок которых одержал победу над эсерами на Уфимском Совещании.

Собиравшийся вокруг них старый генералитет царского времени и позднейшего Корниловского окружения ни к какой "войне-восстанию" способен не был. Он представлял себе гражданскую войну по аналогии с войною внешнею: правильно организованный тыл, коммуникации, сплошной фронт. Что гражданская война на три четверти решается постановкой политической пропаганды и в своих собственных рядах (поднятие энтузиазма и веры в свое социально-политическое знамя) и в рядах противника (подрыв веры в справедливость дела, за которое борется армия противника, популяризация 381 в населении освободительной миссии наступающей на его территорию военной силы), было для него китайской грамотой. Старый генералитет никак не мог отрешиться от старой, в условиях гражданской войны более чем нелепой догмы "армии вне политики", которая означала: политику делает командный состав, солдаты воспитаны в дисциплине старого типа "не рассуждать, а повиноваться".

Война-восстание, начатое в Самаре, в фабрично-заводском Ижевско-Воткинском районе, на землях свободолюбивого староверческого уральского войска и заволжского крестьянства, была использована сибирским генералитетом в качестве завесы, за которой они, не торопясь, создавали путем рекрутских наборов новую вышколенную армию старого образца. Единственная смелая наступательная попытка полк. Махина в сторону Саратовской губ., исконного центра аграрных движений, была обессилена тем, что назначенные для его усиления воинские части были самовольно захвачены В. И. Лебедевым и Степановым для улыбавшейся им скороспело задуманной военной авантюры.

Эти люди, правда, выгодно отличались от старого генералитета большим пониманием природы гражданской войны, законным пренебрежением к догмам правильного фронта, наступательным прорывом; но притянутые магнитом золотого запаса, эвакуированного большевиками в Казань, и подбодренные случайным перевесом в речных судах, они сочли кружной путь по изгибам Волги - через Симбирск, Казань и Нижний Новгород - тем путем, который скорее всего приведет их к Москве. Их движению суждено было захлебнуться в относительно спокойных губерниях Верхнего Поволжья, а овладение ими в Казани золотым запасом и его переброска на восток, где к нему с вожделием устремились завистливые взоры всех ненавидевших "учредиловку" элементов, поглотили всё внимание людей и создали иллюзию удара по самому чувствительному месту большевистской власти.

Директория была для "учредиловцев" - последней попыткой спасти дело демократии уступками его врагам справа. Они надеялись, что Директория овладеет всеми ресурсами освобожденных территорий и двинет их в новом порыве под освободительными демократическими лозунгами. Их враги, 382 наоборот, видели в Директории средство ликвидировать "учредиловскую" эпоху безболезненно, без вооруженного столкновения; Директория была для них полустанком на пути к военной диктатуре.

Мне не везло: я смог перебраться на освобожденную от большевиков территорию лишь

к "шапочному разбору" и быть свидетелем лишь заключительных актов этой трагедии. Я видел представителей рабочих Ижевских и Боткинских заводов; они рассказывали мне, как собственными силами свергли большевистских комиссаров, разоружили красногвардейцев и восстановили свое собственное свободное народное самоуправление. Я слышал из их уст скорбную повесть о долгой многомесячной героической самозащите, когда, при всяком осложнении на фронте, в Ижевске и Воткинске били в набат и рабочие бросали свои станки, бежали домой за винтовками и поголовно двигались на фронт, чтобы, отразив большевиков, опять вернуться к работе.

Я видел на Вольско-Хвалынском фронте крестьян-добровольцев Самарской и Саратовской губернии, которые начали борьбу с большевиками чуть не голыми руками; это была горсть людей, которые, под командой с.-ра полковника Махина начали борьбу с одной жалкой пушкой, с разнокалиберными винтовками, почти без патронов; но я уже застал их довольно сносно экипированными и вооруженными из захваченных большевистских обозов, не боящимся атаковать вчетверо сильнеею неприятеля и гордыми своей военной добычей - двадцатью семью орудиями, отнятыми у большевиков и обращенными против них же.

Я был свидетелем злосчастного финала борьбы - когда этих, дравшихся, как львы, бывших фронтовиков, восторжествовавшие реакционеры перебросили, безопасности ради, из родных мест, в которых они каждую пядь земли готовы были орошать своею кровью, - в чуждые, дикие пустыни Средней Азии, где палящий зной и бездушность Дутовского казачьего режима медленно, но верно иссушили их усталые сердца. Я видел забитых башкир Уфимских и Оренбургских степей, увидевших зарю новой жизни с воскресением власти Учредительного Собрания, немедленно даровавшей им широчайшую автономию, почувствовавших себя людьми, воскресших и безропотно готовых умирать массами, не попятившись ни на шаг, на фронте под напором гораздо более сильного и вооружением и 383 численностью противника.

И я видел тех же башкир в конце, оставшихся без патронов, без пулеметов, вооруженных наполовину берданками, угрожаемых с фронта Красной армией, а с тыла - карательными отрядами Колчака и Дутова, которые, само собой разумеется, "инородцам" не доверяли, собирались арестовать их местное правительство, разоружить непокорных, а остальных обратить в "пушечное мясо" на службе военной диктатуры... Я видел этих башкир, вынужденных просить у большевиков мира, идти на союз с ними и принять "условия примирения", продиктованные победителями...

Как всё это произошло? Как в какие-нибудь несколько месяцев всё так перевернулось? Как после первых блестящих успехов, когда Народная армия одерживала над большевиками победу за победой, брала город за городом произошло это разложение, и заря новой жизни сменилась сумрачным закатом?

Люди "непартийные", интеллигентская "публика" часто недоумевали. Они часто даже и не знали и не представляли себе, чем была наша "Народная армия". Наш фронт был для них не "фронтом Учредительного Собрания", близким родным и знакомым, а каким-то чужим и непонятным "чехословацким фронтом". Что это за "чехословаки", откуда они взялись, чего хотели? Их склонны были считать какими-то преторьянцами, наемниками на службе у Антанты.

Я помню живо этих чехословаков, многострадальных скитальцев, по происхождению большею частью пролетариев крупной индустрии северных округов Австрии, загнанных волею Габсбургов в самое пекло мировой войны.

Они вырвались из клещей австрийского командования, они, проникнувшись революционно-национальной идеей, обратили свое оружие против угнетателей.: в качестве добровольческих частей, едва терпимых подозрительным самодержавием, они пытались вместе с русскими войсками проложить себе оружием дорогу к дорогой сердцу ждущей освобождения родине; они вместе с нами, русскими, пережили медовый месяц свободы, испытав всё подымающее действие русской революции.

А затем... затем вдруг они очутились среди потрясенного октябрьскими событиями фронта, среди общего бегства, угрожаемые лавиной 384 немецкой оккупации; им пришлось опять оружием пробивать себе дорогу, с роковым сознанием, что угодить в руки врагов для них значит попасть не в плен, а под расстрел, в качестве государственных изменников.

Затем - своеобразный, чисто ксенофонтовский план передвижения через обширную Сибирь и океан на противогерманский фронт с другого конца мира, - на полях сражения бельгийской Фландрии или Итальянского Тироля...

Затем - под давлением Мирбаха, попытка Троцкого разоружить их, с угрозой, в случае сопротивления, выдачи австрийским властям; затем - восстание, братанье с рабочими и крестьянами Самары, Уфы, Екатеринбургa, новый революционный подъем, новая эра блестящих успехов. И тех же самых чехословаков, среди которых, как показал съезд их Совета Солдатских Депутатов, было более чем 75% социалистов, - я видел сбитыми с толку, усталыми, разочарованными...

Их высшее командование, подвергнутое умелой тактике "обволакивания" со стороны русских монархических генералов и в соответствии с их видами инспирируемые агентами Антанты, готово было служить попустителям и даже пособникам реакционных диктаторов и социально-политических реставраторов.

"Низы" же смутно подозревали что-то, волновались безотчетным, беспредметным недовольством, теряли веру в дело, за которое им приказано бороться, хотели бежать от него и сохраняли мертвое подчинение лишь потому, что "свыше" им было сказано: "от вашего послушания здесь зависит судьба нарождающейся свободной независимой Чехословакии"...

"Ставка на доверие" - так можно было характеризовать политику нового, демократического правительства освобожденной территории. Стоило ему высоко поднять антибольшевистское знамя - как под него стали стекаться все, кому большевизм отравил, испортил жизнь. Особенно - офицерство. И это было так естественно.

Офицерство всё, целиком, сплошь было взято под подозрение, было почти что поставлено вне закона большевизмом "первого призыва", демагогическим, охлократическим большевизмом первых месяцев послеоктябрьской революции. Это было нелепо, ибо в массе своей офицерство того времени вовсе не было прежним, кастовым офицерством времен самодержавия. В том офицерстве война давно проделала огромные бреши, а колоссальное 385 разрастание армии заставило влиться в эти бреши целую волну разночинно-демократического элемента.

Жестоко и злостно третируемые солдатами, сделанные козлами отпущения за чужую вину, огульно и несправедливо преследуемые новой властью, оскорбленные и униженные, все эти строевые офицеры стремились в Самару, с жадной реванша в душе. Новое правительство принимало их с распростертыми объятиями. Атмосфера полного доверия со стороны демократического правительства, предполагалось, заставит размягчить сердца, духовно выпрямит и обновит гонимых в Советской России офицеров, возродит в них демократические симпатии. Предполагалось, что они оценят такое отношение и заплатят за него без-

условной лояльностью. Всё было чрезвычайно благородно, идеалистично, и - увы! - в такой же мере утопично.

Оказалось, что среди офицерства слишком много людей, озлобленных на смерть, бесконечно искалеченных злобою ко всему, что пахнет демократией. Оказалось, что множество - если и не большинство - не столько думает о будущем, сколько вспоминает о прошлом, не столько ищет достойного места в предстоящих исторических событиях, сколько жаждет мстить за пережитое.

Оказалось, наконец, что немалая часть офицерства, хлебнувши из горькой чаши нужды, лишений и гонений, охвачена безудержной жаждой жизни, жаждой вознаградить себя за пережитое, жаждой пить до дна полную чашу наслаждений.

Кутежи, разврат, злоупотребление положением и властью, спекуляция - всё это расцвело в тылу немедленно пышным цветом вместе с первыми зародышами будущих конспирации против демократии. "Боже царя храни", распеваемое пьяными офицерскими голосами, начало задавать тон господствующему настроению...

Пришлось принимать против этих элементов известные меры. Тогда они нашли себе пристанище вокруг правительства Сибири, состоявшего из надежных и пестрых элементов, быстро захваченных политически и морально в плен шумной толпой деклассированных элементов высшего порядка: помещиков, согнанных крестьянами с земель; фабрикантов, оставшихся без фабрик; офицеров, с которых солдаты сорвали погоны, и т. п., и т. п.

После первых блестящих побед Народной армии эта разношерстная толпа решила, что большевизм - полутруп, 386 который добить ничего не стоит. И многие из них уже наполовину забыли о ненависти к большевикам - стоит ли тратить силы на ненависть к живым покойникам? - чтобы всю силу этого чувства сосредоточить на их предполагаемых преемниках и наследниках. "Крайности сходятся!".

Уже находились люди, искренно благодарные большевикам за разгон Учредительного Собрания: "Так и надо всем этим господам демократам, заседающим вместе с большевиками в Совдепе!". Уже находились люди, в которых злорадство брало верх над всеми другими чувствами. Уже находились люди, которые твердили: "чем хуже, тем лучше", и почти благословляли большевиков за то, что они своими действиями как бы привели к гибели всю революцию. Своеобразная злорадная благодарность большевикам уже брала верх над ненавистью к ним.

Уже "умеренных" социалистов стали считать за худших и опаснейших врагов, более уравновешенных и осторожных представителей тех же ненавистных демократически-революционных тенденций. На этой психологической почве расцвело пышным цветом новое явление - своеобразное реакционное пораженчество по отношению к территории - и ко всему делу Учредительного Собрания.

И вот, в то время, как большевики проводят по всей России мобилизацию и обрушиваются массой на добровольческую Народную армию двух с половиной восставших уралоповолжских губерний, - за их спинами, в глубоком тылу сибирская реакция копит свои силы.

О, она не хочет мобилизации фронтовиков - эти ведь все "митинговали" во время революции, они - порченые. Нет, сибирская реакция берет крестьянскую и рабочую молодежь, берет всего два-три призыва, совершенных новичков, впервые видящих казарму. Она их школит, муштрует, дисциплинирует. Зато - надеется она - из них выйдет военная машина, безусловно послушная власти - любой власти. Сибирская реакция занята своим делом.

Пусть с фронта Учредительного Собрания слышится клич о нужде в военной помощи,

пусть гнется, пусть подается назад этот фронт - что за беда? Чем меньше будет становиться территория Учредительного Собрания, тем более великодержавным языком сможет заговорить с правительством "господ учредителей" областное правительство Сибири, состоящее из ренегатов и отщепенцев революции и успевшее путем 387 убийств и внутренних переворотов избавиться от своих "неудобных сочленов" (Новоселов, Шатилов, Крутовский).

И вот "сибиряки" понемногу начинают "проявлять" себя. Границы Сибири закрываются для беженцев из прифронтовой полосы: пусть они переполняют города, где правят "учредители". Грузы с продовольствием, заказанным последними у сибирских кооперативов, задерживаются: Сибирь не должна вывозить, всё это нужно "ей самой".

С территорией Учредительного Собрания начинается настоящая таможенная война. "Учредительские" войска захватили в Казани золотой фонд; отныне у сибирского правительства разгораются на него глаза и зубы и начинается шантажная тактика; пока этот фонд не будет передан в "безопасную" Сибирь, ни о чем сибиряки не желают и разговаривать. Наконец, и этого мало: сибирские отряды начинают "оккупировать" и "присоединять" к Сибири целые города и округа (Челябинск, частью Екатеринбург) из территории Учредительного Собрания...

После Уфимского Сопещения, естественно, открылась эпоха "борьбы за Директорию". В этом отношении и приобретал особенную важность вопрос о резиденции ее. Кучка честолюбцев, прикрывшаяся лозунгами "сибирского областничества" и быстро обросшая разными политическими и военными неудачниками, озлобленными на демократию беженцами гражданской смуты, делала всё возможное и невозможное, чтобы перетянуть Директорию в Омск.

Среди главных городов до-байкальской Сибири город этот занимал особое положение. Его конкурентами были - Томск с его университетом, центр научно-культурный, облобованный естественно для своей резиденции Областною Думою - зародышем сибирского парламента, - и Иркутск, большой промышленный центр, с обширными рабочими предместьями, авангардный город всех сибирских общественно-политических движений.

В отличие от них Омск был центром административным и торговым; здесь служили Карьеру и Барышу. В эпоху после изгнания большевиков Омск стал обетованною землею для ищущей применения своим силам пестрой толпы беглецов. Город был набит "до отказа" офицерами, деклассированной "чернью высшего класса", создавшей спертую атмосферу лихорадочной борьбы разочарованных честолюбий, горечи обманутых надежд, атмосферу схваток, взаимных интриг и подвохов 388 разных категорий и камарильи и карьеристских потуг непризнанных гениев, у каждого из которых был свой план спасения и даже "воскрешения" России, плюс неутолимая жажда выкарабкаться выше всех.

Здесь потерпевшие от большевиков спешили вознаградить себя за лишения, здесь шел "пир во время чумы", здесь кишмя кишели спекулянты просто вперемежку со спекулянтами политическими, бандиты просто и бандиты официальные, жаждущие денег и чинов и готовые в обмен за них вознести как можно выше своего "патрона". Здесь царили "мексиканские" нравы, здесь неудобные люди исчезали среди бела дня бесследно, похищенные или убитые неизвестно кем. Учредилловцы инстинктивно чувствовали внутреннее отталкивание от города-ловушки и в качестве компромисса готовы были идти на полукадетский Екатеринбург, куда и начал уже перебираться съезд членов Учредительного Собрания в расчете на непосредственное соседство Директории.

Выбор Директорией Екатеринбурга или Челябинска с их непосредственным окружени-

ем заводских центров имел бы еще смысл при намерении опереться на левую демократию, на рабоче-крестьянскую массу, и на союзных с ними чешских национальных революционеров. Но как раз этого намерения и не было. И Авксентьев с Зензиновым, от которых в этот момент зависело решение, после некоторых колебаний, дали свое согласие на Омск.

В Центральном Комитете все считали этот шаг легкомысленным "прыжком в неизвестность", а большинство считало его просто роковым, отдающим Директорию в плен. Идея переворота справа уже носилась в воздухе.

Центральный Комитет ПСР получил сведения, что в видах централизации власти Директория решила объявить распущенными все областные правительства.

Это означало умерщвление "Комуча", а также конец трех других, равно глубоко-народных демократических, лево настроенных башкирского, киргизского и формировавшегося туркестанского правительств, а затем и кадетского Екатеринбургского.

Что же касается сибирского правительства, то его формальная ликвидация на деле оказывалась лишь "деноминацией", и при том с крупным повышением: оно становилось "деловым министерством" при Директории, которая, таким образом, 389 "властвовала, но не управляла".

Мало того: т.н. административный совет сибирского правительства, из которого исходили все интриги и происки против демократии, из которого вдохновлялись все заговоры, все перевороты и все насилия над левыми членами правительства и который находился в постоянном конфликте с краевым народным представительством - Сибирской Областной Думой, - еще требовал от Директории подтверждения произведенного им самовольного роспуска этой Думы без назначения новых выборов, т. е. насилия над единственным органом народоправства. Директория решила:

Областную Думу собрать, но лишь для того, чтобы уговорить ее "самораспуститься". Скрепя сердце, Дума подчинилась, охладев и разочаровавшись в Директории, утратив заряд энергии, которым обладала, и, рассыпавшись на отдельные людские атомы, недоумевающие и дезориентированные.

Свою оценку общего положения, включая сюда и критику действий Директории, но вместе с напоминанием о долге лояльной поддержки ее в деле исполнения принятых ею в Уфе перед демократией обязательств, и с призывом к всеобщей партийной мобилизации - ЦК изложил в директивном письме к партийным организациям. В основу письма был положен мой проект; но при обсуждении текста его по пунктам, в письмо были введены смягчения, на которые автор не всегда давал согласие. Первоначальный проект отличался большей решительностью выводов и более острой критикой создавшегося политического положения. Ошибки с.-р. фракции Уфимского Совещания также отмечались очень решительно: по решению большинства в этой части проекта были сделаны довольно серьезные сокращения.

Директивное письмо Центрального Комитета не было прокламацией, рассчитанной на публичное распространение. Это был документ для "внутреннего употребления" в пределах организации, подобно многим другим внутривнутрипартийным циркулярам и сообщениям. И если бы внутривнутрипартийные отношения были нормальны, он, вероятно, прошел бы для общественного мнения незамеченным и уж, во всяком случае, не вызвал бы той газетной бури, которая вскоре из-за него поднялась.

После государственного переворота колчаковцев новое 390 "русское правительство" даже в официальном сообщении решилось утверждать, будто "Центральный Комитет партии с.-р. выпустил 22 октября 1918 г. (ст. ст.) прокламацию с открытым призывом к вооруженной

борьбе с верховной властью и к созданию партийного с.-р. войска, т. е. нелегальной воинской силы".

Возможно, что опубликование нашего документа несколько ускорило уже вполне подготовленное выступление заговорщиков, желавших предупредить наши приготовления к отпору. И вот, когда собравшийся в Екатеринбурге Съезд членов Учредительного Собрания посылал делегатов в Омск предупредить членов Директории, что они с завязанными глазами, вслепую идут к собственной гибели, - оказалось уже поздно.

По прямому проводу получилась весть, что левые члены Директории 18 ноября (ст. ст.) "неведомо кем" арестованы и "неведомо куда" увезены, а правые "вручили всю полноту власти" военному министру - адмиралу Колчаку.

А этот последний принял титул Всероссийского Верховного Правителя. Без пяти минут-император... Худшие опасения мои и моих единомышленников вдруг стали реальностью. Перед лицом ее смолкли все разногласия. Самые умеренные сторонники компромисса в наших рядах стали после падения Директории решительными революционерами.

Мы выбрали "комитет сопротивления", с неограниченными полномочиями. Первой нашей мерой было восстановление целого ряда предшествовавших Директории местных революционно-демократических правительств, как переехавшее в Уфу Самарское правительство Комитета членов Учредительного Собрания, Башкирское правительство и т. п., незадолго перед тем распущенных близорукой Директорией.

Мы развили кипучую деятельность по осведомлению страны о характере и целях переворота; мы сносились со всеми общественными учреждениями - думами, земствами, Чешским Национальным Советом - и добились от всех их заявлений о непризнании переворота.

Следующим вопросом, который предстояло разрешить, была посылка сводного отряда войск для восстановления в Омске революционного порядка и законности. Но здесь мы столкнулись с целым рядом трудностей. Северным участком фронта в это время командовал 391 чешский генерал Гайда, довольно способный и энергичный честолюбец, впоследствии - глава фашистского движения в Чехословакии. Тогда его авантюризм не выступал наружу, и он охотно общался с эсерами, возглавлявшими в Сибири антибольшевистские перевороты.

Средним фронтом командовал генерал Войцеховский, щеголявший радикальными фразами, недолюбливавший Колчака, но, как оказалось, лишь потому, что втайне ориентировался на Деникина. Южным, казачьим участком командовал атаман Дутов, носивший в свое время красные бантики в петличке, вошедший даже в состав комитета членов У. С. в качестве избранного от г. Оренбурга.

Однако, на последнего никаких надежд возлагать нельзя было: его двуличность выяснилась давно, а тут удалось перехватить его сговор с Колчаком по прямому проводу. От Войцеховского ждали лояльности, хотя бы пассивной. К Гайде для переговоров отправился его личный друг, крупный деятель сибирского противобольшевистского переворота, эсер-кооператор Нил Фомин и принес нам весть, что Гайда - сфинкс.

Потом уже из показаний Колчака на суде мы узнали, что Гайда получил от Колчака через ген. Дидерихса приказ - ликвидировать Учредительное Собрание и, в частности, во что бы то ни стало арестовать и препроводить в Омск лично меня. Он собирался сделать всё, чтобы приказ был выполнен, но сам хотел пока оставаться за кулисами. Чешские легионеры, которыми он командовал, эти "приемные дети" русской революции, могли взбунтоваться.

Чешский Национальный Совет, ими избранный на войсковом съезде и уже высказавшийся против Колчака, тоже был препятствием. Гайда поэтому заявил, что будет "нейтра-

лен".

Приблизительно то же заявил в Уфе Войцеховский. Дело осложнялось. Нам надо было для посылки в Омск снять с фронта несколько наиболее надежных в революционном смысле частей. Но они были разбросаны, "нейтралитет" Гайды и Войцеховского означал выполнение "оперативных" директив Омска, а директивы эти были направлены к разобращению тех частей, на которые могли опереться мы, и к их ангажированию в самых "жарких" участках театра военных действий против большевиков.

И еще был вопрос: послать сводный отряд против Омска нельзя было без согласия чешского главнокомандующего, ген. Сырового, ибо

ж.-д. магистралью ведали и охраняли ее чехи. Мы разослали 392 во все стороны гонцов и агитаторов, в окрестностях Екатеринбурга рабочие стали волноваться и готовились двинуться в город, чтобы предоставить себя в наше распоряжение.

Поздно вечером к нам пришли наших двое разведчиков и сообщили, что в одном из ближайших кинематографов замечено подозрительно большое скопление офицеров в полном вооружении.

Мы снова снеслись с контрразведкой и снова нас успокоили. Все мы решили на ночь перебраться в наше неотремонтированное помещение, под охрану своего отряда. Спешно кончили редактировать разные воззвания и послания, как вдруг в подъезде раздался шум, хлопанье дверьми, топот многочисленных ног, взрыв бомбы и гулкий выстрел из винтовки. В коридоре кто-то бежавший упал.

Это был один из наших, бежавший предупредить о налете офицеров во главе учебной команды Сибирского полка. Команде, как потом оказалось, было объявлено, что надо ликвидировать отряд вооруженных большевиков, готовящих "выступление". Меня, выбежавшего из моего No 3 в коридор, товарищи быстро втолкнули в первый попавшийся чужой номер: по коридору бежали солдаты, вдогонку кто-то кричал: "Помните, номер третий, самый главный... хорошенько там поработайте штыками!". Они ворвались туда, но опешили: никого, кроме одного старика и двух женщин, собравшихся перебелять наши воззвания в No 3 не оказалось.

Большой отель наполнился вооруженными людьми. Все комнаты были отворены, в каждой помещена стража. Шел обыск - искали бумагу, отбирали револьверы. Явилось какое-то "высшее начальство"; с ним был и какой-то чешский офицер, эксцессов больше не было.

Нас переписали. Когда дошли до меня, какой-то офицер злобно произнес: "А, так вот где он, кто погубил Россию! А мы уже думали, что он сбежал... да, жаль, что не нашли сразу".

Во время переписывания захваченных, с улицы вдруг снова раздался оглушительный звук взрыва. Поднялась суматоха. Один из офицеров принялся вопить, что мы убиваем русских солдат бомбами и что с нами нужно немедленно расправиться. Явившийся с улицы унтер-офицер начал что-то громко рапортовать, на него зашипели, и он продолжал 393 вполголоса. Потом оказалось, что у одного из солдат по его неосторожности стал тлеть фитиль ручной гранаты, и он отбросил ее на площадь, где она и разорвалась, никому не причинив вреда.

Но офицеры продолжали угрожающе поглядывать на нас, громогласно обвиняя нас в убийстве солдат. Я до сих пор не понимаю, что их удержало от немедленной бойни. Может быть, уверенность, что нам, всё равно, один конец?

Потом нас толпою, окружив двойною цепью солдат, злобно на нас покрикивая, осыпая угрозами и ругаясь, поспешно повели по темным улицам. Мы сговорились не отвечать на

провокационные выходки. Не могу без сердечного трепета вспомнить, как толпились вокруг меня, плотно загородив отовсюду живой стеной, товарищи. Мы еще не теряли надежды: нам из окон удалось обменяться знаками с оставшимися друзьями на воле; мы знали, что они не дремлют; самая поспешность нашего увода заставляла нас думать, что кто-то идет нам на выручку. Мы знали, что отряд, занимающий здание будущего Учредительного Собрания, не будет сложа руки глядеть на события. Это будет началом и сигналом гражданской войны в тылу, но ответственность за нее - не на нас.

Мы не знали, что тем временем чехи, в лице Национального Совета и коменданта Благоша, решили вмешаться для прекращения, во что бы то ни стало, междуусобицы среди русских антибольшевиков, ибо это будет грозить междуусобицей в их собственных рядах и она приведет к конфликту между Гайдой и Национальным Советом.

Мы имели дело лишь с последствиями этого закулисного процесса. На полпути наше шествие было остановлено комендантом Благошем, потребовавшим, чтобы наш кортеж не двигался с места до его возвращения, - через 5-10 минут. Ему ответили: "слушаюсь!" и как только он отъехал, - поспешнее прежнего погнали нас дальше. Привели в какие-то казармы, но здесь нас нагнал новый приказ, и в сопровождении чешского офицера сумрачные колчаковцы повели нас обратно - в нашу гостиницу. Там внутри уже были чешские легионеры, приветствовавшие мое появление криками: "Наздар, Чернов!". Надо было видеть, как скрещивались взгляды революционеров из чешских легионов со взглядами колчаковцев, щелкавших зубами, словно волки, отогнанные от добычи.

394 Но дело не было кончено. Когда настало утро, мы увидели, что если внутренняя охрана здания в руках чехов, то наружная в руках колчаковцев. Ночью пришли к нам взволнованные члены Национального Совета - очень кстати, ибо при них в нашу комнату ворвались было двое скрывавшихся где-то внутри здания вооруженных колчаковских офицеров и, увидевши наших гостей, поспешно ретировались. Затем уже официально явились другие два с формальным приказом ген. Гайды - доставить меня к нему.

Члены Национального Совета, объявив, что этот приказ - недоразумение, вместо меня сами отправились к Гаиде, отдав приказ чешской страже никого не пропускать. После них еще два офицера пытались войти, чтобы отвезти меня по тому же назначению, и отступили лишь под угрозой штыков.

Утром пришло решение. Я "числюсь за генералом Гайдой". Меня поэтому переведут из верхнего этажа, где сосредоточены все наши, в пустынный, нижний этаж. Это известие было встречено гулом всеобщего негодования. После некоторого колебания приказ о моем переводе был отменен. Начальник караула подошел ко мне и долго сочувственно жал мне руки со словами: "Ах, господин Чернов, бедная, бедная ваша Россия!"

Еще через несколько времени нам прислали извещение ген. Гайды, гласившее, что он "всем членам съезда кроме В. М. Чернова", гарантирует жизнь и безопасное препровождение в г. Челябинск, местопребывание Национального Совета. Все должны были расписаться в том, что извещение это им объявлено. Мне предложили это сделать первому, и я написал: "Чрезвычайно благодарен генералу Гаиде за то, что ему я жизнью обязан не буду". Потом его понесли другим. Все заявили, что протестуют и что заставить расстаться со мною их могут лишь применением силы.

Поздно вечером мне было объявлено, что со мною поступлено будет "в общем порядке", и нас вывезли на вокзал и под усиленным чешским конвоем мы двинулись в Челябинск.

Но игра еще не была кончена. В Челябинске нас ждала новая попытка. Чешский Наци-

ональный Совет с ген. Сыровым решили перевезти нас пока, как в безопасный пункт, в город Шадринск, а колчаковский агент, ген. Дитерихс во исполнение этого решения дал нашему поезду прекрасный маршрут: в Шадринск через... резиденцию Колчака, Омск!

Дитерихс для успеха своего плана распорядился, чтобы нас никуда не выпускали из поезда, и нам было объявлено, что с каждым, нарушившим это распоряжение, будет поступлено, как с дезертиром. В ответ на это тотчас же, при молчаливом попустительстве чешских революционных солдат, несколько товарищей были переправлены в город с готовыми, на всякий случай воззваниями, призывающими к общему восстанию.

А я и еще несколько человек прошли, в качестве делегации, в Национальный Совет. Последовали взволнованная сцена и бурное объяснение по телефону с Дитерихсом. Через несколько часов мы ехали из Челябинска в Уфу, где держалось еще некоторое время правительство Учредительного Собрания. Оно, при соучастии ген. Войцеховского, вскоре было ликвидировано тайно переброшенным особым колчаковским отрядом. Но я, заранее перейдя на нелегальное положение, уцелел вопреки неоднократным телеграммам газет о моей поимке и расстреле "при попытке к бегству".

Еще несколько актов борьбы с Колчаком, недолго торжествовавшим как на внешнем, так и на внутреннем фронте. Уход чехов, упадок духа в Народной армии, перебеги к большевикам на фронте, партизаны в тылу. И, наконец, восстание в Иркутске, 11 дней борьбы за город и плен адмирала. На допросе перед следственной комиссией он, между прочим, заявил: "Много зла причинили России большевики, но есть и за ними одна заслуга: это - разгон Учредительного Собрания, которое под председательством Виктора Чернова открыло свое заседание пением Интернационала".

В этой солидарности - символ тогдашнего времени.

396

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Мой отъезд в Москву. - Наша легализация как политическая провокация. Нелегальная жизнь в Москве. - Приезд Гоца в Москву. - Приезд английской рабочей делегации и собрание печатников, - Нелегальный отъезд из России.

При эвакуации Уфы мне пришлось скрыться в Башкирии, а оттуда через Оренбург безуспешно пробовать пробраться на Уральск, чтобы далее, через Каспийское море и Кавказ переправиться на Украину. Это время было у нас занято последними попытками организовать вооруженную силу для низвержения Колчака и колчаковцев.

Но было уже поздно. Перед лицом открыто ставшей на сторону Колчака Антанты, перед лицом чехов, державших в своих руках железную дорогу и не дававших нам ее использовать, лицом к лицу с умелыми распоряжениями высшего военного командования, разбросавшего сочувствовавшие нам военные части по первой линии фронта, отделившего их друг от друга и от нас надежными сибирскими, казачьими и союзническими частями, - все наши попытки кончились неудачей.

И наш путь был отмечен тяжелыми переживаниями. Они начались с Екатеринбурга, где на наших глазах был застрелен наш товарищ Максун, бежавший предупредить нас о "налете" офицеров. В Челябинске в руки врагов попал незабвенный Нил Валерианович Фомин, крупный деятель сибирской кооперации. Когда-то весьма правый эс-эр, сторонник коалиции и уступок реакционерам, он в последний момент "прозрел", сделал решительный поворот влево, на революционный путь, и жизнью своей заплатил за это - вместе с несколькими товарищами - смело глядя в лицо смерти и видя в ней искупительную жертву.

В Уфе пали зверски изрубленные и изуродованные колчаковцами член 397 Учредительного Собрания Сургучев с несколькими товарищами; другие в кандалах были отвезены в Омск, откуда часть бежала, а часть была без суда расстреляна кучкой офицеров. В Оренбург мы попали вскоре после ликвидации, благодаря предательству нескольких башкирских офицеров, заговора наших товарищей против Дутова, причем был расстрелян наш товарищ Королев, захвачен в плен и увезен в Омск Махин и с трудом скрылся наш союзник, глава башкирского правительства Валидов...

Меня спасло то, что после Екатеринбургского урока я был настороже, не доверял более ни чехам, ни служившим ранее правительству Учредительного Собрания офицерам, ни оставшимся от него официальным местным военным и полицейским властям.

При помощи преданных друзей, боявшихся за мою жизнь гораздо более, чем за свою собственную, я в Уфе заблаговременно перешел на нелегальное положение, как только в ней запахло приближением государственного переворота. Благодаря этому я уцелел и мог принимать участие во всех совещаниях по обсуждению плана революционного контрудара против колчаковского режима - в то самое время, когда Уфа была положительно наводнена агентами Екатеринбургской и Омской контрразведок, когда группа офицеров поклялась во что бы то ни стало изловить меня и доставить к Колчаку живым или мертвым; когда меня везде искали и время от времени из разных мест приходили телеграммы о моем аресте и расстреле; когда перед эвакуацией Уфы взбешенные колчаковцы - словно мухи, которые осенью сильнее кусают, - неистовствовали, производя массовые облавы, выемки и аресты среди насупившегося и затаившего возмущение населения.

А затем, когда все наши попытки закончились неудачей и последние наши союзники - башкиры - вынуждены были заключить с большевиками мир на основе союзных действий против Колчака, нам оставалось одно: покинуть территорию, на которой не развевалось больше знамя Учредительного Собрания и где начатой во имя народовластия борьбе суждено было надолго выродиться в борьбу двух меньшинств за диктаторскую власть над народом.

Здесь нам делать было нечего. У нас явилась была идея - пробраться на Украину. Там предстояла после победы союзников на западном фронте эвакуация края немецкими оккупационными 398 войсками; было ясно, что без их поддержки власть гетмана Скоропадского неминуемо рухнет; должно было вспыхнуть народное движение, в котором можно и нужно было вмешаться и поднять над ним знамя Всероссийского Учредительного Собрания. С этими мыслями пустились мы в путь. Но нам и на этот раз не суждена была удача.

Долго мы скитались по башкирским и оренбургским степям. В общей сложности не менее девятисот верст проделали мы в разных направлениях. Но в самый критический момент перед нами сомкнулись два наступления - первой Красной армии, шедшей из Уральска, и ташкентской советской армии, пробивавшейся от Илецкой защиты, - и нам пришлось спешно поворотить назад, в Оренбург, над которым расстилался густой столб дыма от пожаров и который был уже покинут казаками.

Во время этого скитания останавливаться приходилось в крестьянских избах. Встречали часто неохотно, угрюмо, неприветливо. К чужим относились недоверчиво, ибо в быстрой смене событий, в которых "свой" сменялись "чужими", необходимо было установить, кто "свой" и кто "чужой".

Перед самым Оренбургом в деревне, которая только что была оставлена казачьим отрядом, мы остановились, чтобы дать отдых усталым лошадям и накормить их. Деревня каза-

лась вымершей. Из изб на наш стук выходили мрачные, перепуганные бабы, которые на нашу просьбу о ночлеге только отрицательно кивали головами и захлопывали калитки.

Наконец, нам всё же удалось устроиться на ночлег в одной избе. После выпитого самовара и ужина мои товарищи улеглись по другую сторону громадной русской печи на соломе, чтобы хоть несколько часов поспать. Я сидел за огромным столом на лавке. Ко мне присела крестьянка с изможденным скуластым лицом. Платок прикрывал почти весь ее лоб, и тем виднее были ее полные испуга глаза. Она мне с оханьем сообщила, что всё мужское население покинуло деревню и с минуты на минуту можно ожидать вступления большевиков. В деревне известно, что есть такая молитва против большевиков. "Большевик придет, скажешь молитву, - он вертится, вертится, - а порога переступить не может". Не знаю ли я эту молитву или где ее можно достать, или куда за ней послать?

Я подошел к окну. Уже доносился орудийный гул. Издали виднелось зарево пожаров. За столом сидела крестьянка и, 399 покачивая головой, твердила: "молитву бы эту знать, молитву бы знать"... В таком жутком апокалиптическом страхе русская деревня ожидала большевиков...

Когда Уфу уже спешно эвакуировали и со дня на день ожидался приход Красной армии, между некоторыми членами бывшего правительства Учредительного Собрания (Вольский с товарищами) и местными большевиками завязался - через посредство левых эсеров - кое-какой обмен мнений.

В это время наделало немало шума "открытое письмо" к Ленину и др., подписанное видным деятелем сибирского большевизма Шумяцким. Он говорил не за себя только, а от имени ряда своих товарищей, которых многому научил горький опыт падения советской власти в Сибири, Поволжья и на Урале. То был призыв круто изменить политику и добиться, во что бы то ни стало, "единства революционного фронта", примирения с меньшевиками и с.-рамами, возврата к правильной системе народовластия и к политике объединения всей трудовой демократии. Письмо производило впечатление искреннего и прочувствованного "крика души".

Лично Вольский был яростнейшим из ненавистников большевизма в рядах партии, каких мне когда-либо пришлось встречать. Но необходимость капитулировать в Уфе, а затем бессилие перед лицом колчаковского переворота озлобили его до последней степени.

Порывистый характер, толкавший его раньше на вражду к большевикам, доходившую порой до проповеди чуть не поголовного их истребления, - толкнул его на противоположную крайность. Раньше он готов был брататься, и действительно братался, ради борьбы против общего врага, с Дутовым: теперь он уже готов был побрататься с большевиками ради борьбы против Колчака и Дутова.

Ссылкой на письмо Шумяцкого он убеждал себя и других, что среди большевиков тоже назрела потребность исправить прошлые ошибки и честно пойти навстречу всем искренним революционным социалистам для искания общей платформы деятельности, приемлемого для всех модус вивенди; и в этой надежде он заранее решил остаться в Уфе, ждать в ней прихода большевиков и вступить с ними в переговоры.

Местные большевики предлагали в этом деле свое посредничество. Мне сообщили, что главный из них, кроме того, предлагал спрятать 400 лично меня и гарантировать мою личную безопасность. От этого предложения я наотрез отказался.

Моя позиция в это время была такова: я по-прежнему считал еще возможной борьбу на два фронта. Ко мне приходили многие другие товарищи, раньше стоявшие на одной со мной

позиции. Они указывали, что положение изменилось, что на два фронта одновременно бороться у нас не хватит сил, а выжидать, пока один рухнет, слишком долго. Я отвечал, что мы не собираемся ждать: мы решили вести непримиримую и беспощадную борьбу с предательски одолевшей нас реакцией, вести ее всеми средствами, вплоть до террора и восстания; но что если эта наша борьба на территории, где господствует реакция, увенчается успехом, то на следующий же день после победы встанет вопрос о втором фронте противобольшевистском.

Сейчас мы, конечно, вооруженную борьбу против большевиков прекращаем в том смысле, что снимаем с фронта наши войска - войска Учредительного Собрания. Но это не потому, что мы стали менее враждебны к большевикам, а лишь потому, что отныне держать эти войска на фронте - значит заставлять их сражаться за Колчака, за социальную и политическую реставрацию. Мы их снимаем, чтобы двинуть против реакции; если же это не удастся - то распустим их с прощальным призывом вновь собраться там и тогда, где и когда будет снова водружено знамя Учредительного Собрания.

Мои друзья оппоненты доказывали, что среди большевиков тоже есть "сдвиг", ссылаясь на предложения посредничества местных большевиков, на их уверения, письмо Шумяцкого и т. п. Тогда я предложил им следующее. "Если вы думаете, что пережитые испытания заставили большевиков многому научиться и о многом позабыть, - вы имеете простой способ проверить это. Пусть от вас один товарищ немедленно переберется через фронт.

Пусть он явится в Москву или Петроград и разыщет Максима Горького. Пусть Максим Горький проявит свою инициативу и выступит посредником между обоими лагерями. Пусть он предложит ту или другую платформу для примирения: посмотрите, как будут на такое предложение реагировать большевики. Но пусть они заранее знают, что партия с.-р. в одном требовании будет 401 непоколебима: в требовании восстановления всех личных и общественных свобод и созыва Учредительного Собрания.

Тогда же один из членов Учредительного Собрания, довольно известный молодой писатель Иван Вольнов, лично близкий с Максимом Горьким, вызвался исполнить эту миссию. Однако, через фронт пробраться он не сумел и переехал в Москву лишь после того, как большевики взяли Уфу. Он лично верил в успех своего поручения. Я заявил, что не только не верю в эволюцию большевизма, но и заверениям их полной веры никогда не дам. Я слишком привык к тому, что в их среде господствует своеобразный политический аморализм или моральный нигилизм. Ради торжества своего дела они способны дать любое торжественное обещание - и бессовестным образом его нарушить.

Вольский, Святицкий и др. говорили, что, конечно, большевики должны пойти на созыв Учредительного Собрания. Но этот созыв должен быть осуществлен каким-то временным правительством, коалиционным с большевиками; что должна быть выработана согласительная платформа для общей политики этого правительства: что эта согласительная платформа должна быть как бы предтечей согласительной платформы для блока социалистических партий в Учредительном Собрании.

Я категорически отклонил все подобные проекты. Довлел дневи злоба его. Если бы оказалось - во что я лично не верю - что среди большевиков произошел сдвиг и они пойдут на созыв Учредительного Собрания, - то, вероятно, это означало бы, что и в области экономической политики опыт их многому научил; тогда, быть может, в будущем Учредительном Собрании окажется возможным сотрудничество с ними в тех или иных формах. Но это надо предоставить будущему. Забегать вперед смешно и ненужно. Что касается до соглашения о

преобразовании нынешнего большевистского правительства в коалицию до и для созыва Учредительного Собрания, то нам к этому стремиться вовсе не следует. Пусть хотя бы нынешний Совет Народных Комиссаров созывает Учредительное Собрание. Мы домогаемся не доли в их власти, не уступки нашей партийной программе; мы домогаемся полноты власти народа и воплощения в жизнь той программы, за которой будет большинство народа. Вот и всё.

402 Наконец, я отклонил предложение остаться в Уфе, ибо ждать прихода большевиков для непосредственных переговоров с ними я считал самым нерациональным способом. Для переговоров двух сторон необходимо, чтобы они были, так сказать, на равной ноге. Если, при посредничестве Максима Горького, станут возможны переговоры Советского правительства с Партией С.-Р., действующей, как самостоятельная сила в тылу реакционного колчаковского фронта, - это одно. Если же в Уфе представители победоносной Красной армии будут переговариваться с прячущимися у местных большевиков "бывшими людьми", это совершенно другое. Только переговоры первого рода при известных условиях могли бы что-нибудь дать.

Казалось, в конце концов, все сошлись на том, что надо ждать результатов поездки Ивана Вольного. Разница была в том, что одни - оптимисты предполагали, что эта попытка откроет новые горизонты и даст выход из создавшегося положения. Другие - пессимисты - подобно мне, полагали, что миссия Ивана Вольного даст только новое доказательство, что большевики останутся большевиками, т. е. чистым воплощением партийного деспотизма...

На этом мы расстались. Некоторые из моих товарищей - более подозрительные, чем я, - говорили мне: "А вот увидите, что Вольский не выдержит, затеет какие-нибудь сепаратные переговоры и в них запутается с ног до головы".

- "Не может быть, - возражал я, - после всего, о чем мы говорили, это более невозможно". Прав, однако, оказался не я, а мои более скептические и недоверчивые товарищи.

Уже в Оренбурге, после занятия его большевиками, мы вдруг прочли в местной советской газете текст обращения к солдатам Народной армии, подписанный Вольским и рядом других с.-р.-ов. Воззвание предлагало им не сражаться далее на фронте, который является более не фронтом народовластия, а фронтом военной диктатуры и реставрации. В этой части мы не могли его не одобрить. Но рядом с этим нас больно поразило одно или два места, в которых Совет Народных Комиссаров признавался "единственной существующей в России революционной народной властью". Это было уже явное политическое грехопадение, это была капитуляция перед большевизмом.

403 Затем мы прочли, что в Уфе между представителями победоносной Красной армии и некоторыми членами прежнего правительства Комитета Учредительного Собрания велись переговоры и заключено какое-то предварительное соглашение на почве "признания советской власти", и не знали, доверять или не доверять этому известию. Пришло и дополнительное известие о том, что, так сказать, для окончательной "ратификации" этого соглашения из Уфы в Москву выезжает целая делегация из хорошо известных нам лиц. И мы недоумевали: кем делегирована эта делегация, от чьего имени заключалось ею соглашение и кем на это были уполномочены наши уфимские товарищи?

Наконец, от них, через посредство одного знакомого, пришло обращенное ко мне и Мих. Веденяпину приглашение приехать в Уфу и воспользоваться "легальной возможностью" официально отправиться в Москву. Нам не приходилось долго разговаривать, как быть. Мы не хотели ни пользоваться какими-либо большевистскими льготами, ни хотя бы

этим способом передвижения связать себя с делом самочинной "делегации". Мы предпочли поехать в Москву и узнать там, что случилось, пользуясь старыми, традиционными способами нелегальных революционеров.

Москва... Я покинул ее в июне 1918 года и возвращался менее, чем через год, в марте 1919 года. Но я почти не узнавал ее. На улицах горы снега, из ухаба в ухаб попадал со своими санями редкий, одинокий извозчик. Местами подтаивающий снег образовывал огромные лужи, в которых извозчицья лошадёнка с выдавившимися от бескормицы ребрами осторожно нащупывала дно. Не слышно было обычного торопливого городского гула и шума, перемежаемого звонками трамваев. Рельсы были занесены снегом. Пешеходы, большей частью с бледными лицами, сновали по улицам, озабоченные и молчаливые. На всем была печать какой-то угнетенности. Витрины магазинов были или пусты, или загромождены беспорядочными кучами товаров, скучавших под замком: это проводилась "национализация" торговли. Кое-где, даже на лучших улицах, зияли черными провалами развалины. Разрушались из-за недостатка топлива целые кварталы, в которых раньше находились садики и зеленели в свое время деревья. На всем лежала печать запустения и обреченности.

Я встречал знакомых, которые меня не узнавали. 404 С обритой головой и без бороды, в потертой куртке, я пробрался в Москву по фальшивым документам в одной из теплушек с целой группой неофитов-комиссаров средней руки; один из них был молодой восторженный идеалист, наивный, невежественный, недалекий, но искренний; все остальные были из породы "примазавшихся", сущих мещан и обывателей, политических хамелеонов и карьеристов. Одни числились в коммунистической партии, другие значились "сочувствующими". Между ними целыми днями напролет шла азартная игра в карты, в которой большие суммы переходили из рук в руки с быстротой молнии. Проезд от Оренбурга до Москвы продолжался 11 дней.

В Москве мне сразу пришлось убедиться, до какой степени оправдались худшие из опасений, связанных с проектом Уфимских переговоров. Я получил протоколы совещаний между группой Вольского и представителями большевизма в Уфе. Удручающее впечатление произвели на меня эти переговоры.

Большевики играли со своими "собеседниками", как кошка с мышкой. По-видимому, для того, чтобы они "не забывались" и помнили, в каком они находятся положении, - чека арестовала одного из членов делегации, Святицкого, и, после долгой торговли, согласилась выпустить его... на время хода переговоров, чтобы потом "получать" его обратно.

В то же время в прессе раздавались самые недвусмысленные угрозы, что все "учредители", в случае чего, будут арестованы и потерпят заслуженную кару - мы читали подобные вещи еще в Оренбурге в то самое время, когда переговоры были в самом разгаре. Но этого мало. Прежде чем приступить к существу переговоров, большевики сочли нужным "проэк-заменить" Вольского и товарищей: Кто за ними стоит?

Кого они представляют? Кто на фронте послушается их призывов? Не имея никаких гарантий относительно окончательного исхода переговоров, они должны были подробно ответить на ряд вопросов, сводившихся к допросу о том, какие именно военные части, в каком месте фронта, в каком составе являются частями Народной армии Учредительного Собрания, какова их численность по отношению к численности собственно колчаковских войск, где они расположены и куда направляются, - т. е. должны были, прежде всего дать материалы для военной контрразведки большевистской 405 армии... И, наконец, они должны были обнадеежить большевиков тем, что вся партия с.-р. пойдет за ними.

И когда я задал вопрос: чего же добились наши уфимские дипломаты такую дороною ценою, я узнал, что относительно Учредительного Собрания они даже не решились выставить требования. Правда, для успокоения их революционной совести Стеклов написал в московских "Известиях" статейку, где говорил примерно, так: "Мы, большевики, разогнали Учредительное Собрание и уничтожили всеобщую подачу голосов, чтобы подавить буржуазию и поставить у власти труд."

Но мы же, когда уничтожим классовые деления, быть может, сами восстановим всеобщую подачу голосов и соберем Учредительное Собрание". А покуда большевики могут легализовать партию с.-р., а партия - помочь большевикам ликвидировать Колчака.

Для большевиков в то время было уже совершенно ясно, что ПСР в целом по-прежнему стоит на платформе народовластия и Учредительного Собрания, и с этой своей позиции не отступит ни на шаг. Наши товарищи собрали в Москве партийную конференцию, которая недвусмысленно высказалась в этом смысле; они категорически отмежевались от Вольского и его товарищей.

Но то было время, когда, с одной стороны, Колчак одержал несколько временных успехов на фронте, когда выростала опасность со стороны Деникина, а Антанта впервые выдвинула проект переговоров на Принцевых островах. Большевики готовы были на территориальное размежевание с Колчаком и Деникиным, лишь бы добиться соглашения с Антантой. Для этого им надо было выглядеть перед всем светом возможно приличнее. И Чичерин в речи по радио не пожалел красок для того, чтобы представить большевистский режим правым.

Он указывал на то, что в советской России существует нормальная легальная оппозиция, в виде меньшевиков, издающих даже свою газету: что в лице Уфимской делегации с большевиками примирилась и партия социалистов-революционеров; что, словом, советский режим имеет за собою народное признание. Этого мало. В то же самое время - и об этом тоже полетели телеграммы во все части света - Свердлов с трибуны Московского Совета Рабочих и Крестьянских Депутатов во всеуслышание заявил, будто В. М. Чернов также едет в 406 Москву для окончательного закрепления соглашения партии с большевиками.

Это было уж слишком. Я привык к беззастенчивости большевиков, к тому, что у них "в политике всё позволено", но этого я всё же не ожидал. Конечно, мы опровергли это известие.

И вот, по предложению Л. Каменева, специальным решением ВЦИК-а наша партия, без каких бы то ни было официально предложенных ей условий, была объявлена легализованной! Правда, это было сделано "в виде опыта" со ссылкой на то, что после колчаковского переворота партия решила временно отказаться от вооруженной борьбы с большевиками. И так, мы вдруг как будто стали легальной партией!

Нашлись товарищи, которые наивно понадеялись на эти "новые веяния", на политическую "весну". Мои ближайшие друзья, однако, вместе со мною были далеки от всяких иллюзий.

"Друзья мои, - говорили мы уверовавшим, - нам дают возможность устраивать митинги - воспользуемся этим как можно шире; нам дают возможность издавать газету - будем писать, будем открыто, полным голосом говорить со всей страной, не смягчая нашей критики существующего режима. Будем выступать открыто; но аппарат нашей партийной организации надо сохранить скрытым, законспирированными. Дары Данайцев слишком часто бывают предательскими".

И, соответственно этому, мы приняли живейшее участие в литературной и устной про-

паганде, но тщательно продолжали прятаться под чужими именами и скрывать свое местожительство. И это через несколько времени спасло некоторых из нас от "ликвидации". "Весна" была недолгой: наша газета выходила всего десять дней. Она имела блестящий успех, а на наши митинги стекались толпы народа. На тех заводах, где выступали наши ораторы, большевикам больше нельзя было показываться: их не хотели слушать, их встречали бурей негодования, свистом, шиканьем, их гнали с трибуны. Нашим же товарищам приходилось уговаривать рабочих "выслушать и противную сторону", и это удавалось с большим трудом. Этому терпеть дальше большевики не могли. И вот, однажды ночью мы по телефону получили предупреждение со стороны какого-то неизвестного благожелателя о 407 готовящихся массовых арестах. Это предупреждение очень скоро оправдалось.

Меня спасло то, что я каких-нибудь два дня тому назад на всякий случай переменил квартиру и паспорт. Но на прежнюю мою квартиру явились неприглашенные гости и устроили в ней засаду, хватая всех проходящих.

Я не буду вдаваться в дальнейшие подробности наших мытарств и в особенности своих собственных, в течение которых несколько раз приходилось находиться на волосок от ареста. Не стану описывать кинематографических приключений с переодеваниями, гримировкой, побегами, сыщиками, погоней, прыганьем через окна и т. п.

Абраму Гоцу в свое время не удалось перебраться в Заволжье, и после разных перипетий он оказался в Одессе, переходившей из рук в руки: белогвардейская, гетманская, партизанская, союзническая, большевистская власти сменяли друг друга. И встретились мы, наконец, с Абрамом всё в той же Москве, на привычном нелегальном положении.

Абрам Гоц сразу же твердо стал на позиции "борьбы на два фронта" внутри партии, против обоих уклонов - и против большевизанства, и против возродителей моральной коалиции с правыми, либерально-буржуазными элементами, считавшими демократический социализм не меньшим врагом, чем диктаториальный большевизм.

В общем, работа шла как "через пень в колоду". Беганьем по рабочим квартирам крупнейших работников, которые были все на счету, много сделать было нельзя. Надо было готовить литературу. Но постановка тайных типографий давалась с большим трудом: перенаселенность столиц не оставляла для них места, всюду они были чересчур на виду, а все частные типографии, как и склады, и запасы бумаги были под бдительным оком казенных и добровольных надзирателей. Провал шел за провалом.

Большим ударом для нас был провал всего нашего "паспортного бюро", без которого мы были, как без рук. Наконец, большевики легче, чем жандармы царских времен, обзаводились в наших рядах "сексотами" (секретными сотрудниками), они служили "по убеждению", чаще натянутому, чем вполне искреннему, но всё же более "убедительному", чем у заагентуренных в былые времена Зубатовыми и 408 Рачковскими. Из них особенно приходит на память кумир железнодорожников Московского узла Павел Дыко - излюбленный председатель рабочих митингов, отличный оратор и красавец собою. Скольких потерь стоил он нам и сколько деморализации внес он в рабочие круги!

Мы давно знали, что большевистские власти, усиливая свою систему политического террора, убедились, что никакое полицейское внешнее наблюдение недостаточно для уловления всех инакомыслящих, и решили перейти к старым, испытанным способам самодержавия - к провокации. Вскоре нам пришлось в этом убедиться на горьком опыте.

Из Бутырской тюрьмы вышел на волю и явился к нам с лучшими рекомендациями от сидевших товарищей некто Зубков, рабочий-типограф по профессии. Он просил взять его на

нелегальную партийную работу. После закрытия нашей газеты нам приходилось - либо тайком печатать свой орган в легальных типографиях, благодаря сочувствию к нам рабочих, умевших обманывать самый бдительный надзор; либо ставить свои тайные типографии.

И наши газеты, и наши листки, и прокламации жадно расхватывались повсюду. Печатное дело приходилось всё расширять и расширять. Поэтому Зубков был охотно взят в техническую группу. А несколько времени спустя над нами разразился крах. Чека сразу было захвачено наших три типографии; в одной из них был захвачен целиком номер революционной противобольшевистской газеты ("Вольный Голос Красноармейца").

Удары были так метки и чувствительны, что сама собой напрашивалась мысль о провокаторе. Подозрение пало на Зубкова. С ним стали осторжны. Наконец, Зубкова случайно захватили при обыске на квартире у одного из наших; обнаружив у Зубкова револьвер, стража потащила его на знаменитую Лубянку (главный штаб политического сыска), но вернулась смущенная... Один солдат проболтался: "Мы то его привели, думали - к стенке поставят; а, оказывается, своего сцапали...".

Всё объяснилось. В ближайшем номере нашей газеты, отпечатанном в новой типографии, мы опубликовали имя Зубкова, как предателя, шпиона и провокатора. А через 409 некоторое время Зубков уже был выставлен и проведен коммунистами делегатом в Московский Совет от одной из правительственных типографий. И еще через некоторое время он уже орудовал в московской Чека, как следователь по делам тех самых с.-р-ов, которых он провоцировал и предавал.

Чека тогда особенно старалась, ввиду того, что в Москве ожидалась необычные заграничные гости - английская рабочая делегация. Большевики и тогда уже были величайшими мастерами втирать очки иностранным посетителям. Мы уже привыкли к тому, что эти гости, обычно не зная ни слова по-русски, с самого начала попадали в руки заботливых большевистских чичероне и затем ни на минуту не могли вырваться из заколдованного круга подставных людей и показных картин.

Но на этот раз ехали не легкомысленные репортеры, не наивные простачки-идеалисты и не дельцы, которых можно было задобрить ухаживанием, лестью и прямым или косвенным подкупом. Я решил, что во что бы то ни стало увижусь с английскими гостями, хотя бы они были окружены несколькими рядами сыщиков.

Обстоятельства мне благоприятствовали. Местный союз рабочих-печатников устроил в большом зале консерватории большое общее собрание в честь приезжих. Во главе союза печатников тогда стояли меньшевики и эс-еры; большевики, несмотря ни на какие усилия, не могли овладеть союзом, и из боязни всеобщей забастовки типографии не решались завладеть союзом путем ареста избранного правления и простой замены его удобными им людьми.

Я решил явиться на это собрание, попросить слова и публично сказать всю жестокую и неприглядную правду о большевиках. В самом собрании бояться мне было нечего. В это время настроение рабочих масс вообще и печатников в частности давно уже было резко противобольшевистское. Стало быть, вопрос заключался только в том, как незаметно проникнуть в здание и как безопасно из него уйти. Первое было просто. Я рассчитывал на неожиданность. Оставалось только обеспечить отступление.

Но несколько десятков решительных людей могли легко загородить все выходы из театра на это короткое время, которое мне потребуется, чтобы скрыться. В преданных людях, готовых рискнуть на это, недостатка у нас не было.

Благодаря принятым мерам предосторожности я 410 пробрался в здание театра совер-

шенно незаметно. Я попросил слова в качестве делегата партии, не называя своего имени, и даже, появившись на трибуне, не сразу был всеми узнан. Получив слово, я произнес, имея в своем распоряжении, по регламенту, всего 15 минут, краткую речь:

"Товарищи, - сказал я в этой речи, - позвольте мне от вашего имени приветствовать представителей английского пролетариата, которым впервые удалось прорвать сеть колючих проволочных заграждений и перешагнуть через искусственно вырытую пропасть, отделяющую Россию от всего мира. Одним своим присутствием они оказали нам неоценимую услугу. Давно уже в России мы не видели такого зрелища, как это собрание - массовое собрание рабочих, никем не подтасованное, не процеженное сквозь десятки простых и чрезвычайных сит, собрание не бюрократических верхов бывших профессиональных союзов, превращенных в правительственные канцелярии, а самых рабочих низов со свободным словом и свободной трибуной.

От всего этого мы уже успели отвыкнуть, от всего этого нас успели отучить. Но вот, после осеннего октябрьского потопа, бесследно смывшего с лица земли все добытые февральской революцией вольности, является первое дуновение свободы, которое так жадно вдыхают наши легкие. И я предлагаю вам, товарищи, вставанием и дружными аплодисментами благодарить за эту новую услугу представителей английского пролетариата (собрание поднимается и аплодирует присутствующим членам английской рабочей делегации).

Товарищи, наши гости застают Россию в момент огромной, мировой важности. Чтобы найти в летописях что-либо подобное, нам пришлось бы отойти в седую даль, к первым векам христианства, когда оно выступало как религия обездоленных, религия трудящихся и обремененных, идущая на мученичество и дерзнувшая в своих первых порывах к братству дойти до коммунистической общности имуществ.

И вот, перед глазами изумленного мира, эта религия подверглась медленному, но фатальному перерождению. Она стала господствующей религией, она отвердела в церковную иерархию, поднявшуюся из подполья на самую вершину общественной пирамиды. Люди, еще недавно произносившие обеты нестяжания, нищенства и презрения к земным благам, 411 постепенно превращались в людей, упоенных властью и верными спутниками власти - богатством, блеском, мишурою и комфортом высоко вознесясь над толпою - по-прежнему голодающей, холодающей и забитой толпой.

Когда-то гонимые, рыцари свободного духа превратились потом в деспотов, гонителей, искоренителей ересей, инквизиторов совести, тюремщиков души и тела. Та же роковая судьба на наших глазах постигает и нашу правящую партию. Когда-то ее программа была животворящей, кипучей, свободной и смелой социальной и революционной религией гонимых. Ныне она превратилась в казенный, застывший, мертвящий, деспотический символ веры гонителей. Под новой коммунистической фирмой возродилась, развилась, пышным цветом распустилась советская буржуазия и советская бюрократия. О том ли мечтали рабочие? - Они, по самой природе вещей, стремились к своему свободному, рабочему социализму социализму вольного массового творчества.

Могли ли они думать, что получают вместо этого какой-то новый, партийный абсолютизм, какой-то своеобразный опекунский социализм, олигархически-чиновничий, по строю управления, казарменный и военно-каторжный по методам, словом, аракатеевский коммунизм?

И как лучшие из христиан, с горьким недоумением и разочарованием спрашивали новоявленных блестящих прелатов церкви: что сделали вы с нашей верой, верой простых гали-

лейских рыбаей, людей вольного труда? Так и теперь, лучшие из рядов самих коммунистов должны были бы, очнувшись от гипноза, спросить своих вожаков: что сделали вы с нашим рабочим социализмом, зачем вынули вы из него самую его душу - свободу, мать всякого живого творчества? Зачем вы обрекли его на бюрократическое вырождение, превратили его в живой труп?"

По окончании моей речи, из многочисленной аудитории стали раздаваться голоса: "Имя, имя оратора!". Председатель в ответ на это сказал: "Так как партия социалистов-революционеров объявлена нелегальной, мы не считали себя вправе спрашивать имя оратора". Но мне не хотелось скрывать от этой явно сочувственной аудитории свое имя и перед тем, как покинуть трибуну, я сказал:

- Вы хотите знать мое имя? Я - Чернов.

412 Собравшиеся сейчас же поднялись, многие вскочили на стулья, и мне была устроена такая овация, какой за всю мою жизнь мне не приходилось переживать.

Миссис Сноуден и другие английские делегаты бросились ко мне и стали задавать вопросы, но члены нашего ЦК и другие товарищи схватили меня за руки и увели из помещения: "Скорее, скорее, тут вам не Англия".

Из помещения, где состоялось собрание, я выбрался благополучно, ибо все входы и выходы были заняты надежными людьми. Охранялись также и телефоны, чтобы не допустить вызова отрядов Чека. Конечно, такое состояние не могло быть длительным, но мне достаточно было 15-20 минут, чтобы скрыться в переулках Москвы и добраться до заранее для меня приготовленной квартиры.

Вскоре после моего выступления тревога была дана по всем инстанциям. По улицам сновали мотоциклеты. Патрули останавливали прохожих, обращая особенно внимание на бородатых. Заняты были вооруженными отрядами все вокзалы и все дороги, ведущие к Москве. Шли массовые обыски не только по квартирам, но обысканы были все московские и пригородные больницы. Обыскивались поезда... Лихач и Артемьев (члены нашего ЦК) сообщили мне на другой день, что в кадетских кругах говорили: "За это выступление Чернову можно всё простить". Я им сказал, смеясь, чтобы они ответили кадетам, что им следовало бы больше думать не о том, чтобы прощать, а о том, чтобы самим получить прощение.

Ввиду постоянных провалов с типографиями, невозможности достать бумагу, помещение и т. д., Центральный Комитет решил в это время перенести печатание нашей литературы за границу. В связи с этим было принято и решение о моем отъезде из России.

Надежные эстонские друзья раздобыли мне паспорт умершего эстонца. Я благополучно проделал все необходимые формальности и в одном из поездов с репатриантами, которые возвращались к себе на родину, - я покинул свою родину...